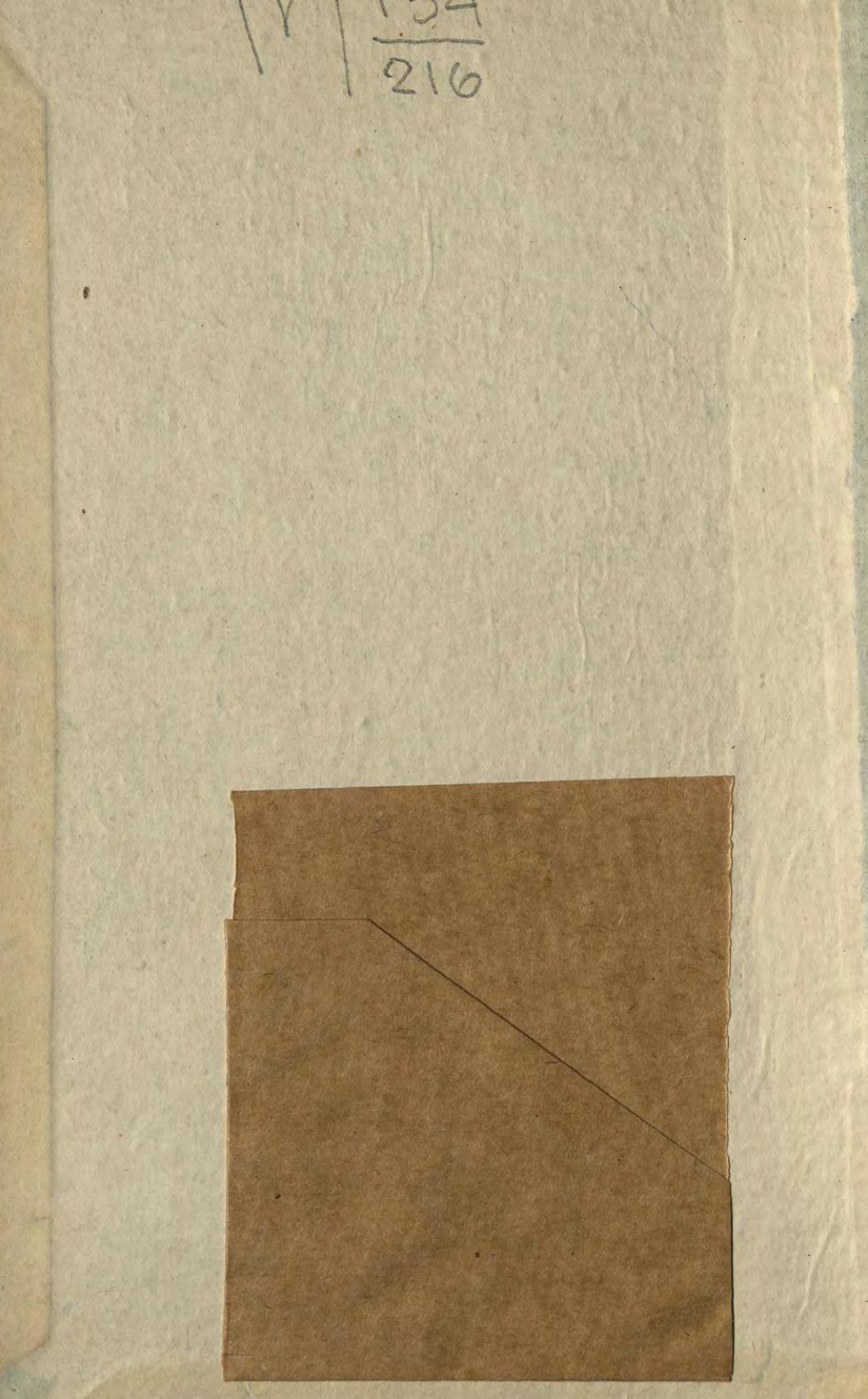
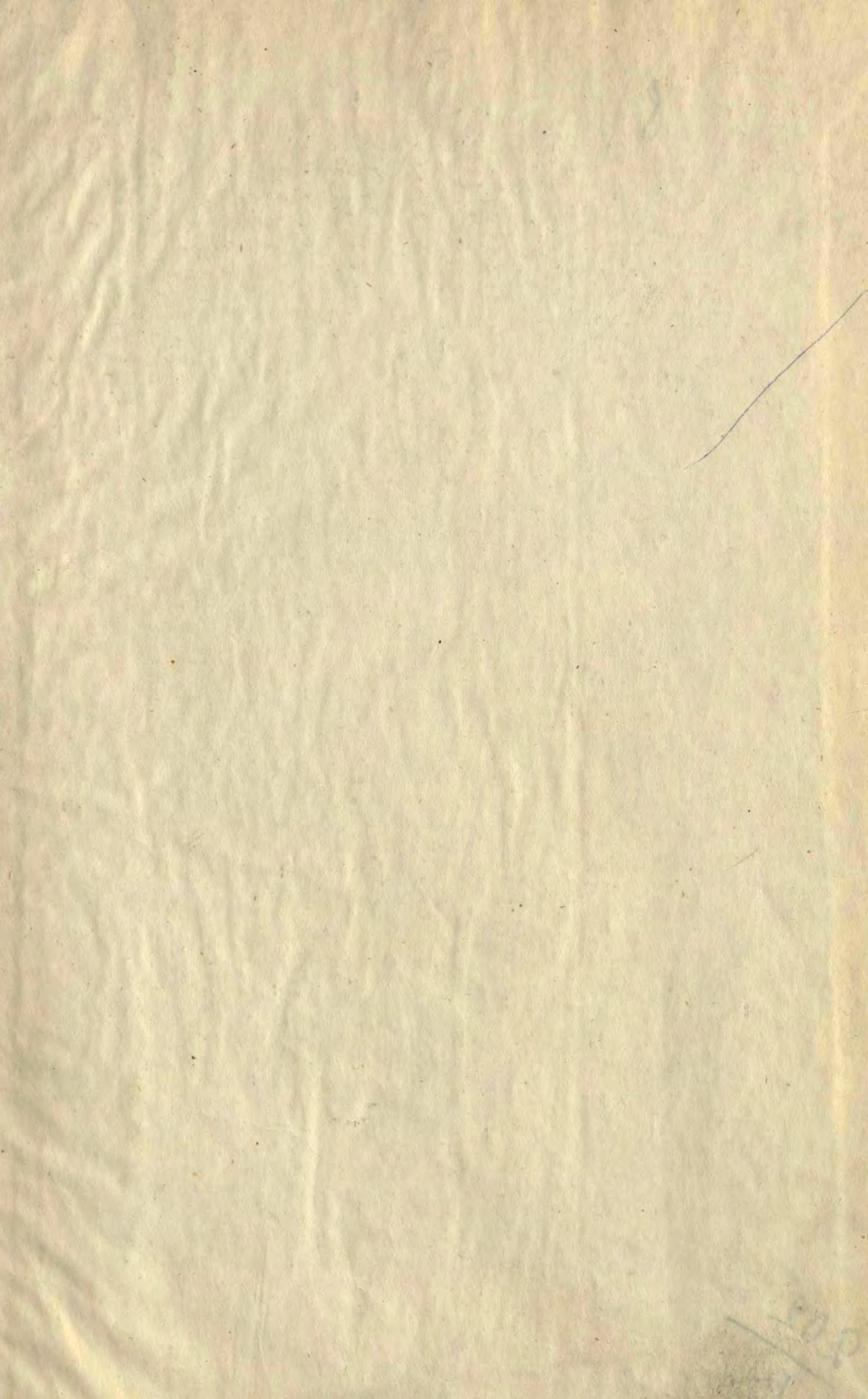
Г. В. ПЛЕХАНОВ

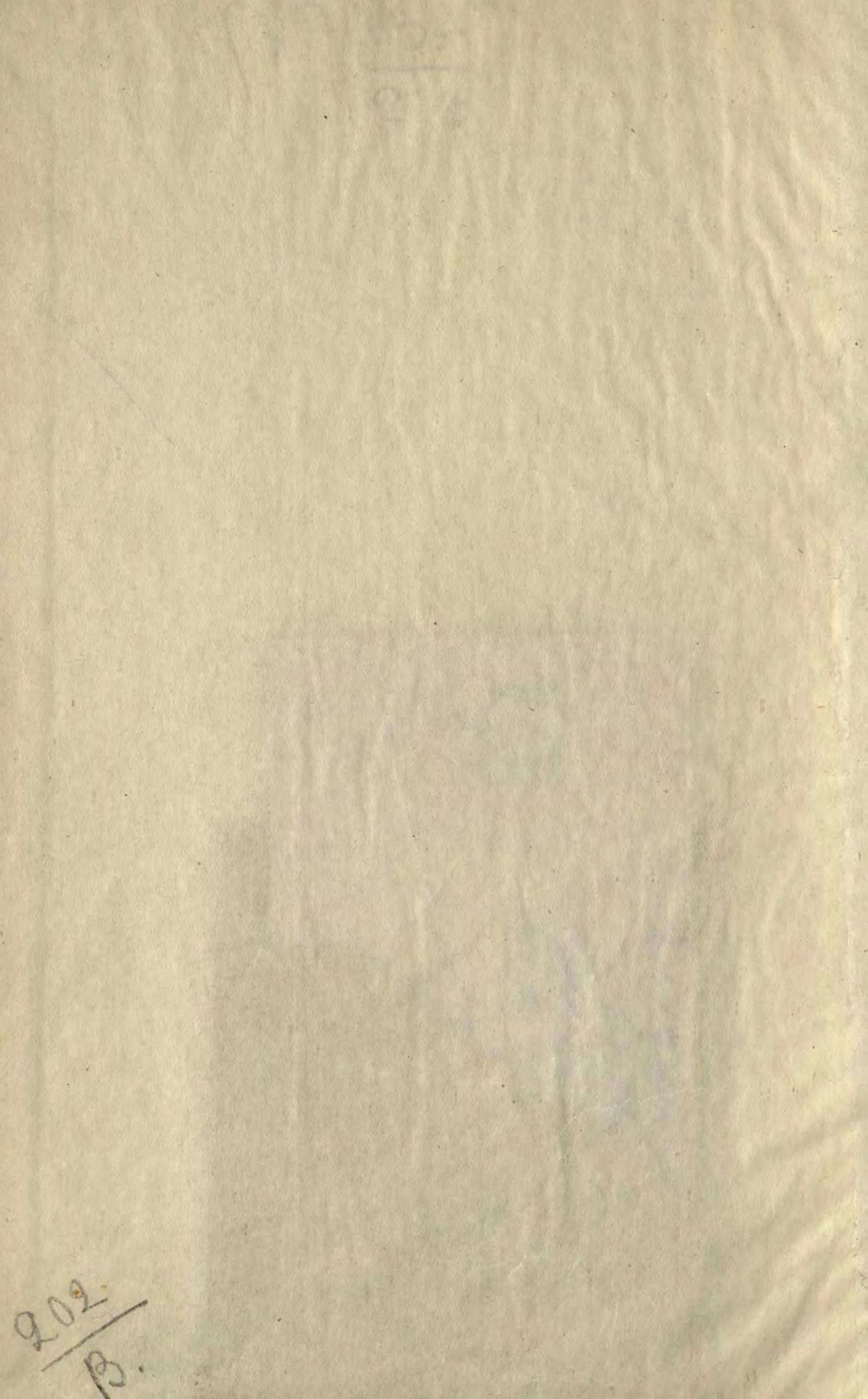
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XIX-го ВЕКА

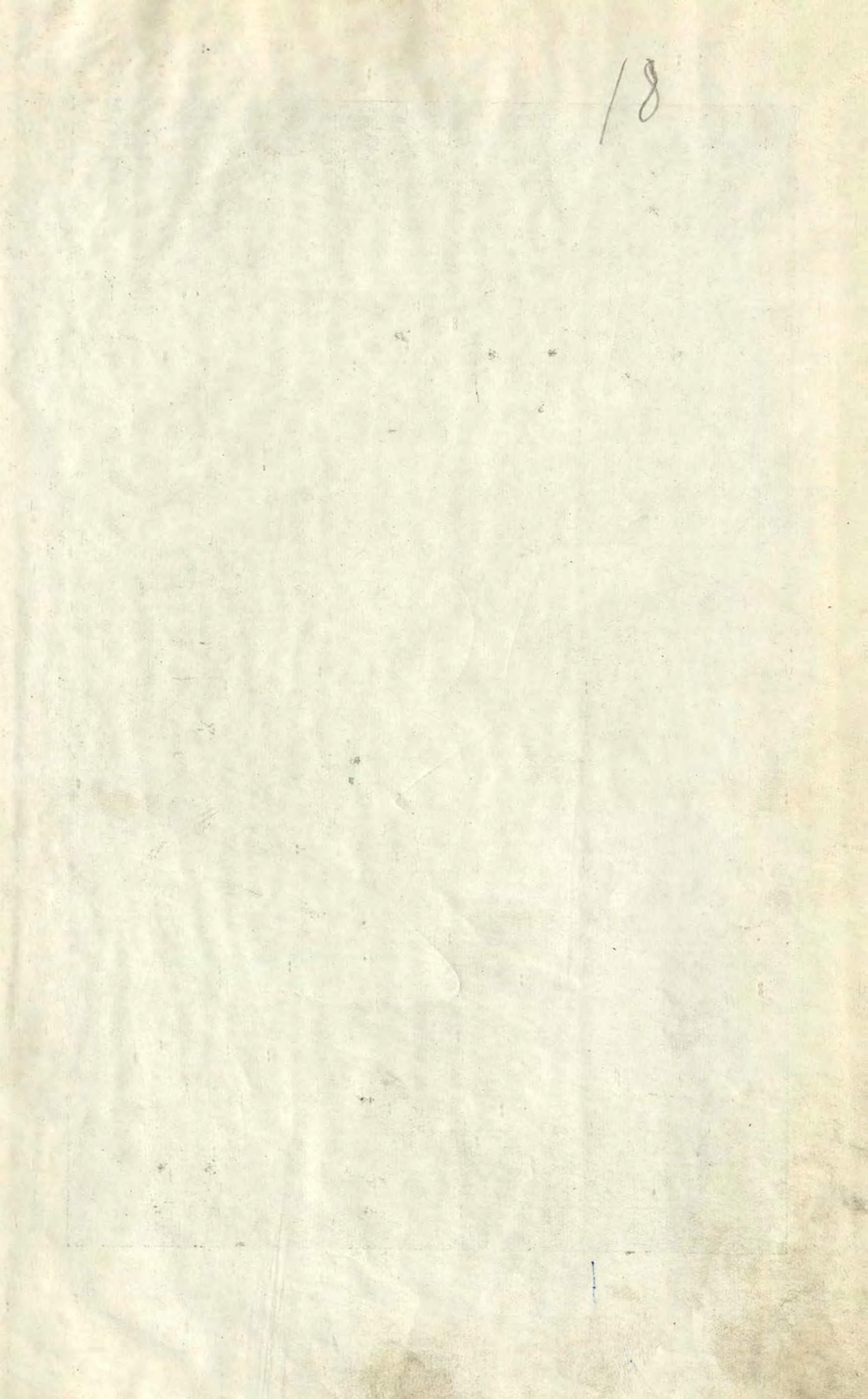
СБОРНИК СТАТЕЙ

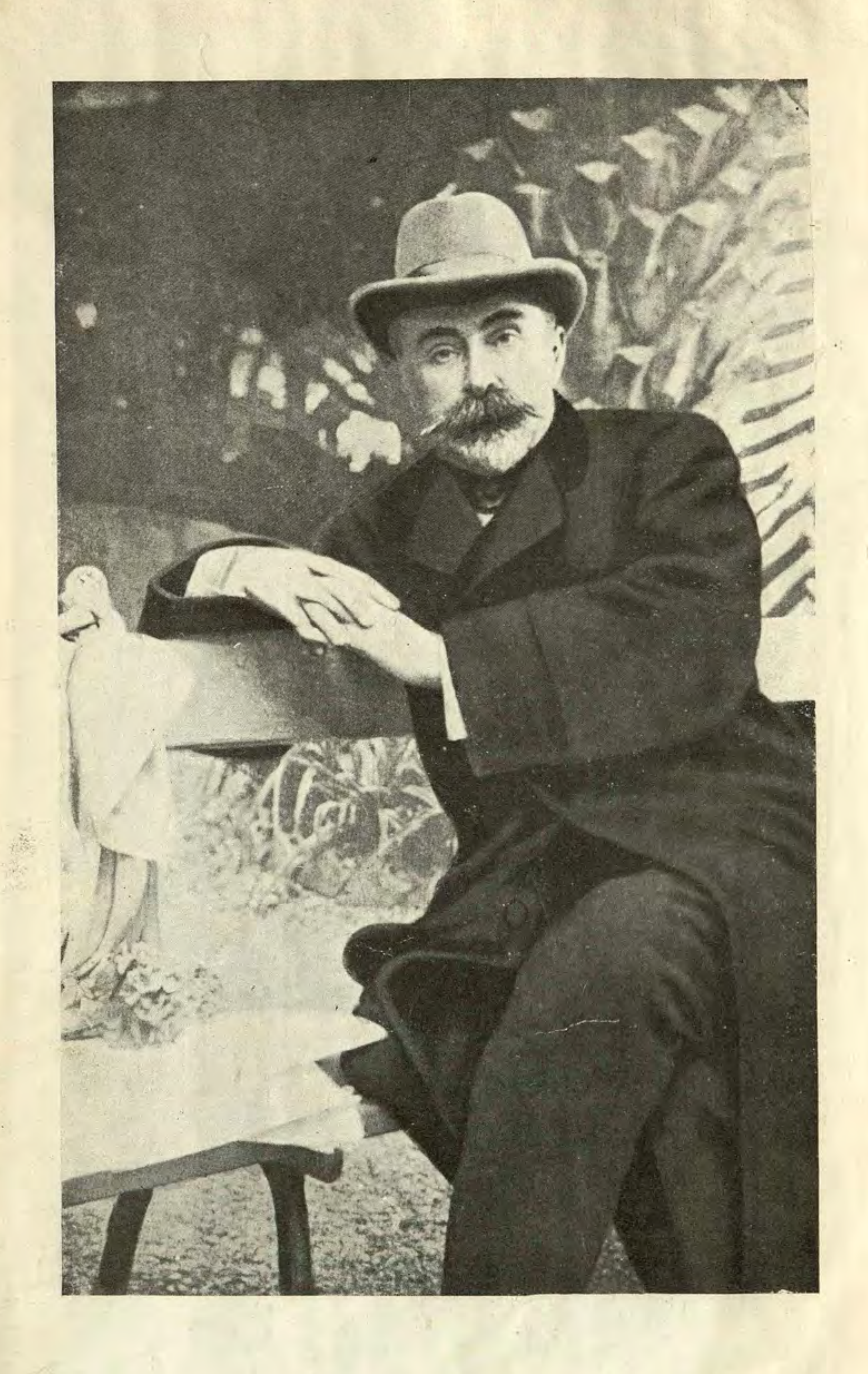
РАБОЧЕЕ КООПЕРАТИВНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРИБОЙ»
ПЕТРОГРАД 1923.






202
B.


18



Г. В. ПЛЕХАНОВ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ XIX века.

РАБОЧЕЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ПРИБОЙ“
Петроград — 1923.

Типография Коминтерна. Петроград, Екатерингофский пр., 87.
Петрооблит № 3941 Отпечатано 10.000 экз.





От издательства.

Главная заслуга Плеханова, как ученого, заключается, конечно, в обосновании и развитии философских и социологических основ марксизма, и здесь он является, бесспорно, одним из самых крупных не только в России, а и на Западе, истолкователей и непосредственных продолжателей Маркса-Энгельса. Но этим его научное значение далеко не исчерпывается. Если в начале своей 35-летней деятельности в качестве идеолога-марксиста Плеханов по преимуществу занимался теоретическими вопросами в области обществоведения, то в дальнейшем, и особенно в последние годы, не прерывая прежних занятий, он с удивительной энергией отдался и разработке чисто практических тем, дав яркие образцы приложения марксистского метода к конкретному историческому материалу.

„Марксово понимание истории... открывает нам огромное поле для исследования,—писал Плеханов еще в 1896 г.:—нужно много труда, терпения и любви к истине, чтобы хорошо обработать хотя бы очень маленькую часть этого поля". В России из марксистов, выступавших на научном поприще, Плеханов был долгое время единственным, и уже по одному этому ему, естественно, приходилось затрагивать в своих работах самые разнообразные отрасли общественной науки—историю искусства и религии, историю литературы, наконец, „чистую" историю. Обозревая научную деятельность Плеханова, невольно поражаешься, не говоря уже о его талантливости и стилистичности, его необычайно разносторонней эрудицией, совершенно далекой, при том, от диллетантизма. Даже его идеологические противники признавали, что „Плеханов может написать книгу не совсем удачную, но он не может написать книги не интересной и не заслуживающей внимания" (А. А. Кизеветтер).

Из всех отраслей обществоведения больше всего сил уделял Плеханов истории русской общественной мысли. В 1914—15 г.г. он выпустил три тома своей работы под этим заглавием, изданные Т-вом „Мир". После его смерти, в 1919 г. Петроград. Совет. Потреб. Обществ издал отдельной брошюрой еще первые 3 главы из IV тома, вполне подготовленные к печати. В своей вышедшей части названная работа охватывает движение русской общественной мысли на пространстве XVI–XVIII в.в. Но у Плеханова, как свидетельствует выпущенный Т-вом „Мир" проспект (на 14 стр.), был подробно разработан и план остальных трех томов, посвященных XIX-му веку. Мало того, значительную часть материала, который должен был войти в эти тома, он почти уже окончательно обработал, поместив ряд статей в журналах и др. изданиях на отдельные темы. В заграничном Плехановском архиве, вероятно, также найдется не мало, быть может, уже вполне готовых глав. Их, конечно, следовало бы раздобыть для издания полного собрания сочинений Плеханова, предпринятого недавно Социалистической Академией в Москве. (Пока вышло 4 тома).

Громадная ценность работ Плеханова, уже опубликованных, по развитию общественной мысли в России в XIX ст., и то обстоятельство, что работы эти в издании Социалистической Академии выйдут в свет не ранее 3—5 лет, побудили нас выпустить некоторые из них в предлагаемом сборнике. А именно: сюда входят след. статьи: 1) 14 декабря 1825 г. (Спб. 1905 г.); 2) Пессимизм П. А. Чаадаева („Критика наших критиков"); 3) М. П. Погодин и борьба классов („Совр. Мир". 1911 г. №№ 3 и 4); 4) В. Г. Белинский („История русск. литературы XIX в." под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Т. II); 5) Герцен-эмигрант (там же, Т. III); 6) А. И. Герцен и крепостное право („Совр. Мир" 1911 г. № 2); 7) Философские взгляды А. И. Герцена (Там же. 1812 г. №№ 3 и 4); 8) Освобождение крестьян (Там же. 1911 г. № 2); 9) Н. Г. Чернышевский („История русск. литературы XIX в." под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского. Т. III); 10) Предисловие к книге А. Туна: „История революц. движения в России", где обрисовываются народническое движение и зарождение марксизма в России. Размеры выпускаемого сборника не позволили включить других, очень ценных самих по себе статей Плеханова на ту же общую тему, и здесь мы их только упомянем: 1) Белинский и разумная действительность; 2) Литературные взгляды Белинского (обе в сб. „за 20 лет."); 3) Белинский и Вал. Майков („Совр. Мир" 1911 г. № 5); 4) П. А. Чаадаев („От сборных нападений"); 5) Чернышевский в Сибири („Современник" 1913 г. № 3); 6) Добролюбов („Студия" 1911 г. №№ 5—8); 7) Неудачная история Партии Народной Воли („Совр.Мир". 1912 г. № 5. Разбор книги В. Я. Богучарского); 8) К психологии рабочего движения (Там же. 1908 г. № 5).

Помещаемые в сборнике статьи Плеханова, в своей совокупности, дают представление о наиболее ярких представителях общественной мысли в России XIX ст. и о наиболее основных моментах ее движения, служа таким образом естественным дополнением к его, указанной выше „Истории русской общественной мысли".

14-е декабря 1825 года.

(Речь, произнесенная на русском собрании в Женеве 14/27 декабря 1900 года).

Ровно 75 лет тому назад, четырнадцатого декабря 1825 года, в Петербурге произошло событие, глубоко поразившее современников и заслуживающее полного внимания потомства.

Я говорю о вооруженном восстании на одной из петербургских площадей.

В честь этого события мы собрались в этой зале, и, конечно, не мы одни чтим его память сегодня. Сочувственное воспоминание о нем заставляет усиленно биться сердца всех тех русских,—а, может быть, и не одних только русских,—людей, которые не заинтересованы в поддержании *самодержавия* и которые неравнодушны к учреждениям, превращающим *обывателей* в *граждан*, то есть обеспечивающим стране блага *политической свободы*.

На собраниях такого рода, как нынешнее, не принято читать длинные „*рефераты*". Здесь более уместны так называемые немцами Festreden. Тем не менее я все-таки намерен характеризовать перед вами, хотя бы в немногих словах, как самое движение, приведшее к восстанию на Сенатской площади, так и ту среду, в которой оно возникло и развивалось.

А. Герцен, в своей брошюре „La Conspiration russe de 1825", говорит, что в царствование Александра I „дворянство составляло, так сказать, активный народ, под которым внизу был народ, остававшийся неподвижным, и над которым вверху стояло правительство, отказывавшееся идти вперед".

Народ, т. е. собственно крестьянство и немногочисленные тогда рабочие—не был совершенно неподвижен и в то время. Он глухо волновался, и его неудовольствие то здесь, то там прорывалось в виде так называемых у нас *бунтов*, но Герцен все-таки прав в том смысле, что движение, которое мы имеем теперь в виду, происходило исключительно в *дворянской* среде. Когда Рылееву пришла мысль вербовать в члены Союза Благоденствия *купцов*, мысль эта была отвергнута его товарищами, потому что, как выразился член Союза барон Штейнгель, наши купцы—*невежды*.

Но какова же была тогда дворянская среда? Каково было социальное положение дворянства?

Дворянство было высшим, *привилегированным* сословием. Оно *эксплуатировало* крестьян. По экономической неразвитости тогдашней России эксплоатация крестьян дворянством совершалась в самой грубой форме—*в форме крепостной зависимости*. Крепостное право определяло собою все отношения помещиков к крестьянам и налагало свою печать на весь социально-политический строй России. В своей непрестанной, хотя почти всегда скрытой борьбе с помещиками, крестьяне, неуверенные в своих собственных силах, *идеализировали царя*, воображая его народным заступником. Они готовы были истреблять дворян по первому знаку высшего правительства. Уже одного этого обстоятельства

было достаточно, чтобы лишить дворян всякой независимости по отношению к царской власти. А к этому присоединялось еще недоверчивое и даже прямо враждебное отношение *низшего бедного* дворянства к *высшему богатому*. Известно, что это отношение в значительной степени способствовало торжеству императрицы Анны Ивановны над „Верховниками", пытавшимися ограничить ее власть.

В виду всего этого, „доблестному российскому дворянству" поневоле приходилось мириться со злом самодержавия и уверять в своей преданности тех самых царей, против которых оно „крамольничало" так часто и иногда так удачно. Русский дворянин, державший себя как „важный барин" со своими подчиненными, держал себя как лакей в своих сношениях с верховной властью. Вот как характеризует, например, настроение высшего московского общества умная и наблюдательная англичанка мисс Катрин Уильмот, гостившая у княгини Е. Р. Дашковой в 1805—1807 годах: „Подчинение в высшей степени господствует в Москве. Здесь собственно нет того, что называют *джентльмэном*; каждый измеряет свое достоинство мерой царской милости. Поэтому старые идиоты и выжившие из ума женщины всемогущи... имея на себе много лент и чинов, чем люди молодые" [1]. И та же мисс Уильмот довольно ясно видела тесную связь между подмеченным ею духом „*подчинения*" и *крепостным правом*. „Я смотрю на каждого русского плантатора,—говорит она,—как на железное звено в огромной цепи, оковывающей это царство; и когда я встречаюсь с ними в обществе, я невольно думаю, что сами они крепостные люди деспота" [2].

Письма мисс Уильмот относятся, как я сказал, к 1805—1807 годам, т. е. к началу царствования Александра I. Но дух, господствовавший в дворянской среде, не изменился, конечно, и к концу этого царствования, „То, что называлось высшим образованным обществом, — говорит декабрист. И. Д. Якушкин,—большею частью состояло тогда из староверцев, для которых коснуться которого-нибудь из вопросов, занимавших нас, показалось бы ужасным преступлением. О помещиках, живущих в своих имениях, и говорить уже нечего" [3]. Огромное большинство дворянства и думать не хотело об уничтожении крепостного права.

„Все почти помещики, — продолжает И. Д. Якушкин, — смотрели на крестьян своих как на собственность, вполне им принадлежащую, и на крепостное состояние как на священную старину, до которой нельзя было коснуться без потрясения самой основы государства. По их мнению, Россия держалась одним только благородным сословием, а с уничтожением крепостного состояния уничтожалось и самое дворянство" [4]. Вы легко можете представить себе, господа, каковы были, каковы должны были быть социальные и психологические последствия такого положения дел. Тот же И. Д. Якушкин справедливо замечает, что крепостное право на каждом шагу обозначалось у нас самыми отвратительными последствиями. „Беспрестанно доходили до меня,—говорит он,—слухи о неистовых поступках помещиков, моих соседей. Ближайший из них, Жиганов, имевший всего 60 душ, раз'езжал в коляске и имел огромную стаю гончих и борзых собак; зато крестьяне его умирали почти с голоду и часто, ушедши тайком с полевой работы, приходили ко мне

---

[1]) Письма из России (1805—1807) мисс Катрин Уильмот. Перевод с английского языка. Лейпциг, 1876, стр. 49.

[2]) Там же, стр. 61.

[3]) Записки декабристов. Выпуск первый. Записки Ивана Дмитриевича Якушкина. Лондон. 1862 г., стр. 8—9.

[4]) Ibid. стр. 21.

и моим крестьянам просить милостыню“... В то же время почти беспрестанно доходили слухи об экзекуциях в разных губерниях [1]). Выведенные из терпения, крестьяне отказывались повиноваться, и тогда к ним посылали военную силу, чинившую над ними жестокую расправу. Розги и палки, а в крайних случаях штыки и пули, были необходимым плодом и неизбежным воспитательным средством „патриархального“ крепостного режима. Жестокость становилась достоинством в глазах тех, которые держались лишь с помощью жестокости. От И. Д. Якушкина мы узнаем, что, до похода за границу в 1813—1814 годах, офицеры Семеновского полка, считавшиеся тогда лучшими во всей гвардии, любили толковать между собою о том, как лучше наказывать солдат: понемногу, но часто или редко, но жестоко. „Я очень помню,— говорит он,—что командир 2-го батальона, барон Даллас, впоследствии бывший во Франции при Карле X министром иностранных дел, был такого мнения, что должно наказывать редко, но вместе с тем не давать солдату менее 200 палок, и надо заметить, что такие жестокие наказания употреблялись не за одно дурное поведение, но иногда за самый ничтожный поступок и даже за какой-нибудь промах во фрунте“ [2]).

Все это показывает, что огромнейшее большинство дворян того времени было „*активным*“ разве лишь *во вред народу*. От этого большинства нельзя было ждать бескорыстных гражданских подвигов. И мы вряд-ли ошибемся, отнеся к нему слова К. Ф. Рылеева (в его „Стансах“):

Всюду встречи безотрадные!
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные,
Иль бессмысленных детей...

Но к чести нашей страны, в этой среде, мертвой для всякой живой мысли и для всякого благородного порыва, стали появляться, под влиянием освободительного движения западно-европейского Tiers Etat, люди, понимавшие весь ужас тогдашнего положения России и готовые всеми силами служить делу освобождения русского народа. Такие люди встречаются у нас уже в восемнадцатом столетии. Это были идеологи, которые (выражаясь словами коммунистического манифеста) возвысились до теоретического понимания хода исторического движения. Они ненавидели крепостное право и стремились к гражданской свободе. При этом они очень ясно сознавали, что гражданская свобода невозможна там, где не существует границ царскому произволу. Так, уже *Княжнин* говорит в своем „*Вадиме*“:

Самодержавие, повсюду бед содетель,
Вредит и самую чистейшу добродетель,
И, невозбранные открыв пути страстям,
Дает свободу быть тиранами царям.

Но самым ярким представителем освободительных стремлений нашего восемнадцатого века был, без сомнения, *Радищев*. Его знаменитое „*Путешествие из Петербурга в Москву*“ показывает, как сильно возмущали его „*алчность дворянства, грабеж, мучительство и беззащитное нищеты состояние*“. Он называет помещиков *алчными зверями и ненасытными пиявицами;* он спрашивает у них, что оставляют они крестьянину, и отвечает: „То, чего отнять не можете, воздух. Да, один воздух. От‘емлете не редко

[1]) Ibid. стр. 24.
[2]) Ibid, стр. 28—29.

у него не токмо дар земли: хлеб и воду, но и самый свет... Вот жребий заклепанного в узы! Вот жребий заключенного в смрадной темнице! Вот жребий вола в ярме!" [1]).

Ненавидя крепостное право, Радищев ненавидел и царскую власть. В его оде „*Вольность*", замечательной во многих отношениях, особенно поражает нынешнего читателя следующая строфа, очевидно навеянная воспоминанием об английской революции семнадцатого века, и оказавшаяся пророческой по отношению к Франции, где в то время все более и более разыгрывалась революционная буря:

Восстанет рать повсюду бранна.
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает;
В различных видах смерть летает.
Над гордою главой царя.
Ликуйте, склепанны народы!
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя!

В лице Радищева мы, может быть, впервые встречаемся с убежденным и последовательным русским революционером из „интеллигенции". И не даром Екатерина II говорила о нем, что он бунтовщик хуже Пугачева...

Известно, что Радищев погиб, можно сказать, дважды, но то стремление, которого он был одним из самых первых представителей, не погибло, а росло и крепло в последующие царствования. В двадцатых годах девятнадцатого столетия это стремление находит себе сторонников между наиболее образованными *офицерами*. Пробуждению политической мысли в офицерской среде много содействовали, как известно, наполеоновские войны. „Пребывание в продолжение целого года в Германии и, потом, в течение нескольких месяцев в Париже, — говорит И. Д. Якушкин, — не могло не изменить воззрения хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановке каждый из нас сколько-нибудь вырос" [2]). И когда из этой обстановки, действительно „*огромной*" в историческом смысле, русская образованная молодежь вернулась на родину, ее неминуемо ожидал ряд самых тяжелых впечатлений; постыдное рабство народа и самовластье царя не могли не резать глаз, успевших привыкнуть к более отрадным зрелищам. Это лучше всего видно из записок того же Якушкина.

„Из Франции в 14 году,—говорит он,—мы возвратились морем в Россию. 1-ая гвардейская дивизия была высажена у Ораниенбаума и слушала благодарственный молебен... во время молебствия полиция нещадно била народ, пытавшийся приблизиться к выстроенному войску. Это произвело на нас первое неблагоприятное впечатление по возвращении в отечество" [3]). Интересно, что это неблагоприятное впечатление, полученное Якушкиным, было усилено поведением самого Александра I. При вступлении в Петербург девятой гвардейской дивизии Якушкин, со своим приятелем Толстым, стоя недалеко от золотой кареты императрицы Марии Феодоровны, „*любовались*" императором, который на красивой рыжей лошади под'езжал к карете, готовясь опустить

---

[1]) Путешествие из Петербурга в Москву (1760). Лейпцигск. издание 1876 г., стр. 219—220.

[2]) Записки, стр. 4—5.

[3]) Там же, стр. 5.

шпагу перед императрицей. „Но в самую эту минуту, почти перед его лошадью перебежал через улицу мужик. Император дал шпоры своей лошади и бросился на бегущего с обнаженной шпагой. Полиция приняла мужика в палки. Мы не верили собственным глазам, и отвернулись, стыдясь за любимого нами царя. Это было во мне первое разочарование на его счет; я невольно вспомнил о кошке, обращенной в красавицу, которая однакож не могла видеть мыши, не бросившись на нее“ [1]).

Из этих слов Якушкина видно, что в эпоху наполеоновских войн наша образованная и свободомыслящая военная молодежь еще любила Александра I. Это подтверждается и другими свидетельствами. Но по заключении мира дело очень скоро приняло другой оборот. Между тем как передовые люди того времени все более и более убеждались в необходимости широких общественных реформ, Александр I все более и более поддавался влиянию реакционеров. Вечно путешествующий и всегда занятый вопросами международной политики, он почти не занимался внутренними делами, поручая их своим любимцам, между которыми первое место скоро было занято тупым и жестоким Аракчеевым. Члены государственного совета и министры должны были обращаться к нему в тех случаях, где требовалось царское разрешение. Что значил для русского народа Аракчеев, это известно, без сомнения, всем здесь присутствующим, и потому я не стану распространяться об этом. Но я замечу, что чем более росла ненависть к Аракчееву в свободомыслящем меньшинстве тогдашнего русского общества, тем скорее чувство любви к Александру I заменялось у него чувством нерасположения и даже, как говорит Якушкин, *ожесточения* [2]).

Не трудно понять, как влияло это чувство на образ мысли тогдашних передовых людей: если *любовь* к императору вызывала в них сочувствие к мирным *реформам сверху* и ожидания таких реформ, то *разочарование* в императоре и ожесточение против него должны были вызывать и укреплять в них сочувствие и стремление к *революционному способу действий*. Люди, которые еще так недавно „*любовались*“ Александром I и готовы были идти за ним на край света, веря в его благие намерения, теперь проклинали его, как „*тирана*“, и стали поговаривать о *цареубийстве*.

Это новое настроение передовых людей немедленно отразилось и на их литературных вкусах, они с жаром стали читать древних, особенно *Плутарха*, которым не менее сильно увлекались французские революционеры восемнадцатого столетия. А в их собственных литературных произведениях громко зазвучали *гражданские мотивы*. Припомните „*Думы*“ К. Ф. Рылеева: „*Михаил Тверской*“, „*Волынский*“, „*Артамон Матвеев*“ и другие; припомните в особенности его „*Гражданина*“. Это последнее стихотворение так хорошо выражает настроение тогдашних революционеров, что полезно будет прочитать его здесь целиком. Вот оно.

Я-ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в об'ятьях сладострастья,
В позорной праздности, влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.

---

[1]) Там же, стр. 5—6.
[2]) Там же, стр. 36.

Пусть юноши, не разгадав своей судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в об'ятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риэги.

К. Ф. Рылеев был по преимуществу певцом гражданских чувств. Он в поэзии ценил прежде всего ее *содержание*, сильно расходясь в этом отношении с Пушкиным, — который даже в годы самых сильных политических увлечений не переставал быть строгим ценителем *формы*. Но общее настроение передового круга отразилось тем не менее и на Пушкине; укажу для примера на его послание к Чаадаеву, где он приглашает своего друга служить вместе с ним делу освобождения родины:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна
И свергнет иго самовластья!

Не менее характерно и знаменитое стихотворение „*Кинжал*", которое резко выделяется беспощадной ненавистью к деспотизму.

Когда у людей возникают *такие* чувства, тогда действие становится для них *психологической необходимостью*. И мы видим, что уже в 1816 году являются попытки организации *тайных обществ*. Самым замечательным из этих обществ был „*Союз Спасения или истинных и верных сынов отечества*", в основании которого принимали участие братья Муравьевы, Александр и Никита, князь Трубецкой и Павел Пестель. Этот союз поставил перед собою цель *изменения государственных учреждений*. Но в то время существовали и другие тайные общества, цель которых не отличалась такою определенностью: таково, например, было основанное Орловым общество „*русских рыцарей*", члены которого стремились только к „пресечению *злоупотреблений*" и даже намеревались было просить царского на то разрешения. Были еще и другие общества в Петербурге между офицерами некоторых гвардейских полков и в Малороссии, где Новиков основал *Малороссийское общество* при масонской ложе, и где образовалось потом общество соединенных славян, стремившееся к освобождению и федеративному об'единению всех славянских народов. Но нас более всего интересует здесь судьба „*Союза Спасения*".

В истории этого общества, скоро переименованного в „*Союз Благоденствия*", необходимо прежде всего отметить, как эпоху кризиса, московский с'езд в феврале 1821 года, на котором решено было прекратить антиправительственную деятельность и положить конец существованию самого общества. На самом деле общество не было распущено, а только *преобразовано*, и самое постановление о прекращении его действия принято было, чтобы удалить из него некоторые ненадежные и нерешительные элементы. Тут же на с'езде выработан был новый устав, который разделялся на две части: в первой,

которая предназначалась для *вступающих*, говорилось, что общество преследует филантропические цели; во второй, предназначенной для *посвященных*, указывалась действительная цель общества: ограничение самодержавия в России. Для заведывания и руководства делами общества учреждались особые *Думы*. На первый раз таких *Дум* было учреждено четыре: в Петербурге, в Москве, в Смоленской губернии и в Тульчине. В дальнейшей истори Союза главная роль принадлежала Тульчинскому отделу, известному под именем *Южного Общества* и находившемуся под влиянием П. Пестеля, и Петербургскому, называемому иногда Северным Обществом. В нем главное влияние приобрел впоследствии К. Ф. Рылеев.

Уже на Московском с'езде решено было действовать на войска в духе тайного общества и „*приготовить* их на всякий случай“ [1]). С этих пор члены „*Союза Благоденствия*“ не расставались с мыслью о военном восстании, которая росла и зрела, очевидно, под сильным влиянием испанских событий. В 1823 году возник план захватить царя на смотру в Бобруйске. План этот не был приведен в исполнение по недостатку сил, но скоро он опять явился в несколько измененном виде. Именно, в апреле 1824 года Пестель, Бестужев-Рюмин, братья Поджио, Давыдов и Швейковский намеревались убить Александра I на смотру в Белой Церкви и, произведя возмущение в войсках, идти на Киев и на Москву. Пестель рассчитывал, что ему удастся, истребив царскую фамилию, принудить Сенат и Синод к признанию тайного общества временным правительством, на обязанность которого легло бы водворение нового порядка.

Царский смотр в Белой Церкви был отменен, а потому и этот новый план не имел практических последствий.

Пестель был решительным республиканцем и считал необходимым учредить в России республику. Некоторые другие члены Союза Благоденствия готовы были удовольствоваться созванием Учредительного Собрания, которое само определило бы, быть ли России республикой или оставаться монархией [2]). Но все были совершенно согласны в том, что необходимо положить конец существованию *самодержавия и крепостного права* [3]). Успех заговорщиков знаменовал бы собою торжество гражданской и политической свободы в России. Весь вопрос в том, *возможен* ли был успех. А по этому поводу надо заметить, что в нем сомневались нередко и сами члены Союза Благоденствия. И это обстоятельство,—сомнение заговорщиков в успехе собственного дела,—раскрывает перед нами в высшей степени замечательную черту их психологии. Сомневаясь, по крайней мере, по временам в возможности успеха, члены тайного общества не переставали тем не менее стремиться к борьбе и к открытому восстанию. Они считали, что их гибель даст благодетельный толчек развитию русской политической мысли, и готовы были пожертвовать собою для блага родины. Эта черта их психологии ярко выразилась в знаменитом отрывке из „*Исповеди Наливайко*“ К. Ф. Рылеева:

---

[1]) Якушкин, записки, стр. 58.

[2]) Об этом смотри в *разборе* „*Донесений тайной следственной комиссии*“, приписываемом Никите Муравьеву и Лунину и напечатанном в „*Записках Декабриста*“, выпуск второй и третий, Лондон 1863 г. стр. 103—136. Замечание об Учредительном Собрании находится на стр. 109.

[3]) Авторы *разбора* „*Донесения тайной следственной комиссии*“ справедливо упрекают эту комиссию в том, что она в своем донесении, „умалчивает об освобождении крестьян, долженствовавшем возвратить гражданские права нескольким миллионам наших соотечественников“ (Ibid. стр. 116). Говорить об этом намерении Союза Благоденствия было не в интересах следователей.

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной—
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Декабрист Н. А. Бестужев рассказывает в своих „*Воспоминаниях о Кондратии Федоровиче Рылееве*“, что когда Рылеев, написав эту „исповедь“, прочитал ее жившему у него Михаилу Бестужеву, тот воскликнул: „Знаешь ли ты, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою? Ты как будто хочешь указать на будущий свой жребий в этих стихах“.—Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть минуту в своем назначении? — отвечал Рылеев. Верь мне, что каждый день убеждает меня в необходимости моих действий, в будущей погибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России, а вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих Россиян“ [1]).

Это свидетельство Н. А. Бестужева не оставляет никакого сомнения в том, что некоторая часть членов „Союза Благоденствия“ сознательно шла на *мученичество*. Но известно, что стремление к мученичеству не только не ослабляет энергии людей, его имеющих, а удесятеряет ее. Рылеев, твердо уверенный в том, что ему необходимо погибнуть „для пробуждения спящих Россиян“, был, как я уже сказал, душою петербургского „*Северного*“ общества, которое, подобно, „*Южному*“, находило, что нужно немедленное действие. В 1825 году Рылеев,—по словам „Донесения следственной комиссии“,—стал намекать о возможности начать восстание в мае 1826 года. С своей стороны Пестель находил возможным восстать в январе того же года. Но обстоятельства, не предвиденные ни тем, ни другим, сложились так, что „Союз Благоденствия“ вынужден был взяться за оружие еще раньше этого срока.

В июне 1825 года Александр I получил от унтер-офицера 3-го Бугского уланского полка Шервуда *донос*, указывавший на существование тайного общества и даже называвший одного из его членов—Федора Вадковского. В сентябре того же года Шервуд подал новый донос, заключавший в себе более подробные указания. Эти доносы Шервуда были подтверждены доносами генерал-лейтенанта Витта и капитана Вятского полка Майбороды, который сам был членом „*Союза Благоденствия*“. На основании этих доносов арестованы были некоторые члены Южного общества и между ними Пестель. За этими первыми арестами неминуемо последовали бы другие. „Союзу Благоденствия“ был бы во всяком случае нанесен ряд сильных ударов. Но он не дождался их. Четырнадцатого декабря, в тот самый день, когда на юге был арестован Пестель, в Петербурге произошло восстание на Сенатской площади.

Вы все, конечно, знаете, господа, каков был *внешний* повод петербургского восстания. Заговорщики решили воспользоваться для своих целей той неурядицей, которая вызвана была смертью Александра I и препирательствами, возникшими между великими князьями Николаем и Константином по вопросу о престолонаследии.

---

[1]) Полярная Звезда, кн. VI, стр. 1—2.

Еще при жизни Александра Константин более или менее добровольно отказался от своего права на престол, вследствие чего оно перешло к Николаю. Но об этой сделке знали, кроме заинтересованных лиц, лишь очень немногие посвященные, между тем как вся остальная нечиновная и даже чиновная Россия продолжала считать наследником Константина. Когда в Петербург пришло (27-го ноября ст. ст.) известие о смерти Александра в Таганроге, Николай тотчас после панихиды, отслуженной по Александре в придворной церкви, отвел в сторону петербургского военного губернатора Милорадовича и сказал ему, что по духовному завещанию покойного императора престол принадлежит ему, Николаю. На это Милорадович ответил, что в России есть закон о престолонаследии, повинуясь которому он уже послал войскам приказание присягать Константину. Николай не мог сломить твердость Милорадовича и увидел себя вынужденным присягнуть своему старшему брату. За ним присягнул Михаил Николаевич и все находившиеся во дворце сановники. Таким образом, 27-го ноября 1825 года русским императором сделался Константин.

Но, присягнув своему брату, Николай не считал своего дела проигранным. Он отправил к Константину, бывшему тогда в Варшаве, послов, которые должны были напомнить ему об его отречении от престола. По всему видно, что бывший „цесаревич" принял это напоминание с большим неудовольствием. Он не согласился всенародно об'явить о своем отказе от императорского трона. Но вместе с тем он не решался и оспаривать права Николая. Он сидел в своем кабинете мрачный и растерянный, ничего не предпринимая ни в том, ни в другом смысле. В результате получилось нечто в роде междуцарствия, продолжавшегося 16 дней и вызвавшего всеобщее недоумение.

Сибариты высшего петербургского общества, „хладные трупы" и „бессмысленные дети", равнодушные к судьбам своей страны, только острили по поводу этой нелепой неурядицы, спрашивая друг друга, *продадутся ли* и по какой цене *продадутся бараны*. Но *„Союз Благоденствия"* не мог оставаться спокойным. У Рылеева ежедневно собирались на совещание находившиеся тогда в Петербурге члены тайного общества: князь Трубецкой и Оболенский, братья Бестужевы, Глинка, Булатов и другие. И с каждым новым совещанием для них все яснее становилась необходимость воспользоваться междуцарствием в интересах своего дела [1]). Князь Трубецкой был выбран *диктатором*, и ему предоставлена была власть действовать в решительную минуту по своему усмотрению и распоряжаться всеми силами общества. Все понимали, что развязка не заставит себя долго ждать.

Одиннадцатого декабря на собрании у Рылеева решено было не присягать Николаю Павловичу и, подняв гвардейские полки, вести их на Сенатскую площадь. „В надежде на успех,—рассказывает И. Пущин,—был подготовлен манифест, который Сенат должен был обнародовать от себя и которым созывалась Земская Дума, долженствовавшая состоять из представителей всей земли русской. Этой Земской Думе предоставлялось определить, какой порядок правления наиболее удобен для России. Пока соберется Дума, Сенат должен был назначить временными правителями членов государственного совета: Сперанского, Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола. При временном правительстве должен был находиться один избранный член тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства [2]).

---

[1]) „Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай",—писал Пущин в Москву Семенову.

[2]) *„Четырнадцатое декабря"* И. Пущина в „Записках декабристов", выпуск 2-й и 3-й, стр. 143—144.

На следующий день, двенадцатого числа, Рылеев узнал, что тайное общество было предано одним из его членов, Я. Ростовцевым, который счел долгом своей „совести“ известить Николая об угрожавшей ему опасности. Таким образом последние корабли оказались сожженными; заговорщики не могли бы уже отступить, если бы даже и захотели этого. Но они не думали об отступлении.

Утром четырнадцатого декабря, когда войскам, находившимся в Петербурге, приказано было присягать Николаю, *Александр Бестужев* и *князь Щепин-Ростовский* увлекли за собою лейб-гвардейский Московский полк и привели его на Сенатскую площадь. Спустя некоторое время туда же пришли лейб-гренадеры, предводимые баталионным ад'ютантом Пановым, и моряки гвардейского экипажа с офицерами Кюхельбекером, Арбузовым, Пушкиным, двумя братьями Беляевыми, Дивовым и Бодиско. С гвардейским экипажем пришел также не принадлежавший к нему капитан-лейтенант Н. Бестужев. Все эти войска выстроились тылом к Сенату, лейб-гренадеры налево, а моряки направо от Московского полка.

То, что произошло на площади, можно описать в немногих словах. Отбив кавалерийскую атаку конно-гвардейцев, „мятежники“ продолжали твердо стоять, не поддаваясь никаким „увещаниям“, и были рассеяны только *картечью.* Покинув Сенатскую площадь, они попытались было выстроиться на льду Невы, но пушки продолжали делать свое кровавое дело, уничтожая всякую возможность серьезного сопротивления. Восстание было подавлено. Начались массовые аресты.

Само собою разумеется, что Николай жестоко отплатил побежденным за страх, испытанный им в виду восстания. Но прежде, чем описывать его расправу с ними, я хочу прибавить еще несколько слов о действиях заговорщиков в день четырнадцатого декабря.

С точки зрения собственно боевой целесообразности, действия эти вряд ли могут выдержать даже снисходительную критику. Правда, много замешательства внесено было в них странным поведением Трубецкого, который не только не исполнил своей обязанности предводителя восстания, но даже не явился на Сенатскую площадь. Но уже одно то обстоятельство, что заговорщики, не решаясь действовать без его приказаний, ждали его до самого вечера в виду войск, оставшихся верными Николаю, как будто показывает, что они мало были расположены к наступательным действиям. Подобное же впечатление производят и многие другие происшествия как этого, так и предыдущего дня. По словам Пущина, Каховский „дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет перед войсками, нанести ему удар“. Это не было сделано. Почему? Пущин об'ясняет это тем, что Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им Рылееву обещание [1]). Чем руководствовался А. Бестужев, отговаривая Каховского? И почему уступил его настояниям Каховский, не поколебавшийся поднять руку на Милорадовича? — Далее. На последнем собрании у Рылеева, вечером 13-го декабря, решено было, что на другой день утром А. Бестужев и Якубович, выведя из казарм Московский полк, пойдут с ним в артиллерийские казармы на Литейной забрать там орудия и звать артиллеристов на Сенатскую площадь. Это тоже не было сделано. А между тем, как важно было бы для заговорщиков иметь пушки на своей стороне! Но и эту страшную ошибку мог поправить Панов, проходивший с лейб-гренадерами по Дворцовой площади мимо тех самых орудий, которые потом осыпали восставших картечью. Все

---

[1]) „Четырнадцатое декабря“ И. Пущина, стр. 146.

говорят, что Панов мог тогда захватить эти орудия. Но он даже не пытался сделать это. Тот же Панов проходил со своими солдатами через Петропавловскую крепость и, стало быть, без труда мог овладеть ею, обеспечив этим надежную точку опоры своим единомышленникам в случае неудачи. Но и эта мысль, как видно, не приходила ему в голову? Чем об'яснить эти промахи? И чем об'яснить, наконец, тот, может быть, крупнейший промах, что восставшие до вечера стояли на площади, дав своим врагам время собраться с силами, а не предупредили их нападения и не напали на дворец ранним утром? Сердце обливается кровью, когда подумаешь, что, благодаря всем этим и другим подобным ошибкам, заговорщики лишились возможности нанести своим врагам жестокие и страшные удары. И невольно переспрашиваешь себя: да неужели же в самом деле не хватило находчивости, решительности или храбрости у этих блестящих военных людей, полных ума и энергии и умевших смотреть в глаза смерти без малейшей боязни? Нет, такое предположение решительно несообразно с тем, что мы знаем о декабристах. Но если это так, то спрашивается, чем же об'ясняется нецелесообразное поведение заговорщиков в день четырнадцатого декабря 1825 года.

Я думаю, что на этот вопрос можно правильно ответить лишь указанием на ту черту их психологии, которую я отметил, сказав, что они *сознательно* шли *на мученичество.* Они мало верили в непосредственный успех своего восстания; это показывают собственные признания многих из них. На совещаниях у Рылеева, происходивших во время междуцарствия, обнаружилось, что силы тайного общества очень малы. Когда утром 12-го декабря депутаты от разных полков собрались у Оболенского, то на его вопрос: „Сколько каждый из них может вывести на Сенатскую площадь?“ они ответили, что *не могут поручиться ни за одного человека.* При таких условиях трудно питать уверенность в победе. И если заговорщики все-таки вышли на площадь, то это об'ясняется их уверенностью в том, что их гибель нужна для пробуждения „спящих россиян“. Рылеев, который, по его собственным словам, *мог все остановить,* и который всех побуждал к действию, хорошо знал, что идет на гибель. То же знали, как видно, и другие, например молодой князь Одоевский, воскликнувший накануне восстания: „Мы умрем, но мы умрем со славой!“

Если мы допустим, что таково было настроение членов тайного общества, то их действия на Сенатской площади представятся в совершенно новом свете. Смотря на события 14-го декабря, как на *сражение* между сторонниками самодержавия и сторонниками политической свободы, мы не можем не видеть *непоследовательности и нецелесообразности в действиях заговорщиков.* Если же мы взглянем на те же события, как на *военную манифестацию,* предпринятую людьми, не успевшими и приготовиться к серьезной битве и решившимися погибнуть для того, чтобы своею гибелью указать путь будущим поколениям, то мнимая непоследовательность и нецелесообразность их действий *очень просто об'яснится нежеланием усиливать кровопролитие и увеличивать число жертв.* „Эти люди хотели всенародно заявить мысль русской свободы,—справедливо говорит Герцен,—зная, что они погибнут, но что раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет“ [1]). При таком настроении вопрос о том, удастся или нет захватить пушки или занять Петропавловскую крепость, мог иметь в их глазах лишь второстепенное или третьестепенное значение.

---

[1]) Четырнадцатое декабря и император Николай, стр. 238.

Если же, взглянув на дело с этой точки зрения, мы спросим себя, достигнута *ли была главная цель* восставших, то мы не колеблясь ответим *утвердительно*, потому что, — как это очень хорошо сказал тот же Герцен,— *пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение.*

Прибавлю еще, что с этой точки зрения героическая самоотверженность заговорщиков представляется в еще более ярком свете. Укажу опять на Рылеева. Когда он собирался выйти из дома утром 14-го декабря, его жена, догадываясь, что ему грозит большая опасность, стала со слезами упрашивать его остаться. Автор стихотворения „Гражданин“ оставался непоколебим. Тогда бедная, пораженная горем женщина закричала своей дочери: „Настенька, проси отца за себя и за меня!“ Испуганный ребенок подбежал к отцу и, рыдая, обнял его колени, между тем как мать почти без чувства упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван и, освободившись из об'ятий дочери, пошел на площадь [1]). Перед этой потрясающей сценой бледнеют все остальные проявления героического самоотвержения Рылеева.

Эпилогом событий четырнадцатого декабря является столкновение около Белой Церкви, происшедшее 3-го января 1826 года между солдатами Черниговского пехотного полка, восставшими под командой С. Муравьева, и отрядом генерала Гейсмара. Замечательно, что и в этом столкновении решающую роль сыграла артиллерия. „Приближаясь на известное расстояние к небольшому возвышению, из-за которого действовали два орудия, — говорится в рассказе „Белая Церковь“, записанном Ватковским со слов Соловьева, Быстржицкого и Мазолевского [2]), — Муравьев предложил рассыпать стрелков и под огнем их атаковать орудия. Но прежде, чем он это исполнил, открыли картечный огонь. С первых выстрелов Сергей Муравьев ранен картечью в левую часть черепа над глазом, и баталион его рассеялся“.

Николай мог теперь праздновать полную победу. И он отпраздновал ее по своему. Петропавловская крепость была переполнена арестантами, от которых всеми силами старались добиться, так называемых, чистосердечных признаний. „В полночь внезапно отпирались двери темниц, на узника набрасывали покрывало, безмолвно вели его через корридоры, дворы и проходы крепостные. Когда снимали покрывало, он находился уже в зале присутствия перед членами комиссии. Члены предлагали вопросы на жизнь или смерть, требовали ответов мгновенных и обстоятельных, обещали именем государя помилования за откровенность, отвергали оправдания, об'являя, что оные будут допущены впоследствии перед судом, вымышляя показания, отказывали иногда в очных ставках и часто, увлеченные своим рвением, прибегали к угрозам и поношениям, чтобы вынудить признание или показание на других. Кто молчал или по неведению происшествий, или от опасения погубить невинных, того в темнице лишали света, изнуряли голодом, обременяли цепями. Врачу поручено было удостовериться, сколько осужденный мог вынести телесных страданий“ [3]). Когда И. Д. Якушкин отказался выдавать своих товарищей, допрашивавший его Левашев воскликнул: „Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанности судьи и скажу вам, что в России есть пытка“. В применении к Якушкину пытка ограничилась только закованием в кандалы, но другим пришлось вытерпеть гораздо больше. Вот что рассказывает о Пестеле

---

[1]) Н. Бестужев. Op. Cit, Полярная Звезда, стр. 30.

[2]) Рассказ этот напечатан в „*Записках декабристов*“, выпуск второй и третий. стр. 165—181.

[3]) „*Разбор донесений тайной следственной комиссии*“, в „*Записках декабристов*“, стр. 104.

один из декабристов, видевший его перед казнью. „Он был после болезни, испытавши все возможные истязания и пытки времен первого христианства. *Два кровавые рубца на голове были свидетелями этих пыток!* Полагать должно, что железный обруч, крепко свинченный на голове, с двумя вдавленными глубокими желобами, оставили на голове его свои глубокие два кровавые рубца“ [1]).

Если бесчеловечная жестокость следователей поколебала мужество некоторых (очень немногих) второстепенных членов общества, то на огромное большинство их она совсем не произвела устрашающего действия. Донесение следственной комиссии приписывает почти каждому из них глубокое раскаяние. Но всякий, кто внимательно прочтет это донесение, убедится, что оно систематически искажает истину. Вот яркий пример, приводимый Герценом в его книге *„14-го декабря и император Николай“*: „Якушкину смертная казнь сведена на двадцать лет каторжной работы в уважение совершенного раскаяния. Между тем, раскаяние Якушкина состояло только в следующем: он сказал суду, что соглашался на цареубийство и сам решался на него, что следственно он должен быть осужден на казнь, и пусть его казнят, но что он более ничего говорить не будет. Император Николай сам его позвал и велел признаться. Якушкин и ему сказал то же, что перед судом. „Да знаешь ли перед кем ты стоишь?“ закричал государь. „За то, что ты государю не говоришь правды, если бы и я тебя помиловал, то на том свете Бог тебя не простит“.—„Да ведь я в будущую жизнь не верю“, отвечал спокойно Якушкин.—„Вон отсюда этого мерзавца“, закричал Николай и велел опять отвести Якушкина в тюрьму, дать ему катехизис, кормить его постным и ежедневно посылать к нему попа для назидания. — Вот и все раскаяние Якушкина“. Рылеев прямо заявил следственной комиссии, что честь четырнадцатого декабря принадлежит ему, и что он мог все остановить, но считал нужным побуждать к действию. Донесение комиссии и ему приписывает *„совершенное раскаяние и перемену образа мыслей“*. На эту клевету лучше всего отвечает следующее четверостишие Рылеева, написанное им (гвоздем на оловянном блюде) во время его заключения в крепости:

Тюрьма мне в честь, не в укоризну,
За дело правое я в ней,
И мне-ль стыдиться сих цепей,
Когда ношу их за отчизну?...

Верховный уголовный суд „признал и единогласно определил, что преступления, в актах означенные и собственным признанием подсудимых двукратно удостоверенные, подлежат все без из‘ятия смертной казни“. Такой приговор оставлял широкое место как „высоко монаршему милосердию“, так и „спасительной строгости“. После двукратного „всемилостивейшего“ вмешательства со стороны нового императора, он все-таки заключал в себе смертную казнь для пяти обвиняемых, а для остальных каторгу, ссылку, службу в солдатах с выслугой или без выслуги.

Приговор был об‘явлен подсудимым 13-го июля 1826 года. В этот день в караул при верховном суде был назначен целый эскадрон кавалергардов, которые, по словам одного из осужденных, смотрели на них с умилением и сожалением [2]).

Вот как описывает этот же осужденный смерть Рылеева и его товарищей.

[1]) „Воспоминание о Кронверкской куртине“ (из записок декабриста) в сборнике, напечатанном в Лейпциге и носящем странное заглавие: *„Революционные опыты возбуждающегося нигилизма“* (Sic). О рубцах на лбу Пестеля, см. стр. 303.

[2]) Воспоминания о Кронверкской куртине, вышеназванный сборник, стр. 291.

„В семь часов вечера того же 12-го июля [1]) пришли служители алтарей приготовить наших мучеников к смерти. В восемь часов им принесли саваны и цепи, грустно со стуком прозвеневшие. Потом все затихло. Усталость, изнеможение и душевные волнения этого дня всех прочих заставили приутихнуть, и эта торжественная тишина, только прерываемая беспрестанными повторениями плац-майора и плац-ад'ютанта не говорить с приговоренными к смерти, была поразительно величественна! Солдаты, прислуживавшие в номерах, чтобы не прерывать эту тишину, ходили на цыпочках. Они плакали. В два часа ночи в последний раз прозвенели цепи. Пятерых мучеников повели вешать в ров Кронверкской куртины. Сергей Муравьев-Апостол дорогою сказал громко провожавшему священнику, что вы ведете пять разбойников на Голгофу—и „которые, — отвечал священник, — будут одесную отца". Рылеев, подходя к виселице, произнес: „Рылеев умирает как злодей, да помянет его Россия!" Лейб гвардии Павловского полка капитан Степанов вел их на виселицу... Тогда же говорили в крепости, что веревки, на которых висели Рылеев и Бестужев-Рюмин, оборвались, и их снова в другой раз повесили [2]).

С тех пор прошло 75 лет, и много других казней видело наше несчастное отечество, много других жертв принесено было делу русской свободы! Но имена Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Петра Каховского и Михаила Бестужева-Рюмина останутся в памяти всех свободолюбивых русских людей, как имена первых из тех наших — увы! многочисленных — мучеников, которые жизнью заплатили за свои революционные стремления. Мы, социал-демократы, помним имена этих мучеников, по своему преследуя ту самую цель, к которой они стремились всем сердцем и всем помышлением. Но именно потому, что мы чтим в этих людях своих предшественников и хотим продолжать их дело, мы не имеем права закрывать глаза на то обстоятельство, которое помешало их *непосредственному успеху*. Это обстоятельство было указано еще Герценом: *у них не было* поддержки со стороны народа, „и судьба их дела решена" [3]). Я уже указал, что сословие, к которому принадлежали люди четырнадцатого декабря, было консервативно по самому положению своему. То дворянское меньшинство, которое сумело возвыситься над сословными предрассудками и сословными интересами, было слишком слабо для того, чтобы добиться осуществления своих идеалов. Это необходимо знать и помнить, потому что вся дальнейшая история русской революционной мысли—за самыми малыми исключениями—может быть формулирована как ряд попыток найти такую программу действия, которая обеспечила бы революционерам сочувствие и поддержку со стороны народной массы. Мы, социал-демократы, убеждены, что мы нашли такую программу. Беря за точку исхода непосредственные экономические интересы *трудящейся массы* и прежде всего ее наиболее передовой части: *пролетариата*—мы стараемся развить ее политическое самосознание и популяризировать в ней идею *борьбы за политическую свободу*. В этом заключается наша месть царизму за те жертвы, которые пали и падают под его ударами. Когда разовьется политическое самосознание русской трудящейся массы, тогда—и только тогда,— взойдет та „заря пленительного счастья", о которой говорит Пушкин в послании к Чаадаеву; тогда—и только тогда.—

Россия вспрянет ото сна
И свергнет иго самовластья!

---

[1]) Это очевидная ошибка, потому что исполнение приговора было предписано Сенатом 13-го июля.

[2]) „Воспоминания" и т. д., Ibid., стр. 295—296. На самом деле оборвалось не двое, а трое осужденных: Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол.

[3]) Четырнадцатое декабря, стр. 199.

Пессимизм П. Я. Чаадаева.

„Не оттого-ли мы довольствуемся сенями,
что история наша еще стучится в ворота?“

„Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку Телескопа... Я, разумеется, бросил все и принялся разрезывать Телескоп—„Философские письма“, писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти были писаны русским по-французски, т. е. что перевод. Все это скорее предубеждало меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать критику и смесь. Наконец, дошел черед и до письма. Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие и много испытанные жизнью, а не теорией... Читаю далее, письмо растет, оно становится мрачным, обвинительным актом против России, протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. Я раза два останавливался, чтоб отдохнуть и дать улечься мыслям и чувствам, и потом снова читал и читал... я боялся, не сошел ли я с ума. Потом я перечитал письмо Ватбергу, потом С., молодому учителю вятской гимназии, потом опять себе“...

Так описывает один из современников потрясающее впечатление, произведенное на него „Философским письмом“ Чаадаева. „Весьма вероятно,— прибавляет он,—что то же самое происходило в разных губернских и уездных городах, в столицах и господских домах“. Он сравнивает „Письмо“ с выстрелом, раздавшимся темною ночью: тонуло ли что и возвещало свою гибель, был-ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре, или о том, что его не будет—все равно, надобно было проснуться“.

Чаадаев написал очень мало. Но одним „Философическим письмом“ он сделал для развития нашей мысли бесконечно больше, чем сделает целыми кубическими саженями своих сочинений иной трудолюбивый исследователь России „по данным земской статистики“, или бойкий социолог фельетонной „Школы“. Вот почему знаменитое письмо до сих пор заслуживает самого серьезного внимания со стороны всех тех, кому интересна судьба русской общественной мысли.

Было время, когда о нем неудобно было говорить в печати. Это время прошло. Страсти, вызванные письмом, давным-давно улеглись, раздражение исчезло, оставляя место лишь историческому интересу и спокойному анализу в высшей степени замечательного литературного явления. О Чаадаеве уже не однажды заходила речь в нашей литературе; но, вероятно, еще долго нельзя будет сказать, что уже довольно говорили об этом человеке.

Чаадаев высказал в высшей степени печальный, совершенно безнадежный взгляд на Россию. Если держаться сравнения, сделанного цитированным

нами автором, то надо признать, что Чаадаев возвещал не об утре, а именно о том, что его никогда не будет.

„По нашему местному положению между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы соединить в себе два великие начала разумения: воображение и рассудок; должны бы возмещать в нашем гражданственном образовании историю всего мира. Но не таково предназначение, павшее на нашу долю. Опыт веков для нас не существует. Взглянув на наше положение, можно подумать, что общий закон человечества не для нас. Отшельники в мире, мы ничего не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разумения и исказили все, что сообщало нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве, ни одной великой истины не возникло из среды нас. Мы ничего не выдумали сами, и из всего, что выдумано другими, заимствовали только обманчивую наружность и бесполезную роскошь“.

Уже с самых первых веков нашего исторического существования мы стали спиной к общечеловеческому прогрессу. „Ведомые злою судьбой, мы... уединились в своих пустынях, не видя ничего происходившего в Европе. Мы не вмешивались в великое дело мира. Мы остались чужды высоким доблестям, которыми религия озарила новейшие поколения и которые в глазах здравого смысла возвышаются над Готтентотами и Лапландцами. В нас не развились эти новые силы, которыми она обогатила человеческое разумение; эта кротость нравов, потерявших свое первобытное зверство от покорности власти безоружной. Несмотря на название христиан, мы не тронулись с места, тогда как западное христианство величественно шло по пути, начертанному его божественным основателем. Мир пересоздавался, а мы прозябали в наших лачугах из бревен и глины. Коротко, — не для нас совершались новые судьбы человечества, не для нас, христиан, зрели плоды христианства“.

Даже в наружности русского есть что-то неопределенное, недоделанное. Наши лица немы, холодны, невыразительны. „Находясь в других странах и в особенности южных, где лица так одушевлены, так говорящи, я сравнивал не раз моих соотечественников с туземцами, и всегда поражала меня эта немота наших лиц“, замечает Чаадаев.

Нельзя сказать, чтобы Россия совсем не делала попыток сблизиться с образованными народами. „Некогда великий царь хотел нас образовать и, чтобы заохотить к просвещению, бросил нам мантию цивилизации. Потом другой великий государь приобщил нас своему великому посланию, проведши победителями с одного края Европы на другой“. Но не много хороших плодов принесло все это: мы приняли мантию цивилизации, но не коснулись просвещения; мы прошли просвещеннейшие страны света—и принесли домой одни дурные понятия, одни заблуждения. Если мы и принимали участие в общем движении человеческого разума, то лишь посредством слепого и поверхностного подражания передовым нациям. В ходе нашего образования нет никакой последовательности, никакой внутренней связи. „От этого вы найдете, что всем нам не достает некоторого рода основательности методов логики. Силлогизм Запада нам неизвестен. В наших лучших головах есть что-то большее, чем неосновательность“. Собственно говоря, у нас вовсе нет того общественного слоя, который существовал у всех цивилизующихся и цивилизованных народов, и о котором можно сказать: он думает за массу, в нем

сосредоточивается разум нации. „Где наши мудрецы, наши мыслители? Когда и кто думает за нас, кто думает в настоящее время?“

Трудно ожидать чего-либо великого от народа, который явился в мир, как незаконнорожденный ребенок, без наследства, без органической связи с предшественниками, не усвоив себе „ни одного из поучительных уроков минувшего“. Если в самой крови нашей есть, по мнению Чаадаева, что-то враждебное совершенствованию, то вряд ли можно думать, что мы станем когда-нибудь великим цивилизованным народом. Конечно, и наше существование не пройдет бесследно для человечества; оно послужит великим уроком отдаленному потомству. Но, во-первых, „кто знает когда это будет?“,— а, во-вторых,—наша история может оказаться поучительной в отрицательном смысле: указывая другим, более счастливым народам, к каким печальным последствиям приводит многовековое существование без всякой собственной мысли. Ведь и жизнь промотавшегося отца служит подчас уроком обманутому сыну. Это, повидимому, и разумел Чаадаев, говоря о нашем будущем назначении. Как бы там ни было, но он не сомневался, что в настоящем „мы принадлежим к нациям, которые не составляют еще необходимой части человечества“, более того: мы являемся „каким-то пробелом в порядке разумения“.

Дальше этого пессимизму, в применении к судьбе отдельного народа идти некуда. Человек, зараженный им, мог найти себе плодотворное, пожалуй даже великое дело, где-нибудь на чужбине, но у себя на родине ему нечего было делать. Ему оставалось, сообразно своему темпераменту, или холодно презирать свою страну, или горько оплакивать ее историческую негодность. И в том, и в другом случае его уделом было безысходное страдание, потому что для мыслящей и благородной личности, какою несомненно был Чаадаев, нет и не может быть большого несчастья, как полное отсутствие веры в историческую судьбу своего народа. И нет никакого сомнения в том, что автор „Философского письма“ был глубоко несчастлив. Для него не могло быть не только торжества или примирения, но даже самого бледного луча надежды на торжество или примирение. „Пряча страсть под ледяной корой“, осыпая насмешками своих знакомых и Москву, гордящуюся, как достопримечательностями пушкой, которая не стреляет, и колоколом, который свалился прежде, чем звонить, он медленно угасал, осужденный на невольное бездействие и до конца дней оставаясь „воплощенною укоризною“ своему отечеству. Это едва-ли не самое трагическое лицо в истории нашей—„интеллигенции“.

Цитированный нами младший современник Чаадаева, давший поистине художественную характеристику этой „печальной и самобытной фигуры“, изображает его безнадежный взгляд, как продукт тяжелых впечатлений, полученных им, по возвращении из-за границы, от того высшего общества, к которому он принадлежал по своим связям и с которым не мог разорвать окончательно, несмотря на все свое глубокое презрение к нему. От этого общества, действительно, странно было ждать обновления России.

Правда, в тогдашней молодежи показывались „иные всходы“, а в литературе начали раздаваться некоторые свежие голоса; но все это было в зародыше, „все это еще было скрыто, и не в том мире, в котором жил Чаадаев“. Разочарование было, таким образом, неизбежно.

Трудно возразить что-нибудь против такого об'яснения. И, тем не менее, оно все-таки недостаточно. Новые „всходы“ вряд ли утешили-бы Чаадаева даже в том случае, если бы ничто не скрывало их от него. Он, разумеется, обрадовался бы им, потому что они очень скрасили бы его печальное существование. Но это и все. Они не возбудили бы в нем широких надежд,

потому что были слишком слабы сравнительно с его требованиями. Доказательства налицо. Как человеку молодому и принимавшему самое близкое участие в том нарождавшемся идейном движении, о котором идет речь, автору цитируемых нами воспоминаний было бы гораздо естественнее проникнуться отрадными надеждами на светлое будущее, а между тем и он не раз вписывал в свой дневник самые безнадежные строки. „Поймут-ли, оценят-ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?— с отчаянием восклицает он... Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего мы ищем всяких наслаждений, пьем вино и пр...? отчего в минуту восторга не забываем тоски?... О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы уснем,—мы заслужили их грусть! Была-ли такая эпоха для какой-либо страны? Рим в последние века существования, и то нет... Там были святы воспоминания, было прошедшее; наконец, оскорбленный состоянием родины мог успокоиться на лоне юной религии, являвшейся во всей чистоте и поэзии. Нас убивает пустота и беспорядок в прошедшем, как в настоящем—отсутствие всяких общих интересов“...

„Сегодня я читал какую-то статью о „Мертвых Душах“ в „Отеч. Запис.“, там приложены отрывки,—пишет он в другом месте того же дневника. Между прочим русский пейзаж (зимняя и летняя дорога); перечитывание строк задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь — Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать. Долог сон, тяжел. За что мы проснулись—спать бы себе, спать, как все около!...“

„За что мы проснулись!“ Очевидно, человек, написавший эти строки, смотрел на свое пробуждение,—по крайней мере, когда писал их,— как на тяжелую кару. Такое настроение молодых „всходов“ не влило бы новой энергии в пожилого Чаадаева.

В каждой стране бывали такие эпохи, когда люди, очень далеко опередившие своих современников и потому чувствовавшие себя одинокими, впадали в тяжелое, а подчас и совершенно безнадежное, настроение. Достаточно прочитать предисловие, которое написал Гельвеций к своей книге „De l'Homme“, чтоб видеть, какие тяжелые сомнения овладевали французами времени Людовика XV. Гельвецию тоже жилось не очень весело и вольготно. Но его положение все-таки было существенно отлично от положения русских людей, видевших себя вынужденными сожалеть о своем пробуждении.

В самом деле, припомним, что говорит Гельвеций в указанном предисловии.

Его первая книга, „De l'Esprit“, навлекла на него гонения. Чтобы избежать их при издании своего нового сочинения, он собирался выпустить его под псевдонимом. Но пока он писал его, положение дел во Франции еще более изменилось к худшему, так что он уже не видел надобности спешить с обнародованием своего произведения: „болезнь, против которой я искал лекарства, стала неизлечимой, — говорит он, — я потерял надежду принести какую-нибудь пользу, и я откладываю до своей смерти издание этой книги“. Внутренний гнет окончательно подавил Францию; она уже не воспрянет к новой жизни. Ее умственное развитие насильственно прервано. „Счастье, подобно наукам, говорят, странствует по земле. Теперь оно направляется к северу, великие государи призывают туда гений, а с гением и счастье... Солнце юга гаснет; северное сияние горит самым ярким светом“.

Для Франции нет выхода. Гельвеций твердо убежден в этом. И ему, разумеется, не дешево досталось это убеждение. Но, если бы его спросили— как смотрит он на рошлое своей страны, то он при всей своей ненависти

к старому режиму и средневековым учреждениям, наверное, ответил бы, что Франция почти всегда шла во главе цивилизации. Чаадаев, наоборот, говорит, что Россия не принимала ни малейшего участия в общечеловеческом развитии. Это огромная разница. Пессимизм Чаадаева бесконечно глубже и потому несравненно безотраднее. Гельвеция привели в отчаяние некоторые „мероприятия“ Людовика XV. Но, ведь, французские философы XVIII века были убеждены, что la législation fait tout. С этой точки зрения не было, правда, ничего невероятного в той мысли, что данное правительство закрыло своему народу путь прогресса. Но с той же самой точки зрения было естественно предположить, что дело, испорченное правительством одного короля, может быть радикально исправлено правительством следующего царствования. Стоило только явиться „королю-философу“ à la Фридрих II,—и Франция снова могла оказаться во главе цивилизации. Таким образом, полному и безнадежному отчаянию в миросозерцании Гельвеция не было места. Не то с Чаадаевым. Мы уже знаем — к чему привела, по его мнению, деятельность императоров Петра и Александра I: мы усвоили внешность цивилизации и не коснулись просвещения. Наша отсталость причинена была не влиянием правительства на общество и началась не со вчерашнего только дня: ее причины лежат в *нас самих*, может быть даже в „*нашей крови*“, т. е. в особенностях нашей расы. Поэтому Чаадаева невозможно было бы ободрить надеждой на хорошее законодательство будущего времени. Он сказал бы, что с нами ничего не поделает и самый просвещенный законодатель. Чтобы поверить в Россию, ему нужно было бы совершенно другими глазами взглянуть на ее *прошлое и на ее внутренний быт*.

Цитированный нами друг и младший современник Чаадаева, вообще говоря, верил в будущность окружавших его новых „всходов“, но верил потому, что ему *хотелось* верить, а не потому, что у него были для этого какие-нибудь твердые основания. На прошлое России он смотрел — почти так же, как и Чаадаев. „Государственная жизнь допетровской России была уродлива, бедна, дика“—говорит он. „Ошибка славян (т. е. славянофилов) в том, что им кажется, что Россия имела когда-то свое свойственное ей развитие, затемненное разными событиями и, наконец, петербургским периодом. Россия никогда не имела этого развития и не *могла иметь*. То, что приходит теперь к сознанию у нас, то, что начинает мерцать в мысли, в предчувствии, то, что существовало бессознательно в крестьянской среде и на поле,—то теперь *только* всходит на пажитях истории. Эти основы нашего быта—не воспоминания, это живые стихии, существующие не в летописях, а в настоящем“.

На первый взгляд может показаться, что если симпатичные автору основы нашего быта не *воспоминания*, а живые *стихии*, то тем лучше и для основ, и для людей, им сочувствующих. Но не надо забывать, что, по мнению того же автора, эти стихии не имели никакого внутреннего, самобытного развития. „Оне только уцелели под трудным историческим вырабатыванием государственного единства. Только сохранились, но не развились“. А этого слишком еще мало, чтобы обеспечить народу отрадную будущность. „Непосредственных основ быта недостаточно. В Индии до сих пор испокон века существует сельская община, очень сходная с нашей и основанная на разделе полей; однако индейцы с ней недалеко ушли“. Автор сильно сомневается в том, чтобы дорогие ему основы могли развиваться благодаря действию своих внутренних сил. Если их будущее обеспечено, то лишь — благодаря „петровскому периоду“, благодаря притоку к нам „европейского образования“.

Но кто же был носителем этого образования в России тридцатых и сороковых годов? Те самые „всходы“, о которых уже говорил наш автор. Значит,

все будущее „основ“ приурочивалось к будущему „всходов“: созревают всходы,— разовьются и основы, а убьет всходы морозом или засухой,—основы погибнут или останутся, подобно индейским основам, недоразвитыми и недоделанными.

Много ли шансов на пышный расцвет было у всходов? Мы уже знаем, что мало; мы уже видели, с какою болью спрашивал себя один из самых блестящих представителей этих всходов: „За что мы проснулись?“ Следовательно, и у „всходов“ было достаточно оснований для пессимизма, гораздо более глубокого и мрачного, чем пессимизм Гельвеция.

Но положим, что молодость брала свое и что, поэтому, всходы не видели смертельной опасности для себя со стороны мороза или засухи. Тогда все-таки оставался еще не разрешенный и трудно разрешимый вопрос: каким именно путем всходы получат воспитательное влияние на основы; каким образом европейски-образованные люди приобретут доверие народной массы и ее поддержку, безусловно необходимую для осуществления их широких планов? Наше прошлое давало на этот счет весьма поучительные и печальные уроки. Так было по крайней мере, по словам нашего автора. Хорошие „всходы“ появились уже во второй половине XVIII-го века. Уже тогда были у нас действительно просвещенные люди, но они явились, говорит наш автор, „бессильными искупителями, неповинными страдальцами за грехи отцов. Многие из них были готовыми все отдать, всем пожертвовать, но не было алтаря, некому было принять их жертву“. Некоторые стучались даже в крестьянскую избу, но и там были непоняты, „крестьянин смотрел сурово и недоверчиво на этих дары несущих Данайцев, и с горестью отходили от него раскаивающиеся, сознавая, что у них нет родины“. Словом, плохая им досталась доля.

На каком же основании можно было думать, что всходы тридцатых годов нынешнего столетия ожидает лучшая судьба? Крестьянин еще ничем не заявил своего доверия к ним. Это прекрасно сознавал наш автор, и из-под его пера выходили, подчас например, такие признания: „Наше состояние безвыходно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей“. Настроение, вызванное *таким* взглядом на свое состояние, не могло не быть много безнадежнее настроения, вызванного в свободолюбивом французском философе некоторыми неприятными для него распоряжениями „законодателя“.

Славянофилы, повидимому, не могли ни на минуту сомневаться в судьбе „*основ*“. У них было так много „воспоминаний“ и так много надежд. Правда, петровский переворот расколол Россию на две части, из которых одна,—высшее сословие, совершенно утратила народную физиономию. За этот раскол дорого поплатилась вся страна. Но теперь в высшем сословии начинается спасительный поворот к народным началам. Образованная Россия начинает сознавать и стремится искупить грех своей безнародности. Поэтому мы можем не бояться теперь за будущее России. Оно как нельзя более отрадно. „Мы будем подвигаться вперед смело и безошибочно, занимая случайные открытия Запада, но придавая им смысл более глубокий, или открывая в них те человеческие начала, которые для Запада остались тайной, спрашивая у истории церкви и ее законов светил путеводительных для будущего нашего развития, и воскрешая древние формы нашей жизни русской, потому что оне были основаны на святости уз семейных и на неиспорченной индивидуальности нашего племени“ [1]). *Теперь „нам стыдно было бы не перегнать Запада“.*

Интересно, что, между тем как Чаадаев не видел ничего отрадного в *нашей* истории, славянофилы, наоборот, крайне отрицательно относились к

[1]) См. Полное Собрание сочинений А. С. Хомякова, т. I, стр. 377.

истории Запада, а в русском историческом развитии видели проявление какой-то особой полноты народного духа. „Англичане, французы, немцы— пишет А. С. Хомяков,—не имеют ничего хорошего за собой. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей между собою... Западным людям приходится все прежнее отстранять, как дурное, и все хорошее себе создавать; нам довольно воскресить, уяснить—старое, привести его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее“.

Казалось бы, ничего не может быть оптимистичнее подобного взгляда. Его можно поставить в параллель со взглядом французов, которые были убеждены, что Франция шла, по крайней мере до известного времени, во главе цивилизации. Но уже при ближайшем рассмотрении параллель оказывается далеко не полной. В XVII и XVIII веке можно было думать, что „la législation fait tout“. В девятнадцатом—наука выяснила, что сама „législation“ является результатом внутреннего развития народа. Следовательно, теперь надежды на будущее должны были в последнем счете приурочиваться не к деятельности „законодателя“, которая сама есть следствие, а не причина, а к внутренней логике общественной жизни. С славянофильской точки зрения русская общественная жизнь представлялась, правда, очень богатой внутренним содержанием. Но замечательно, что даже славянофилы, не боявшиеся никаких преувеличений и никаких натяжек, не умели сказать, в чем же состояло развитие тех богатых начал, которыми они восхищались так громко и, вероятно, искренно. Как ни хороши были „начала“, но они, по признанию того же Хомякова, были подавлены и уничтожены „отсутствием государственного начала, раздорами внутренними, игом внешних врагов“, и, кроме того, разумеется, безнародной образованностью петербургского периода. Таким образом, воскресить старые начала оказывалось делом не совсем легким. Тем более не легким, что и „уяснить“-то себе „старое“ у нас, в эпоху споров „о старом и новом“, удалось только славянофильскому кружку, т. е. очень немногим. Этим немногим нужно было не только возвратить к народности сбившееся с дороги образованное общество, но и „провести“ сознание „в жизнь“, т. е. приобрести решающее влияние на последующее русское законодательство. Дело по-истине колоссальное предстояло сделать с самыми ничтожными средствами. Будущее России и у славянофилов оказывалось приуроченным к судьбе некоторых „всходов“, т. е. известного течения в тогдашней нашей интеллигенции. Но при тогдашних обстоятельствах в этой судьбе не мог быть прочно уверен ни один из славянофилов. „Наш девиз—taceamus igitur“, сказал как-то в небольшом кружке Хомяков. Это была, конечно, шутка. Но в этой шутке отразилось нечто очень серьезное. Потому и нельзя удивляться, что даже и крайне оптимистический взгляд на русскую историю не спасал славянофилов от тяжелого уныния. „Человек этот, говорит об Иване Киреевском цитированный нами автор воспоминаний, глубоко перестрадал вопрос о современности Руси, слезами и кровью купил разрешение... Он страдает — и знает, что страдает, и хочет страдать, не считая себя в праве снять крест тяжелый и черный, наложенный фатумом на него“.

И так, даже славянофильский оптимизм не мог отделаться от значительной примеси пессимизма.

Пессимизм в том смысле этого слова, какой мы придаем ему здесь, есть старинная болезнь нашей интеллигенции. Первое, известное пишущему эти строки, проявление этой болезни относится к февралю 1660 года.

Почему именно к февралю, и почему именно того года? А потому, что тогда случилось некоторое, весьма знаменательное, происшествие. Сын думного дворянина и воеводы Афанасия Лаврентьевича Ордына-Нащокина, будучи послан к своему отцу с поручением от царя Алексея Михайловича, бежал заграницу. Побег совершился без всякого внешнего повода: и выдающееся положение его отца, и милостивое внимание государя, и собственные выдающиеся способности,—все сулило Воину (так звали молодого Нащокина) счастье и блестящие успехи. Ему несомненно предстояло дойти до степеней очень известных, а он предпочел сделаться бездомным скитальцем. Чистейшее безумие! Так и поняли это друзья и недруги Афанасия Лаврентьевича. Но безумие Воина было так необыкновенно, что современникам трудно было об'яснить его себе иначе, как нарочитым вмешательством нечистой силы. „Учинилось нам ведомо, писал царь удрученному горем отцу, что сын твой попущением Божиим, а своим безумством об'явился в Гданске (Данциге), а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил, и тоя ради печали, приключившейся тебе, от самого сатаны, и мню, что и от всех сил бесовских, изшедшу сему злому вихрю и смятоша воздух аерный, и разлучиша и отторгнуша напрасно сего доброго агнца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца и пастыря своего. И мы, великий государь, и сами по тебе, верном своем рабе, поскорбели приключившейся ради на тя сея горькие болезни и злого оружия, прошедшего душу и тело твое; ей, велика скорбь и туга истинно“ и т. д. Вместе с тем тишайший государь наказывал „Афанасью“, чтобы тот „о сыне своем промышлял бы всячески, чтоб его, поймав, привести к нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей; а если его таким образом промышлять нельзя и если Афанасью надобно, то сына его извести бы там, потому он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями“. Дело принимало, как видит читатель, совсем трагический оборот.

Впоследствии это уладилось: беглец просил прощение и получил его. Но чем собственно вызвано было это дело? И почему сатане удалось обработать именно молодого Нащокина, а не кого-нибудь другого?

„Воин уже давно был известен, как умный и распорядительный молодой человек, во время отсутствия отца занимал его место в Царевиче Дмитриеве городе, вел заграничную переписку, пересылал вести к отцу и в Москву к самому царю. Но среди этой деятельности у молодого человека было другое на уме и на сердце: сам отец давно уже приучил его с благоговением смотреть на Запад постоянными выходками своими против порядков московских, постоянными толками, что в других государствах иначе делается и лучше делается. Желая дать сыну образование, отец окружил его пленными поляками, и эти учители постарались, с своей стороны, усилить в нем страсть к чужеземцам, нелюбье к своему, воспламеняли его рассказами о польской „воле“. В описываемое время он ездил в Москву, где стошнило ему окончательно, и вот, получив от государя поручения к отцу, вместо Ливонии он поехал заграницу, в Данциг, к польскому королю, который отправил его сначала к императору, а потом во Францию“ [1]).

Молодой Нащокин оказался государственным изменником. Это очень плохо; но государственная измена—совершенно случайный элемент в его истории. Если бы он своевременно принял меры для передачи в руки отца бумаг, вверенных ему государем, то его можно было бы, с точки зрения на-

[1]) С. Соловьев. „История России с древнейших времен“. Том одиннадцатый, издание второе, стр. 84 и сл.

ших современных государственных понятий, обвинять разве лишь в самовольном оставлении службы и отечества.

Разумеется, никто не похвалит и за подобное самовольство; но всякий согласится, что тогда гораздо больше симпатии заслуживал бы молодой человек, пораженный странной, прежде неслыханной в Москве болезнью.

В самом деле, рассказы о заграничной жизни и прежде не раз смущали наших бояр. Побеги в Литву были нередким в Московской Руси явлением. Но настроение молодого Нащокина едва-ли имело много общего с настроением беглецов прежнего времени. Их не „тошнило“, как его, вообще от московских порядков. Они искали за рубежем не просвещения, а разве только аристократической боярской „воли“. Они были недовольны частностями; он возмущался всем складом допетровской русской жизни. Молодой Нащокин был первой жертвой умственного влияния Запада на Россию.

Гельвеция и его единомышленников тоже „тошнило“ подчас в современной им Франции. Случалось и им от'езжать заграницу. Но где бы ни искали они себе временного приюта; как бы ни были горьки упреки, которые они посылали своей стране, духовный разрыв с ней был для них психологически невозможен.

Они оставались французами, потому что их идеи, как ни расходились со взглядами большинства тогдашних французов, были идеями французскими par excellence. Оне были порождены французскими общественными отношениями, и именно потому оне, даже в самые тяжелые для них проповедников эпохи, были во Франции дома больше, чем где-нибудь. Увлекавшиеся ими иностранцы сами были в значительной степени офранцужены. У нас не то. Идеи, разбудившие Нащокина, были продуктом совершенно чужой жизни; оне не имели в себе ничего русского ни по форме, ни по содержанию. Человек, увлекшийся ими, делался иностранцем ровно настолько, насколько он ими увлекался, и его естественно тянуло в чужие края. Со времени Петра приток иностранных идей к нам совершался почти без перерыва; не прекращалось поэтому и то смятение воздуха аерного, которое оплакивал Алексей Михайлович; не прекращалась и та умственная денационализация просвещенных русских людей, которой впоследствии так возмущались славянофилы. Не все эти люди, разумеется, покидали Россию, но все чувствовали себя „вне народных потребностей“, все являлись, по выражению автора вышецитированных воспоминаний, „иностранцами дома, иностранцами в чужих краях“; все представляли собою „какую-то умную ненужность“. Был', правда, в двадцатых годах XIX столетия период, когда просвещенных русских людей не только „тошнило“ в их стране, когда они твердо верили, что им скоро удастся пересоздать русскую жизнь сообразно тем идеям, которые они усвоили с Запада. Но этот период скоро миновал, людей александровского времени постигла тяжелая неудача,—и просвещенным русским людям опять ничего не осталось, кроме „тошноты“. Чаадаев вполне, без всяких смягчений и оговорок, признал бы себя „умною ненужностью“. Что же касается славянофилов и западников сороковых годов, то хотя они и старались всеми силами своей души и всеми усилиями своей логики отговориться от такого сознания, но оно не раз навязывалось им против воли, и не раз им приходилось чувствовать себя вне народных потребностей.

М. П. Погодин и борьба классов.

I.

Я не могу подробно рассматривать здесь вопрос об отношении М. П. Погодина к славянофилам, но не могу и обойти его молчанием. Ограничусь самым существенным.

Очень распространено то мнение, — главным представителем которого следует признать покойного А. Н. Пыпина,—что взгляды М. П. Погодина и близкого к нему С. П. Шевырева коренным образом отличаются от славянофильства, собственно так называемого. И неоспоримо то, что в пользу такого мнения можно привести некоторые очень веские доводы. Первое место между ними, конечно, принадлежит свидетельству самого М. П. Погодина: „Я стою,— говорил он:—между Востоком и Западом с большим склонением к Востоку [1]). Это свидетельство представляется неотразимым, и неудивительно поэтому, если биограф М. П. Погодина, Н. Барсуков, принимает и повторяет его без оговорок [2]).

Почти таким же убедительным кажется и то обстоятельство, что славянофилы, собственно так называемые, не принимали почти никакого участия в органе Погодина и Шевырева—„Москвитянине". Когда у них явилось желание сделать этот орган своим,—как это было в 1845 г.,—они прежде всего позаботились о том, чтобы взять его редакцию в свои руки. А когда они увидели себя вынужденными отказаться от редактирования „Москвитянина",— что произошло, как известно, очень скоро,—то они снова почти совсем перестали писать в нем. Наконец, один из самых видных членов славянофильского кружка, — а, пожалуй, и самый выдающийся между ними,— А. С. Хомяков, однажды, на вечере у Н. Ф. Павлова, сказал о Погодине: „Он не наш" [3]). Казалось бы, о чем же и разговаривать? Вопрос решен.

Но в том-то и дело, что его решение отнюдь не может быть признано окончательным. Его необходимо пересмотреть, потому что доводы, лежащие в его основе, убедительны более по внешности, чем по существу.

Возьмем хотя бы только что приведенный мною отзыв Хомякова о Погодине. Как понял его этот последний? Он понял его, как выражение досады, вызванной в Хомякове рецензией на славянофильский „Московский Сборник" (1846 г,), появившейся в „Москвитянине", написанной им, Погодиным, и заключавшей в себе не лишенную меткого юмора характеристику того же Хомякова. По этому поводу он записал в своем дневнике (15 ноября 1846 г.): „Рецензия, видно, не понравилась, а толкует о подчинении личности" [4]).

---

[1]) Жизнь и труды М. П. Погодина. Николая Барсукова. Книга вторая. Издание второе. Спб., 1904 г., стр. 224.

[2]) См., например, пятую книгу его вышеназванного сочинения, стр. 457.

[3]) Н. Барсуков, назв. соч., книга VIII, стр. 321.

[4]) Там же, та же книга и страница.

Спрашивается, что же было бы обидного для него в отзыве Хомякова, если бы он в самом деле полагал о себе, что держится между славянофилами и западниками, хотя и „с большим склонением к Востоку“? Кто держится между двумя, один другому враждебными, лагерями, того не считают своим ни в одном из них. Это естественно, и обижаться тут не за что. Если же Погодин, тем не менее, обиделся, то приходится предполагать, что сделанное им заявление о своей непринадлежности ни к „Западу“, ни к „Востоку“ надо понимать cum grano salis: недаром же оно смягчилось у него признанием в своем „большом склонении к Востоку“. Очень возможно, что на самом-то деле Погодин считал себя принадлежащим именно к „восточному“ лагерю, но не хотел говорить об этом по какой-нибудь частной причине, например, из самолюбия,—в данном случае, заметьте, совершенно извинительного. Хомяков, братья Киреевские и их ближайшие единомышленники всегда старательно избегали полного сближения с ним и с Шевыревым. Он, конечно, видел это и не мог не испытывать некоторого чувства горечи, если не обиды. А под влиянием этого чувства, он мог сделать такие заявления, которые и в голову не пришли бы ему при других условиях. Это humanum est!

Чем об‘ясняется указанное отношение к Погодину и Шевыреву славянофилов собственно так называемых? Об этом ниже. Теперь же скажу одно. Для его об‘яснения мы совсем не обязаны предполагать какие-нибудь существенные разногласия между этими двумя группами писателей. Совершенно достаточно того предположения, что тут были простые оттенки одной и той же мысли, оттенки почему-либо неприятные или неудобные для одной из сторон. Эти оттенки могли быть вызваны различием происхождения, воспитания, привычек, вкусов, манер и т. д. Не имея существенного значения в теории, оттенки эти могли иметь большое влияние в области практических отношений. А так как в этой области самое важное место занимала писательская деятельность двух групп, нам нельзя было бы удивляться, видя, что славянофилы мало пишут в „Москвитянине“, или слыша, что Хомяков называет Погодина „не нашим“.

II.

Однако, довольно предположений. Взглянем на то, что мы знаем.

Говорят, что Погодин являлся теоретическим представителем официального учения о народности. Пусть будет так. Но далеко ли расходилось это учение с учением Хомякова и бр. Киреевских? В этом весь вопрос.

„Москвитянин“ стал выходить в 1841 г. В первой же книжке его напечатана была статья С. П. Шевырева: „Взгляд русского на образование Европы“. В ней мы встречаем, например, такие рассуждения.

„Франция и Германия были сценами двух величайших событий, к которым подводится вся история нового Запада, или, правильнее, двух переломных болезней, соответствующих друг другу. Эти болезни были—реформация в Германии, революция во Франции; болезнь одна и та же, только в двух разных видах. Мы думаем, что эти болезни уже прекратились. Нет, мы ошибаемся. Болезнями порождены вредные соки, которые теперь продолжают действовать и которые, в свою очередь, произвели уже повреждение органическое и в той, и в другой стране, признак будущего саморазрушения. Да, в наших искренних, дружеских, тесных сношениях с Западом мы не приме-

чаем, что имеем дело как будто с человеком, носящим в себе злой, заразительный недуг, окруженным атмосферою опасного дыхания. Мы целуемся с ним, обнимаемся, делим трапезу мысли, пьем чашу чувства... и не замечаем скрытого яда в беспечном общении нашем, не чуем в потехе пира будущего трупа, которым он уже пахнет! Он увлек нас роскошью своей образованности" и т. д., и т. д. [1]).

Разврату смертельно больного Запада противопоставляются „коренные русские чувства, составляющие залог нашего будущего развития". Их три: „чувство религиозное", „чувство государственного единства" России и чувство,—у Шевырева сказано: „сознание",—„нашей народности" [2]). Как же отнеслись к этому противопоставлению читатели?

Статья Шевырева чрезвычайно понравилась в Петербурге. От нее, как и от всего „Москвитянина", повеяло на „высшие сферы" духом образцовой благонамеренности. Погодин, находившийся в Петербурге в феврале того же (1841) года, писал оттуда Шевыреву:

„Напишу тебе о журнале. Такой эффект произведен в высшем кругу что чудо: все в восхищении и читают наперерыв. Графиня Строганова, Вьельгорский, Протасов, Барант, Уваров... Твоя Европа сводит просто с ума" [3]).

Из другого источника Шевырев узнал, что „Москвитянин" в Петербурге в такой славе, что министерство юстиции положило подписаться" [4]).

Все это нисколько неудивительно, так как „Взгляд" Шевырева был именно взглядом тогдашнего „высшого круга". Пресловутый С. С. Уваров, автор известной триады: „Православие, самодержавие, народность", не мог встретить статью Шевырева иначе, как с величайшим удовольствием. Отрицательное отношение Шевырева и Погодина к Западу нигде не сказалось так резко, как во „Взгляде Русского". Нечего и говорить, что в лагере западников „Взгляд" встречен был с негодованием [5]). Иначе отнесся к ней теоретик славянофильства А. С. Хомяков. Находя, что первая книжка „Москвитянина" составлена не хорошо, он прибавлял „хотя Шевырева статья славная" [6]). Один только недостаток увидел он в ней: „журналистической ухватки нет" [7]). Надо согласиться, что отсутствие „журналистической ухватки" действительно составляет большой недостаток в журнале. Но если А. С. Хомяков увидел в статье Шевырева один этот недостаток, то совершенно ясно, что никакого принципиального разногласия между этими двумя писателями не было. А это значит, что славянофильство А. С. Хомякова совпадало с „официальной народностью" издателей „Москвитянина" в таком коренном вопросе, как вопрос об отношении России к

---

[1]) См. шестую книгу барсуковской биографии Погодина, стр. 10 и след., где приведены обширные выписки из этой статьи.

[2]) Там же, стр. 15.

[3]) Там же, стр. 27.

[4]) Там же, та же стр.

[5]) По поводу статьи Ф. Н. Глинки (в „Московских Ведомостях"), одобрившего „Взгляд" Шевырева, Белинский восклицал: „Как можно писать и печатать подобные вещи в 1841 году от Р. Х.?... Помилуйте! Да, ведь, это хула на науку и на искусство, на все живое, человеческое, на самый прогресс человечества!" и т. д. (Сочинение В. Г. Белинского, издание 4-ое, т. V, стр. 382).

[6]) Курсив мой.

) Барсуков, там же, кн. VI, стр. 59.

Западу [1]). Другими словами: славянофильство А. С. Хомякова могло отличаться от „официальной народности“ Погодина и Шевырева теми или иными видовыми признаками, но эти два учения имели одинаковые родовые признаки.

Другой факт или, — как выразились бы Погодин и славянофилы,— другая быть.

В феврале 1845 г.,—т.-е в период сильного обострения вражды между славянофилами и западниками,—появилась в „Московских Ведомостях“ статья, озаглавленная: „О Бретани и ее жителях“, но направленная собственно против славянофильской идеализации застоя. Статья эта, принадлежавшая, говорят, Г. Ф. Коршу, произвела довольно сильное впечатление в „восточном“ лагере. Погодин отвечал на нее в „Москвитянине“. Но прежде чем напечатать свой ответ, он прочел его Хомякову, И. Киреевскому, Языкову и даже Аксаковым. Все они были, как замечает он в своем дневнике (от 3-го марта), „в восхищении“. Его ответ был, по его выражению, „признан торжественно настоящею profession de foi славянофилов“ [2]). А, между тем, в ответе своем Погодин излагал те самые мысли, которые составляют главнейшее теоретическое содержание его „официальной народности“. Правда, он отзывается здесь о Западе очень мягко.

„На нас разносят клевету,—говорит он:—будто мы не уважаем Запада. Нет, мы не уступим нашим противникам в этом чувстве уважения; мы изучали Запад, по крайней мере, не менее их; мы дорого ценим услуги, оказанные им человечеству; мы свято чтим тяжелые опыты, перенесенные им для общего блага; мы питаем глубокую благодарность за спасительные указания, которые сделал он своим собратиям; мы сочувствуем всему прекрасному, высокому, чистому, где бы оно ни проявлялось—на Западе и Востоке, Севере и Юге; но мы утверждаем, что старых опытов повторять не нужно, что указаниями пользоваться должно, что не все чужое прекрасно, что время оказало на Западе многие существенные недостатки, что, наконец, мы должны иметь собственный взгляд на вещи, а не смотреть по-прежнему глазами французов, англичан, итальянцев, пруссаков, австрийцев, баварцев, венгерцев и турок. Ясно ли теперь для читателей, что эту клевету разносят на нас напрасно?“ [3]).

Турки пристегнуты здесь, где речь идет исключительно об отношении к Западу, вероятно, только для красоты слога. Но если устранить ненужность „турок“, то погодинская тирада становится „ясной“, преимущественно в том смысле, что „ясно“ свидетельствует о сознании им невозможности сохранения позиции, занятой в этом вопросе его другом Шевыревым. Иное дело „будущий труп“, распространяющий вокруг себя ядовитое зловоние,—вспомните „Взгляд“ Шевырева,—а иное дело „многие существенные недостатки“, по поводу которых высказывается та неоспоримая мысль, — точнее сказать: избитое общее место, — что „не все чужое прекрасно“. Тут—дистанция огромного размера. Скажут, пожалуй: „она-то, эта огромная дистанция, отделявшая ответ Погодина Коршу от шевыревского „Взгляда“, и делает понятным для нас, почему славянофилы признали этот ответ своей profession de foi“. Но это—неоснова-

---

[1]) Младшее поколение славянофилов,—например, Ю. Ф. Самарин и К. С. Аксаков,—совсем не одобрили статьи Шевырева. Самарин писал Аксакову: „Кстати, что Шевырев наговорил в своем „Взгляде Русского на современную образованность Европы?!“ (Барсуков, там же, стр. 61). Но в то время младшее поколение славянофилов само находилось под весьма значительным влиянием западничества. Стало быть, оно здесь в счет не идет. А впоследствии оно само подвинулось к „Востоку“ Погодина.

[2]) Барсуков, там же, кн. VIII, стр. 50 и 51.

[3]) Барсуков, там же, та же кн., стр. 55—56.

тельное соображение. Его может признать убедительным только тот, кто позабудет, что дикий „Взгляд“ Шевырева был одобрен самим А. С. Хомяковым („статья славная“). Стало быть, если Погодин и отступил,—а это вне всякого сомнения,—то отступил с ним и Хомяков. Все это несомненное отступление надо рассматривать, как доказательство того, что не остался без результата сильный артиллерийский огонь, которым „западные“ батареи ответили на вызов, содержавшийся в статье Шевырева. И только. К вопросу о том, как относилась „официальная народность“ издателей „Москвитянина“ к учению славянофилов, отступление Погодина прямого касательства не имеет. Косвенно же оно скорее опровергает, чем подтверждает ходячее представление о том, что славянофильство существенным образом отличалось от учения Шевырева и Погодина.

III.

Прочтем еще один отрывок из погодинского ответа.

„Напрасно взводят на нас клевету, будто мы поклоняемся нечестиво неподвижной старине. Нет, неподвижность старины нам противна столько же, как и бессмысленное шатание (?) новизны. Нет, не неподвижность, а вечное начало, русский дух, веющий нам из заветных недр этой старины, мы чтим богобоязненно и усердно молимся, чтобы он никогда не покидал святой Руси, ибо только на этом краеугольном камне она могла стоять прежде и пройти все опасности, поддерживается теперь и будет стоять долго, если Богу угодно ее бытие“. Эти строки, весьма замечательные по своему теоретическому содержанию, одинаково характерны как для Погодина с Шевыревым, так и для славянофилов, одобривших погодинскую статью. „Неподвижность старины“ Погодину противна. Но в то же самое время он признает и горячо отстаивает вечность некоего „начала“, будто бы „веющего нам из заветных недр“ той же самой старины. Существует ли на самом деле какое-нибудь вечное начало? Да, существует: вечное движение, эта „бессмертная смерть“.

Вечное движение означает,—как это прекрасно выразил Н. Г. Чернышевский,—„вечную смену форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усилия того же стремления, высшего развития того же содержания“. Но именно поэтому не может быть вечным ни одно из „начал“, веющих нам „из недр старины“, хотя бы „недра“ эти и казались „заветными“ тем или другим из нас. Бессмертие движения обусловливает собою неизбежность смерти каждого из таких начал, являющихся его, более или менее длительными, результатами. Но этого никогда не понимали ни Погодин с Шевыревым, ни славянофилы в тесном смысле слова. И те, и другие стремились увековечить известное, дорогое для них, начало общественной жизни. И это начало было у Погодина с Шевыревым совершенно то же, что у славянофилов. Мы сейчас увидим, к чему сводилось оно.

Погодин продолжает: „старина драгоценна нам, как родимая почва, которая упитана, не скажу кровью,—кровью упитана западная земля,—но слезами наших предков, перетерпевших и варягов, и татар, и Литву, и жестокости Иоанна Грозного, и навождение легионов духов (?!), в сладкой, может быть, надежде, что отдаленные потомки вкусят от плода их трудной жизни, а мы немысленные [1]), мы хотим только плясать на их священных моги-

[1]) Курсив у Погодина.

лах, радуемся всякому пустому поводу, ищем всякого предлога, даже несправедливого, надругаться над их памятью, забывая пример нечестивого Хама, пораженного на веки-веков, в лице всего потомства, за свое легкомыслие" [1]). Не занимаясь устрашающим примером нечестивого Хама, обратим внимание на об'яснение того, почему собственно „старина драгоценна нам".

Из слов Погодина выходит, что мы дорожим ею в особенности потому, что она тесно связана с родимой почвой, а эта почва упитана слезами наших предков. Именно слезами, а не кровью; Погодин оговаривает это „Кровью упитана западная земля". Наши предки оказываются у него удивительно слезливыми. Они плачут и ограничиваются плачем даже тогда, когда другие народы проливают кровь, т. е. ведут войну: во время неприятельских нашествий. Можно подумать, что русские люди стали практиковать непротивление злу насилием более, чем за тысячу лет до того, как Л. Толстой выступил с проповедью этого принципа [2]). Это так невероятно, что, конечно, и сам Погодин удивился бы (а, пожалуй, даже и огорчился бы), если бы этому кто-нибудь поверил. Наш автор слишком далеко зашел в своем лирическом порыве. На самом деле, его противопоставление русских „слез" западно-европейской „крови" имеет лишь тот смысл, что в жизни западно-европейского общества играла решающую роль внутренняя борьба, у нас же такой борьбы не было. Отсутствие у нас внутренней борьбы и представлялось Погодину,—а также и всем славянофилам,—самой главной отличительной чертой нашей истории, тем „вечным началом", которое ему хотелось увековечить, тем „русским духом", который веет нам из заветных недр старины. Погодин готов был помириться со многими новшествами,—он доказал это в начале царствования Александра II,—но только не с такими, введение которых вызвало бы внутреннюю борьбу. Сочувствовать таким новшествам значило, в его глазах, отречься от „русского духа", наругаться над памятью предков, хотеть плясать на их священных могилах и т. д., и т. д. И во всем этом с ним всегда и совершенно соглашались все славянофилы. „Краеугольным камнем" их учения служил тот же самый взгляд на Россию, как на такую страну, в общественном развитии которой отсутствовал элемент внутренней борьбы. Мы ничего не поймем в славянофильстве, если упустим это из виду. И наоборот, даже философские взгляды славянофилов,—вообще представляющиеся довольно запутанными и туманными,—обнаруживают свое „достаточное основание" и потому становятся вполне ясными и стройными, как только мы взглянем на них с этой точки зрения [3]).

IV.

Коршу, сказавшему в своей статье, что „Средний век не существовал для нашей Руси, потому что и Русь не существовала для него",—Погодин возражает:

---

[1]) Барсуков, кн. VIII, стр. 56.

[2]) Впрочем только одна часть наших предков. Так как „перетерпеть" пришлось нам, по словам Погодина, также и от Литвы, и так как в Литве преобладало русское население, то западная Русь, очевидно, не обладала слезливой добродетелью, воспетою Погодиным.

[3]) Некоторые считают славянофилов гегельянцами. Это огромная ошибка. Славянофилы изучали,—да и то не все,—Гегеля. Но влияние этого мыслителя толкало их не на Восток, а на Запад. Пока некоторые из них поддавались ему, они не были настоящими славянофилами. Славянофильство было перенесенным в область историософии отрицанием души гегелева учения: его диалектики.

„Средний век у нас был... как и в западной Европе, но только под другой формой; тот же процесс у нас совершался, как и там; те же задачи разрешались, только посредством других приемов: те же цели достигались, только другими путями. Это различие и составляет собственно занимательность, важность русской истории для мыслящего *европейского* [1]) историка и философа" [2]). Христианство введено было и у нас, но только не так, как на Западе: там вводили его мечом, а у нас крестом. И мы, подобно Западу, перешли от разделения и сопровождавших его междоусобий к централизации и единодержавию. Но на Западе было феодальное „тиранство", а у нас „было значительное самоуправление, патриархальная свобода, было семейное равенство, было общее владение, была мирская сходка" [3]). На этом основании Погодин утверждает, что мы уже „в Среднем веке" осуществили в своей общественной жизни то, к чему Запад начал стремиться только в новой и в новейшей истории. „Одним словом,—говорит он:—в Среднем веке было у нас то, о чем так старался Запад уже в Новом, не успел еще в новейшем, и едва ли может успеть в будущем" [4]).

Эти замечательные строки приводят на память знаменитое рассуждение Ю. Самарина о том, что Запад выражает теперь требование общины, и что так как община у нас существует, то „в оправдание формулы мы приносим быт". Но это рассуждение Ю. Самарина появилось в статье, которая была на два года моложе разбираемой здесь статьи Погодина [5]). Поразительное же сходство взгляда Самарина со взглядом Погодина лишний раз доказывает, как сильно нуждается в коренном пересмотре общераспространенное убеждение в том, что „официальная народность" Погодина очень сильно расходилась с учением славянофилов.

П. Н. Милюков, разделяющий это мнение, говорит, что формула: *в России любовь и единение, в Европе вражда и рознь* [6]), кратко выражающая собою взгляд Погодина на основное отличие русской истории от западно-европейской, выработана была им „с помощью славянофилов" [7]). К сожалению, не видно, на чем основаны эти его слова. Во всяком случае, верно то, что не И. Киреевский помог Погодину выработать указанную формулу. В дневнике Погодина записано, правда (30 апр. 1827 г.), после посещения им Киреевских, что И. Киреевский „говорил очень умно о России, о том месте, которое предоставлено ей между народами, о национальности" [8]). Но в каком духе говорил тогда об этих предметах И. Киреевский? Нам, известно, что около того времени он собирался „возвратить права истинной религии, изящное согласить с нравственностью, глупый либерализм заменить уважением

---

[1]) Курсив Погодина.

[2]) Барсуков, кн. VIII, стр. 52.

[3]) Барсуков, там же, стр. 53.

[4]) Там же, та же стр.

[5]) Именно, в подписанной буквами: М... З... К... статье „О мнениях современника исторических и литературных", напечатанной в „Москвитянине" 1847 г. и перепечатанной во втором томе сочинений Ю. Самарина.

[6]) В своей „Характеристике литературных мнений" А. Н. Пыпин, приведя рассуждение М... З... К... о „формуле" и „быте", замечает: „Это почти та самая точка зрения, которой потом держался Герцен". Это так. Но можно прибавить, что это почти та самая точка зрения, которой держались впоследствии наши *народники*. А отсюда следует, что у народников, как и у Герцена, есть, с *этой стороны*, некоторое и даже очень близкое идейное родство с „Ведриным".

Главные течения русской исторической мысли, том I, М. 1897, стр. 283.

Барсуков, кн. II, стр. 104.

законов и чистоту жизни возвысить над чистотою слога" [1]. Однако, отсюда до погодинской формулы еще очень далеко. И, действительно, когда И. Киреевский приступил к изданию своего „Европейца", он был гораздо больше западником, чем славянофилом. По выходе первой книжки „Европейца" Погодин спорил с ним, опровергая ту его мысль, что „Россия должна все переменить у иностранцев" [2]. А когда „Европеец" был запрещен, Погодин писал Шевыреву: „Запретили „Европейца" за XIX век [3]. В этой статье я не вижу ничего непозволительного: но она мне не нравится с другой стороны, как собрание исторических парадоксов, и я собирался писать на нее рецензию; но теперь нельзя. Киреевский мерит Россию на какой-то европейский аршин, я говорю в смысле историческом, а это—ошибка... Россия есть особливый мир, у ней другая земля, кровь, религия, основания, словом—другая история... Чорт возьми! Россия есть особливый мир. Всей Европе должна быть надежда на Россию" [4].

Смотря на Россию, как на „особливый мир", Погодин естественно должен был оспаривать И. Киреевского, который в вышеупомянутой статье „Девятнадцатый век" восстает против русских проповедников национального просвещения. По его словам, самое это стремление к национальности есть лишь неосмысленное подражание Западу. „Действительно, лет десять тому назад стремление к национальности было господствующим в самых просвещенных государствах Европы, все обратились к своему народному, к своему особенному; но там это стремление имело свой смысл: там просвещение и национальность одно, ибо первое развилось из последней. Потому, если немцы искали чисто-немецкого, то это не противоречило их образованности... но у нас искать национального, значит—искать необразованного; развивать его на счет европейских нововведений, значит—изгонять просвещение; ибо, не имея достаточных элементов для внутреннего развития образованности, откуда возьмем мы ее, если не из Европы?" [5].

Согласитесь, что „с помощью" подобных соображений трудно было выработать что-либо близкое к погодинской „формуле"!

Брат И. Киреевского, Петр, и А. С. Хомяков, как кажется, были около времени издания „Европейца" уже вполне сложившимися славянофилами [6]. Г. В. Лясковский пишет, что когда А. С. Хомяков вернулся в Москву по заключении Адрианопольского мира, „среди шеллингистов, гегелианцев и беззаветных приверженцев западного просвещения раздалось его слово о необходимости самобытного развития русской народности, об изучении старины и возвращении к ее заветам, о Православии, как основе русского народного характера, о значении славянского племени в истории и о будущем мировом признании России. То было слово новое, до тех пор неслыханное" [7]. Все это, вероятно, так и было, но все это недостаточно определенно для того, чтобы мы имели право умозаключить отсюда к идейной „помощи" Хомякова Погодину в деле известной нам формулы. Дневник же Погодина дает некото-

---

[1] См. его известное письмо к А. Кошелеву, цитированное также у Барсукова, кн. II, стр. 103.

[2] Так (разумеется, дубовато) передана эта мысль в дневнике Погодина (11 янв. 1832 г.). См. Барсукова, кн. IV, стр. 6.

[3] Т. е. за статью И. Киреевского: „Девятнадцатый век".

[4] Барсуков, кн. IV, стр. 9.

[5] Сочинения И. В. Киреевского, Москва, 1861 г.; стр. 83.

[6] Повидимому, их имел в виду И. Киреевский, оспаривая основательность русского стремления к „национальной образованности".

[7] Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. Валерия Лясковского. Москва, 1897. Стр. 20.

рое основание думать, что скорее Погодин считал себя „помогающим“ Хомякову. Увидавшись с ним по возвращении его в Москву, Погодин записывает: „Увиделся с Хомяковым, мой прихожанин“. Это язык „помогающего“, а не язык получающего „помощь“.

То крайне малое, что нам известно о ходе умственного развития Петра Киреевского, не дает нам никакого права думать, что именно с его „помощью“ выработался погодинский взгляд на отношение России к Западу [1]).

Зато у нас есть показание человека, который, правда, принадлежал к младшему поколению славянофилов, но все-таки должен был хорошо знать все предания своей школы.

Описывая время своего студенчества, Ю. Ф. Самарин говорит: „Из профессоров того времени сильнее всех действовал не только на меня, но и на многих других Погодин... Чему нас выучил Погодин, я не могу сказать, передать содержание его лекций я был бы не в состоянии; но мы были наведены им на совершенно новое воззрение на русскую историю и русскую жизнь вообще. Формулы западные к нам не применяются; в русской жизни есть какие-то особенные, чуждые, другим народностям начала; по иным, еще не определенным наукою, законам совершается ее развитие. Все это высказывал Погодин довольно нескладно, без доказательств, но высказывал так, что его убеждения переливались в нас. До Погодина господствовало стремление отыскивать в русской истории что-нибудь похожее на историю народов западных; сколько мне известно, Погодин первый, по крайней мере, для меня и для моих товарищей, убедил в необходимости раз‘яснения явлений русской истории из нее самой“ [2]).

Если бы славянофилы в самом деле „помогали“ Погодину выработать его формулу, то неужели это могло остаться неизвестным Ю. Ф. Самарину?

V.

В жизни Погодина был такой,—весьма скоро миновавший,—период, когда он критически относился к Карамзину. И одним из главных упреков, выдвигавшихся им тогда против автора „Истории Государства Российского“, был тот, что его знаменитое сочинение не отвечает ни на один философский вопрос,—„например, *чем отличается российская история от прочих европейских и азиатских историй*“ [3]).

Эти слова были написаны Погодиным еще в конце 1818 г., по поводу шума, вызванного появлением в „*Московском Вестнике*“ Арцыбашевских „*Замечаний на Историю Государства Российского*“. Они заслуживают большого внимания потому, что показывают нам, как рано обратилась мысль Погодина к вопросу об отличительных чертах русской истории сравнительно с историей других стран. Мы видим тут, что нашего автора интересовало сравнение России не только с Западом, но и с настоящим Востоком, т.-е. с Азией. Однако, Азия очень редко занимает место в его философско-исторических соображениях; западная же Европа является в них, можно сказать, на каждом шагу. Да оно и неудивительно, так как историю Востока знали тогда плохо, между тем как история Запада осве-

---

[1]) К Хомякову примыкал разве один только Петр Киреевский,—говорит г. В. Лясковский о времени, непосредственно следовавшем за возвращением Хомякова из Турции,—но он (П. Киреевский) по складу своего ума и характера, скромного и застенчивого, не был рожден проповедником (А. С. Хомяков, стр. 20).

[2]) Цит. у Барсукова, кн. IV, стр. 4—5.

[3]) Барсуков, кн. II, стр. 242. Подчеркнуто мною.

щалась новым и очень ярким светом в трудах преимущественно французских историков. Эти историки имели огромное влияние на Погодина, и если кто „помог“ ему выработать свою формулу, то именно они, — главным образом, О. Тьери и Гизо. В своем, уже не один раз цитированном мною выше, ответе на статью Корша Погодин говорит:

„В 1830-х годах, излагая в одном из журналов того времени систему Европейской истории Гизо, только что появившуюся у нас, я имел честь заметить знаменитому профессору об его односторонности и сказать, что истории Запада нельзя выразуметь вполне, не обращая внимания на другую половину Европы,—на историю Востока, шедшего с нею параллельно, Востока, который представляет значительные для науки видоизменения всех западных учреждений и явлений“ [1]).

Здесь под Востоком понимаестя у него не Азия, а Россия, „другая половина Европы“ [2]). И об этой „другой половине“ ему давно хотелось поспорить с французскими историками. „Ты представить себе не можешь, — писал он еще в 1830 г. Шевыреву,—как мне хочется отведать сил своих с этим Гизо etc.“ [3]). Наконец, в 1839 г., в бытность его в Париже, ему представился случай посетить Гизо, с которым он, разумеется, поспешил заговорить на свою любимую тему. К сожалению, их разговор не привел, да и не мог привести к плодотворному обмену мыслей. Погодин, по словам его биографа, „между прочим сказал Гизо, что хотел писать к нему письмо, когда вышла его „История цивилизации в Европе“, и об'яснить, что его рассуждениям недостает целой половины, т.-е. восточной Европы, государств словенских, кои представляют важные видоизменения всех западных учреждений“. Гизо пожалел, что Погодин не исполнил своего намерения, которое было бы для него очень приятно. Потом он попросил своего посетителя „возвратиться к намерению написать ему письмо и уведомлять его о своих исторических трудах“. Но это была одна учтивость, и Погодин, „заметив, что Гизо дожидается другое лицо, простился с ним и пожелал ему успеха в его государственных трудах“ [4]).

В этом постоянном возвращении Погодина к идеям тогдашних французских историков, а особенно Гизо, которого он ставил выше всех остальных [5]), чрезвычайно замечательно согласие нашего историка с французским во всем том, что касается истории Запада. Тут Погодин не только не оспаривает Гизо, но, напротив, часто „встречается“ у него „со своими мыслями“ [6]). Он сожалеет только о том, что, не зная истории славян, Гизо составил себе односторонний взгляд на историю европейской цивилизации. Ему казалось, что, зная историю славян, он может избежать свойственной Гизо односторонности, и он составил свою историческую формулу, в которой взгляд Гизо, О. Тьери, Минье и других историков того же научного направления на историю Запада дополнялся его собственным взглядом на историю Востока, точнее—России. И мы уже знаем, что, согласно этой формуле, история западно европейского общества характеризуется внутренней

---

1) Барсуков, кн. VIII, стр. 51.

2) Статья, на которую намекает здесь Погодин, была напечатана им в „Журнале Министерства Народного Просвещения“ за 1834 год. О ней см. у Барсукова. кн. IV, стр. 260.

3) Барсуков, кн. IV, стр. 10.

4) Барсуков, кн. V, стр. 278—279.

5) В одном письме к Шевыреву, писанном в 1831 году, Погодин говорит: „Читал Гизо, с которым должна начаться новая эра Истории“. (Барсуков, кн. III стр. 255).

6) Так выражается он в начале 1831 года в письме к Шевыреву.

борьбою, в противоположность истории русского общества, характеризуемой внутренним миром. Но что же такое эта внутренняя борьба, создавшая западно-европейское общество? Это не что иное, как борьба классов, которая в самом деле играла и продолжает играть колоссальную роль в истории развития человечества.

VI.

До сих пор историки социально-политических идей нередко утверждают, что теория классовой борьбы выработана Марксом. Это не так. Маркс весьма значительно усовершенствовал эту теорию, впервые поставив ее на прочную научную, — т.-е. материалистическую, — основу. Но уже античные историки, а за ними историки эпохи Возрождения не оставались слепыми по отношению к классовой борьбе, происходившей в пределах, доступных для их наблюдения, городских республик. В самом начале XIX века,—в 1802 г.,— Сэн-Симон об'яснил ход и исход французской революции борьбой между „имущим“ классом, с одной стороны, и „неимущим“—с другой. Впоследствии Сэн-Симон подробнее развил, в целом ряде сочинений, свой взгляд на историческое значение борьбы классов. От него взгляд этот перешел к его „приемному сыну“ Ог. Тьери. Этот последний, сочинения которого были хорошо известны Погодину [1]), положил идею борьбы классов в основу главнейших своих исследований. То же приходится сказать об его современнике Минье'и, наконец, совершенно то же о Гизо, работам которого придавал, как мы знаем, такое огромное значение Погодин.

Уже в своих „Essais sur l'histoire de France“ Гизо исходит из той теории, что не политический строй определяет собою социальные отношения, а наоборот, строй этот сам определяется социальными отношениями. „Большая часть писателей, ученых, историков и публицистов,—говорит он там:—старались об'яснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации политическими учреждениями этого общества. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде чем стать причиной, учреждения являются следствием; общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием... общество, его состав, образ жизни отдельных лиц в зависимости от их социального положения; отношения различных классов лиц, словом, гражданский быт людей—таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как люди жили, и публициста, желающего знать, как люди управлялись“ [2]). А гражданский быт, по крайней мере, у всех народов, выступивших на историческую сцену Европы после падения западной Римской империи, определялся поземельными отношениями. Поэтому Гизо утверждает, что изучение этих отношений должно предшествовать изучению гражданского быта. И он сам следует этому методу. Изучая поземельные отношения во Франции времен первых двух династий, он старался об'яснить ими ее гражданский быт; а взаимная борьба различных „слоев“ населения, созданных этими отношениями и характеризующих собою этот быт, об'ясняет у него политическую историю тогдашней Франции.

---

[1]) В 1833 году Погодин собрался подробно излагать студентам, в своем курсе Всеобщей Истории, известное сочинение Ог. Тьери о завоевании Англии норманами.

[2]) Essais sur l'historie de France, dixième édition; pp. 73+74. Курсив Гизо.

С таким же методом подходит он и к английской революции, которая выходит в его изображении,—с этой стороны вполне соответствовавшем исторической действительности, — борьбой буржуазии, а вернее — всего третьего сословия с аристократией. Он совершенно отвергает тот взгляд, что английская революция была более политической, а французская—более социальной. По его мнению, обе эти революции вызваны были одинаковыми,—социальными,—причинами и потому имели одинаковую политическую цель.

Гизо умеет проследить влияние социальных отношений даже на понятия и вкусы людей. Но всего ярче обнаруживается классовая точка зрения Гизо в его политической деятельности и в его политических сочинениях. Он сам признавал, что главной задачей его политической деятельности было упрочение господства „средних классов". И он умел постоять за эти „классы". В об'емистой брошюре „Du gouvernement de la France" (сентябрь 1820 г.) он выступил на защиту французской революции, бывшей, по его словам, войной, подобной войнам, происходящим между отдельными народами. И тут его роль защитника определенного классового интереса сделала его горячим и красноречивым.

„В течение тринадцати столетий во Франции было два народа,—восклицает он:—народ—победитель и народ—побежденный. В течение тринадцати столетий побежденный народ боролся для того, чтобы свергнуть иго народа—победителя. Наша история есть история этой борьбы. В наши дни произошла решительная битва. Эта битва называется революцией". Революция обозначала то, что народ, остававшийся побежденным в продолжение веков, вышел, наконец, победителем из борьбы со своими прежними завоевателями. Французская конституция дала выражение этому факту и признала его правом [1]). И все споры, которые происходили во французской палате депутатов, были спорами „между равенством и привилегией, между средним классом и аристократией".

Когда Гизо упрекнули в том, что он проповедует борьбу классов и тем разжигает будто бы дурные страсти, он отвечал, что борьба классов не есть его выдумка; она неоспоримое историческое явление; ею „сделана" вся история Франции. „Это знали и это говорили, — писал он в вышеназванной брошюре, — за много веков до революции. Это знали и это говорили в 1789 г. Это знали и это говорили три месяца тому назад [2]). Я думаю, что и теперь все помнят об этом, хотя меня и упрекают в том, что я высказал это. Факты не уничтожаются по желанию и для удобства министерств и партий".

VII.

Довольно! Мы знаем теперь, что французские историки времен реставрации,—и в частности Гизо, которым так увлекался Погодин,—в самом деле смотрели на историю западно-европейского общества, как на историю непрерывной внутренней борьбы [3]). Исходной точкой этой борьбы послужило завоевание. Оно создало в западно-европейском обществе два, один дру-

---

[1]) Ср. знаменитую речь Лассаля о „сущности конституции".

[2]) Напоминаю читателю, что эта брошюра Гизо относится к 1820 году.

[3]) Подробнее об этом см. в моей книге: „Н. Бельтов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю", в главе: „Французские историки времен реставрации", а также в моем предисловии ко второму изданию моего перевода „Коммунистического Манифеста".

тому враждебных, класса, и оно же породило все устройство этого общества [1]. Если же относительное положение этих двух, беспрерывно боровшихся между собою, классов постепенно изменилось в пользу того, который представлял собою потомство завоеванных, то это происходило вследствие развития промышленности и торговли, а также, конечно, тесно связанных с ними „успехов разума". По своему существу, это—совершенно тот же взгляд, который был высказан Наполеоном в его известном суждении о французской революции: „в революции галлы свергли с себя иго франков". Да и Наполеон, сказав это, лишь повторил то, что часто говорилось другими во время его молодости. Достаточно напомнить знаменитый ответ аббата Сиэйса защитникам феодальных привилегий, утверждавших, что они опираются на право завоевания: Rien que cela, messieurs? Nous serons conquérants à notre tour! (Только-то, милостивые государи? Мы, в свою очередь, сделаемся завоевателями!). Французские историки эпохи реставрации только развили этот взгляд, придав ему известную научную основательность. Но так как изучение внутренней истории новейшего общества едва начиналось в то время, — главным образом, вследствие толчка, данного науке той же французской революцией,—так как тогда еще не понимали, что даже там, где не было завоевания, экономическое развитие общества должно было постепенно привести его к разделению на классы и ко взаимной борьбе („войне") классов, возникших таким мирным путем, то ученые приписали завоеванию слишком большое значение в своей философии истории. Выходило так, что если бы не было завоевания, то не было бы и внутренней борьбы в западно-европейском обществе, а отсутствие такой борьбы сообщило бы его истории совершенно другой характер [2]. Но наша летопись говорит, что у нас именно не было завоевания: если верить ей, то Рюрик пришел к нам со своими братьями не как завоеватель, а как приглашенный народом водворитель внутреннего порядка и мира. Что должны были заключить из этого те наши исследователи, которые, во-первых, не сомневались в правильности летописного повествования, а во-вторых — интересовались философией истории? Они должны были сделать отсюда то самое заключение, которое сделал Погодин, что Гизо и западные историки того же образа мыслей выработали одностороннюю философию истории, так как не приняли во внимание „Российского государства", основанного без помощи насилия.

Это не все. Так как у нас не было завоевания, то, очевидно, не могло быть и всех тех явлений внутренней жизни, которые приурочивались к нему тогдашней исторической наукой. А так как число явлений, относившихся тогда наукой на счет завоевания, было очень велико, то не менее очевидно, что наше внутреннее развитие должно было итти совсем не так, как западноевропейское. Эти два вывода тоже были сделаны Погодиным, как только он

---

[1]) Ог. Тьери говорит: „Мы думаем, что мы — одна нация, а мы составляем две нации на одной и той же земле, две нации, враждебных одна другой по своим воспоминаниям и непримиримых между собою по своим проектам (projets): одна завоевала некогда другую, и ее пожелания, ее намерения сводятся к тому, чтобы вернуть его молодость этому завоеванию, ослабленному временем, мужеством побежденных и успехами разума" (Dix ans d'études historiques, oeuvres complètes d'Augustin Thierry, dixième édition, t. VI, p. 259).

[2]) Отвергая мнение тех историков Литовского государства, которые полагали, что западно-русский феодализм создан завоеванием, М. Ф. Владимирский-Буданов говорит: „Об'яснение феодализма здесь из факта завоевания должно быть признано так же неверным, как такое же об'яснение подобного явления в западной Европе". (Очерки по истории литовско-русского права. I. Поместья Литовского государства. Киев, 1889 г., стр. 2—3).

познакомился с историческими взглядами французских историков времен реставрации.

И для этого ему отнюдь не нужна была „помощь“ славянофилов. Уже в 1824 г., когда Погодин еще не выступил теоретиком „официальной народности“ и даже не прочь был полиберальничать, — по крайней мере, в своем дневнике [1]),—а Хомяков и П. Киреевский были еще слишком юны для того, чтобы способствовать ему в деле выработки своего миросозерцания [2]),—уже тогда он записывает вышеприведенное изречение Наполеона о французской революции, как о восстании галлов против франков, и прибавляет, что „у нас все столповые дворянские роды от варягов и других пришельцев“ [3]). Весною 1826 г. он читает „Сочинение г-жи Сталь о революции“ (т.-е., как видно, ее „Considérations sur la révolution française“, в 1818 г.) и, по выражению его биографа, сталкивается в нем „с мыслями, схожими со своими“. Правда, если тогдашние мысли Погодина были до известной степени „схожи“ с мыслями г-жи Сталь, то оне еще очень значительно отличались от его позднейших взглядов на историю России: тогда он признавал еще существование русского феодализма [4]). Но уже тогда он писал: „Намедни я думал о том, что у нас нет среднего состояния, которое везде производило революцию, что у нас крестьянин может сделаться дворянином“ [5]). Это уже одно из тех противопоставлений России Западу, совокупностью которых и определилось содержание его (так названной впоследствии) теории „официальной народности“.

Как я показал выше, к началу тридцатых годов вся или почти вся эта совокупность была уже на-лицо.

VIII.

Очень ошибся бы тот, кто приписал бы мне склонность об'яснять происхождение теории „официальной народности“ тем простым обстоятельством, что некоторые наши историки без всяких оговорок приняли свидетельство летописца о мирном призвании варягов. Это было бы уж черезчур просто.

В истории развития русской исторической мысли мы имеем весьма наглядный пример, показывающий, что можно было не верить указанному свидетельству и в то же время создать себе такую философию русской истории, из которой с большим удобством могла выработаться теория „официальной народности“. Это—пример Н. Полевого. Г. Милюков справедливо заметил, что „История русского народа“ вовсе не была „выражением западных идей“ [6]). И он подкрепил это свое замечание вполне убедительными выписками из названной истории. Так, он привел мнение Н. Полевого, что России суждено „внести особую стихию духа в Европу“, и что стихия эта будет „типом восточно-европейского образования“. Если к этому прибавить, что „тип восточно-европейского образования“ рассматривался Н. Полевым, как завещание умиравшей Византии [7]), то будет ясно, что по этой канве легко было бы вышить пышный

---

[1]) Так, например, он писал тогда в нем: „Теперь в Европе следует угнетение свободы и даже внутренняя наклонность к рабству... Нынче государи не воюют с государями, но с народами. Между собою же согласны“. „Священный союз“, Барсуков, Кн. I, стр. 283.

[2]) Хомякову было двадцать, а П. Киреевскому шестнадцать лет.

[3]) Барсуков, кн. I, стр. 283.

[4]) Барсуков, кн. II, стр. 18.

[5]) Там же, стр. 17.

[6]) Главные течения, стр. 269.

[7]) Русская История, т. V. Москва, 1883 г., стр. 13.

узор во вкусе самой „официальной“ народности. Как знать? Может быть, наличность этой византийской канвы и помогла впоследствии Н. Полевому совершить поворот в сторону Булгарина, которого ему не могли простить Белинский и другие западники. Но как бы там ни было, а наличность этой византийской канвы в его исторических взглядах очень недурно уживалась с отрицательным отношением к рассказу летописца о том, как пришли к нам варяги Рюрика. Н. Полевой, не колеблясь, признает их завоевателями, победителями и т. д., а туземцев, которые их будто бы призвали,—побежденными, рабами и т. п. [1]).

Кроме того, можно думать, что Русь не знала завоевания в западноевропейском смысле — и оставаться западником чистейшей воды. Пример — В. Г. Белинский.

Белинский об‘яснил бедность содержания русской народной поэзии тем, что бедно было содержание русской народной жизни, а бедность содержания этой последней ставилась им в причинную связь именно с тем обстоятельством, что у нас отсутствовала та плодотворная внутренняя борьба, которая порождена была на Западе фактом завоевания. Белинский утверждал, что из положения, созданного завоеванием, возникла борьба, результатом которой было разумное развитие“ [2]). Что же это значит? Это значит вот что. Белинский вполне соглашался с Погодиным и славянофилами в том, что наша история шла совсем не так, как западная; но между тем как те видели в этом огромный плюс, он смотрел на это, как на огромный минус. Тут он сходился с Пушкиным, который тоже думал, что в своей истории „Россия была совершенно отделена от западной Европы“ и что у нас не было феодализма в западном смысле, но тоже видел в этом не преимущество, а недостаток. „Феодализма у нас не было—и тем хуже“,—писал он во второй своей статье об „Истории русского народа“ Н. Полевого [3]). В этом различии оценки одной и той же исторической особенности, признававшейся обеими сторонами, заключалось одно из самых важных разногласий западников со

---

[1]) „История русского народа“, т. I, изд. второе, стр. 73. Ср. там же, стр. 74: „Но славянин, латыш и финн были собственно рабами, ибо не участвовали в княжеской власти. Заплатив, однако-ж, определенную подать, они владели условно своим имуществом и богатством и, откупясь от притеснения повелителей“, и проч.

[2]) Сочинения, изд. третье, т. V, стр. 85.—См. об этом мою статью о Белинском в „Совр. Мире“ 1910 г. май и июнь. Пользуюсь случаем, чтобы отметить закравшуюся в эту статью досадную описку. Во 2-м примечании на стр. 123 июньской книжки мною приведена та мысль Белинского, что источник всякого прогресса заключается в человеческой натуре, а не в „двойственности народов“. У меня сказано, что мысль эту Белинский выдвинул, „продолжая свои возражения славянофилам“. Перечитав потом статью Белинского, я увидел, что тут он переходит ко взглядам В. Майкова, которого он, впрочем, не называет. Отмечая это, я считаю себя в полном праве прибавить, что, закравшись в примечание, сделанное мною по окончании статьи, описка эта не имеет никакого значения для оценки взглядов Белинского. По чьему бы адресу ни было высказано мнение Белинского о роли человеческой природы, как источника прогресса, оно остается одинаково ошибочным, и, поскольку он держался этого мнения, он в самом деле был более идеалистом, нежели славянофилы, которые, указывая на решающее значение русского „быта“, тем самым признавали зависимость общественного сознания от общественного бытия.

[3]) Полное собрание сочинений А. С. Пушкина, под ред. П. О. Морозова, изд. 1-е, т. VI, стр. 47. Пушкин продолжает: „Освобождения городов не существовало в России. Новгород на краю России и соседний ему Псков были истинные республики, а не общины (communes), удаленные от великого княжества и обязанные своим бытием сперва хитрой покорности, а потом слабости враждующих князей. Феодализм мог бы, наконец, развиться, как первый шаг учреждений независимости (общины были бы вторым), но он не успел“. (Там же).

славянофилами. Западники говорили по поводу этой исторической особенности: „тем хуже“, а Погодин и славянофилы: „тем лучше“. И это вовсе не было праздным спором об отвлеченном предмете, лишенном практического значения. Западническое „тем хуже“ и славянофильское „тем лучше“ выражали собою определенное отношение не только к тому, что уже прошло, но также и к тому, что еще существовало, а главное— к тому, осуществлению чего следовало содействовать. Разумеется, не все те, которые говорили: „тем хуже“, согласны были между собою в том, что именно следовало осуществить. И все они не оставались верны себе в своем отношении к тогдашней „российской действительности“. Западник Пушкин сам согрешил несколькими статьями и стихотворениями в духе „официальной народности“. Но дело не в том, насколько последователен был тот или другой западник, и как далеко уходил он в своих практических выводах, а в том, каково было вообще то направление, в котором должны были идти западники, пока они сохраняли то настроение, которое заставляло их сожалеть об отсутствии внутренней борьбы в русской истории.

IX.

Какое же именно настроение? Сожалеть об отсутствии в нашей истории внутренней борьбы можно было только при двух условиях: во-первых, для этого необходимо было сочувствовать тем общественным целям, ради которых она велась на Западе; во-вторых, нужно было не бояться тех средств, которыми эти цели достигались, или,— так как внутренняя борьба на Западе была борьбою классов,—не испытывать страха при мысли о тех, более или менее глубоких общественных потрясениях, без которых немыслима классовая борьба, достигшая известной степени развития. Чтобы пояснить сказанное, я возьму в пример того же Гизо.

Мы видели, что Франция была, по его мнению, создана „войною классов“. Завоевание галлов франками было началом этой внутренней войны. Завоеватели старались сохранить свое господствующее положение: завоеванные стремились освободиться. Мы уже знаем, что сочувствие Гизо было на стороне завоеванных. Следя за их освободительными усилиями в истории,—например, в истории английской революции,—он радостно отмечал каждый шаг, сделанный ими на пути к своему освобождению: он безусловно одобрял их политические цели. В своих политических брошюрах он не переставал напоминать им, что они должны овладеть политической властью, и его нисколько не смущали неизбежные во всякой борьбе столкновения и потрясения. Заранее уверенный в окончательном исходе борьбы, он любил вызываемое ею возбуждение. Он повторял: „приятно находиться на корабле во время бури, когда знаешь, что не погибнешь!“

Но так было только до известного времени, только до революции 1848 г. Как уже сказано выше, Гизо стоял на точке зрения „средних классов“. И пока все галлы, завоеванные франками, шли под знаменем буржуазии в освободительной борьбе со своими завоевателями, он был неустрашим [1]). Когда началась внутренняя борьба в лагере галлов, когда пролетариат выступил против буржуазии, он говорил совсем другим языком.

---

[1]) Он очень не любил, да и не мог любить, якобинцев, но он, как видно, считал, ведя борьбу с реакцией, „что якобинство окончательно похоронено представителями средних классов“.

В январе 1849 г. он выпустил брошюру „De la Democratie“, главным мотивом которой является хвала в честь социального мира. Социальный мир ведет к „свободе, спокойствию, благоденствию, достоинству“, наконец, ко всем другим „вещественным и духовным благам“. Он еще помнит, что социальная „война“ сделала Францию; но теперь это обстоятельство представляется ему источником всевозможных общественных бедствий. „Это бич, это стыд, недостойный нашего времени. Внутренний мир, мир между различными классами граждан, социальный мир! Это самая важная потребность Франции, это крик спасения“. Короче, он тоже готов сказать об историческом факте классовой борьбы: „тем хуже!“ Такое же настроение охватывает Ог. Тьери, Минье и других французских историков, обязанных точке зрения борьбы классов своими величайшими теоретическими открытиями. Ученые, от всей души сочувствовавшие борьбе третьего сословия с аристократией, пришли в ужас при виде борьбы пролетариата с буржуазией. Ход вещей определил собою ход идей.

Что касается России, то, не входя в неуместные здесь подробности, напомню, что Пушкин, сожалевший об отсутствии у нас феодализма, видел в борьбе городских общин европейского Запада за свое освобождение один из шагов в направлении к „независимости“ и сочувствовал этому шагу. Трудно сказать, до каких именно пределов могло бы дойти его сочувствие, если бы наш великий поэт дал себе труд хорошенько вдуматься в исторические вопросы этого рода. Несомненно, однако, то, что аристократические пристрастия были сильны в нем даже тогда, когда он водил дружбу с будущими „декабристами“. Известно его тогдашнее отношение к своему „шестисотлетнему“ дворянству [1]). Известно и то, что впоследствии он готов был видеть якобинца даже в безобидном Н. Полевом. Но все это еще не делало его теоретиком социального мира; все это еще не внушало ему священного ужаса при воспоминании о таких проявлениях классовой борьбы, каким была, например, Великая французская революция.

О Белинском нечего и говорить. Как только он освободился от влияния „абсолютной“ стороны гегелевой философии, он полюбил человечество, по его собственному выражению, маратовской любовью, т. е. такой, которая не отступает даже перед самыми крайними средствами. Стало быть, очень трудно, если не совсем невозможно, было испугать его острыми проявлениями классовой борьбы и тем заставить отказаться от своего взгляда на нее, как на главнейшую причину „разумного развития“ западно-европейского общества [2]). Совсем не то с Погодиным и со славянофилами. Если их так радовало

---

[1]) В одном из своих писем он утверждает, что его дворянство еще старше.

[2]) Замечательно, что многие декабристы тоже боялись, по крайней мере, резких проявлений классовой борьбы. Один из самых выдающихся между ними говорит о своем тайном обществе: „Ему следовало придумать способы укрощать порывы, обычные в те дни брожения и смут, когда народ требует отчета за прошедшее и возобновляет свой договор на будущее. Тайный союз имел особенно в виду охранить Россию от междоусобных браней и от судебных убийств, ознаменовавших летописи двух великих народов (Англии, Франции)“. (Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 г. — Никиты Муравьева. — Библиотека Декабристов. Вып. 5-й, Стр. VI). Пестель имел довольно ясное представление о борьбе классов. В своем показании он говорит: „Мне казалось, что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями разного рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными“ (Цит. у В. И. Семеновского в статье: „Вопрос о преобразовании государственного строя России в XVIII и первой четверти XIX в.“. „Былое“, № 3, 1906 г., стр. 156). Ср. его же „Политические и общественные идеи декабристов“ Спб., 1909. Стр. 504—505 и 524. В

свидетельство летописца о мирном пришествии Рюрика с братьями: если они, утверждая, что в России не было и нет места для классовой борьбы, находили, что именно в этом-то и состоит чрезвычайно выгодное для нас отличие нашей истории от западно-европейской, так как этим-то и обеспечивается нам возможность такого разумного развития, какое немыслимо при общественном строе Запада, то все это происходило потому, что они боялись классовой борьбы. А боялись они ее по той причине, что их общественные взгляды сложились под влиянием того ужасающего впечатления, которое произвела Великая французская революция па многих и многих наших образованных соотечественников [1]).

О славянофилах я поговорю в другой статье, а теперь займусь Погодиным.

X.

Погодин говорил о себе, что он воспитался под влиянием Карамзина. И это правда. Но Карамзин был западник, а Погодин—теоретик „официальной народности". Как же это возможно, чтобы второй воспитался под влиянием первого?

Чтобы ответить на это, надо в немногих словах напомнить общественные взгляды Карамзина.

Западничество Карамзина выразилось в том убеждении, что „путь образования или просвещения один для народов", и что „все они идут им вслед друг за другом" [2]). Исходя из этого убеждения, он никак не мог согласиться с теми, которые осуждали Петра I за то, что он хотел заставить свой народ „подражать" другим народам. „Иностранцы были умнее русских,—писал Карамзин,—и так надлежало от них заимствовать, учиться пользоваться их опытами. Благоразумно ли искать, что сыскано? Лучше ли б было русским не строить кораблей, не образовать регулярного войска, не заводить Академий, фабрик, для того, что все это не русскими выдумано? Какой народ не перенимал у другого? И не должно ли сравняться, чтобы превзойти?" Далее Карамзин доказывает, что „все жалкие Иеремиады об изменении Русского характера, о потере Русской нравственной физиономии, или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении". Своего кульминационного пункта рассуждения эти достигают в часто приводимых строках: „Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность скука, были их долею в самом высшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а не славянами" [3]).

этом сказалось влияние на Пестеля французских писателей времен Реставрации: г-жи Сталь, Гизо, Сисмонди. Поэтому не вполне прав покойный Павлов-Сильванский, когда он характеризует его образ мыслей, как очень близкий к образу мыслей якобинцев. (Пестель перед Верховным уголовным судом". „Былое", 1916 г. № 2, стр. 125).

[1]) Едва ли нужно прибавлять, что такое влияние произвела она не только на многих русских. Ее ужаснулась вся консервативная и реакционная Европа. Что касается самой Франции, то появление в ней таких писателей, как де-Бональд, говоривший: „l'esprit est satanique", об'ясняется именно влиянием ее Великой революции на умы сторонников старого порядка.

[2]) Письма русского путешественника, т. II, письмо из Парижа, май 1760 года.

[3]) В том же письме.

Подобные рассуждения Карамзина, конечно, не могли сближать его с людьми, склонными к идеализации славянских народов вообще и русского в частности. И если бы у Карамзина встречались только такие рассуждения, то произошло бы одно из двух: или Погодин не поддался бы его влиянию; или же, поддавшись ему, он не сделался бы теоретиком „официальной народности". Но уже в повести „Наталья боярская дочь",—относящейся к 1792 г.,—Карамзин совсем иначе отзывается о наших „брадатых предках".

Кто из нас,—спрашивает он там,—не любит тех времен, когда русские были русскими: когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком по своему сердцу, т. е. говорили, как думали? По крайней мере я люблю сии времена, люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере славянского народа" и т. д. Это хоть бы и славянофилу в пору. Но этого мало. В своем „Вестнике Европы" Карамзин все определеннее и определеннее высказывается в духе того направления, которому впоследствии было присвоено название русского. В статье „О любви к отечеству и народной гордости" он утверждает, что мы, русские, „излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве,—а смирение в Политике вредно" [1]. Тут он отзывается о подражании иностранцам уже совсем не так, как в своем письме из Парижа. „Мы никогда не будем умны чужим умом,—говорит он,—и славны чужою славою" [2]. Он находит, что пора нам покончить с подражанием. „Есть всему предел и мера: как человек, так и народ начинает всегда подражанием; но должен со временем быть самобою, чтобы сказать: я существую нравственно!" [3].

Правда, подобные общие положения имеют то свойство, что из них можно делать прямо противоположные выводы. Ведь, ни самому Карамзину, в течение западнического периода его развития, и ни какому другому западнику не приходило в голову, что русские должны всегда оставаться простыми подражателями и не имеют права быть „самими собою". С другой стороны—ясно, что Карамзин не без цели повторял теперь эти общие положения, и что он вкладывал в них теперь совсем не тот смысл, какой вложил бы прежде. Недаром он в своей „Истории Государства Российского" высказывался о Петре далеко не с тем восторгом, каким пропитано его суждение о нем в цитированном выше письме „Русского путешественника". А в „Записке о древней и новой России" он прямо осуждает Петра за „совершенное присвоение обычаев европейских" и не скрывает своего сочувствия к тем изменениям, которые совершались, при первых Романовых, „постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия". Это весьма знаменательно [4].

---

[1]) Сочинения Карамзина, издание А. Смирдина 1848 г., т. III, стр. 469.
[2]) Там же, 473.
[3]) Там же, 475.
[4]) Правда, будучи избран членом российской академии, Карамзин произнес в ее собрании (декабрь 1818 г.) речь, в которой говорил: „Петр Великий, могучею рукою своею преобразив отечество, сделал нас подобными другим европейцам. Жалобы бесполезны... Хорошо писать для россиян, еще лучше писать для всех людей. Если нам оскорбительно идти позади других, то можем идти рядом с другими к цели всемирной для человечества"... („История русской литературы" А. Н. Пыпина. Т. IV, СПБ., 1907 г. Стр. 276). Карамзин был плохой мыслитель; это бросалось в глаза даже Погодину; поэтому он часто противоречил себе. Но факт все-таки тот, что его общественные взгляды сложились под сильнейшим влиянием борьбы классов на Западе,—главным образом французской революции,—и что его западничество сильно побледнело вследствие этого страха.

Что же заставило Карамзина так значительно изменить характер своей „любви к отечеству“? Не что иное, как тот трагический эпизод из истории „войны классов“ во Франции, который называется Великой революцией.

XI.

Карамзин очень любил „просвещение“. Но он хотел, чтобы просвещенные народы мирно шли по пути прогресса, избегая не только внутренних бурь, но и всяких внутренних несогласий. Приехав в Женеву, он, в январе 1790 года, писал:

„В здешней маленькой республике начинаются несогласия. Странные люди! Живут в спокойствии, в довольстве, и все еще хотят чего-то!“ Свое тогдашнее отношение к французской революции он сам характеризовал словами: „Я слышал споры и не спорил“. Но эта характеристика верна только на половину. Он действительно не „спорил“; но когда он „слышал споры“, его сочувствие весьма недвусмысленно склонялось в сторону старого порядка. В одном из своих „Писем“ (в письме из Эрменонвиля) он высказывает твердое убеждение в том, что „чувствительный, добродушный Жан Жак об'явил бы себя первым врагом революции“. Революция эта представляется ему неожиданным, но очень печальным проявлением человеческой „наглости“. В апреле 1790 г. он писал из Парижа: „Говорить ли о французской революции?.. Можно ли было ожидать таких сцен в наше время от зефирных французов?.. Не думайте, однакож, чтобы вся нация участвовала в трагедии, которая играется ныне во Франции... Те, которым терять нечего, дерзки, как хищные волки; те, которые всего могут лишиться, робки, как зайцы; одни хотят все отнять, другие хотят спасти что-нибудь. Оборонительная война с наглым неприятелем редко бывает щастлива“. И тут же он читает наставление своим современникам.

„Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых; и в самом несовершеннейшем надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия [1]) будет всегда мечтою доброго сердца, или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных безопасных успехов разума, просвещения, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного их щастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Предадим, друзья, предадим себя во власть Провидению: оно конечно имеет свой план; в Его руке сердца Государей — и довольно“.

Но тогдашняя Франция не хотела предать себя „во власть Провидению“; она боролась, и борьба ее дошла до такого обострения, что повергла в уныние великое множество прежних друзей просвещения „Чувствительный, добродушный“ Карамзин оказался, разумеется в первом ряду разочарованных. Овладевшее им настроение ярко выразилось в переписке Меладора с Филалетом.

„Кто мог думать, ожидать, предчувствовать?—жалуется Миладор в письме к Филалету.—Мы надеялись скоро видеть человечество на горней ступени величия, в венце славы, в лучезарном сиянии, подобно Ангелу Божию... Но вместо сего восхитительного явления видим... Фурий с грозными пламенниками! Самая природа не веселит меня. Она лишилась венца своего в глазах моих, с того времени, как не могу уже в ее об'ятиях мечтать о близком щастии людей; с того времени, как удалилась от меня радостная мысль о

[1]) „Или царство щастия, сочинение Моруса“,—поясняет в примечании наш автор.

их совершенстве, о царстве истины и добродетели; с того времени, как я не знаю, что мне думать о феноменах нравственного мира, чего ожидать и надеяться!.. На что жили предки наши? На что будет жить потомство?“ [1]).

Филалет старается утешить своего друга такими доводами: „Соглашаюсь с тобою, что мы некогда излишно величали осьмой-надесять век, и слишком много ожидали от него. Происшествия доказали, каким ужасным заблуждениям подвержен еще разум наших современников! Но я надеюсь, что впереди ожидают нас лучшие времена; что природа человеческая более усовершенствуется—например, (в) девятомнадесять веке—нравственность более исправится—разум, оставив все химерические предприятия, обратится на устроение мирного блага жизни, и зло настоящее послужит добру будущему“ [2]).

Тут опять как будто воскресает вера в „разум“. Но теперь Карамзин, отведав горького плода, растущего на древе познания политического добра и зла, уже знает, что есть просвещение, есть разум и разум. Он только тогда поверит в разум, когда убедится, что тот обратится на устроение мирного блага жизни и „оставит все химерические предприятия“. Теперь его политическая философия вполне выражается словами Филалета: „Я имею доверенность к мудрости Властителей, и спокоен; имею доверенность ко благости Всевышнего, и спокоен. Нет! Светильник наук не угаснет на земном шаре“ [3]).

В 1798 г., в „Куплетах из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра“, Карамзин выводит хор земледельцев, поющий:

Как не петь нам? Мы щастливы.
Славим барина-отца.
Наши речи не красивы.
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее:
Их искусство говорить.
Что-ж умеем мы? Сильнее
Благодетелей любить.

Это—настоящая идиллия во вкусе „официальной народности“. Если сам Карамзин не сделался теоретиком этой народности, ограничившись общими историческими соображениями о „необходимости самовластья“ и о „прелестях кнута“, то единственно потому, что находился под безраздельным влиянием наивного исторического идеализма, унаследованного им от „осьмого-надесять века“. Исторический идеализм этого столетия обнял все движение человечества прогрессом идей, успехами знаний. Но как об'яснить успехами знаний и прогрессом идей, например, то обстоятельство, что „земледельцы умеют благодетелей любить“ сильнее, чем горожане? Ведь, горожане „просвещеннее“ земледельцев. Тут приходится обратиться к условиям быта, к тому „устройству общества“, на которое обратили такое большое внимание французские историки времен реставрации, но которым слишком мало занимались в восемнадцатом веке. В основе теории „официальной народности“,—а также и ее весьма близкой родственницы, теории славянофилов,—лежит известное представление о счастливых особенностях русского „общественного устройства“. И это представление сложилось у Погодина, а после него у славянофилов, только благодаря знакомству с научными трудами французских историков. Только эти труды, поправившие одну из самых грубых ошибок исторического идеализма и тем составившие эпоху в исторической науке, обнаружили перед

---

1) Сочинения Карамзина, т. III, стр. 439 и 444.
2) Там же стр. 452—453.
3) Там же стр. 453.

ними причинную зависимость политической жизни всякого данного народа от его социального строя. И только тогда, когда обнаружена была эта причинная зависимость, стало очевидно, что необходимым и достаточным условием русской политической самобытности могла быть лишь ее социальная самобытность. Иначе сказать: только социальная самобытность России могла тогда показаться исследователю достаточным об'яснением того, что революционная зараза миновала ее, а также и верным ручательством за то, что зараза эта и впредь в нее не проникнет. А в чем же могла заключаться социальная самобытность России? После всего сказанного ясно, что она могла заключаться только в одном: в отсутствии у нас разделения общества на классы, взаимная борьба которых вызвала все западноевропейские потрясения и перевороты. Не удивительно поэтому, что одним из первых камней, положенных Погодиным в основу своей теории „официальной народности", явилось его, приведенное мною выше, замечание о том, что в России не было буржуазии.

XII.

„Ведь, что проклятые наделали в эти двадцать лет!—восклицает по адресу французов Сила Андреевич Богатырев у гр. Растопчина.—Все истребили, пожгли и разорили. Сперва стали умствовать, потом спорить, браниться, драться; ничего на месте не оставили, закон попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, царя казнили... Головы рубили, как капусту: все повелевали, то тот, то другой злодей. Думали, что это будет равенство и свобода, а никто не смел рта разинуть, носу показать, и суд был хуже Шемякина... Мало показалось своих резать, стрелять, топить, мучить, жарить и есть: опрокинулись к соседям, и начали грабить и душить немцев и венгерцев, итальянцев и гишпанцев, голландцев и швейцарцев... А там явился Бонапарт; ушел из Египта, шикнул—и все замолчало".

Брошюра, содержавшая в себе эту краткую философию истории французской революции („Мысли вслух на Красном Крыльце"), появилась в 1807 г. и скоро разошлась в числе 7.000 экземпляров [1]). Россия вела тогда войну с Францией; Растопчин нападал на врага. Но враг провинился в его глазах больше всего своей революционной теорией и практикой. И в том же винили французов многочисленные читатели гр. Ростопчина. Уже в то время, когда еще не дала себя почувствовать правительственная реакция, в нашем обществе сильно распространялась,—между прочим, под влиянием французской эмиграции,—реакция против революционных идей Запада. Несколько лет спустя, Сперанский пал жертвой этой реакции, которая пышно расцвела в конце царствования Александра I и еще более окрепла вследствие событий, сопровождавших у нас воцарение Николая I. После 1825 г. она сложилась в целую систему и принялась вырабатывать свою собственную теорию. Нельзя понять историю общественных идей в России, не приняв в соображение этого фактора, действие которого еще усилилось проникновением в некоторые кружки мыслящей русской молодежи идей утопического социализма. Это последнее замечание звучит, как парадокс, однако, оно вполне соответствует исторической действительности. Социалисты-утописты девятнадцатого века,—например, тот же Сен-Симон,—хорошо понимали прогрессивную роль классовой борьбы в прошлом; но что касается будущего, то все их надежды возлагались на мир

[1]) См. П. Смирновского—„История русской литературы девятнадцатого века". Выпуск V, стр. 128—129.

между эксплуататорами и эксплуатируемыми. К заключению и упрочению этого мира и должны были, по их мнению, повести их новые теории. Маркс и Энгельс говорят о них в своем манифесте: „Они желают улучшения материальных условий жизни для всех членов общества, даже для самых привилегированных. Поэтому, они неустанно взывают ко всему обществу безразлично, даже более того: они предпочитают обращаться к правящему классу. В самом деле, разве не довольно понять их систему, чтобы признать в ней наилучший изо всех возможных планов наилучшего из всех возможных обществ? Поэтому они отвергают всякую политическую деятельность...

Это была ошибка, которая была исправлена только тогда, когда социализм, в лице только что цитированных мною авторов, выработал материалистическое понимание истории. И эта ошибка утопического социализма весьма значительно облегчила нашей социалистической молодежи сближение с М. П. Погодиным и славянофилами там, где возникал вопрос об особенностях русской истории и созданного этой историей общественного строя. Но об этом после.

Погодин, справедливо называвший себя прирожденным монархистом и все-таки иногда либеральничавший не только до 14 декабря, но и после него [1]), скоро нашел свое призвание быть теоретиком русской охранительной мысли, в новом,—послереволюционном,—фазисе ее развития. Совершенно беспомощный в философии, он имел, однако, над тогдашними нашими „любомудрыми“ то огромное преимущество, что гораздо лучше их понял сильную сторону взглядов новой тогда во Франции исторической школы: стремление об'яснить политическую жизнь народов ходом их социального развития. Задавшись целью доказать, что Россия не Запад, он прежде всего спросил себя, похожа ли она на него в социальном отношении.

XIII.

Интересно, что на университетской кафедре Погодин выступил теоретиком русской самобытности как раз в то время, когда пресловутый С. С. Уваров, вскоре по вступлении своем на должность товарища министра народного просвещения, приехал в Москву для „обозрения“ тамошнего университета. Погодину пришлось прочитать в его присутствии свою вступительную лекцию по русской истории. Он очень волновался, готовясь к ней. Но даже и в волнении своем он оставался самобытником. „Думал о первой лекции при Уварове,— стоит у него в дневнике.—Докажем надменным иностранцам, которые осмеливаются сомневаться в Русском уме, Русском гении... Думал о лекции“ и проч. [2]).

Курс Погодина открылся в сентябре 1832 г. Профессор приглашал своих слушателей взглянуть на Россию „в настоящую минуту ее бытия“. Далее он спрашивал, „как сложился этот колосс, стоящий на двух полушариях, как сосредоточились, как сохраняются в одной руке все те силы, коим ничто, кажется, противостоять не может?“ И тут его теория нашей социальной самобытности выступает в качестве искомого ответа.

---

[1]) Так, еще 3 февраля он писал в своем дневнике (дальше дневника его либерализм не выходил): „Все европейские поэты изображают теперь человека, недовольного жизнью, обществом, знаниями. Знак хороший! Чем больше будет недовольных, тем скорее перемена к лучшему“ (Барсуков, кн. II, стр. 295). В его дневнике можно найти еще одно-два замечания в таком же духе. Все они относятся, конечно, к его молодости.

[2]) Барсуков, кн. IV, стр. 72.

Погодин указывает на то, что варяги пришли к нам не как победители, но как добровольно избранные. В этом он видит „первое существенное отличие в зерне, семени Русского Государства, сравнительно с прочими Европейскими“. И это существенное различие сказывается на всем дальнейшем развитии русского государства. „Вся история наша, до малейших общих подробностей, представляет совершенно иное зрелище: у нас нет укрепленных замков, наши города основаны другим образом, наши сословия произошли не так, как прочие Европейские“. К числу необыкновенных явлений, подобных которому мы напрасно стали бы искать во всей древней и новой истории, Погодин относит и то, что у нас университетский диплом заменяет собою все привилегии и грамоты. Но это ораторское увлечение. А вот главная мысль лектора. „Кто сожигает у нас разрядные книги и уничтожает местничество?.. Не раз‘яренная чернь парижская в минуту зверского неистовства, не Гракх, не Мирабо, не Руссо, но чиновный боярин, спокойно, на площади, перед лицом всех сословий, по повелению самодержавного государя Феодора Алексеевича.—Кто доставляет нам средство учиться, понимать себя, чувствовать человеческое свое достоинство? П р а в и т е л ь с т в о“ и т. д. [1]). Затем Погодин говорит, что ни одна история не заключает в себе столько чудесного, как русская. „Воображая события, ее составляющие, сравнивая их неприметные начала с далекими, огромными следствиями, удивительную связь их между собою, невольно думаешь, что п е р с т Б о ж и й ведет нас, как будто древних Иудеев, к какой-то высокой цели“. В подтверждение этой мысли лектор указывает на переселение Олега из Новгорода в Киев, на брак Ивана III с византийской царевной Софьей, на освобождение России от монгольского ига и даже... на убиение в Угличе царевича Дмитрия: „не пресекись род Московских князей, не было бы Романовых, не было бы реформации Петра“. Но этим не довольствуется вдохновенный оратор. Он об‘являет чудом даже бегство Лефорта из Женевы. После этого само собою понятно, что такое событие, как проникновение в Россию христианства из Византии, а не из Рима, не может рассматриваться Погодиным иначе, как чудо из чудес. Хотя, говоря об этом событии, он выражается осторожно, ссылаясь на „какой-то нечаянный случай“, но мысль его ясна из того, что случай этот, при всей своей нечаянности, дает ему повод предположить, что мы „предназначены были сохранить и развить особливую сторону Веры, только разделившейся тогда“ [2]).

В заключение лектор обращается к настоящему времени и делает практический вывод из своей исторической теории. Он говорит: „Не часто ли случается нам слышать восклицание: зачем у нас нет того постановления или этого. Если бы сии ораторы были знакомы с Историею, и в особенности с Историею Российскою, то уменьшили бы некоторые свои жалобы и увидели бы, что всякое постановление должно непременно иметь свое семя и свой корень, и что пересаживать чужие растения, как бы они (sic!) ни были пышны и блистательны, не всегда бывает возможно и полезно, по крайней мере всегда требует глубокого размышления, великого благоразумия и осторожности“. Да и нет надобности пересаживать на русскую почву чужие растения в виду того, что „собственные наши плоды“ чрезвычайно вкусны. Поняв это, мы должны преисполниться благодарностью к Промыслу „за свое удельное счастье“ [3]).

---

[1]) Барсуков, стр. 76. Курсив в тексте.
[2]) Там же, стр. 74.
[3]) Там же, стр. 78.

Смешно сказать: делая это первое систематическое положение ex cathedra теории официальной народности, Погодин опасался, что ему не пройдут даром некоторые его, будто бы смелые, выражения. Это был напрасный страх. Он сам записал в свой дневник, что все „обошлось благополучно". Еще бы! Уваров показал бы себя слишком несообразительным, если бы не одобрил такой лекции.

XIV.

Таким образом, теория официальной народности получила свое историческое обоснование уже в 1832 г. и притом без „помощи славянофилов". Все последующие рассуждения Погодина о счастливых особенностях нашей истории являются лишь повторением и более подробным развитием его, только что изложенного здесь, взгляда. С особенной полнотой взгляд этот повторен и развит им в статье: „Параллель русской истории с историей Западных Европейских государств, относительно начала": напечатанной в январской книжке „Москвитянина" за 1845 год.

Погодин начинает эту статью рассмотрением того, как возникли западные государства. При этом он прямо ссылается на Ог. Тьери и других историков той же школы. И он не только не оспаривает этих историков, но категорически заявляет, что их взгляд на возникновение и внутреннюю историю западно-европейских государств „очень верен". В том, что касается Запада, Погодин ничего от себя не прибавляет. Смотря на западную историю глазами названных историков, он прежде всего обращает внимание читателя на факт завоевания и на обусловленную этим фактом взаимную борьбу общественных классов. Начало и ход развития западно-европейского общества представляется ему в таком виде.

„К одному племени приходит другое (к Галлам—Франки, к Британцам—Норманны, к Испанцам — Вестготты, к Итальянцам — Лангобарды и проч.). Пришельцы побеждают туземцев и поселяются между ними. Предводитель делит землю между своими сподвижниками, которые (феодалы), в крепких замках, становятся господами, угнетают народ, отделяют его от Государя,— и живут на счет племени побежденного. Возникает непримиримая ненависть между сими племенами... Только в городах укрываются немногие жители, кои, в течение веков, после многих тщетных усилий и жертв, мало-по-малу, с величайшим трудом освобождаются от их влияния, и успевают приобрести себе независимость, при помощи Королей, которым феодалы были также тяжелы. В городах образуется среднее сословие... Среднее сословие после оборонительной войны предпринимает наступательную, стремясь уравниваться мало-по-малу с привилегированной аристократией. Она не уступает, и борьба сих двух сословий оканчивается революцией... В наше время низшие классы, вслед за средним, являются на сцену, и точно как в революции среднее сословие боролось с высшим, так теперь низшее готовится на Западе к борьбе с средним и высшим вместе. Предтечей этой борьбы мы уже видим: сен-симонисты, социалисты, коммунисты соответствуют энциклопедистам, представившим пролог к французской революции. Горе, если средние сословия не образумятся там заблаговременно, и не сделают уступок. Им дается теперь на решение задача такого же рода, как Нотаблям в 1789 г." [1]).

---

[1]) „Москвитянин", 1845 г., № 1, отд. Науки, стр. 1—3. Правописание везде Погодинское.

Погодин находит, что „средние сословия“ так же мало способны решить эту задачу, как мало способны были „Нотабли“ накануне французской революции справиться с великой задачей своего времени. Он осуждает неуступчивость „средних сословий“, выражающуюся между прочим в упорном нежелании руководителей английской буржуазии уступить требованиям рабочих по части фабричного законодательства. Но чем менее уступчивы „средние сословия“, тем более вероятной становится революция „низших классов“. Поэтому, кратко формулируя свой взгляд на положение дел в западной Европе, Погодин говорит, что там „будущее в руце Божией“ [1]).

Обращаясь затем к русской истории, наш автор спешит указать на полное отсутствие в ней „главных явлений“, характеризующих собою историю Запада: „Нет ни разделения, ни феодализма, ни убежищных городов, ни среднего сословия, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы“. А это об‘ясняется тем, что наша история началась совсем иначе, нежели западная. „Мы имеем,—говорит Погодин:—положительное сказание летописи, что наше государство началось не вследствие завоевания, а вследствие призвания. Вот источник различий! Как на Западе все произошло от завоевания, так у нас происходит от призвания, беспрекословного занятия и полюбовной сделки“ [2]).

Это отличие „относительно начала“ подкрепляется, по словам Погодина, отличиями физическими и нравственными. К первым он относит пространство, населенность, почву, климат, положение и систему рек; ко вторым—народный характер, религию и образование. Перечислив их, Погодин восклицает: „вот сколько различий положено в основание Русского государства сравнительно с Западными. Не знаешь, которые сильнее: исторические, физические или нравственные“ [3]). Но на самом деле главное место в схеме русской истории занимает мирное призвание князей. Особенности же географической среды и „словенского характера“ именно только подкрепляют своим влиянием решающее действие главного, „исторического“, отличия. По всему видно, что, проведя свою „параллель“, Погодин больше всего считался с учением Гизо и других французских историков об огромной роли борьбы классов в процессе развития западно-европейского общества.

На основании всех этих разнообразных соображений Погодин приходит к тому окончательному выводу, что мы должны были допустить возникновение нынешней России „из ничего“, если бы захотели прикладывать западную мерку к русской исторической жизни. „Нет!—восклицает он.—Западу на Востоке быть нельзя, и солнце не может закатываться там, где оно восходит“ [4]).

---

[1]) В особом примечании он утверждает, что греческая и римская истории совершенно похожи на историю новых государств Запада. „Вся история Рима от Ромула до Цезаря есть ни что иное, как борьба патрициев с плебеями, которые уравнялись, увы, уже под военным диктаторством Цезаря. У Греков те же отношения выразились в соперничестве Афин и Спарты, в войне Пелопонесской, пока Филипп и Александр не положили им также конца; Цезарь и Александр совершенно соответствуют Наполеону, а история французской революции есть кровавая миниатюра всех западных историй“.

[2]) Там же, стр. 5.—Эта статья Погодина перепечатана,—но уже не под названием: „Параллели“, а под названием: „Сравнение русской истории с историей“ и т. д., в первом томе погодинской „Древней Русской Истории до Монгольского ига“. Москва, 1872 г., стр. 138—155.

[3]) Там же, стр. 17.

[4]) Там же, стр. 18.

XV.

Если на Западе „будущее в руце Божией", т.-е. если там вполне возможна и даже вероятна революция „низших классов", то мы, русские, можем быть спокойны: нам не угрожают никакие потрясения. Погодин не сказал этого в только что изложенной статье, но зато тем настойчивее твердил это впоследствии, особенно после февральской революции. По поводу приезда в Москву Николая I в конце марта 1849 г. он, в статье: „Царь в Москве", писал:

„Всякий согласится, что общество Европейское потрясено в своих основаниях и ищет себе новых опор. Оно найдет их, ибо благое Провидение со всех путей зла приводит человечество к одной своей цели—к добру, но пока продолжаются тревожные поиски и сменяются мучительные опыты, не всякую-ли минуту опасность грозит в Европе гибелью всему истинному, прекрасному, всему драгоценному, что приобретено, в течение веков, страданиями и слезами, потом и кровью, желаниями и молитвами всех предшествовавших поколений? И во всякую такую страшную минуту, скажете, не обращаются ли взоры с каждой стороны, с правой и левой, сюда, к нам, на далекий Север, к этому поносимому безумцами народу и его великомощному Царю, что он подумает, что он скажет, что он сделает?

„Но он, кажется, ничего не делает; ничего не предпринимает, не указывает, он молчит.

„Да, он молчит, и между тем мысль о нем у одних удерживает руку, уже поднятую, и она внезапно опускается в нерешимости. Да, он молчит, и между тем другие с мыслию о нем засыпают покойнее на своих тернием покрытых ложах; одни почерпают в этой мысли для себя бодрость, другие поражаются робостью; для одних здесь надежда, для других страх" [1]).

Таким образом, „теория официальной народности" принимает совершенно законченный вид. Возникнув, как идейная реакция против общественных потрясений, вызываемых классовой борьбой в Западной Европе, она естественно привела к идеализации „Востока", который считался застрахованным от таких потрясений счастливыми особенностями своего социального быта и своего политического строя. „Западное влияние" на русскую литературу до сих пор не рассматривалось с точки зрения борьбы классов. Поэтому меня заподозрят, пожалуй, в преувеличении. Но это будет совершенно неосновательно. Я ничего не преувеличиваю; напротив, недостаток места вынуждает меня излагать предмет так кратко, что он непременно должен представиться читателю в преуменьшенном виде. Пусть не думают, что русским писателям не было никакого дела до классовой борьбы, происходившей на Западе. В XIX веке русская общественная жизнь была уже так тесно связана с западно-европейской, что ход развития этой последней не мог не обращать на себя внимания русской литературы. Выше я показал, какое впечатление произвела на русских охранителей французская революция. Теперь, заговорив о революции 1848 г., я приведу несколько примеров, показывающих, что и она была понята нашими охранителями в ее истинном смысле, т.-е. как одно из самых острых проявлений классовой борьбы в западно-европейском обществе.

Поэтический дядька чертей и ведьм, В. А. Жуковский, повидимому, всегда был преисполнен самых неземных интересов; от него трудно, казалось

---

[1]) Барсуков, кн. X, стр. 224—225.

бы, ожидать внимания к такому земному делу, как западно-европейская классовая борьба. А, между тем, вот что писал он наследнику (будущему Императору Александру II) как раз накануне февральского переворота во Франции:

„Мы живем на кратере вулкана, который недавно пылал, утих и теперь снова готовится к извержению. Еще первая лава его не застыла, а уже новая клокочет в его внутренности и скоро, скоро разольется. Одна революция (т.-е. Великая французская революция. Г. П.) кончилась, другая готова вступить в ее колеины. И замечательно, что последняя, т.-е. та, которая нам грозит, в своем ходе наблюдает тот же порядок, какой наблюдала первая, несмотря на различие их характеров“ [1]).

Не правда ли, это довольно неожиданно со стороны поэтического дядьки? Но после этих строк нас уже не удивит следующее соображение, с которым Жуковский обратился к тому же адресату 17 (29) февраля 1848 г., т.-е. под впечатлением революционных событий в Париже:

„Что скажет, смотря на это, государь? Просвети Бог его царскую высокую душу! Более нежели когда-нибудь утверждается в душе моей мысль, что Россия посреди этого потопа (и кто знает, как высоко подымутся волны его) есть ковчег спасения, и что она будет им не для себя одной, но и для других, если только посреди этой бездны поплывет самобытно, *не бросаясь в ее водоворот*, на твердом корабле своем, держа его руль и не давая волнам *собою властвовать*. Я не политик и не могу иметь доверенности к своим мыслям; но кажется мне, что нам в теперешних обстоятельствах надобно китайскою стеною отгородиться от всеобщей заразы. Мне кажется, что Промысл в этом событии выражает ясно и теперешний долг, и будущую судьбу России: она есть *отдельный, самобытный мир*, в самой себе она тверда и неприкосновенна; устремленная на внешнее, она только может растратить свои силы и чужим потрясением разрушить свое собственное здание“ [2]).

В письме от 6 марта 1848 г. В. А. Жуковский опять обращает внимание наследника на счастливую особенность нашего социального строя.

„А наша святая Россия! О, она тверда собственною силою. Она еще не заражена тем тифусом, который теперь свирепствует в политическом теле всей Европы! Ее сила стоит на святом вековом фундаменте самодержавия, и она устоит на нем, если самодержавие само своим могуществом не ослабит себя. У нас еще нет пролетариев; есть *искусственные* пролетарии; но правительство, которое само произвело их, может легко их уничтожить“ [3]).

В. А. Жуковский был все-таки человек, не лишенный некоторого образования и знакомый с западно-европейской общественной жизнью. Огромное большинство людей, составлявших так называемое общество, далеко уступало ему в обоих этих отношениях. Петрашевец Кузьмин писал около того времени о помещиках Тамбовской губернии: „Большинство здешних помещиков штаб-ротмистры или поручики в отставке, без достаточного образования, но с порядочным запасом долгов, продолжают разорять свои имения, собачничают и пр. Чего ожидать от таких господчиков?“ [4]). Многого ожидать от них действительно было невозможно. Однако, и эти господчики без достаточного образования, но с достаточным запасом долгов, хорошо сознавали свой сословный интерес и потому готовы были сочувствовать всяким нападкам на за-

---

[1]) Сочинение В. А. Жуковского. Спб., 1902 г. Том XII, стр. 38.
[2]) Там же, стр. 40. Курсив Жуковского.
[3]) Там же, стр. 43. Курсив Жуковского.
[4]) „Петрашевцы“. Изд. В. М. Саблина. Москва, 1907 г. Стр. 46—47.

падно-европейских революционеров. В этом охранительном настроении русского „общества“ заключался залог успеха всякой теории, направленной к идеализации существовавшего порядка вещей. А так как „теория официальной народности“ являлась именно идеализацией этого порядка, то ей не могло не сочувствовать все, что было консервативного в тогдашней „читающей публике“.

В первой книжке „Москвитянина“ за 1849 г. напечатано было стихотворение М. А. Дмитриева: „Россия“, в конце которого говорится:

Покорный, кроткий, терпеливый
Здоров и крепок твой народ!
Ты веры край благочестивый!
Стой против бурь живой оплот!
Во дни народных смут и боя,
Одна безмолвна и тверда,
Одна в величии покоя,
Свидетель Божия Суда! [1])
Вихрей бунт встревожил воды и т. д.

Официальное представление о народности, сочувственно разделявшееся огромнейшим большинством тогдашнего правящего класса, было представлением о народной массе, которая, отличаясь здоровьем и крепостью,—что очень полезно при ее полной лишений жизни,—в то же время радует своих благодетелей терпением, кротостью, а главное—покорностью [2]).

XVI.

Теория официальной народности не могла нравиться нашим передовым западникам. Тем не менее, во взгляде на Россию, преобладавшем между людьми западного лагеря, было очень много элементов совершенно тождественных с теми, из совокупности которых образовалась теория официальной народности. Если сотрудники „Москвитянина“ считали терпение, кротость и покорность наиболее характерными чертами русской народной массы, то, ведь, почти так же смотрел на народ и издатель „Современника“ Некрасов:

Унылый, сумрачный бурлак!
Каким тебя я в детстве знал,
Таким и ныне увидал:
Все ту же песню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь,
В чертах усталого лица
Все та-ж покорность без конца...

---

[1]) Барсуков, кн. X, стр. 297.—Ср. написанное в 1848 г. стихотворение Жуковского: „К русскому великану“:

[2]) В письме к своему отцу, от 24 февраля 1849 г., И. С. Аксаков, которого трудно заподозрить в преувеличении, говорил: „Возвращение старого порядка вещей в Европе наводит улыбку гордой радости на лицах наших петербургских аристократов. Они вдруг все приободрились... На лицах их написано: „Слава Богу, теперь мы безопасно можем делать то, что делали прежде, т.-е. роскошничать, развращать и разорять наших крестьян!“ Когда, в прошлом году, испуганные Европейскими смутами они пели хвалебный гимн России и русскому народу, то в этих словах слышались мне другие слова: „какой у нас в самом деле добрый, терпеливый, удобный народ: мы презираем его, выжимаем из него последнюю денежку, и он сносит все и даже не питает к нам ненависти“. (И. С. Аксаков в его письмах. Часть I, т. II. Москва, 1888, стр. 150—151).

В другом стихотворении тот же Некрасов говорит:

Пожелаем тому доброй ночи,
Кто все терпит во имя Христа,
Чьи не плачут суровые очи,
Чьи не ропщут немые уста,
Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусства, в науки,
Предаваться мечтам и страстям...

Народ представляется Некрасову в том же виде, в каком он представлялся сотрудникам „Москвитянина". Разница была лишь в том, что Некрасова и людей его образа мыслей огорчала народная „покорность без конца", а сотрудников „Москвитянина" она радовала. Тут мы видим то же самое, что видели в отношении наших западников к вопросу об особенностях исторического развития России. Пушкин соглашался с Погодиным в том, что у нас не было ни феодализма, ни борьбы городов за свое освобождение от феодального гнета. Соглашался с ним в этом и Белинский. Но между тем как Погодин находил эту особенность нашей истории весьма счастливой, Пушкин замечал по ее поводу: „и тем хуже". Того же мнения был и Белинский. Отсутствием у нас внутренней борьбы он об'яснял, как мы знаем, слабость России по части „разумного развития". Впоследствии, когда наши передовые западники более или менее усвоили себе идеи утопического социализма, они, с своей стороны, стали смотреть на отсутствие в России внутренней борьбы, как на весьма счастливую особенность русской общественной жизни. Этим они еще более сблизились с теоретиками „официальной народности". Мало того. На самый спор между „западными", с одной стороны, и „восточными"—с другой, стали смотреть, как на утративший всякий смысл. Да и несправедливо было бы назвать западником, например, такого теоретика передового лагеря, каким был Н. К. Михайловский, утверждавший, что социальный вопрос, который на Западе является революционным вопросом, у нас, благодаря счастливым особенностям нашего общественного строя, оказывается вопросом консервативным. Этот взгляд был лишь повторением известной фразы Ю. Самарина о том, что в оправдание западной (социалистической) „формулы", мы приносим (общинный) „быт". Таким образом, спор переносился в совершенно другую плоскость. Вопрос, подлежавший решению, состоял теперь не в том, должны ли мы итти по пути западно-европейского развития,—этот вопрос обе стороны считали решенным в отрицательном смысле,—а в том, как следует нам относиться к нашему своеобразному быту в его нынешнем виде. Одни, охранители,—и между ними, естественно те, которые некогда воевали с западниками в качестве теоретиков „официальной народности" и славянофилов,—находили, что этот быт удовлетворителен уже в своем настоящем виде и нуждается лишь в некоторых частных исправлениях. Другие, теоретики поступательного движения,—народники, „народовольцы" и социологи суб'ективной школы,—доказывали, что русский общественный „быт" совсем неудовлетворителен в настоящее время, но заключает в себе весьма счастливую возможность легкого и быстрого самоусовершенствования. Чтобы эта возможность перешла в действительность, нужно только „закрепить общину", поддержать артели, оказать помощь кустарному производству и т. п. Кто сделает все это? Разумеется, это могут сделать только власть имущие. Поэтому наши передовые люди усердно раз'ясняли

власть имущим „консервативный“ характер „социального вопроса“ в России [1]. Они долго утешали себя надеждою, что труд подобного раз'яснения не пропадет даром. Те же из них, которые не верили в это, приходили к тому убеждению, что „консервативный“ социальный вопрос должен быть решен в России революционной властью. Так возникла „народовольческая“ теория захвата власти революционерами. И хотя эта теория, как небо от земли, далека от политического образа мыслей людей в роде Погодина, однако, несомненно, что в области теории наши „левые“ никогда так сильно не сближались с нашими „правыми“, как именно в это время: у тех и у других тот же самый взгляд на общественный строй России и, как последствие этого взгляда, та же самая вера в исключительную социальную мощь правительства, которому будто бы стоит только захотеть, чтобы осчастливить русский народ.

В мой план не входит критика теории „официальной народности“: подробно критиковать ее—значило бы рассказывать, как совершалось развитие русской общественной и научной мысли, начиная с 40-х годов прошлого века вплоть до настоящего времени. Ограничусь поэтому немногими замечаниями.

В настоящее время русская историческая наука относится к рассказу нашего летописца о призвании Рюрика с братьями не так доверчиво, как относились к нему Погодин и славянофилы. Проф. Ключевский изображает это событие так:

„Около половины IX в. дружина балтийских варягов проникла Финским заливом и Волховом к Ильменю и стала брать дань с северных славянских и финских племен. Туземцы, собравшись с силами, прогнали пришельцев и для обороны от их дальнейших нападений наняли партию других варягов, которых звали Русью. Укрепившись в обороняемой стране, нарубив себе „городов“, укрепленных стоянок, наемные сторожа повели себя завоевателями. Вот все, что случилось“ [2]).

Наше сказание о призвании князей мало распространяется об их завоевательных подвигах, выдвигая на самый первый план их призвание туземцами. На это были, по замечанию г. В. Ключевского, свои причины. Рассказ о призвании князей дошел до нас в том виде, какой он принял в XI и в начале XII в., т. е. гораздо позже того времени, о котором идет в нем речь. „В XI в. варяги продолжали приходить на Русь наемниками, но уже не превращались здесь в завоевателей, и насильственный захват власти, перестав повторяться, казался маловероятным“ [3]). Кроме того, русские книжники XI в. не могли примириться с мыслью о насильственном захвате власти русскими князьями: они уже привыкли смотреть на эту власть, как на правомерную, и им хотелось внести идею ее правомерности в рассказ об ее про-

---

[1]) Сказанное здесь относится к народникам собственно второй „манеры“, т.-е. той эпохи, когда народничество перестало быть революционным течением. В то время, когда оно было таковым, его теоретические представители иначе преувеличивали роль правительства в экономической эволюции русского народа. Они целиком относили на счет правительства существование в России общественных классов и думали, что эти последние исчезнут вместе с разрушением государства. Разница между ними и Погодиным во взгляде на социальный быт России была все-таки не велика: Погодин говорил: на Западе есть классы, а у нас их нет. Народники утверждали: на Западе государство создано разделением общества на классы; у нас же наоборот—разделение общества на классы создается государством. С исчезновением государства утратится это разделение. Противопоставление России Западу оставалось, таким образом, в своей полной силе. Народники ни за что не сказали бы: у нас не было феодализма и тем хуже. Они говорили: и тем лучше. В этом отношении они были вполне солидарны с Погодиным.

[2]) „Курс Русской Истории“. Москва, 1908 г. Изд. 3-е, ч. I, стр. 168—169.

[3]) Там же, стр. 169.

исхождении. Проф. Ключевский не считает рассказ о призвании князей народным преданием; по его выражению, „это—схематическая притча о происхождении государства, приспособленная к пониманию детей школьного возраста[1]). Справедливость этой мысли очень выпукло подтверждается указанием проф. С. Ф. Платонова на то, что в рассказе английского летописца Видукинда призвание англо-саксов бриттами совершается точно таким же образом, каким происходит призвание варягов в русской летописи. Замечательно, что и землю свою бритты расхваливали англо-саксам теми же словами, какими новгородцы расписывали свою варягам: „terram latam et spatiosam et omnium rerum referam“.

Столь же достойной замечания приходится признать и ту мысль проф. Ключевского, что „Киевское княжество, как и городовые области, ему предшествовавшие, имело не национальное, а социальное происхождение, создано было не каким-либо племенем, а классом, выделившимся из разных племен. Погодин отрицает разделение русского общества на классы, указывая между прочим на „Русскую Правду“, которая за убийство русина, т.-е. варяга и славянина назначает одинаковую пеню. „Как разительно этот закон Русской Правды, замеченный Карамзиным,—восклицает он,—противоположен с Салическим, и как ясно подтверждается им различие в начале государств Западных с Русским! В основание государства у нас была положена приязнь, а на Западе ненависть“[2]). Странно, что ссылка на Русскую Правду повторяется для доказательства той же мысли и французским историком России Альфредом Рамбо[3]). Странно потому, что она совсем не убедительна.

Русская Правда назначала за убийство, во-первых, денежную пеню в пользу князя (вира) и, во-вторых, вознаграждение в пользу родственников убитого (головничество). Размеры виры были таковы: за убийство члена старшей дружины или княжого мужа полагалось 80 гривен; за убийство простого свободного человека 40 гривен. Есть ли тут равенство? Нет. А как обстоит дело с головничеством? За убийство княжого мужа головничество равнялось 80 гривнам кун, а за свободного крестьянина—5 гривнам[4]). Есть ли тут равенство? Опять нет! Напротив, тут огромное неравенство. Если это неравенство прав не имеет под собою племенной основы, т.-е. если за убийство княжого мужа взыскивается одинаковая вира и одинаковое головничество независимо от того, варяг он или славянин, то очевидно, что оно опирается на неравенство экономическое, т.-е. представляет собою следствие разделения тогдашнего общества на классы. И это разделение также отмечается новейшей исторической наукой. Проф. В. Ключевский говорит, что „Русская Правда есть по преимуществу уложение о капитале“ или „кодекс капитала“[5]). Конечно, он употребляет здесь неправильную терминологию, называя капиталом всякое „имущественное неравенство людей“[6]). Но это в данном случае не имеет для нас значения. Верным остается то, что Русская Правда явилась юридическим Уложением такого общества, которое уже разделилось на классы. Если Погодин пришел на основании этого Уложения к выводам, резко противоречившим исторической действительности, то причиной этого был его крайне ошибочный взгляд на происхождение обще-

---

[1]) Там же, стр. 170.

[2]) „Москвитянин“, 1845 г. № 1, стр. 11.

[3]) Histoire de la Russie depuis les origines jusqu'à nos jours, par Alfred Rambaud.

[4]) В. Ключевский. Курс Русской Истории. Том I, стр. 297—208.

[5]) Там же, стр. 304.

[6]) Там же, стр. 302.

ственных классов. Он думал, как видно, что только завоеванием вызывается разделение общества на классы. В действительности это совсем не так. Завоеватели становятся господствующим классом только там, где они занимают место туземных господ и исполняют ту же самую общественную функцию, которая прежде исполнялась этими последними. Другими словами: только там, где экономическое развитие уже раньше разделило общество на классы. Но эту большую ошибку Погодин делает вместе со своими учителями—французскими историками времен реставрации, которые тоже страшно преувеличивали роль завоевания в социальной истории Европы.

XVII.

Завоевание есть политический акт. Деятельность, направленная на достижение данной политической цели, есть сознательная деятельность. Сознательная деятельность общественного человека находится в тесной зависимости от его идей. Видеть в этих идеях последнюю, глубже всех остальных лежащую причину деятельности человека, значит быть историческим идеалистом.

Я сказал, что взгляды французских историков школы Гизо—Тьери были порождены сознанием неудовлетворительности исторического идеализма, господствовавшего в XVIII в. Гизо понимал, что прежде чем стать причиной, политические отношения людей являются следствием, и именно—следствием социальных отношений. Проводя последовательно эту мысль, он должен был бы признать, что в каждом данном случае завоевание (политическое действие) являлось следствием, прежде чем стать причиной. А это показало бы ему, что для об'яснения последствий всякого данного завоевания необходимо принимать в соображение экономический быт того племени, которое было завоевано, совершенно так же, как и того, которое выступило в роли завоевателя. Знание экономического быта двух враждебно столкнувшихся между собою племен, и только это знание, об'ясняет, почему завоевание одного из них другим дало именно те, именно такие-то, а не какие-нибудь другие социальные и политические следствия. Если бы Гизо сознал все это, он выработал бы метод исторического материализма. Но, провозгласив необходимость предварительного изучения социального быта, как основы политического строя, и тем сделав огромный шаг в направлении к историческому материализму, Гизо кончил тем, что целиком отнес этот быт, т. е. классовое деление европейского общества,—на счет завоевания; а это вернуло его к историческому идеализму [1]). Такой же круговорот совершила и лишенная оригинальности научная мысль Погодина: он тоже пришел к историческому идеализму. Но, вернувшись к историческому идеализму в своем взгляде на происхождение классовой борьбы, Гизо все-таки постоянно считался с ходом этой борьбы в западно-европейских обществах. Это последнее обстоятельство опять вносило материалистический элемент в его метод научного исследования. Не то

---

[1]) Вот почему Маркс, исторический материализм которого был в значительной степени подготовлен научными исследованиями Гизо, отнесся к этому историку с таким резким отрицанием. (См. его рецензию на сочинение Гизо: Pourquoi la revolution d'Angleterre a-t-elle réussi? Discours sur l'histoire de la révolution d'Angleterre. Paris, 1850, напечатанную в Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels, 1841 bis 1850. Dritter Band. Стр. 408 и след.). Недостатки Гизо бросались Марксу в глаза больше, чем его достоинства. Впрочем, пишущий эти строки из личных бесед с Энгельсом знает, что как сам Энгельс, так и Маркс считали себя во многом обязанными научным трудам того же Гизо и других французских историков времен реставрации.

было с Погодиным. К идеалистическому взгляду на происхождение классовой борьбы в западно-европейском обществе, у него прибавилось то убеждение, что у нас не было такой борьбы, так как варяжские князья явились в качестве „мирных гостей“, а не в качестве завоевателей. Этим устранялся из его философских соображений о русской истории всякий элемент материализма, и ему оставалось только ссылаться на особенности славянского характера, толковать о „любви“, „добром согласии“, „естественной свободе“ и т. п., а в самых торжественных случаях апеллировать к Провидению. Во всем этом нельзя было, разумеется, обойтись без больших наивностей и грубых натяжек.

Вот пример. Погодин говорит: „На Западе Король был обязан своим сподвижникам..., помогавшим ему покорить землю, а наш Князь не имел никаких обязанностей к боярам, большею частию его родственникам, которые сопровождали его без всякой со стороны его нужды, не имели случая оказать ему никаких важных необходимых услуг—и в случае неудовольствия могли только оставить его“ [1]). Это „только“ изумительно в полном смысле слова. Ведь, князь, „только“ оставленный своими сподвижниками, лишался всякой силы, а следовательно, всякого действительного значения. „Дружина в древней Руси пользовалась большим влиянием на дела,—говорит проф. С. Ф. Платонов;—она требовала, чтобы князь без нее ничего не предпринимал, и когда один молодой киевский князь решил поход, не посоветовавшись с нею, она отказала ему в помощи, а без нее не пошли с ним и союзники князя. Солидарность князя с дружиной вытекала из самых реальных жизненных условий, хотя и не определялась никаким законом. Дружина скрывалась за княжеским авторитетом, но она поддерживала его; князь с большой дружиной был силен, с малой—слаб“ [2]). То же самое было и на Западе. Известно кроме того, что старшие дружинники нередко сами имели свои собственные дружины, весьма многочисленные. Симон-варяг прибыл на службу к киевскому князю с 3.000 собственных дружинников [3]). Это опять похоже на западно-европейские отношения и опять совсем не согласно с тем, что думал Погодин.

Другой пример. По словам нашего теоретика „официальной народности“, „Феодалы Западные, отняв землю и заставив работать на себя ее обывателей, с самого начала поставили себя во враждебное отношение к ним, а наши Бояре, не имея никакого дела до народа, кроме сбора дани и суда, жили в добром согласии с ним“ [4]). Это наивно. „Сбора дани и суда“ было более, чем достаточно для того, чтобы нарушить „доброе согласие“ между народами и нашими боярами. И разве судить и собирать дань—значит „не иметь никакого дела до народа“? Я уже не говорю о том, что чем более исследуется учеными наша „аграрная эволюция“, тем больше расшатывается мысль об ее самобытности, будто бы обусловленной исключительными свойствами славянского духа.

Погодин сам чувствует,—на то он все-таки историк!—что нарисованная им картина мало соответствует исторической действительности. Поэтому он замечает, что в то грубое и дикое время „призвание и завоевание были очень близки, сходны между собою, разделялись очень тонкою чертою“ [5]). Однако, это замечание ровно ничего не поправляет. Если призвание и завое-

---

[1]) „Москвитянин“, 1845 г. № 1, стр. 6.

[2]) Лекции по русской истории. Изд. 6-е. Спб. 1909. Стр. 95.

[3]) Н. П. Павлов-Сильванский. Государевы служилые люди. Люди кабальные и докладные. Спб. 1909. 2-е изд. Стр. 8.

[4]) „Москвитянин“, 1845 т. № 1, стр. 8.

[5]) Там же, стр. 5.

ние были тогда очень сходны между собою, разделяясь лишь очень тонкою чертою, то ясно, что „начало“ русской истории отличалось от „начала“ истории западно-европейской такою же тонкой чертой и что оно было „очень сходно“ с ним. А у Погодина неожиданно получается полная противоположность: на Западе государь—„главный враг“; у нас—„желанный защитник“. Таким образом, его замечание только увеличивает путаницу. На это тогда же обратил внимание П. В. Киреевский.

В своем, оставшемся неоконченным, письме к Погодину „О древней русской истории“ Киреевский писал: „Ваша главная мысль,—что есть коренное яркое различие между историей западной (латыно-германской) Европы и нашей историей—неоспорима. Но статья ваша, мне кажется, выражает два, совершенно противоположные, взгляда, которые наполняют ее противоречиями“ [1]).

Погодин не смутился возражением Киреевского. Напротив, раздраженный им, он привел целый ряд фактов, в самом деле показывающих, что пресловутое призвание варяжских князей славянскими и финскими племенами было очень похоже на завоевание славянских и финских племен варяжскими князьями. Он писал:

„Благоволите развернуть Нестерову летопись, по Лаврентьевскому списку, и отыскать стр. 15, строку 3. Вы там найдете: поиде Олег воевати Деревляне и прилучив и, имати на них дань.—В строке 5: иде на Северяне, и победи Северяны.—На странице 12: а Сухичи и Теверцы имаше рать.—На стр. 27, строка 2: Игорь иде в Дерева в дань, и примышляше к первой дани, насиляше им.—На стр. 31. Ольга... овых губи, а другии работе предаеть.—На стр. 36: Вятичи победи Святослав.—На стр. 50: Владимир Вятичи победи... заратишася Вятичи, и иде на ня Володимер, и победи я второе.—На стр. 51: иде Володимер на Радимичи... и победи.—На стр. 86: Иде Володимер на Хорваты. Пришедшю бо ему с войны Хорватьскыя и пр...—Довольно ли с вас этих мест „о войне, о примучениях, победах, ратях, насилиях, пленениях“, свидетельствующих, что было у нас много похожего на завоевание, и что я имел основание говорить о том“ [2]).

П. Киреевский, конечно, остался при своем мнении; но возражений, выдвинутых против него Погодиным о сходстве призвания с завоеванием, было, в самом деле, за глаза „довольно“. В них было плохо—если плохо—только то, что они блистательно опровергали не только П. Киреевского, но и самого Погодина: „главное“ отличие русской истории от западной оказывалось близким к нулю. Благодаря этому падала вся теория официальной народности.

Впрочем, это не было замечено тогда ни самим Погодиным,—что еще не очень удивительно,—ни даже вечно воевавшими с ним западниками, что было бы совсем непонятно, если бы не находило себе достаточного об'яснения в том обстоятельстве, что тогдашние западники тоже стояли на точке зрения исторического идеализма. Только более или менее сознательное полное и систематическое усвоение нашими историками и публицистами материалистического способа об'яснения истории привело к разоблачению всей неосновательности погодинско-славянского противопоставления России Западу. Но об этом здесь распространяться не место.

[1]) „Москвитянин“, 1845 г. № 3. Отд. науки, стр. 11.
[2]) Там же, стр. 48.

XVIII.

По мнению г. П. Милюкова, возражения, сделанные П. Киреевским Погодину, показывают, „как, в сущности, далек был Погодин от настоящего славянофильства, несмотря на все желание к нему приблизиться“ [1]). Я не могу согласиться с этим. П. Киреевский сам признает свое полное согласие с Погодиным в том, что касается „главного“ отличия России от Запада. Поэтому спор с Погодиным представляет собою спор между двумя единомышленниками, несогласными друг с другом лишь в том, что касается второстепенных вопросов. Эти второстепенные вопросы очень интересны. Но возникшие по их поводу разногласия между Погодиным и П. Киреевским отнюдь не опровергают моего мнения о кровном родстве славянофильской теории с теорией „официальной народности“.

Для того, чтобы оценить значение этих второстепенных спорных вопросов, нужно было бы предварительно дать изложение и критику славянофильской теории. Это будет сделано мною в статье: „Славянофильство и Западничество“, в которой я вернусь к спору Погодина с Киреевским. Но уже теперь читатель, несколько знакомый со славянофильской теорией, согласится со мною, если я скажу, что, возражая Погодину, П. Киреевский отчасти возражал также и некоторым из своих ближайших единомышленников-славянофилов.

Вот доказательство. П. Киреевский утверждал, что Погодин уступил влиянию немца Шлецера, приписав русскому народу равнодушие к общественным делам и представив основание русского государства делом варяжских пришельцев. Но о каких же общественных делах говорил в этом случае Погодин? Очевидно—о политических (так как речь шла у него об основании государства). Но кто же не знает, что многие из славянофилов, собственно так называемых,—и больше всех К. Аксаков,—приписывали русскому народу то равнодушие в политике, благодаря которому он будто бы представляет правительству всю полноту власти, оставляя себе лишь свободу? [2]) При чем же тут немец Шлецер?

Самое значительное и действительно важное разногласие между П. Киреевским и Погодиным сводится вот к чему. Погодин сказал в своей статье: „Мы получили гражданское образование от пришельцев, а западные племена дали им“ (т.-е. дали им образование. Г. П.) [3]). П. Киреевский горячо и подробно оспаривал это. И надо признать, что в этом случае он был (в публицистическом смысле) последовательнее Погодина. В самом деле: если мы однажды получили образование от пришельцев, и притом от западных пришельцев, какими, несомненно, были варяги, то почему нам и теперь не поискать его на Западе? А обращаясь за ним на Запад, мы сильно рискуем сделаться западниками. Поэтому славянофилам естественно было искать образование у себя дома, т.-е. утверждать, что древняя Русь гораздо дальше ушла по пути культурного развития, чем это думали иностранные исследователи. И они стали „искать“ его так старательно, что доходили до смешных преувеличений. Однако, они были правы постольку,

---

[1]) Главные течения, стр. 258.

[2]) В письме, от 9 июля 1849 г., к своим родителям И. С. Аксаков довольно зло подшучивает над братом: „Хотя, по убеждению Константина, русский народ равнодушен к управлению, потому что ищет Царствия Божия“. (И. С. Аксаков в его письмах. Часть I. Том II. Стр. 195).

[3]) „Москвитянин“, 1845 г., № 1, стр. 17.

поскольку отказывались признать ту мысль, что русские славяне обязаны были всем своим гражданским бытом варяжским пришельцам. Отвергая эту мысль, славянофилы были вполне верны тому важному теоретическому положению, которое было выработано французской исторической школой, и которое гласило, что не политика определяет собою социальный быт, а социальный быт—политику. Рассуждая о „начале“ русской истории, Погодин не всегда забывал об этом важном теоретическом положении. Так, П. Киреевский упустил из виду, что Погодин, подобно ему, признавал существование у русских славян общины в доваряжский период их культурного развития. А пока он помнил о ней, он не мог уподоблять общественный быт этих славян хаосу, в чем его упрекает П. Киреевский [1]). Но это частность. В общем несомненно то, что Погодин склонен был забывать указанное теоретическое положение. Однако, это совсем не решает вопроса. Во-первых, положение это склонны были забывать, как показано мною выше, те самые люди, которые его выдвинули, т.-е. французские историки времен реставрации; во-вторых, это все-таки было второстенное разногласие, нисколько не устранявшее единомыслие в главном и существенном. „У них движение, у нас спокойствие“,—говорит Погодин в своей „Параллели“, сравнивая римско-католическую церковь с православной. После всего вышеизложенного, мы имеем полное право сказать, что эта краткая формула выражает собою не только его взгляд на взаимное отношение церквей, но также и вообще на все отношение русской истории к западно-европейской. И в эту же самую формулу целиком укладывается славянофильское учение о противоположности России Западу как в области общественной, так и в области умственной жизни. Разумеется, при развертывании этой формулы скоро обнаруживаются различия в зависимости от того, кто именно ее развертывает: Погодин с Шевыревым, или кто-нибудь из теоретиков славянофильства в тесном смысле. Но,—повторяю еще раз,—различия эти никогда не достигают существенного значения.

Славянофильство и теория официальной народности представляют собою по существу одно и то же учение, одинаково дорогое некоторым идеологам двух общественных слоев, но различно понимаемо ими, сообразно различному положению представляемых ими слоев в обществе. Славянофилы—дворяне, Погодин—разночинец. Это непременно надо иметь в виду при выяснении вопроса о том, как собственно относились славянофилы к Погодину.

---

[1]) Говорю: „пока помнил“, потому что иногда он изображал дело так, как будто русские славяне и в самом деле всеми элементами своего гражданского общежития были обязаны варягам. Например, в речи, произнесенной на университетском акте 1830 г., он витийствует: „Благословим же теперь память великих самодержцев России... Рюрика, которому судьба назначила славный жребий поставить на первую ступень гражданского образования то дикое общество, почти семейство, которое ныне разродилось в обширнейшую на свете Империю, где никогда не заходит солнце“ (Барсуков, кн. III, стр. 159). Но тут он увлекся желанием сделать комплимент правительству: „самодержавие“ было превознесено на счет „народности“. Правда, взгляд Погодина на состояние русских славян до призвания варягов значительно изменился под влиянием, вышедших в 1837 г., „Славянских древностей“ Шафарика (Ср. М. О. Кояловича „История русского самосознания“. Изд. 3-е. Спб. 1901 г., стр. 223 и сл.). Однако, даже впоследствии, напр., в своей „Древней Русской Истории до Монгольского ига“, общественный быт русских славян занимает нашего историка гораздо меньше, чем занимал он, например, К. Аксакова.

XIX.

Начиная с конца 50-х годов прошлого века и вплоть до недавнего времени, разночинцы—Чернышевский, Добролюбов и многие, многие другие—шли у нас во главе общественного движения. Поэтому мы привыкли смотреть на разночинцев, как на самый передовой общественный слой. Но они не всегда шли впереди. Прежде было совсем иначе. Герцен говорит в „Былом и Думах" о студентах-семинаристах своего времени: „Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей реторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы—досадовали на их христианское смирение" [1]).

Кто „мы"? Студенты, происходившие из среднего дворянского слоя. „Неистовый Виссарион" был исключением из тогдашних образованных разночинцев: огромнейшее большинство их далеко уступало образованным представителям среднего дворянства в широте взглядов и в смелости мысли. Типичным (тогда) идеологом слоя разночинцев приходится признать не Белинского, который указывал на то, что будет впоследствии, а Погодина, своим настроением выражавшего то, что было в то время. Для Погодина же характерно следующее замечание, сделанное им в начале 1839 г. о польском народе: „Сеймики, вот их жизнь, их любимое занятие... Говорить, толковать, умничать—вот их страсть..." [2]). В 60-х г.г. „умничание" сделалось „страстью" образованного разночинца. А в 30-х—образованный разночинец Погодин видел в страсти к „умничанию" историческое несчастье поляков. В сравнении с ним даже такие консервативные представители образованного дворянства, какими были бр. Киреевские, Хомяков и другие славянофилы, являлись настоящими фрондерами. Славянофилы тоже очень не любили „умничание" там, где оно приводило к действительным революционным выводам. Вся их пресловутая философия основана на полном его отрицании. Но в их отношении к нашему тогдашнему общественному порядку все-таки обнаруживалось гораздо больше духа личной независимости. Поэтому тот же Герцен и Грановский гораздо лучше чувствовали себя в обществе, например, И. Киреевского или Хомякова, чем в обществе Погодина или Шевырева.

Славянофилы всегда были самыми убежденными монархистами. Летом 1840 г. один из наиболее свободомыслящих славянофилов, Ю. Ф. Самарин, в письме к приехавшему в Москву французскому депутату Могену, говорил: „Принцип монархический—великое дело нашей истории. Она вся есть ни что иное, как развитие этого принципа... Неограниченная власть, единая и народная, действующая во имя всех, идущая во главе нашей цивилизации и совершающая у нас, без ужасов революции, то, что на Западе является результатом войн междоусобных и религиозных, смут и переворотов: такова форма правления, которую создал для себя русский народ; оно священное наследство нашей истории, и мы не хотим другой формы, ибо всякая другая форма была бы тиранией" [3]).

Это как раз то самое, что всегда проповедывал Погодин. В теоретическом отношении славянофил ни на волос не разошелся тут с теоретиком „официальной народности". Французы правильно говорят, что музыку делает тон.

---

1) Сочинения А. И. Герцена, 1878 г. Том VI, стр. 127.
2) Барсуков, кн. V, стр. 219.
3) Там же, стр. 481 и 482.

Высказывая тот же самый взгляд на монархическую власть, Погодин всегда ухитрялся придавать ему особый оттенок, который лучше всего характеризуется словами Герцена (написанными, правда, по другому поводу): „Отечественно раболепны, семинарски неуклюжи“. Белинский недаром назвал Погодина литературным циником. И что всего хуже, так это то, что чем больше умилялся наш историк, тем выпуклее выступал в его речах и писаниях этот свойственный ему раболепный и неуклюжий цинизм. В конце 1837 г. Погодин передал тогдашнему наследнику через гр. Строганова свое письмо о русской истории. Само собою разумеется, что Погодин воспевает в нем удивительные дарования русского человека. Но полюбуйтесь на „штиль“ его песнопения.

„Взглянем на сиволапого мужика, которого вводят в рекрутское присутствие: он только что взят от сохи, он смотрит на все исподлобья, не может ступить шагу, не задевши; это увалень, настоящий медведь, национальный зверь наш“ [1]). Начальство превращает этого „зверя“ в удалого солдата. „Поставят этого солдата под ядра, он станет и не шелохнется, пошлют на смерть— пойдет и не задумается, вытерпит все, что угодно: в знойную пору наденет овчинный тулуп, а в трескучий мороз пойдет босиком, сухарем пробавится неделю, а форсированными маршами не уступит доброй лошади...“ [2]). А вот еще: „Как отвечают о физике и химии крестьяне-ученики удельных и земледельческих школ? Какие успехи оказывает всякая сволочь в Московском художественном классе!“ [3]). Не забывайте, что написанное столь благородным „штилем“ письмо, было адресовано верноподданным историком наследнику русского престола. Нетрудно представить себе, как сильно должны были морщиться благовоспитанные приличные дворяне славянофильского направления, читая такие циничные панегирики русскому народу [4]).

Погодин утверждал, что Россия не знала классовой борьбы, но можно, не опасаясь парадокса, сказать, что его собственные взгляды сложились отчасти под влиянием того настроения, которое порождается взаимной борьбой (точнее: антагонизмом) общественных классов. Сближаясь с Аксаковыми, он отмечает в своем дневнике, что они „из варягов“, т. е., что они, по своему происхождению, аристократы. Он всегда очень резко отзывается о наших „магнатах“, которые, по его словам, пусты, эгоистичны и невежественны. Вернувшись с одного большого обеда у кн. Трубецких, он записал в своем дневнике 5 февраля 1822 г.: „Я так отвык от этих барских столов. Для меня показалось очень диким видеть, как двадцать человек сидят, а другие двадцать бегают около них, суетятся, смотрят в глаза и пр. Откуда взялось это различие?“ [5]). Это очень похоже на то, как гр. Л. Н. Толстой громил впоследствии барскую жизнь. Но это не мешало Погодину мечтать о приобретении деревеньки, населенной крепостными душами. И вообще полезно будет заметить, что наш историк обличал магнатов только в своем дневнике, остававшемся под спудом, а в своих лекциях, публичных речах и сочинениях он пребывал неуклюже раболепным. И иначе и быть не могло. Этот сын крепостного человека представлял собою тот период в развитии наших образо-

---

[1]) Барсуков, кн. V, стр. 168.

[2]) Там же, стр. 168—169.

[3]) Там же, стр. 169.

[4]) Слог Погодина,—знаменитая погодинская рубка,—вообще не отличался ни опрятностью, ни складностью и подвергался постоянным насмешкам. Напомню остроумную пародию Герцена на „Путевые записки“ Погодина. В одном, несколько нескладно написанном, письме к Самарину Хомяков оговаривается; „виноват за эту страницу Погодинского слога“ (Барсуков, кн. VIII, стр. 81. Ср. также стр. 82).

[5]) Барсуков, кн. I, стр. 172.

ванных разночинцев, когда они совсем еще не имели веры в народную самодеятельность. В 1826 г. он утверждал: „Удивителен русский народ, но удивителен только еще в возможности. В действительности, он низок, ужасен и скотен“ [1]). Не веря в народ и относясь с недоверием к дворянству, разночинцы могли обращаться только к правительству. Это мы и видим у Погодина. Но образованные представители дворянства тогда еще не утратили веры в свое сословие. Даже Герцен свои надежды на прогрессивное развитие России очень долго приурочивал к деятельности просвещенной части среднего дворянства. Тем более можно это сказать о славянофилах, все миросозерцание которых было чисто-дворянским миросозерцанием. А чем более верили они в свое собственное сословие, тем независимее они могли быть по отношению к правительству. Вот почему передовые западники вроде Герцена или Грановского гораздо лучше чувствовали себя в обществе И. Киреевского или Хомякова, нежели в обществе Погодина или Шевырева.

К этому нужно прибавить некоторые другие, еще более неприятные особенности Погодина, на этот раз совершенно личного свойства: его крайнюю бестактность, скупость и приобретательную наклонность, почти равнявшую его по временам с самим Чичиковым.

После всего сказанного понятно, почему славянофилы порядочно-таки сторонились теоретиков официальной народности, вполне разделяя, однако, их основные взгляды на отношение России к Западу, и почему они доходили подчас до того, что называли этих теоретиков „не нашими“. Теоретики официальной народности были родными братьями теоретиков славянофильства, но братьями, воспитавшимися при других условиях, в другой обстановке и потому усвоившими себе несколько иные привычки мысли и совсем другие вкусы. Различно воспитанные братья временами возмущали и даже скандализировали друг друга. Зато в важных случаях жизни они всегда вспоминали о своем близком родстве. Так, после лекции Шевырева Хомяков писал Самарину (в декабре 1844 г.):

„Успех Шевырева—успех мысли, достояние общее; шаг вперед в науке. Даже явное несогласие большинства—есть торжество. Эти поднятые вопросы, это недоверие, эта критика, переходящая в умственную жизнь публики. Другая и не менее важная выгода та, что, при уяснении самих вопросов, мнение каждое могло счесть своих последователей или людей, склонных к нему. Ряды наших друзей оказались необычайно редкими и дружина ничтожною... Покуда большинство публики глядит к Западу“ [2]).

Это — полная солидарность. Подобную же солидарность видим мы и в письме Хомякова к Веневитинову о тех же лекциях: „наш Шевырев вышел из затруднения с торжеством“ и т. д. [3]).

Хомяков не обманывался. Для него Шевырев действительно был нашим. И действительно успех Шевырева,—поскольку он имел успех,—являлся успехом не только теории „официальной народности“, но и славянофильского учения. Другими словами—это был успех обоих отделов „восточного“ лагеря.

---

[1]) Барсуков, кн. II, стр. 17.
[2]) Барсуков, кн. VII, стр. 459.
[3]) Там же, та же стр.

Виссарион Григорьевич Белинский.

(1810—1848).

I.

Жизнь Виссариона Григорьевича Белинского не богата внешними событиями. По своему происхождению он был настоящим „разночинцем“. Его отец служил лекарем сначала в Балтийском флоте, а потом, на своей родине, в г. Чембаре. Виссарион Григорьевич родился в 1810 г. (до сих пор не выяснено, в феврале или в мае) в Свеаборге, где стоял тогда флотский экипаж, в котором служил его отец. Детские и отроческие годы его протекали в Чембаре и в Пензе. Они оставили в его душе мало отрадных впечатлений. Его отец запивал, а его мать была, повидимому, довольно ограниченной, сварливой женщиной. Материальное положение семьи всегда было очень стесненным. Но у отца Белинского были также несомненные достоинства. По своему образованию он резко выделялся из окружающей его среды чиновников, с которыми у него были постоянные неприятности. Его родственник Д. П. Иванов, думает, что его рассказы о чиновничьих плутнях сильно действовали на маленького Виссариона. Кроме прелестей чиновничьего быта, Белинский рано мог наблюдать также и темные стороны барства. Мы можем с уверенностью сказать, что ужасы крепостного права оставили глубокий след в его душе. Учился он сначала в чембарском уездном училище, потом в пензенской гимназии, куда он определился летом 1825 г., наконец, в московском университете, студентом которого он стал осенью 1829 г. Но школьное преподавание как низшее и среднее, так и высшее, было тогда очень неудовлетворительно, и если Белинский тем не менее обладал не малыми знаниями, по крайней мере литературными, то этим он обязан был прежде всего самому себе и еще некоторым счастливым жизненным встречам. Бывший учитель пензенской гимназии, Попов, писал о нем: „В гимназии он учился не столько в классах, сколько из книг и разговоров. Так было и в университете. Все познания его сложились из русских журналов, не старее двадцатых годов, и из русских же книг. Недостающее же в том пополнилось тем, что он слышал в беседах с друзьями. Верно, что в Москве умный Станкевич имел сильное влияние на своих товарищей. Думаю, что для Белинского он был полезнее университета. Сделавшись литератором, Белинский постоянно находился между небольшим кружком людей если не глубоко ученых, то таких, в кругу которых обращались все современные, живые и любопытные сведения. Эти люди, большею частью молодые, кипели жаждой познаний, добра и чести. Почти все они, зная иностранные языки, читали столько же иностраннные, сколько и русские книги и журналы... В этой-то школе Белинский оказал огромные успехи“.

С этим вполне согласны свидетельства кн. В. Ф. Одоевского: „У нас Белинскому учиться было негде,—говорит он,—рутинизм наших университетов не мог удовлетворить его логического в высшей степени ума; пошлость большей части наших профессоров порождала в нем презрение; нелепые преследования, неизвестно за что, развили в нем желчь, которая примешалась в его своебытное философское развитие и довела его бесстрашную силлогистику до самых крайних пределов“.

Оставляя в стороне вопрос о „желчной“ силлогистике, прибавим, что Белинский был избавлен от удовольствия до конца насладиться „рутинизмом наших университетов“: в сентябре 1832 года он был исключен из университета за „неспособность“. На самом деле причиной его исключения была написанная им трагедия „Дмитрий Калинин“, один из героев которой обращался к „Отцу человеков“ с дерзостным запросом насчет „змиев, крокодилов и тигров, питающихся костями и мясом своих ближних“ (речь шла о крепостном праве). В цензурном комитете заседали в то время университетские профессора, тотчас же взявшие молодого автора, как говорится, на замечание. Трагедия была представлена в цензуру в 1831 году, а в половине 1832 года уже состоялось его исключение. Сам Белинский определял причину исключения так: „отчасти собственные промахи и нерадение, а более всего долговременная болезнь и подлость одного толстого превосходительства. Ныне времена мудреные и тяжелые: подобные происшествия очень не редки“...

Бедность преследовала Белинского всю жизнь. Она окончательно подломила его всегда слабое здоровье и свела его в безвременную могилу. Она же подшутила над ним еще более злую шутку, осудив его на тяжелую борьбу за жизнь и тем лишив его возможности систематически пополнить пробелы своего образования. Это последнее обстоятельство поставило его в не совсем правильные отношения к членам того кружка, о котором говорит Попов в цитате, сделанной нами выше, и который имел решительное влияние на ход его умственного развития. Этот кружок — знаменитый кружок Станкевича, где, со времени от'езда этого последнего осенью 1837 года за границу, играл чрезвычайно видную роль М. А. Бакунин—состоял по большей части из людей, обеспеченных в материальном отношении и с детства хорошо владевших иностранными языками. Белинский, читавший по-французски, но не знавший ни английского, ни немецкого языка, по необходимости должен был стать по отношению к своим друзьям в неудобное положение человека, пользующегося их посредством для своего ознакомления с иностранными литературными и философскими источниками. Нам кажется, что историки нашей литературы до сих пор не обратили на невыгодность этого положения всего того внимания, какого оно заслуживает. Мы кратко характеризуем ее, сказав, что она иногда ставила Белинского в положение ученика таких людей, которые далеко уступали ему по своей умственной силе.

Это замечание во всяком случае относится к М. А. Бакунину, который после Станкевича излагал Белинскому философию Гегеля, и еще более к Каткову, при помощи которого наш критик знакомился с Гегелевой эстетикой. Что касается Н. В. Станкевича, то мы не решимся утверждать, что Белинский превосходил его силой ума. Сам Белинский был, повидимому, расположен смотреть на него снизу вверх. Однако, это ровно ничего не доказывает, Белинский знал себе цену, но, чуждый ревнивого себялюбия, он идеализировал своих друзей и преувеличивал их достоинства [1]). Н. В. Станкевич был

[1]) В одном из своих писем к Боткину он говорил полушутя о Каткове: „Не забудь, что мы с К. соперники по ремеслу, а я по моей натуре способен всегда видеть в сопернике бог знает что, а в себе менее, чем ничего“. Здесь под шуткой скрывалась неоспоримая истина.

несомненно, человеком очень выдающегося ума, но он во всяком случае не имел ни малейшего основания относиться к Белинскому, по свидетельству И. С. Тургенева, несколько насмешливо. Такая насмешливость, которую, впрочем, сам Тургенев называет дружественной, понятна лишь как скрытое под приятельской шуткой неодобрение тех „крайностей“, которыми Белинский так сильно поражал всех своих друзей, не исключая и А. И. Герцена. Прозвище „неистовый Виссарион“ он получил именно от Станкевича. Но тут кстати будет припомнить слова Гегеля: без страсти не делается ничего великого. „Неистовый“ характер Белинского сделал то, что наш критик заглянул в проклятые вопросы того времени так глубоко, как это никогда не удавалось сделать Станкевичу.

Замечательно, что Белинский был едва ли не единственным разночинцем в своем кружке. Известно, что и впоследствии, в 60-х и 70-х годах, разночинец относился к „проклятым вопросам“ далеко не так сдержанно, как просвещенные представители дворянского сословия. „Неистовство Белинского как бы преобразовало собой будущие литературные „неистовства“ Чернышевского, Добролюбова и их последователей. Недаром люди „шестидесятых“ годов так горячо почитали Белинского...

После исключения из университета Белинский, претерпев жестокую бедность, нашел у Надеждина постоянную литературную работу. Сначала он занимался переводами, но уже в сентябре 1834 года он дебютировал, на страницах „Молвы“, в качестве литературного критика знаменитой статьей „Литературные мечтания (элегия в прозе)“. С этих пор он не переставал писать сперва у Надеждина, т. е. в „Молве“ и „Телескопе“ (1834—1836 г.г.), потом в „Московском Наблюдателе“ (1838—1839 гг.), в „Отечественных Записках“ (1839—1846 г.г.) и, наконец, в „Современнике“ (1846—1848 г.г.). На некоторое время литературная деятельность его была прервана (1836—1838 гг.) лишь по „независящим обстоятельствам“, вследствие запрещения „Телескопа„ осенью 1836 г. [1]).

Летом 1843 года Белинский сблизился в Москве с классной дамой одного из московских институтов, в том же году ставшей его женой. Характер его отношений к жене до сих пор выяснен очень мало. Пыпин кратко говорит о них: „Он (Белинский. Г. П.) внес в эти отношения все увлечение, какое отличало его характер: он был исполнен ожиданий,—должно было кончиться одиночество, подавлявшее его среди трудной внешней деятельности; он ждал целого переворота в своей жизни...

„У домашнего очага началась для него новая жизнь, с ее особыми интересами и тревогами, которые могли быть только его личной заботой... Белинский продолжал много работать и даже работал больше прежнего“.

Наружность Белинского так описывается Тургеневым: „Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, со впалою грудью и понурой головою. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не-медика, немедленно поражали в

---

[1]) Добавим, что Белинский напечатал одно стихотворение в „Листке“ 1831 г.; написал в 1839 г. пяти-актную драму „Пятидесятилетний дядюшка или странная болезнь“; поместил несколько статей в „Литературных прибавлениях“ к „Русскому Инвалиду“ за тот же год и одну статью (об А. Д. Кантемире) в „Литературной Газете“ (№№ 6, 7, 8, 9) за 1845 г. Далее он в том же году написал статью „Москва и Петербург“ для 1-й части сборника „Физиология Петербурга“, а в 1846 г. в „Петербургском сборнике“ появились его статьи: „Мысли и заметки о русской литературе“. Тогда же им написана статья об А. В. Кольцове, напечатанная при собрании стихотворений этого последнего, и выпущена брошюра „Николай Алексеевич Полевой“.

нем все главные признаки чахотки... Притом же (в последние годы) он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видывал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, „упорствуя, волнуясь и спеша“ (стих г. Некрасова). Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой енотовой шубенке и стоптанных калошах он торопливой и нервной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг, тот не мог составить себе верного о нем понятия... Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он носил обыкновенно серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно...“

К этому надо прибавить, что, по словам Тургенева, известный литографический портрет Белинского дает неверное понятие о его наружности.

II.

Бедная внешними событиями жизнь Белинского ознаменовалась настоящими бурями в умственной области. Значение этих бурь до сих пор неясно многим и многим из его почитателей. Почитателей смущал и смущает тот период умственного развития Белинского, в течение которого он считал себя обязанным смиряться перед тогдашней русской действительностью. Этот период обыкновенно ставится в вину Гегелю и чаще всего характеризуется словами: „ошибка“, „промах“, „недоразумение“ и т. п. На самом же деле этот период является самым ярким свидетельством в пользу колоссальной силы ума Белинского и как нельзя лучше подтверждает слова кн. Одоевского, сказавшего: „Белинский был одной из высших философских организаций, какие я когда-либо встречал в жизни“.

Чтобы убедиться в этом, надо предварительно выяснить себе историческое значение Гегелевой философии, знакомство с которой составило такую важную эпоху в умственной жизни Белинского.

Французские просветители XVIII века твердо верили в силу разума и не менее твердо были убеждены в том, что „мнения правят миром“, т. е. что ход развития идей определяет собою ход общественного развития. Потрясающие события конца XVIII и XIX столетий подорвали веру в силу „разума“, и люди наиболее вдумчивые стали приходить к тому убеждению, что ход развития идей не определяет собой хода общественного развития, а наоборот, сам определяется им. Тогда началась новая фаза в истории общественной науки; вернее сказать, тогда впервые явилась возможность прочного обоснования этой науки. Эпоха характеризуется упорным стремлением открыть законосообразность в ходе исторического развития вообще и умственного развития человечества в частности (напомним знаменитый „закон трех фазисов“ Сен-Симона—Огюста Конта). Наиболее выдающиеся историки этой эпохи рассматривают взгляды людей, как продукт их общественных отношений, и все исследователи общественной жизни и литературы один за другим переходят на точку зрения

развития. И этот процесс перехода мы можем наблюдать не только во Франции, где он был вызван вышеуказанным ходом исторических событий, но также и в Германии, внимательно следившей за этими событиями и до известной степени участвовавшей в них. Немецкая идеалистическая философия, в лице Шеллинга и Гегеля, была философией эволюционной по преимуществу.

Необходимо заметить однако, что в немецкой идеалистической философии, особенно у Гегеля, учение о развитии приняло диалектический характер. Диалектика есть тоже учение о развитии; но она всегда была чужда односторонности, свойственной тому вульгарному учению об эволюции, которое, после падения теории катастроф Кювье, господствовало в среде естествоиспытателей XIX века, а от естествоиспытателей перешло также и к людям, занимавшимся общественными вопросами. Гегель решительно восстал против знаменитого положения: „природа не делает скачков". Он говорил, что люди, отстаивающие это положение, видят лишь один из моментов процесса развития. В действительности количественные изменения, постепенно накопляясь, переходят, наконец, в качественные, и эти переходы совершаются посредством скачков. Известно, что в настоящее время в биологии распространяется теория так называемого скачкообразного развития. Гегель сказал бы, что она подкрепляет одно из основных положений его диалектики. И он был бы прав.

Мы не имеем возможности вдаваться здесь в подробности рассуждения на эту тему. Нам достаточно отметить, что Гегелево, т.-е. диалектическое, учение о развитии умело отвести надлежащее место не только „скачкам" (изменения качества), но и подготовляющему их процессу постепенного изменения (изменения количества). В виду этого нельзя не признать, что прав был Герцен, назвавший философию Гегеля алгеброй революции. Гегель говорил, что „всемирный дух" никогда не стоит на одном месте. „Он постоянно идет вперед, потому что движение вперед составляет его природу". Мы видим отсюда, что последователи Гегеля не имели никаких логических оснований для того, чтобы поддаваться указанному выше разочарованию в силе разума. Напротив, Гегелева философия была как будто нарочно придумана для того, чтобы сбросить с мыслящих людей тяжесть этого разочарования. Вот почему, она приобрела такое огромное влияние на германскую, да и не только германскую, молодежь того времени.

Но те люди, которые в своем стремлении вперед опирались на философию Гегеля, уже не могли довольствоваться в своей борьбе с устарелыми взглядами аппеляцией к какому-нибудь отвлеченному принципу, например, к принципу вечной справедливости и т. п. Нет, такая аппеляция достойна была только „метафизиков". Передовой человек, усвоивший себе дух диалектической философии Гегеля, должен был прежде всего убедиться в том, что его „суб'ективные" стремления лишь выражают собою „глубокую внутреннюю работу", совершаемую в обществе движением „всемирного духа". Не подкрепляемые этой работой суб'ективные стремления признавались произвольными, „призрачными" и заранее осужденными на неудачу.

Ошибались те, которые считали выражением консерватизма знаменитые слова Гегеля: „что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно". Тут было недоразумение, вызванное незнакомством с терминологией Гегеля. По Гегелю, далеко не все существующее было действительным. Он говорил: Die Wirklichkeit steht höher als die Existenz (действительность выше существования). Случайное существование не есть действительное существование. Действительно только то, что необходимо. А необходимо в последнем счете именно только вечное движение вперед „всемирного духа". Своей „кротовой" работой „все-

мирный дух“ подрывает существующий порядок; превращает его в форму лишенную всякого „действительного“ содержания, и делает необходимым появление нового порядка, роковым образом сталкивающегося со старым.

Не все ученики Гегеля хорошо поняли этот диалектический характер его философии. Да и сам он под старость нередко изменял этому характеру в своем отношении к общественно-политическим вопросам. Его философия была не только диалектической системой. Она хотела также быть системой абсолютной истины. И эта претензия составляла элемент консерватизма в философии Гегеля. По его учению, всякая философия есть идеальное выражение своего времени. Если мыслитель нашел абсолютную истину, то это значит, что он жил в такое время, которому соответствовал „абсолютный“, т.-е. совершенный общественный порядок. А так как „абсолютная“ истина не может устареть, так как совершенный общественный порядок не может оказаться несовершенным, то отсюда следует, что стремление изменить этот порядок является бунтом против „всемирного духа“. Конечно, и в „абсолютном“ порядке могут быть сделаны частные улучшения, но в общем и целом он должен остаться таким же непоколебимым, как непоколебима выражаемая им „абсолютная“ истина.

В молодости Гегель сочувствовал великой французской революции; но с летами любовь к свободе у него ослабевала, и склонность жить в мире с существующим порядком вещей все усиливалась. Особенно сильно сказалась она в его „Philosophie des Rechts“. Это сочинение изобилует гениальнейшими мыслями. И в то же время оно поражает очевидными усилиями автора примирить свою философию с прусским консерватизмом. Особенно поучительно в этом отношении предисловие, в котором знаменитое положение: „что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно“— получает уж совсем не то истолкование, какое давалось ему в „Логике“. В предисловии выходит, что человек, понявший действительность и открывший скрытый в нем разум, не восстает против нее, а мирится с нею и радуется за нее. Такой человек не отказывается от своей суб‘ективной свободы; но суб‘ективная свобода проявляется у него не в разладе с существующим, а в согласии с ним. Вообще разлад с существующим, разногласие между разумом познающим и разумом, воплотившимся в действительности, вызывается лишь неполным пониманием этой действительности, лишь промахами отвлеченной мысли. Полусознание возбуждает людей против окружающей действительности, истинное же знание мирится с нею. Так рассуждает Гегель в названном предисловии. Просим читателя заметить, что выражение „примирение с действительностью“ (Die Versöhnung mit der Wirklichkeit) употребляется здесь самим Гегелем.

III.

Из этого видно, что неправы были те друзья Белинского, которые, подобно Грановскому и Станкевичу, утверждали, что к примирению с действительностью его толкнуло плохое понимание Гегеля. Плохое понимание тут, конечно, было; но Белинский повинен в нем не больше, нежели сам Гегель,— тот Гегель, который провозглашал „абсолютное“ значение своей философии, забывая основную мысль своей диалектики: все течет, все изменяется. Очень возможно, что если бы Белинский владел немецким языком и имел достаточно времени для систематического изучения Гегелевой философии, то он гораздо скорее и легче понял бы ее истинный, т.-е. диалектический характер. Очень возможно, а для нас даже несомненно, что

не обладавший диалектическим умом Бакунин своим влиянием помешал ему понять, что Гегель изменил своей собственной философии, провозгласив ее системой абсолютной истины. Но все-таки необходимо помнить, что „примирение“ Белинского с действительностью не противоречило, по крайней мере, тому Гегелю, с которым мы имеем дело в „Philosophie des Rechts“. Это слишком склонны забывать те, которые презрительно пожимают плечами по поводу „ошибки“ Белинского: эта ошибка была сделана вслед за Гегелем.

Но почему же все-таки мог сделать эту ошибку, хотя бы и вслед за Гегелем, молодой Белинский, составивший себе на основании своего детского и юношеского опыта совсем не отрадное впечатление о нашей русской „действительности“? Чтобы ответить себе на этот вопрос, надо ознакомиться с тем настроением, в котором находился Белинский в период, непосредственно предшествовавший его увлечению Гегелем. Он сам говорил впоследствии, что ранние произведения Шиллера: „Разбойники“, „Фиеско“, „Коварство и любовь“, внушили ему „дикую вражду с общественным порядком во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе“. В том же направлении повлиял на него и „Дон-Карлос“. „Дон-Карлос“,—говорил он,—бросил меня в абстрактный героизм, вне которого я все презирал, и в котором я очень хорошо, несмотря на свой неестественный и напряженный восторг, сознавал себя нулем“. Это признание Белинского в высшей степени важно для истории его умственного развития. И всего важнее в нем то, что характеризуемое им настроение, сопровождавшееся сознанием своего бессилия, не могло быть личной особенностью молодого Белинского: он, конечно, не один сознавал себя тогда „нулем“. Все те мыслящие русские люди, которые нерасположены были восторгаться существовавшим порядком вещей, должны были сознавать себя совершенно бессильными. Эпоха, к которой относятся юношеские годы Белинского, была очень тяжелой эпохой. Герцен говорит об этой эпохе: „Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты, дрянь александровского поколения заняла первое место“. Как видим, общественное настроение того времени было именно таково, что человек, не чуждый освободительных идей, должен был сознавать свое бессилие и „чувствовать себя нулем“. Нечего и говорить о том, насколько мучительно такое чувство. Белинскому, как кажется, иногда удавалось преодолеть его и настроить себя на оптимистический лад. В своих „Литературных мечтаниях“ он, высказав ту мысль, что Россия нуждается пока не в литературе, а в просвещении, утверждал, что наше правительство одушевлено самыми лучшими намерениями по этой части. И, зная Белинского, мы можем с полной уверенностью сказать, что, когда он утверждал это, он совсем не кривил душою. Но легко понять и то, что его вера в просветительные намерения тогдашнего правительства не могла быть постоянной, а должна была по временам уступать место самому полному скептицизму: ведь должен же он был видеть, что каждый новый день приносил с собой новые факты, показывавшие полную неосновательность его веры. Да и не могли успехи просвещения удовлетворить юношу, проникнутого „абстрактным героизмом“. Такому юноше нужны были несравненно более „героические“ перспективы, а их-то и не открывала русская общественная жизнь. И вот почему мимолетный оптимизм Белинского должен был снова и снова сменяться в его душе тем отмеченным выше настроением, в котором он „мучительно сознавал себя нулем“. От этого настроения необходимо было отделаться, из этого положения нужно было найти выход. И Белинский неутомимо искал его.

На время он нашел его с помощью Бакунина в философии Фихте. „Я уцепился за фихтеанский взгляд,—говорил он потом,—с энергией, с фанатизмом“. Это очень характерно и в то же время вполне естественно. По собственному выражению Белинского, в его глазах всегда двоилась жизнь идеальная и жизнь действительная. Ухватившись за философию Фихте, он почувствовал себя исцелённым от этой двойственности. Он убедил себя в том, что „идеальная-то жизнь есть именно жизнь действительная..., а так называемая действительная жизнь есть отрицание, призрак, ничтожество, пустота“.

Утвердившись на этой точке зрения, Белинский стал тем сильнее враждовать с „так называемой действительной жизнью“ во имя идеала. В этом своем периоде, который мы назовем первым периодом его философского развития, первым актом его умственной драмы, он с полным и нескрываемым сочувствием относился к французской революции. Но спрашивается: могло ли быть прочным то нравственное спокойствие, которое он приобрел ценой игнорирования действительности? Ясно, что не могло.

Он об‘явил действительную жизнь „призраком“. Но должно-быть и призраки не похожи один на другой. Даже современная Белинскому французская действительность очень сильно отличалась от русской, а что касается прошлого, то ведь революция, которой так сильно сочувствовал он теперь, была в свое время фактом „действительной жизни“ Франции. И Белинскому достаточно было спросить себя: „почему не знает таких фактов история России“—чтобы немедленно столкнуться с более общим и более глубоким вопросом: почему „действительная жизнь“ одной страны или одного времени не похожа на действительную жизнь другой страны и другого времени? А этот вопрос отнюдь не разрешался „фихтеанским“ игнорированьем „действительной жизни“. Ответить на него мог бы только тот, кто понял бы законы развития „действительной жизни“, т.-е. решил бы ту задачу, которую, как мы уже знаем, усердно старалась решить общественная наука XIX века.

В одном из своих писем, относящихся уже к следующему периоду его развития, Белинский говорил: „Я ненавижу мысль, как отвлечение. Но разве она может приобретаться, не будучи отвлеченной. Я понимаю всю нелепость подобного предположения, но моя природа враждебна мышлению“. Само собою разумеется, что он клеветал на себя, называя свою природу враждебной мышлению. Это доказывается многими из его писем и многими из тех блестящих страниц, на которых он излагал теорию литературы. Но несомненно то, что Белинский не терпел произвольных операций с отвлеченными понятиями; он всегда стремился обосновать ход своих идей на об‘ективном ходе вещей. И вот эта-то черта его умственной физиономии, — черта, благодаря которой ему, между прочим, удалось так много сделать для литературной критики,—должна была скоро и сильно отравить ту радость, которую он испытал, повернувшись во имя „идеала“ спиной к „действительности“. Впоследствии он называл свой фихтеанский период периодом распадения. Этим словом он обозначал то состояние неудовлетворенности, которое он испытал в туманной области оторванного от „действительности“ „идеала“. И эта неудовлетворенность привела его к разрыву с философией Фихте.

По недостатку данных история этого разрыва до сих пор остается несколько неясной. Однако, мы не можем сомневаться в том, что уже во 2 ой половине 1837 года Белинский находился под влиянием Гегеля и заключил мир с той самой „действительностью“, с которою он так сильно „враждовал“ прежде. В письме от 7-го августа этого года он, советуя одному своему другу заниматься философией, прибавляет: „Только в ней ты найдешь ответы на вопросы души твоей, только она даст мир и гармонию душе твоей и пода-

рит тебя таким счастьем, какого толпа и не подозревает, и какого внешняя жизнь не может ни дать тебе, ни отнять у тебя". Но ведь система Фихте тоже была философией. Почему же она не дала „мира и гармонии" душе Белинского? И почему он нашел их в системе Гегеля? Это об'ясняют нам другие строки и письма, в которых Белинский „пуще всего" предупреждает своего друга от увлечения политикой, которая в России будто бы не имеет никакого смысла. „Для России назначена совсем другая судьба, нежели для Франции,—говорит он,—где политическое направление и наук и искусств, и характер жителей имеет свой смысл, свою законность и свою хорошую сторону". Этот отрывок отчасти открывает перед нами тот путь, которым Белинский пришел от пренебрежения „действительностью" во имя „идеала" к „примирению" с этой „действительностью". Дело было в том, что, как мы уже знаем, „идеал" возбудил в Белинском горячее увлечение некоторыми страницами действительной истории Франции, а это увлечение, вероятно, заставило его провести параллель между историей Франции, с одной стороны, и историей России, с другой. Параллель эта подсказывала чрезвычайно безотрадный для мыслящего русского человека вывод, от которого можно было отмахнуться только полным отрицанием политики, будто бы не имеющей в России ни малейшего смысла. А так как подобное отрицание чрезвычайно сильно подкреплялось Гегелем второй манеры,—Гегелем, написавшим предисловие к Philosophie des Rechts,—то Белинский ухватился за Гегеля всеми силами своей страстной души [1].

Мы видели, что в эпоху своего „фихтеанства" Белинский мучился, сознавая, что его абстрактный идеал не находит никакого приложения к жизни. Увлекшись Гегелем, он повернулся спиной к „идеалу", который неспособен был привести ни к чему, кроме бесплодной „вражды" с „действительностью". Не суйся в дела, которые тебя не касаются,—восклицал он теперь,—но будь верен своему делу, а новое дело—любовь к истине... К чорту политику, да здравствует наука".

На какие же вопросы должна была ответить „неистовому Виссариону" наука, ради которой он покидал политику? Это видно из следующих строк его письма к Станкевичу:

„Приезжаю в Москву с Кавказа, приезжает Бакунин... Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся. Сила есть право, и право есть сила,—нет, не описать тебе с каким чувством услышал я эти слова—это было освобождение. Я понял идею падения царств, законность завоевателей. Я понял, что нет дикой материальной силы, нет владычества штыка и меча, нет произвола, нет случайности—и кончилась моя опека над родом человеческим, и значение моего отечества предстало мне в новом виде".

Вопросы, на которые должна была ответить Белинскому наука, были теми же самыми вопросами, за разрешением которых он прежде обращался к „политике". В них нет никакого „отвлечения"; это конкретные вопросы общественного развития: чем об'ясняется „падение царств"? Законны ли завоевания? На чем основывается владычество штыка и меча? Наконец,—и это самый важный и самый глубокий вопрос,—неужели история человечества есть

---

[1] Не так давно в нашей литературе высказан был тот взгляд, что „примирение" Белинского с „действительностью" об'ясняются „особенностями его личной истории". Но главная особенность личной истории" Белинского в том и заключалась, что у него были такие теоретические запросы, для удовлетворения которых больше всего могла дать тогда философия Гегеля. Все другие особенности его жизни только подкрепляли собою эти глубокие запросы.

царство простой случайности? Тогдашняя радикальная политика и тогдашний социализм умели давать лишь отвлеченные ответы на эти конкретные вопросы; они осуждали известные, несимпатичные им исторические события, — напр., завоевание одного народа другим,—но не об'ясняли их. Социализм еще не вышел тогда из своей утопической фазы. Наоборот, философия Гегеля дорожила только конкретными ответами на конкретные исторические вопросы. И она уже отчасти давала такие ответы, опираясь на историю. А в истории сила далеко не всегда противоречит праву. Известен ответ Сиэйса защитникам старого порядка, утверждавшим, что права французского дворянства опирались на завоевания: „только то? мы в свою очередь станем завоевателями!" И третье сословие в самом деле „завоевало" себе новое положение в обществе. Всякий, тот, кто не ослеплен аристократическим предрассудком, согласится, что „сила" этого сословия подкрепляла собой „право", а не отрицала его. Выходит, что вульгарное противопоставление права силе не выдерживает критики, так как сохраняет свой смысл лишь при особенных общественных положениях, с своей стороны об'ясняемых ходом исторического развития. Эта мысль, выраженная у Белинского словами: „сила есть право и право есть сила", показалась ему целым откровением. Она в самом деле имеет колоссальное теоретическое значение, а в его глазах приобретала, кроме того, и огромную нравственную ценность: она утешала его, обещая осмыслить донельзя некрасивую русскую действительность. Поэтому он и увлекся ею, положив ее в основу своей знаменитой статьи о Бородинской битве („Отечественные Записки" 1839 г., XII кн.).

Пафосом этой статьи является борьба с тем отвлеченным взглядом на историю, согласно которому историческое движение обусловливается понятиями людей. „Начиная от времен, о которых мы знаем только из истории, до нашего времени,—говорит Белинский,—не было и нет ни одного народа, составившегося и образовавшегося по взаимному и сознательному условию известного числа людей, из'явивших желание войти в его состав, или по мысли одного какого-нибудь, хотя бы гениального, человека". Любопытно, что Белинский берет в пример именно вопрос о происхождении монархии. По его словам, либеральные говоруны об'ясняют это происхождение испорченностью людей, которые, убедившись в своей неспособности к самоуправлению, подчинились воле одного лица, ими же облеченного властью. Но такое об'яснение кажется ему нелепым. Он говорит: „все, что не имеет причины в самом себе и является из какого-то чуждого ему „вне", а не „извнутри" самого себя, все такое лишено разумности, а следовательно, и характера священности. Коренные государственные постановления священны потому, что они суть основные идеи не какого-нибудь известнаго народа, но каждого народа, и еще потому, что они, перешедши в явление, ставши фактом, диалектически развились в историческом движении, так что самые их изменения суть моменты их же собственной идеи. И потому коренные постановления не бывают законом, изреченным от человека, но являются, так сказать, довременно и только выговариваются и сознаются человеком".

Несмотря на некоторую неловкость в употреблении философских терминов, эти строки заслуживают величайшего внимания. Белинский искал критерия разумности общественных явлений. В чем же он нашел его? Во внутренней необходимости: разумно только явление, имеющее „причину в самом себе". Наоборот, неразумны все те явления, которые возникают в силу какого-нибудь чуждого им „вне", т.-е. не вызываются внутренней логикой предыдущего общественного развития. „Разумны", а потому и „священны" такие общественные учреждения, которые „диалектически развиваются в историческом движении". На это можно возразить, что чуждое данному явлению „вне" само

имеет свою достаточную причину и потому должно быть признано одним из звеньев другого необходимого процесса. Так называемые случайности,— на которые, очевидно, намекает здесь Белинский,—имеют место лишь в точке пересечения двух или нескольких необходимых процессов. Пример. Появление испанцев в Перу должно быть признано случайностью с точки зрения логики внутреннего развития государства Инков; но оно вызвано было стремлением европейцев к открытию новых стран, а это стремление вовсе не случайно с точки зрения внутреннего развития европейского общества. Но подобное возражение только дополняет мысль Белинского и ни мало не подрывает ее. Выражая эту мысль, он показал себя способным подняться на высоту самых важных и самых трудных задач социологии. С тех пор как была высказана им эта мысль, общественная наука не сделала решительно ни одного завоевания, которое не подтверждало бы ее правильности.

Далее. Конечно, не верно то, что коренные общественные „постановления“ являются так сказать, „довременно“. Утверждать это мог только сторонник абсолютного идеализма, по учению которого логические формы жизни предшествуют самой жизни. Но это вопрос другой, не подлежащий здесь нашему рассмотрению. Что касается Белинского, то он здесь высказывал положение совершенно верное в социологическом смысле. В переводе на наш нынешний язык оно означает, что общественные учреждения возникают не потому, что кто-то захотел установить именно эти, а не другие учреждения, а потому, что они отвечают известным общественным потребностям, возникшим в процессе исторического и определяющим собою то волевое движение, которое побуждает „общественного человека“ к созданию данных учреждений. Усвоить себе эту истину, значит навсегда распроститься с утопизмом.

Говорят обыкновенно, что в период своего „примирения с действительностью“ Белинский жертвовал личностью во имя „общего“. Мы скоро увидим, что и сам он готов был делать себе подобный упрек. Но этот упрек основывается на недоразумении.

„Человек есть частное и случайное по своей личности,—говорит Белинский в той же статье,—но общее и необходимое по духу, выражением которого служит его личность. Отсюда выходит двойственность его положений и его стремлений; его борьба между своим я и тем, что находятся вне его я, составляет его не я... Чтобы быть действительным человеком, а не призраком, он должен быть частным выражением общего, или конечным проявлением бесконечного. Вследствие этого, он должен отрешиться от своей суб'ективной личности, признать ее ложью и призраком смириться перед мировым, общим, признав только его истинной действительностью. Но как это мировое или общее находится не в нем, а в об'ективном мире, он должен сродниться, делиться с ним, чтобы после, усвоив об'ективный мир в свою суб'ективную собственность, стать снова суб'ективной личностью, но уже действительной, уже выражающей собою не случайную частность, а общее, мировое, словом, стать духом во плоти“.

Белинский „жертвует“ только такой личностью, „частные“ и „случайные“ стремления которой противоречат „мировому или общему“. Но ошибочно было бы думать, что, по его мнению, подобное противоречие неизбежно. Личность может явиться частным выражением общего, т. е. выразить своими стремлениями великие задачи своего времени. Такая личность называется у Белинского „действительным человеком“ и „духом во плоти“. И он никогда не имел ни малейшего желания „жертвовать“ подобной личностью. Наоборот, на ее стороне были самые горячие его симпатии.

Но то правда, что „действительный человек“ или „дух во плоти“ должен был, по тогдашнему мнению Белинского, „смириться“ перед окружающей его действительностью, признав ее необходимым выражением „мирового или общего“. В статье „Менцель, Критик Гете“ он пишет: „Разум не создает действительности, а сознает ее, предварительно взяв за аксиому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Он не говорит, что такой-то народ хорош, а все другие, непохожие на него, дурны, что такая-то эпоха в истории народа или человека хороша, а такая-то дурна, но для него все народы и все эпохи равно велики и важны как выражение абсолютной идеи, диалектически в них развивающейся. Для него возникновение и падение царств и народов не случайно, а внутренно-необходимо, и самая эпоха римского разврата есть не предмет осуждения, а предмет исследования“. Тут сразу бросаются в глаза два крупных промаха против д и а л е к т и к и Гегеля. Во-первых, необходимо, т.-е. действительно, далеко не все то, что есть. Мы уже знаем, что, по Гегелю, „действительное“ выше просто существующего. Во-вторых, делая предметом своего исследования „римский разврат“, верный ученик Гегеля отнюдь не должен был „смириться“ перед ним. Он должен был, напротив, осудить его именно потому, что он является продуктом разложения старой, о т ж и в а ю щ е й действительности. Эти две ошибки весьма характерны для тогдашнего настроения и образа мыслей Белинского. Но после сказанного нами выше о двойственнном характере Гегелевой философии едва ли нужно повторять, что Белинский сделал эти две ошибки не вследствие непонимания Гегеля, а вследствие слишком последовательного усвоения той стороны его философии, которая выразилась в предисловии к „Philosophie des Rechts“.

„Смирившись“ перед действительностью, Белинский в течение некоторого времени чувствует твердую почву под ногами и испытывает давно уже неиспытанное им нравственное спокойствие. Он говорит, что действительность ввела его в действительность, и что теперь им все довольны, и он всеми доволен. Как известно, он даже определился на службу в межевой институт и наслаждался открывшейся перед ним практической деятельностью. Но это отрадное настроение было непродолжительно. В октябре 1839 г., т.-е. з н а ч и т е щ е д о н а п е ч а т а н и я с т а т ь и о Б о р о д и н с к о й б и т в е, Белинский испытывал, по его собственному признанию, тяжелые нравственные мучения. „Для меня никто не существовал,—говорит он, ибо я сам был мертв“. Это новое „распадение“, вероятно, было вызвано отчасти тем, что нелегко было отказаться ему от старого, хотя и „абстрактного“, но все-таки свободолюбивого идеала. Панаев и Герцен рассказали в своих воспоминаниях, какие волнующие, полные потрясающего драматизма разговоры пришлось вести Белинскому со своими друзьями после „примирения с действительностью“. Обнаружился в этом тяжелом настроении также и недостаток личного счастья. Однако, все это сравнительно легко перенес бы Белинский, если бы философия Гегеля, в том виде, в каком он усвоил ее тогда, могла в самом деле разрешить мучившие его вопросы. Главная беда была в том, что она не могла разрешить их. В письме к Боткину, оконченному в первых числах февраля 1840 года, Белинский восклицает: „Смешно и досадно, любовь Ромео и Юлии есть общее, а потребность любви или любовь читателя есть призрачное, частное. Жизнь в книгах, а в жизни ничто“. Почему ж „в жизни—ничто“? Когда же Гегель говорил это? Никогда! Но если задача мыслящего человека сводится к признанию и созерцанию „действительности“, то ему не остается ничего, кроме „жизни в книгах“. „Абсолютные“ выводы Гегеля не могли удовлетворить Белинского, и его неудовлетворенность ими снова вернула

его к тому „распадению“, от которого он надеялся избавиться, „смирившись“ перед действительностью.

Белинский надеялся, что философия укажет ему путь к человеческому счастью. А философия Гегеля,—повторяем и просим заметить: в том виде, в каком она была усвоена тогда Белинским, — утверждала, что „абсолютная“ цель исторического движения уже достигнута, и что, следовательно, дальнейшие разговоры о человеческом счастье являются праздной болтовней. Белинский сгоряча способен был смириться и перед этим утверждением; однако, оно слишком противоречило его природе, чтоб он долго мог оставлять его без протеста. Из его переписки видно, что именно с этой стороны он подходил к разрыву с „философским колпаком Егора Федоровича“. В письме к Боткину от 13-го июня 1840 года он сообщает, что „совершенно помирился с французами“, которых он, как мы знаем, превозносил в эпоху своего фихтеанства и против которых он гремел в медовый месяц своего увлечения Гегелем. „Их всемирно-историческое значение велико, — говорит он. — Они не понимают абсолютного и конкретного, но живут и действуют в их сфере“. И рядом с этим примирением с французами идет отвращение от русской, еще недавно столь любезной Белинскому, действительности. В том же письме мы читаем: „Любовь моя к родному, к русскому, стала грустнее: это уже не прекраснодушный энтузиазм, но страдальческое чувство. Все субстанциальное в нашем народе велико, необ'ятно, но определение гнусно, грязно, подло“. Как же можно „смиряться“ перед подобной действительностью? И Белинский уже не смиряется перед нею. В письме от 4-го октября 1840 г. [1]) он восклицает: „Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью! Да здравствует великий Шиллер, благородный адвокат человечества, яркая звезда спасения, эмансипатор общества от кровавых предрассудков предания! Да здравствует разум, да скроется тьма! как восклицал великий Пушкин. Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что со мною было — горячка или помешательство ума — я словно выздоравливающий“.

IV.

Письма Белинского, относящиеся ко времени этого нового и последнего разрыва с действительностью, производят такое сильное впечатление своим страстным и симпатичным тоном, что под его влиянием читатели нередко упускают из виду теоретическую сторону дела. Так, и до сих пор еще многие убеждены, что, отбросив далеко от себя „философский колпак Егора Федоровича“, Белинский совершенно расстался с философией Гегеля. Но это совсем не так.

Уже после своего восстания против „колпака“ Белинский, проклиная свои статьи о Бородине и о Менцеле, продолжал считать началом своей духовной жизни то время, когда он увлекался Гегелем. Он называет это время „лучшим, по крайней мере, примечательнейшим временем“ своей жизни. Да и статью о Бородинской битве он осуждает не безусловно. Он говорит: „Идея, которую я силился развить в статье по случаю книги Глинки „Очерки Бородинского сражения“, верна в своих основаниях“. Но он признает теперь, что

---

[1]) К тому же Боткину. Предупреждаем читателя, что все письма, которые мы будем цитировать, не называя адресата, писаны были Белинским именно к этому своему московскому другу.

не сумел воспользоваться, как следовало, этой в основе верной идеей: „Должно было бы развить и идею отрицания, как исторического права, не менее первого священного, и без которого человечество превратилось бы в стоячее и вонючее болото“. Развить идею отрицания значило открыть, каким образом данная действительность процессом своего собственного развития приводится к своему отрицанию. Как ни гениален был Белинский, он не мог открыть это по той простой причине, что он совсем не обладал необходимыми для этого данными: их еще не было налицо в слишком неразвитой тогда русской жизни. Да и на Западе лучшие передовые умы, — в лице так называемого левого крыла Гегелевой школы, а потом, и гораздо более, в лице Маркса и Энгельса, — только еще намечали тот путь, который должен был привести к пониманию процесса внутреннего развития нынешнего общества. Поэтому Белинский, восстав против „колпака“, стал „развивать идею отрицания“ не путем диалектического анализа действительности, а путем апелляции к отвлеченному понятию человеческой личности. „Пора,—писал он теперь,— конечно, в одном из своих писем, так как цензура не позволила бы говорить это в статьях, — освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности, мнения черни и предания варварских времен“. По своему обыкновению, он весь отдался овладевшей им новой мысли. „Личность человеческая, — пишет он,— сделалась пунктом, на котором боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную“. Под влиянием этой любви к человечеству,—которая, конечно, никогда его не покидала, но только приняла теперь новый вид,— „неистовый Виссарион“ скоро пришел к социализму. В письме от 8-го сентября 1841 г. мы читаем: „Я теперь в новой крайности,—это идея социализма, которая стала для меня идеей идей... альфою и омегою веры и знания... Она для меня поглотила историю и религию и философию. И потому ею я об'ясняю теперь мою жизнь, твою и всех, с кем встречался я на пути жизни“.

Можно было бы думать, что хоть эта новая идея принесла с собой Белинскому столь давно им желанное нравственное успокоение. Увы! В том же самом письме слышатся следующие мрачные ноты: „Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности—субстанция общественной жизни. Мы люди без отечества—нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество—призрак, и диво ли, что сами мы—призраки?“

Откуда же брались теперь эти мрачные ноты? Белинского не удовлетворяла отвлеченная идея социализма. Он не даром не любил отвлеченностей и не даром прошел превосходную школу Гегелевой логики. Он не мог забыть того, что „субстанция общественной жизни“ служит источником интересов, целей и деятельности. Что понимает он под „субстанцией общественной жизни“? Не что иное, как совокупность общественных отношений. И когда он говорит, что эта „субстанция“ порождает стремление и деятельность человека, это у него значит, что он считает серьезными и плодотворными только такие стремления и только такую деятельность, которые опираются на об'ективный ход общественного развития. „Субстанция“ русской жизни враждебна прогрессивным стремлениям и прогрессивной деятельности. Поэтому русские сторонники прогресса оказываются „призраками“.

Слово призраки нам уже хорошо знакомо. Мы слышали его от Белинского еще в эпоху его увлечения Фихте. Тогда этим словом он обозначал

действительность. Во втором периоде своего развития, т.-е. „смирившись“ перед действительностью, он об‘явил призраком идеал, вступающий в противоречие с ней. В третьем акте своей умственной драмы он снова восстал против действительности, но люди, отрицающие действительность во имя идеала, попрежнему представлются ему призраками. Разница только в том, что прежде,—находясь под влиянием знаменитого „колпака“,—он н е н а в и д е л эти „призраки“, а теперь,—отшвырнув от себя колпак,—он сочувствует им от всей души и считает самого себя одним из них. Оказывается, стало быть, что восстание против действительности не вполне „примирило“ его с идеалом В чем же дело?

Белинский признает нравственную правомерность идеала, но не умеет связать его с „субстанцией“ русской действительности. Поэтому его идеал опять оказывается абстрактным и потому бессильным. „Действительность разбудила нас и открыла нам глаза,—говорит Белинский в том же письме;— но для чего?.. Лучше бы она закрыла нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного жизни сердца утолить сном ничтожества...“

Не встречая в тогдашней России ни одного об‘ективного начала, способного привести в своем развитии к отрицанию „гнусной действительности“, Белинский начал ожесточаться даже против народа, которому он, разумеется, от всей души сочувствовал. В письме к Боткину, по поводу смерти Кольцова, не мало пострадавшего от деспотизма своего отца, Белинский спрашивает: „Да и чем виноват этот отец, что он мужик? И что он сделал особого?.. Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но не могу питать к тому или иному личной ненависти“ [1]).

Мы опять видим Белинского в состоянии „распадения“, не перестававшего мучить его чуть ли не с самого начала его сознательной жизни. Стараясь вылечиться от этой болезни, он утешает себя надеждой на широкое развитие „русской личности“ в будущем. „Русская личность пока эмбрион,— писал он Боткину в марте 1847 года,—но сколько широты и силы в натуре этого эмбриона, как душна и страшна ей всякая ограниченность и узкость... Не думай, чтоб я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения тяжелым путем сомнений и отрицания“. Это решение являлось для него также некоторым ручательством за будущее всего русского народа. В статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“ он говорит: „Мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе все чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания“.

---

[1]) Подобные выходки его против „мужиков“ подали повод к появлению в нашей литературе того мнения, согласно которому в сороковых годах Белинский был в кружке западников представителем чуть ли не антидемократического,—или, по крайней мере, равнодушного к тяжелому положению народа,—направления, между тем как Грановский и Герцен представляли собою народолюбивые тенденции этого кружка (см. статью г. Ч. Ветринского: „Т. Н. Грановский.—Западники и славянофилы в 1844—45 г.г.“). Мы наоборот, очень склонны думать, что крайний во всех своих чувствах, Белинский и глубиной симпатий к угнетенному народу превосходил остальных членов западнического кружка.

V.

Это был тот же самый путь отрадных догадок и пророчеств, по которому так далеко ушли славянофилы и народники. Кавелин говорит, что однажды ему пришлось присутствовать при разговоре, в котором Белинский выражал ту славянофильскую мысль, что Россия лучше Запада сумеет разрешить исторический спор труда с капиталом. Утопический социализм, к которому склонился Белинский, расставшись с „колпаком“ Гегеля, давал обильную пищу подобным мечтаниям. Но Белинский самим характером своего диалектического ума был застрахован от полного и продолжительного увлечения ими. В цитированной нами статье „Взгляд на русскую литературу 1846 г.“, он, защищая реформу Петра от славянофильских нападок, замечает: „Подобные события в жизни народа слишком велики, чтобы быть случайными, и жизнь народа не есть утлая лодочка, которой каждый может дать произвольное направление легким движением весла. Вместо того, чтобы думать о невозможном и смешить всех самолюбивым вмешательством в исторические судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизменную действительность существующего, действовать на его основании, руководясь разумом и здравым смыслом, а не маниловскими фантазиями“. В другом месте он, не закрывая глаз на отрицательные стороны петровских реформ, оговаривается: „Но нельзя остановиться на признании справедливости какого бы то ни было факта, а должно исследовать его причины, в надежде в самом зле найти и средство к выходу из него“. Он утверждает, что средств для борьбы с неблагоприятными последствиями петровских реформ надо искать в самих этих реформах, т.-е. в тех новых элементах, которые были внесены ими в русскую жизнь. Это—вполне правильный взгляд на вопрос, и, высказывая его, Белинский опять поднимался на ту теоретическую высоту, которой он достигал, ставя перед собой, в статье о Бородинской битве, задачу об‘яснения действительности ходом создавшего ее исторического движения. И пока он держался на этой высоте, он очень хорошо видел несостоятельность „абстрактного идеала“ и недостатки отвлеченного метода мышления. Он говорил: „Безусловный или абсолютный метод суждения есть самый легкий, но зато и самый ненадежный; теперь он называется абстрактным или отвлеченным“. Ошибка славянофилов, с которыми он вел такую жестокую войну в то время, была, в его глазах, прежде всего методологической ошибкой: „Они произвольно упреждают время, процесс развития принимают за его результаты, хотят видеть плод прежде цвета и, находя листы безвкусными, об‘являют плод гнилым и предлагают огромный лес, разросшийся на необозримом пространстве, пересадить в другое место и приложить к нему другой уход. По их мнению, это не легко, но возможно“. Это поразительно меткое критическое замечание дает нам возможность составить себе понятие о том, как должен был бы Белинский отнестись к народникам, целиком повторявшим методологическую ошибку славянофилов.

Во всяком случае, несомненно, что в конце своей жизни он совершенно отрицательно относился к социалистам утопистам, о которых он говорил тогда, что они выродились из фантазии гениального Руссо. Луи-Блан, которого он ставил когда-то очень высоко, сравнивается им теперь с Шевыревым [1]). Надо

[1]) За его несправедливо отрицательное отношение к Вольтеру. По поводу того же отношения Белинский в письме к Анненкову от 15-го февраля 1848 года выражается весьма энергично: „Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи-Блану“.

заметить, что взгляд Луи-Блана на Вольтера был, по мнению Белинского, верен сам по себе, но он в конец искажался тем, что в нем отсутствовала историческая перспектива. Мысль Белинского с особенной энергией сосредоточивается теперь над выработкой той исторической перспективы, которая помогла бы ему прочно обосновать свои надежды на будущее. Это очень хорошо видно из его письма к Анненкову от 15-го февраля 1848 года. Письмо это до такой степени важно для истории его умственного развития, что мы считаем необходимым привести из него длинный отрывок:

„Из Руссо,—говорит Белинский,—я только читал его „Исповедь“ и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину... Но что за благородная личность Вольтера! Какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа! Что он сделал для человечества! Правда, он иногда называет народ vile populace, но за то, что народ невежествен, суеверен, изувер, кровожаден, любит пытки и казни. Кстати: мой верующий друг и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Всегда и все делалось через личности. Когда я в спорах с вами о буржуазии называл вас консерватором, я был осел в квадрате, а вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, а народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России теперь нужен новый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен все для себя сделать. Что за наивная, аркадская мысль! После этого отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, заведут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику? Пий IX в два года доказал, что значит великий человек для своей земли. Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де Бог Россию от буржуазии. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуазии с правами“.

Кажется, как будто Белинский продолжает стоять на отвлеченной точке зрения человеческой личности. Это, повидимому, подтверждается словами: „Всегда и все делалось через личности“, и тем убеждением, что для России нужен новый Петр Великий. Но зачем же собственно он нужен? Только затем, чтобы дать новый толчок экономическому развитию России. И в этом заключается главнейшая особенность новой теории Белинского. Будущее развитие России ставится теперь им в зависимость от ее экономического развития: для гражданского развития России необходимо превращение дворянства в буржуазию. Мы видим теперь, что для развития России в капиталистическом направлении достаточно было экономических последствий той реформы, которая была сделана историческим Петром. Но это не уменьшает в наших глазах проницательности Белинского; мы все-таки должны признать, что он совершенно правильно определил, где может быть найдена разгадка будущей судьбы России, как культурной страны [1]).

[1]) В своем „Дневнике“ Герцен писал 17-го мая 1844 г., что Белинский смотрит с отчаянием на славянский мир, не понимая его. Теперь приходится сказать, что Белинский гораздо вернее Герцена определил социологические условия, необходимые для дальнейшего развития России в частности и славян вообще.

Неверно было и то, что народу, т.-е. собственно пролетариату, навсегда суждено оставаться пассивным орудием буржуазии. Этот взгляд Белинского был неверен по отношению к З. Европе; неверен он был и по отношению к России. Неизбежность развития капитализма в нашей стране не только не осуждала рабочий класс на пассивность, но впервые отводила место, и притом чрезвычайно широкое место, для его исторической самодеятельности. Однако, и тут ошибка Белинского не так велика, как представляется с первого взгляда. Ее тоже следует рассматривать в исторической перспективе. Ведь социалисты-утописты, которых Белинский сравнивает теперь со славянофилами, тоже отводили „народу“ совершенно пассивную роль в своих построениях: они тоже надеялись только на высшие классы. Лишь научный социализм правильно определил то участие, которое суждено принять „народу“ в прогрессивном развитии современного общества. Белинский не дожил до той поры, когда научный социализм окончательно сложился в стройную теорию. Но его гениальная мысль, уже вскоре после выступления его на литературное поприще, поставила перед ним такие теоретические задачи, правильное решение которых прямым путем вело к научному социализму. Именно потому у него и не могло быть продолжительного мира с „абстрактным идеалом“. Он говорил: „все наши вожди Моисеи, а не Навины“. И его самого можно назвать Моисеем, стремившимся вывести себя и своих единомышленников из бесплодной пустыни „абстрактного идеала“.

VI.

Переходя к литературным взглядам Белинского, мы прежде всего заметим, что немецкая философия имела на них такое же решающее влияние, как и на его общественные взгляды. Очень заблуждались те историки нашей литературы, которые находили, что увлечение Белинского Гегелем вредно повлияло на развитие его эстетических понятий. На самом деле все эти понятия именно сильными своими сторонами всецело коренились в немецкой философии и в частности в философской системе Гегеля.

Влияние немецкой философии на развитие нашей литературной критики начало сказываться еще раньше появления Белинского. Так, его непосредственный предшественник в критической области, Надеждин, справедливо считается проводником в нашу литературу эстетических взглядов Шеллинга. Да и раньше Надеждина были у нас писатели, сознававшие, что именно в немецкой философии следует искать указаний для выработки правильного взгляда на состояние и задачи русской литературы. Скончавшийся в марте 1827 года Д. Веневитинов в своей заметке „Несколько мыслей в план журнала“ говорил: „Итак, философия и применение оной ко всем эпохам наук и искусств— вот предметы, заслуживающие особенное наше внимание, предметы тем более необходимые для России, что она еще нуждается в твердом основании изящных наук, и найдет сие основание, сей залог своей самобытности и следственно своей нравственной свободы в литературе, в одной философии, которая заставит ее развить свои силы и образовать систему мышления“. Та же заметка об‘ясняет нам, почему тяготели к немецкой философии мыслящие люди того времени. Перед Веневитиновым стояло два вопроса: „Какими силами двигается она (Россия. Г. П.) к цели просвещения? Какой степени достигла она в сравнении с другими народами на сем поприще, общем для всех?“ Русская литература не отвечала на эти вопросы, и, по замечанию Веневитинова, „беспечная толпа наших литераторов“ даже не подозревала их важности. Немецкая философия, конечно, тоже не занималась этими вопросами,

поскольку они относились специально к России. Но она давала метод, обещавший привести к их решению. Держась точки зрения развития, она смотрела на литературу каждого данного народа как на выражение его „духа“, в свою очередь являющегося одной из ступеней в развитии абсолюта. Поэтому выработать правильный взгляд на литературу данного народа значило придти к пониманию его „духа“, т.-е. исторической роли. Отсюда видно, что литературные взгляды людей, усвоивших себе немецкую философию, должны были находиться в самой тесной связи с их философски-историческими, а следовательно и публицистическими взглядами. И не удивительно, что Белинский, обладавший, как мы видели, чутьем гениального социолога, оказался в то же время и самым глубокомысленным из наших критиков.

Влияние немецкой философии заметно уже на первой его статье „Литературные мечтания“, написанной значительно раньше его увлечения Гегелем. „Каждый народ,—говорит он там,—вследствие непреложного закона провидения, должен выражать своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни целого человечества; в противном случае этот народ не живет, а только прозябает, и его существование ни к чему не служит“. Сообразно с этим и литература каждого данного народа,—если только она действительно заслуживает название литературы,—представляет собой, по мнению Белинского, „собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого они дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений“. Русская литература еще не является выражением внутренней жизни русского народа. В ней было известное число талантов и известное число художественных произведений. Но исключения, как бы блестящи они ни были, только подтверждают собой общее правило. Наша литература была подражанием западным литературам. Потому Белинский говорит и „повторяет это с восторгом, с наслаждением“, что у нас нет литературы. Он считает своею нравственною обязанностью настойчиво доказывать это. „Благородная нищета,—восклицает он,—лучше мечтательного богатства! Придет время—просвещение разольется в России широким потоком, умственная физиономия народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будут на все свои произведения налагать печать русского духа. Но теперь нам нужно ученье! ученье! ученье!“.

Когда ж у нас будет литература? Она будет тогда, когда у нас образуется общество, в котором выразится физиономия „могучего русского народа“. Это не только литературная программа, а также программа желательного общественного развития. Понятно поэтому, что решение вопроса о нашей литературе сознательно связывается Белинским с вопросом о ходе нашего общественного развития со времен Петра Великого. Таким образом, уже в первой своей статье Белинский старается найти для своих литературных суждений философски-историческое, или, как мы сказали бы теперь, социологическое основание.

Если литература служит выражением народной жизни, то первое требование, которое может быть к ней пред‘явлено критикой, состоит в правдивости. Отсюда видно, как благодетельно было влияние немецкой философии на развитии нашей критики. Немецкая философия подготовила критику к правильной оценке того реализма, который так блестяще расцвел в нашей литературе с появлением Гоголя. Известно, с каким восторгом приветствовал

Гоголя Белинский. В замечательной статье „О русской повести и повестях Гоголя“, появившейся в 1835 году в „Телескопе“, Белинский так характеризует достоинство этих повестей: „Совершенная истина жизни в повестях Гоголя тесно соединяется с простотою вымысла. Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени. Она у него настоящий портрет, в котором все схвачено с удивительным сходством, начиная от экспрессии оригинала до веснушек лица его“. Но жизнь чрезвычайно разнообразна в своих проявлениях, и нельзя требовать от всех художников одинакового к ней отношения: один подходит к ней с одной стороны, другой—с другой. „Если Ган Исландец,—говорит Белинский,—может существовать в природе, чем он хуже какого-нибудь Карла Моора или даже маркиза Позы? Я люблю Карла Моора, как человека, обожаю Позу, как героя, и ненавижу Гана Исландца, как чудовище; но как создания фантазии, как частные явления общей жизни для меня все равно прекрасны“. В этих строках, опять взятых нами из „Литературных мечтаний“, полезно отметить отношения Белинского к Шиллеру; он „любит“ его Карла Моора и „обожает“ маркиза Позу. Считал ли он тогда „Разбойников“ и „Дона-Карлоса“ верным изображением жизни? Не совсем. Но он относил их,—как и „почти все драмы Шиллера“,—к числу таких произведений, „которых предмет есть жизнь действительная, но в которых эта жизнь как бы пересоздается и преображается или вследствие какой-нибудь любимой, задушевной мысли, или одностороннего, хотя и могучего, таланта, или, наконец, от избытка пылкости, не дающей автору глубже и основательнее вникнуть в жизнь и постичь ее так, как она есть, во всей ее полноте“. Несколькими строками ниже Белинский замечает, что хотя Карл Моор говорит много, однако, в его словах нет и тени фразеологии: „Дело в том, что здесь говорит не персонаж, а автор, что в целом этом создании нет истины жизни, но есть истина чувства; нет действительности, нет драмы, но есть бездна поэзии; ложны положения, не естественны ситуации, но верно чувство, но глубока мысль“. Это место очень важно. Высказанный в нем Белинским взгляд на эстетические достоинства драм Шиллера остался у нашего критика неизменным до конца его жизни. И если, тем не менее, коренным образом изменялось его отношение к самому Шиллеру, то это об'ясняется переменами в публицистических, а не в эстетических взглядах Белинского. Мы сейчас увидим, как отразилась эта перемена на его критической деятельности, а теперь напомним читателю, что в статьях, цитируемых нами теперь, мы имеем дело еще с тем Белинским, который не только не мирился с окружавшей его действительностью, но презирал ее и в этом своем отрицательном настроении приближался к тому периоду своей жизни, когда, увлекшись философией Фихте, он об'явил идеал действительностью, а действительность—призраком. В этом отношении чрезвычайно характерно окончание его статьи „Ничто о ничем или отчет издателю „Телескопа“ за последнее полугодие (1835) русской литературы“. Мы там читаем: „Литература есть народное самосознание, и там, где нет этого самосознания, там литература есть или скороспелый плод, или средство к жизни, ремесло известного класса людей. Если и в такой литературе есть прекрасные и изящные создания, то они суть исключительные, а не положительные явления, а для исключений нет правила...“

С точки зрения человека, придающего огромное значение идеалу, не может казаться достойной уважения такая действительность, которая в своем развитии еще не привела народ к самосознанию. И для такого человека

естественно,—при известных привычках ума,—об‘явить такую действительность призраком. Но об‘явить призраком неприятную действительность еще не значит покончить с ней. Где путь, ведущий народ к самосознанию? Мы уже знаем, что в эту эпоху Белинский видел такой путь в просвещении. Нам известно также, что в статье „Литературные мечтания“ он высказал уверенность в том, что русское правительство очень серьезно озабочено интересами просвещения. Но он, разумеется, не мог думать, что служители идеала имеют право успокоиться на своей вере в просветительные намерения правительства. Нет, эти люди с своей стороны должны работать на пользу просвещения. Особенно много могут сделать в этом случае литературные критики. По тогдашнему мнению Белинского, критика должна поставить себе у нас главным образом просветительную задачу. „У нас,—писал он в статье „О критике и литературных мнениях Московского Наблюдателя“ (1836),—принесет пользу критика высшая, трансцендентальная: она необходима; но она у нас должна являться многоречивою, говорливою, повторяющею сама себя, толковитою. Ее целью должен быть не столько успех науки, сколько успех образованности. Наша критика должна быть гувернером общества и на простом языке говорить высокие истины. В своих началах, она должна быть немецкою, в своем способе изложения—французскою. Немецкая теория и французский способ изложения—вот единственный способ сделать ее и глубокою и общедоступною“.

Подобно французским просветителям 18-века, Белинский держался тогда того убеждения, что „мнения правят миром“. Увлечение суб‘ективным идеализмом Фихте было бы особенно благоприятно для яркого литературного выражения суб‘ективного взгляда на историю. Но внешние обстоятельства сложились так, что именно в эпоху этого увлечения Белинский вынужден был прервать свою литературную деятельность. В октябре 1836 года „Телескоп“, выходивший в этом году вместе с „Молвой“, был запрещен за напечатание знаменитого первого „философического письма“ Чаадаева, и Белинскому представился прекрасный случай проверить основательность своей надежды на просветительные намерения правительства. Тогда он, должно быть, с особенной силой почувствовал себя и себе подобных служителей идеала „нулями“. Тяжесть его положения увеличивалась еще тем, что закрытие „Телескопа“ лишило его почти всяких средств к существованию. Но бедность, пережитая им в то время, не остановила энергичной работы его мысли. Как уже сказано выше, в 1837 году начинается его увлечение Гегелем, и когда весной 1838 года он вновь выступает литературным критиком на страницах „Московского Наблюдателя“,—на некоторое весьма, впрочем, непродолжительное время попавшего в руки его друзей,—он говорит уже, как человек, презрительно повернувшийся спиной к абстрактному идеалу и примирившийся с действительностью.

В критической статье, написанной по поводу 2-го издания сочинений Фон-Визина и 5-го издания сочинений Загоскина, Белинский вслед за Ретшером определяет задачи философской критики художественных произведений. „Художественное произведение,—говорит он там,—есть органическое выражение конкретной мысли в конкретной форме. Конкретная идея есть полная, все свои стороны обнимающая, вполне себе равная и вполне себя выражающая, истинная и абсолютная идея,—и только конкретная идея может воплотиться в конкретную, художественную форму. Мысль в художественном произведении должна быть конкретно слита с формою, т.-е. составлять с ней одно, теряться, исчезать в ней, проникать ее всю“. Сообразно с этим философская критика художественного произведения должна прежде всего опреде-

лить идею, воплотившуюся в нем. Затем она должна убедиться в том, что идея, вдохновившая собою художника, проникает все части разбираемого произведения. В истинно-художественном произведении нет ничего лишнего; все его части составляют одно неразрывное целое, и даже те из них, которые повидимому чужды основной его идее, служат для более полного его выражения. Для примера Белинский приводит „Отелло", в котором „только главное лицо выражает идею ревности, а все прочие заняты совершенно другими интересами и страстями; но, несмотря на то, основная идея драмы есть идея ревности, и все лица драмы, каждое, имея свое особое значение, служат к выражению основной идеи".

Полное понимание художественного произведения возможно только чрез посредство философской критики, обязанность которой заключается в том, чтобы найти в частном и конечном проявление общего и бесконечного. Но историческая критика должна также уметь определить историческое значение данного произведения искусства. Есть не мало таких произведений, которые не имеют большой цены в художественном смысле, но очень важны, как материал для истории искусства. С исторической точки зрения рассматривает Белинский многие явления русской литературы. Кантемир, Сумароков, Херасков, Богданович, Фон-Визин, Капнист и прочие важны в глазах Белинского, как „моменты развития общественности в России".

С той же точки зрения приобретает свое относительное достоинство и французская критика. Белинский упрекает ее в том, что она не признает законов изящного и не обращает внимания на художественные достоинства произведения, ограничиваясь отысканием в нем „момента гражданского и политического". Недоволен Белинский и тем, что французская критика слишком много занимается личностью писателя и внешними обстоятельствами его жизни. По его словам, для понимания трагедий Эсхила и Софокла, нам вовсе не нужно знать, что делалось при этих писателях в Греции. В художественных произведениях французская критика ничего не об'ясняет; но она имеет свою цену там, где речь идет о произведениях, обладающих не художественным, а историческим значением: таковы, напр., сочинения Вольтера.

VII.

В этих замечаниях Белинского о французской критике не мало верного, но еще больше в них ошибочного. Упрек, направляемый им против французской критики, применим напр., к Сент Беву, который в своих литературных характеристиках в самом деле слишком увлекался частными подробностями жизни писателей, не обращая надлежащего внимания на общий характер той исторической среды, в которой они жили и действовали. Но Белинский был совершенно не прав, говоря, что для понимания греческой трагедии нет нужды знать историю Греции, а достаточно выяснить себе роль греческого народа в абсолютной жизни человечества. В этой его ошибке сказалась слабая сторона немецкого идеализма, об'яснявшего историческое движение человечества законами развития „идеи" и смотревшего на историю, как на прикладную логику. Впрочем, в лице Гегеля абсолютный идеализм не всегда закрывал глаза на конкретные причины внутреннего развития человеческих обществ. В эту эпоху своей жизни Белинский гораздо больше Гегеля злоупотреблял априорными логическими построениями и пренебрегал фактами. Да оно и понятно. Мы уже знаем, что тогда он увлекался Гегелем, не как диалектиком, а как провозвестником абсолютной истины. С точки зрения такой истины он и смотрел тогда на литературу. „Задача истинной критики,—гово-

рит он в своем разборе „Очерков русской литературы“ Н. Полевого,—отыскать в суждениях поэта общее, а не частное, человеческое, а не людское, вечное, а не временное, необходимое, а не случайное, и определить на основании общего, т.-е. идеи, цену, достоинство, место и важность поэта“. Но если критике нет дела до временного, то это значит, что она вообще может игнорировать историю. Тут Белинский опять заходил несравненно дальше своего учителя Гегеля. Он писал о Вольтере: „Вольтер в своем сатанинском могуществе, под знаменем конечного рассудка, бунтовал против вечного разума, ярясь на свое бессилие постичь рассудком постижимое только разумом, которое есть в то же время и любовь, и благодать, и откровение“. С этим не мешает сопоставить следующий отзыв Гегеля о французском освободительном движении 18-го века,—движении, в котором Вольтер играл, как известно, весьма выдающуюся роль: „Это был величественный восход солнца,—говорил Гегель.—Все мыслящие существа радостно приветствовали наступление новой эпохи. Торжественное настроение господствовало над этим временем, и весь мир проникся энтузиазмом духа, как будто совершилось впервые его примирение с божеством“. Это совсем не похоже на то, что говорит Белинский. Но это было написано Гегелем-диалектиком, а не Гегелем-провозвестником абсолютной истины. Гегель-провозвестник абсолютной истины вовсе не склонен был „радостно приветствовать“ приближение революционных событий. А ведь в эпоху своего „примирения с действительностью“ наш критик шел именно за этим Гегелем.

Мы уже сказали, что, отбросив от себя „философский колпак“ Гегеля, Белинский,—вопреки почти общепринятому мнению об этом эпизоде его жизни,—остался на точке зрения Гегелевой философии. Разница была лишь в том, что прежде он увлекался „абсолютными“ выводами Гегеля, а теперь стал применять его диалектический метод. Это особенно заметно на развитии его литературных взглядов: они изменились преимущественно в том смысле, что в них проник элемент диалектики.

Вот пример. Помирившись с действительностью, Белинский утверждал, что критика должна найти то „общее“ и „необходимое“, которое заключается в художественном произведении. В статье „Взгляд на русскую литературу 1847 года“, т.-е. уже в самом конце своей деятельности, Белинский писал: „Поэт должен выражать не частное и случайное, но общее и необходимое“. Нельзя не видеть, что это в сущности один и тот же взгляд. Но в этот взгляд проник элемент диалектики и произвел в нем чрезвычайно важные изменения. Теперь Белинский уже не противопоставляет „общего“ „временному“ и не отождествляет „временного“ со „случайным“. Теперь у него выходит, что „общее“ развивается во времени, придавая временным явлениям их исторический смысл и их существенное содержание. „Временное“, „необходимо“ именно потому, что необходимо развитие „общего“. „Случайно“ только то, что не имеет никакого значения для хода этого развития. Так смотрит теперь Белинский. И при внимательном чтении тех его сочинений, которые относятся ко времени, последовавшему за восстанием его против“ философского колпака“, не трудно видеть, что именно указанной нами переменой в основных его философских взглядах,—т.-е. проникновением в них диалектического элемента,—обусловливаются самые важные из перемен, совершившихся в его литературных взглядах.

Покинув „абсолютную“ точку зрения, Белинский стал иначе, нежели прежде, смотреть на историческое развитие искусства. Уже в замечательной статье о Державине, относящейся к 1843 году, он писал: „Нет идей, которые и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется, как факт, как пред-

мет или как действие. Осуществление идеи в факте имеет свои непреложные законы, из которых главнейший—последовательность и постепенность. Ничто не является вдруг, ничто не рождается готовым, но все, имеющее идею своим исходным пунктом, развивается по моментам, движется диалектически, из низшей ступени переходя на высшую. Этот непреложный закон мы видим и в природе, и в человеке, и в человечестве. Природа явилась не вдруг готовая, но имела свои дни, или свои моменты творения... Тот же закон существует и для искусства". Так как содержанием искусства служит та же вечная идея, которая своим диалектическим развитием определяет все историческое движение человечества, то понятно, что развитие искусства тесно связано со всем развитием общественной жизни. Великий поэт только потому и велик, что является органом и выразителем своего времени и своего общества. „Чтобы разгадать загадку мрачной поэзии такого необ'ятно-колоссального поэта, как Байрон—говорит Белинский,—должно сперва разгадать тайну эпохи, им выраженной, а для этого должно факелом философии осветить исторический лабиринт событий, по которому шло человечество к своему великому назначению—быть олицетворением вечного разума, и должно определить философски градус широты и долготы того места пути, на котором застал поэт человечество в его историческом движении. Без того все ссылки на события, весь анализ нравов и отношений общества к поэту и к самому себе ровно ничего не об'ясняют".

Теперь Белинский готов, кроме того, считаться также с влиянием географической среды, — не в переносном, а в прямом смысле этих слов,— хотя впрочем, эта сторона предмета слишком мало разработана в его сочинениях.

В эпоху своего увлечения абстрактным идеалом Белинский, как мы знаем, „любил" героев Шиллера. „Смирившись" перед действительностью, он писал, что первые произведения Шиллера,—т. е. те самые, героев которых прежде так „любил" Белинский,—решительно безнравственны в отношении к абсолютной истине и высшей нравственности. Шиллер в них „хотел осуществить вечные истины, и осуществил свои личные и ограниченные убеждения, от которых потом сам отказался. Так как он в них задал себе задачу и назначил цель вне искусства, то из них и вышли поэтические недоноски и уроды, явления совершенно ничтожные в области искусства". После своего восстания против Гегеля, Белинский называет Шиллера благородным адвокатом человечества, яркой звездой спасения и т. д. Кажется, нельзя измениться резче в своих отношениях к писателю. Но это только так кажется.

Почему Белинский опять превозносит теперь Шиллера? Потому что он увлекается теперь идеей „личности", которая для него „выше истории, выше общества, выше человечества". Он не запрещает теперь мыслящей личности восставать против действительности; наоборот, он восхищается ее протестом против „кровавых предрассудков предания". Вместе с этим изменяются и его суждения о писателях, поэтически выражающих стремления личности, борющейся с общественными предрассудками. В этом и заключается вся тайна перемены в его отношении к Шиллеру. Белинский не называет теперь его драм безнравственными; он даже очень хвалит их, но хвалит с особенной точки зрения. Он называет шиллеровские драмы великими вековыми созданиями, тут же прибавляя, однако, что их не должно смешивать с настоящей драмой нового мира. Это значит, что они плохи, как драмы, и хороши лишь, как лирические произведения. Вот почему Белинский и замечает: „Надо быть слишком великим лириком, чтобы свободно ходить на котурне шиллеровской драмы: простой талант, взобравшийся на ее котурн, непременно падает с него

прямо в грязь. Вот отчего все подражатели Шиллера так приторны, пошлы и несносны“.

Иначе сказать, на драмы Шиллера, как на таковые, Белинский всегда смотрел одними и теми же глазами. Изменялось только его отношение к свойственному этим драмам суб‘ективному элементу. В эпоху своего „примирения“ с действительностью Белинский сводил роль суб‘екта к созерцанию об‘ективного разума этой действительности; все, что выходило за пределы этой созерцательной роли, осуждалось им, как промах незрелого суб‘ективного „мнения“. А в эпоху своего восстания против действительности он не мог не сочувствовать тем „личностям“, которые, подобно ему, боролись с рутиной. В третьем периоде своей жизни он сочувствовал тому, что резко осуждалось им во втором ее периоде и что нередко вдохновляло его в первом ее периоде. Но на литературные его суждения эти перемены влияли мало, а если и влияли, то разве лишь в смысле углубления этих суждений. Говоря это, мы имеем в виду особенно второй период его развития. Вот, например, в высшей степени важно следующее место в его статье „Об очерках Бородинского сражения“: „Мы думаем и убеждены, что уже проходит в нашей литературе время безотчетных возгласов с „ахами“ и восклицательными знаками и точками для выражения глубоких идей без всякого смысла; что проходит уже время великих истин, с диктаторской важностью изрекаемых и ни на чем не основывающихся, ничем не подтверждающихся, кроме личного мнения и произвольных понятий мнимого мыслителя... Вопрос не в том, как кажется, а в том, как есть в самом деле, и этот вопрос может решаться не мнением, а мыслью. Мнение опирается на случайном убеждении случайной личности, до которой никому нет дела и которая сама по себе—очень неважная вещь; мысль опирается на самой себе, на собственном внутреннем развитии из самой себя, по законам логики“.

Противопоставлять то, что есть на самом деле, тому, что только кажется, значит отвергать приговоры, постановляемые во имя отвлеченных понятий, и стремиться обосновать свои суждения помощью анализа об‘ективной действительности. Нечего и говорить, что от подобного стремления Белинский, как литературный критик, ровно ничего не терял, а очень много выигрывал.

Один из наших историков литературы высказал ту мысль, что в эпоху своего „примирения“ с действительностью Белинский отвергал всю „суб‘ективную лирику“. Но всякая лирика суб‘ективна. А между тем Белинский никогда не отвергал лирики Гете или Кольцова.

VIII.

Постараемся в немногих словах формулировать эстетический кодекс нашего критика.

Первый закон этого кодекса гласит, что поэт должен показывать, а не доказывать, мыслить образами, а не силлогизмами. Этот закон вытекает из того определения поэзии, согласно которому она есть непосредственное созерцание истины или мышление в образах.

Но если предмет поэзии есть истина, то правдивость составляет первое условие художественного творчества, а красота заключается в истине и простоте. Поэт должен изображать жизнь, как она есть, не прикрашивая ее и не искажая. Это второй закон художественного кодекса Белинского.

По смыслу его третьего закона, идея, лежащая в основе художественного произведения, должна быть конкретной идеей, охватывающей весь предмет, а не какую-либо его сторону.

В силу четвертого закона форма художественного произведения должна соответствовать его идее, а идея—форме.

Наконец, единству мысли должно соответствовать единство формы. Это значит, что все части художественного произведения должны составлять одно гармоническое целое. Это пятый и, если не ошибаемся, последний основной закон эстетического кодекса Белинского.

Против этого кодекса трудно возразить что-либо по существу. Как не признать, что форма художественного произведения должна соответствовать его идее, или что поэт мыслит образами, а не силлогизмами? Но этот кодекс не помешал Белинскому осудить французскую „классическую“ трагедию, а это осуждение было несомненной ошибкой. Еще в статье о сочинениях Державина (1843 г.) Белинский писал: „Задача истинной эстетики состоит не в том, чтобы определить, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна рассуждать об искусстве, как о чем-то предполагаемом, как о каком-то идеале, который может осуществиться только по ее теории; нет, она должна рассматривать исскусство, как предмет, который существовал давно до нее и существованию которого она сама обязана своим существованием“. Это как нельзя более справедливо. Но, обдумывая свой эстетический кодекс, Белинский не всегда помнил золотое правило, высказанное им в только что приведенных нами строках. В его литературных суждениях давала иногда чувствовать себя некоторая априорность, сказывавшаяся именно во взгляде на искусство, как на какой-то идеал, который может осуществиться только по данной теории. Чтобы понять происхождение этого недостатка, надо помнить, что, вырабатывая свой кодекс, Белинский стоял на точки зрения немецкой **идеалистической** эстетики, которая, как и вся вообще немецкая идеалистическая философия, при всех огромных достоинствах своих страдала именно априорностью. Если мыслитель смотрит на историю вообще, а стало быть и на историю искусства в частности, как на прикладную логику, то очень естественно, что у него нередко является искушение строить a priori такие положения, которые могли бы быть правомерны лишь в качестве выводов из фактов. Белинскому, как и Гегелю, случалось поддаваться такому искушению.

К этому надо прибавить, что по причинам, которые мы не можем рассматривать здесь, немецкие эстетики еще со времен Лессинга вели более или менее решительную борьбу с французским классицизмом, и что эта борьба обусловливала собою некоторую односторонность в их взгляде на французскую классическую литературу. Эта односторонность отчасти заразила собой и Белинского, литературные взгляды которого сложились под преобладающим влиянием немецкой философской эстетики.

Но это—частности. В общем, необходимо признать, что, именно опираясь на свой кодекс, Белинский мог оказать русской литературе огромные услуги, отбросив, по выражению А. Н. Пыпина, старый романтический хлам и проложив путь для утверждения реализма гоголевской школы. Ко всему этому надо прибавить, что и сам Белинский не всегда одинаково интерпретировал свой эстетический кодекс.

Вот пример. Идея художественного произведения должна охватывать предмет со всех сторон. Что это значит? В „примирительную“ эпоху это значило у Белинского то, что поэтическое произведение должно изображать „разумность“ окружающей поэта действительности. Если ж оно приводит нас к той мысли, что действительность не совсем разумна, то это показывает, что в нем изображена только одна сторона предмета. Такое истолкование указанного эстетического закона узко и неправильно. Идея ревности не охватывает всех отношений, существующих между мужчиной и женщиной в цивилизован-

ном обществе. Такой конкретной идеи, которая со всех сторон охватывала бы то или другое отношение между людьми, не может быть: жизнь слишком сложна для этого. Белинский понял это, покинув свою абсолютную точку зрения, и потому он стал восхищаться, напр., Жорж-Санд, произведения которой прежде казались ему односторонними.

Перемены в общественных взглядах Белинского сильнее всего должны были отражаться, конечно, на его понятии о роли искусства в общественной жизни. Во втором периоде Белинский утверждал, что искусство само себе служит целью. В последнем периоде,—в этом отношении последний его период сближается с первым, отличаясь от него гораздо более ярким оттенком одной и той же мысли,—он оспаривает так называемую теорию чистого искусства, доказывая, что мысль об искусстве, отрешенном от жизни, есть мысль отвлеченная и мечтательная, которая могла родиться только у народа, чуждого живой общественной деятельности. Однако, и теперь он не перестает твердить, что искусство прежде всего есть искусство, т. е. „воспроизведение действительности, повторенный, как бы вновь созданный мир“. Разница лишь в том, что прежде,—во втором периоде,—он смотрел на обязанность художника с абсолютной точки зрения, а теперь он смотрит на нее с точки зрения диалектической и потому понимает, что воспроизводящий действительность художник сам находится под ее влиянием. „Личность Шекспира,—говорит он,—просвечивает сквозь его творение, хотя и кажется, что он так же равнодушен к изображаемому им миру, как и судьба, спасающая или губящая его героев. В романах Вальтер-Скотта, невозможно не увидеть в авторе человека более замечательного талантом, нежели сознательно широким пониманием жизни, тори, консерватора и аристократа по убеждению и привычкам. Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких влияний извне... Дух народа и времени на него не могут действовать менее, чем на других“. Прежде Белинскому нравилась мысль известного стихотворения Пушкина „Чернь“, теперь он возмущается ею. „Кто поэт для себя и про себя, презирает толпу,—говорит он в своей пятой статье о Пушкине,—тот рискует быть единственным читателем своих произведений“. Не нравилась теперь Белинскому и мысль пушкинского „Поэта“. Поэт должен быть чист не только тогда, когда Аполлон потребует его к своей священной жертве, но и всегда, в течение всей своей жизни. Отрицательное отношение к теории искусства для искусства представляет собой самое крепкое из тех звеньев, которые связывали критику Белинского с критикой 60-х и 70-х годов. На нем следует остановиться.

Белинский не всегда был справедлив в своем отношении к Пушкину. Он думал, что у Пушкина слово чернь означает народную массу, но так ли это? В статьях и письмах самого Белинского нередко встречаются нападки на чернь и на толпу. Можно ли было бы на этом основании упрекнуть его в презрении к народу? В „Ответе анониму“ Пушкин восклицает:

Смешон, участия кто требует у света,
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра...

„Свет“ не „народ“, не совокупность бедняков, „живущих трудами рук своих“.

Мысль стихотворения „Поэт“ тоже вряд ли была правильно понята Белинским. Пушкин не дает в нем поэтам разрешения быть пошляками до тех пор, пока Аполлон не потребует их к жертве. Он только говорит, что даже зараженный пошлостью человек способен возрождаться под влиянием вдохно-

вения. Эта мысль выражена в „Египетских ночах“; это верная и глубокая мысль.

Вообще, возражения Белинского сторонникам чистого искусства мало убедительны. Он нередко запутывался в собственных доводах. Чем же об'ясняются эти промахи гениального ума?

Восставши против Гегеля, Белинский перешел на точку зрения человеческой личности. Но понятие личности—отвлеченное понятие. Мы уже знаем, что грудь Белинского плохо дышала в атмосфере отвлеченности, и что он до конца своей жизни стремился доработаться до конкретного миросозерцания. Это стремление чрезвычайно благотворно отразилось как на общественных, так и на литературных его взглядах. Но он не всегда был верен ему; недовольство „гнусной рассейской действительностью“ приводило его иногда к таким суждениям, в основе которых лежали только те или другие отвлеченные понятия. Такие суждения были всегда благородны с нравственной стороны, но часто неудовлетворительны—с теоретической. К их числу принадлежат и вышеуказанные суждения Белинского о Пушкине. Пушкин такой поэт, для понимания которого необходимо покинуть отвлеченную точку зрения.

Но это в конце-концов были только отдельные промахи. В общем и целом даже статьи о Пушкине,—и даже в особенности эти замечательные статьи,—показывают, в какой сильной степени удалось ему в последнем периоде своей жизни разрешить ту задачу, которую он ставил перед литературной критикой еще в статье о бородинской годовщине: руководствоваться не тем, что кажется, а тем, что есть на самом деле, не мнением, а мыслью.

Но когда он стал приближаться к решению этой задачи, то обнаружилось, что она имеет не тот вид, в каком она ему представлялась прежде. Прежде он думал, что мысль опирается на самое себя, на собственное внутреннее развитие из самой себя, по законам „логики“. И в этом убеждении,—заимствованном у Гегеля,—он оставался еще долго после того, как восстал против действительности. Но к концу своей жизни он совсем расстался с идеализмом Гегеля и стал склоняться к материализму Фейербаха [1]). А по

[1]) Это особенно заметно в его статье „Взгляд на русскую литературу 1846 года“, где он излагает некоторые основные положения Фейербаховой философии. Так, например, он пишет: „Вы, конечно, очень уважаете в человеке ум?—Прекрасно!—так останавливайтесь же в благоговейном изумлении перед этой массой мозга, где происходят все умственные отправления, откуда по всему организму распространяются через позвоночный хребет нити нервов, которые суть органы ощущений и чувств, и которые исполнены каких-то до того тонких жидкостей, что они ускользают от матерьяльного наблюдения и не даются умозрению. Иначе, вы будете удивляться в человеке следствию мимо причины, или,—что, еще хуже—сочините свои небывалые в природе причины и удовлетворитесь ими. Психология, не опирающаяся на физиологию, так же несостоятельна, как и физиология, не знающая о существовании анатомии. Современная наука не удовольствовалась и этим: химическим анализом хочет она проникнуть в таинственную лабораторию природы, а наблюдением над эмбрионом (зародышем) проследить физический процесс нравственного развития“. И далее: „Ум без плоти, без физиономии, ум не действующий на кровь и не принимающий на себя ее действия, есть логическая мечта, мертвый абстракт; ум—это человек в теле, или, лучше сказать, человек через тело, словом, личность“. Нельзя не узнать здесь основных положений философии Фейербаха, хотя видно, что новая—материалистическая система понятий еще не вполне усвоена Белинским, и потому он выражается иногда довольно неточно. В литературном обзоре следующего года, написанном, можно сказать, накануне смерти, Белинский, говоря о задачах нашей литературы, опять высказывает взгляды, свидетельствующие о влиянии на него Фейербаха. Но смерть не дала вполне упрочиться этому новому влиянию. Полным и последовательным представителем взглядов Фейербаха, явился в нашей литературе, горячий поклонник Белинского—Н. Г. Чернышевский.

учению материализма сознание развивается не из самого себя: его развитие обусловливается бытием. Правда, эта истина не была приложена Фейербахом к об'яснению истории вообще и истории идеологий в частности. Но этот пробел фейербаховского материализма отчасти пополнялся в том, что касается искусства, самим Гегелем, который в своей „Эстетике", несмотря на свою идеалистическую склонность к априорным построениям, все-таки довольно часто прибегал к чисто материалистическому об'яснению развития искусства развитием общественных отношений. К тому же Белинский сам умел делать надлежащие выводы из раз найденных посылок. Как уже отмечено выше, в своем последнем периоде он ставил развитие искусства в причинную связь с „общим характером эпохи", т.-е. с характером свойственного этой эпохе общественного движения. Конечно, он выражался тут довольно неопределенно, и эта неопределенность свидетельствовала о неясности его относящихся сюда взглядов. Но неясность взглядов об'ясняется их неразработанностью, а разработанными взгляды эти и не могли быть в то время. Важно было уже то, что мысль Белинского и здесь умела определить надлежащее направление, а также то, что даже свой неразработанный взгляд Белинский применял иногда в своих критических статьях поистине блестящим образом.

IX.

Это показывают между прочим те же статьи о Пушкине, слабые стороны которых были указаны нами выше. По словам Белинского, Пушкин принадлежал к той школе искусства, пора которой миновала не только в Европе, но даже и в России. История опередила Пушкина, лишив значительную часть его произведений того животрепещущего интереса, который возбуждается тревожным вопросом настоящего времени. Белинский смотрел на Пушкина как на поэта дворянского сословия. „Везде,—говорил он,—вы видите в нем человека, душой и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности, но принцип класса для него вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так похоже на одобрение и на любование... Это было причиной, что в „Онегине" многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из „Онегина" такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся".

Об'ясняя поэзию Пушкина общественным положением России и историческим состоянием того сословия, к которому принадлежал наш великий поэт, Белинский далеко опережал нашу передовую критику 60-х и 70-х годов, главный недостаток которой состоял в том, что она смотрела на литературные явления исключительно с публицистической, а не с социологической точки зрения. В статьях Белинского, написанных в последние годы его деятельности, заключается целая программа, которая до сих пор еще не выполнена нашей литературной критикой и которая только тогда будет выполнена ею, когда она сумеет целиком стать на социологическую точку зрения. Это опять свидетельствует о гениальной силе его мысли.

Не мешает отметить здесь еще одно обстоятельство, насколько мы знаем, до сих пор упускаемое из виду историками нашей литературы. В последние годы своей жизни Белинский настойчиво проповедует „исключительное обращение искусства к действительности, помимо всяких идеалов" (обзор литературы за 1847 г.). А между тем, очень хорошо известно, что в то время он

решительно воевал с „рассейской“ действительностью (достаточно указать на его знаменитое письмо к Гоголю). Это кажущееся противоречие об‘ясняется тем,—и только тем,—что теперь он в своих критических статьях держится уже не Гегелева, а Фейербахова понятия о действительности. Это понятие отлично от понятия Гегеля о том же предмете: по Фейербаху, действительность есть то, что составляет истинную сущность предмета, не искажаемую фантазией. И если Белинский приветствует появление „натуральной школы“, то именно потому, что она была, по его выражению, не риторической, а естественной. После Белинского, уже понятие о действительности отстаивал Чернышевский.

Мы не останавливаемся на драме Белинского „Пятидесятилетний дядюшка“. О ней можно сказать одно: она показывает, что одаренный гениальной способностью „мыслить силлогизмами“, Белинский был слаб в „мышлении образами“. Еще менее внимания заслуживает юношеское стихотворение нашего автора: „Русская быль“, напечатанная в „Листке“ 27 мая 1831 года. О своих стихотворных попытках сам Белинский отзывался впоследствии очень юмористически.

Резюмируем. Белинский взялся за работу литературного критика, находясь под сильным влиянием немецкой философии. В эпоху своего „примирения“ с действительностью, совершившегося под влиянием той же философии, он задался целью найти об‘ективные основы для критики художественных произведений и поставить эти основы в связь с логическим развитием абсолютной идеи. Эти искомые об‘ективные основы он нашел в некоторых законах изящного, формулированных нами выше под именем эстетического кодекса Белинского. В этих законах очень много верного, а то, что в них неверно,—т.-е. лучше сказать, односторонне,—об‘ясняется точкой зрения идеализма, которой он держался по примеру своего учителя в философии, Гегеля. В последние годы своей жизни он расстался с идеализмом, сблизился с материализмом Фейербаха и видел последнюю инстанцию для критики уже не в развитии абсолютной идеи, а в развитии общественных классов и классовых отношений. От этого нового и в высшей степени плодотворного направления, тождественного с тем направлением, в котором развивалась философская мысль современной ему передовой Германии, критика Белинского отклонялась только в тех случаях, когда он покидал точку зрения диалектической философии и становился на точку зрения пропагандиста отвлеченных „просветительных“ идей (Standpunkt des Aufklärers, как сказал бы немец). Такие отклонения, неизбежные при тогдашних условиях, сделали его родоначальником русских „просветителей“, какими были наши передовые критики 60-х и 70-х годов.

Надо прибавить, что материализм Фейербаха не только не препятствовал таким отклонениям, но чрезвычайно способствовал им: в своих исторических и общественных взглядах материалист Фейербах,—подобно французским материалистам XVIII века,—оставался идеалистом. Вот почему, самый выдающийся из наших „просветителей“ 60-х годов, Н. Г. Чернышевский, твердо держался Фейербахова материализма, не переставая, в то же время, смотреть на общественную жизнь с идеалистической точки зрения.

Три первые акта умственной драмы Белинского можно озаглавить так: 1) абстрактный идеал и фихтеанство; 2) примирение с „действительностью“ под влиянием „абсолютных“ выводов Гегелевой философии; 3) восстание против „действительности“ и переход частью на отвлеченную точку зрения „личности“, частью на конкретную точку зрения Гегелевой диалектики.

Четвертый акт этой драмы начался полным разрывом с идеализмом и переходом на материалистическую точку зрения Фейербаха. Но рука смерти опустила занавес после первых же сцен этого акта.

Белинский говорил о себе, что он рожден не литературным критиком, а политическим памфлетистом. На самом деле он был рожден философом и социологом, обладавшим при этом всеми данными, необходимыми для того, чтобы стать превосходным критиком и блестящим публицистом. Как велик был его талант памфлетиста, показывает его знаменитое письмо к Гоголю. Мы предполагаем его известным читателю и потому не станем делать из него выписки; вместо этого мы приведем несколько строк из его напечатанной в „Современнике“ 1847 г. статьи о той же книге, появление которой подало повод Белинскому написать Гоголю свое письмо. Заканчивая эту статью, Белинский говорит: „Мы вывели из этой книги такое следствие, что горе человеку, которого сама природа создала художником, горе ему, если недовольный своею дорогою, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожидает его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возвращение на прежнюю дорогу“.

Эти строки напоминают то его положение, входящее в состав его эстетического кодекса, что художник мыслит не силлогизмами, а образами, положение, из которого следует, что гениальный художник может быть подчас очень слабым мыслителем.

Всегда слабый здоровьем и в последние годы своей жизни страдавший чахоткою, Белинский скончался в Петербурге 26 мая 1848 года, в 6-м часу утра.

На кладбище,—всякий знает теперь, что он похоронен на Волковом кладбище,—его проводили только немногие друзья. Но к этим друзьям, по свидетельству Панаева, присоединились три или четыре неизвестных, вдруг откуда-то взявшихся. Они оставались на кладбище до самого конца погребения и наблюдали за всем происходившим с величайшим вниманием.

Это появление „неизвестных“ станет понятным, если мы вспомним, что только смерть спасла Белинского от знакомства с Дуббельтом, тогдашним начальником „III отделения“. Известна картина Наумова „Белинский перед смертью“. В ней изображен действительный случай, имевший место 27-го марта, когда на квартиру умиравшего критика явился жандарм с приглашением от Дуббельта.

Когда у друзей Белинского явилась мысль разыграть в лотерею его библиотеку, чтобы притти на помощь его жене и дочери, оставшимся без всяких средств, то это было запрещено названным „отделением“.

Крайне нервный и искренний, Белинский не скрывал своих убеждений ни тогда, когда мирился с „российской действительностью“, ни тогда, когда восставал против нее. Укажем два случая, очень хорошо его характеризующих. Первый случай относится к эпохе „примирения“ и рассказан Панаевым. Когда Белинский прочитал ему рукопись своей статьи о бородинской годовщине, Панаев похвалил статью, но хотел поставить ему на вид, какое впечатление она произведет на читателя. Белинский перебил его: „Я знаю, знаю что,—не договаривайте; меня назовут льстецом, подлецом, скажут, что я кувыркаюсь перед властями... Пусть их. Я не боюсь открыто и прямо высказывать мои убеждения, что бы обо мне ни думали...“

„Клянусь вам, что меня нельзя подкупить ничем!.. Мне легче умереть с голода,—я и без того рискую этак умереть каждый день (и он улыбнулся при этом с горькой иронией), чем потоптать свое человеческое достоинство, унизить себя перед кем бы то ни было или продать себя...“

Другой случай рассказан Герценом и относится к последнему периоду жизни Белинского.

Дело было на вечеринке у одного литератора. Речь шла о философическом письме Чаадаева, причем один магистр находил, что Чаадаев потерпел по заслугам. Присутствовавший на вечеринке Герцен возражал магистру. Но спор тянулся довольно вяло до тех пор, пока в него не вмешался Белинский, резко и решительно ставший на сторону Чаадаева. Замечательнее всего был конец спора.

„В образованных странах,—сказал с неподражаемым самодовольством магистр, есть тюрьмы, в которые запирают безумных, оскорбляющих то, что целый народ чтит... и прекрасно делают“.

„Белинский вырос, он был страшен, велик в эту минуту; скрестив на больной груди руки и глядя прямо на магистра, он ответил глухим голосом:

„А в еще более образованных странах бывает гильотина, которой казнят тех, которые находят это прекрасным.

„Сказавши это, он бросился в кресло изнеможенный и замолчал. При слове гильотина хозяин побледнел, гости обеспокоились, сделалась пауза. Магистр был уничтожен“...

Таков был „неистовый Виссарион“.

„Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она,—писал Н. А. Добролюбов в 4-й книжке „Современника“ за 1859 г.,—Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние ясно чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознает, что значительной частью своего развития обязан непосредственно, или посредственно, Белинскому... В литературных кружках едва ли найдется пять—шесть грязных и пошлых личностей, которые осмелятся без уважения произнести его имя. Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно,—это лучшие люди России“.

Эти строки показывают нам, как относились к Белинскому наиболее передовые деятели нашей литературы 60-х годов. Но мы не решились бы сказать, что они заключают в себе совершенно правильную оценку значения Белинского. В них кое-что недостает. При всем своем энтузиазме в отношении к Белинскому Чернышевский, Добролюбов и их единомышленники не были в состоянии оценить во всей ее полноте роль Белинского в истории нашей общественной мысли. Им мешала в этом случае отсталость современных им общественных отношений России. Только тогда, когда развитие этих отношений значительно подвинулось вперед; только тогда, когда сама жизнь свела на конкретную,—т.-е. экономическую,—почву великий спор между славянофилами и западниками о том, по какой исторической дороге суждено итти нашему отечеству,—только тогда явилась, наконец, возможность дать всестороннюю оценку литературной деятельности Белинского. Только тогда стало ясно, что Белинский был не только в высшей степени благородным человеком, великим критиком художественных произведений и в высшей степени чутким публицистом, но также обнаружил изумительную проницательность в постановке,—если не в решении,—самых глубоких и самых важных вопросов нашего общественного развития. А когда стало ясным это обстоятельство, тогда само собой выяснилось и то, что уже недостаточно сказать о Белинском: „до сих пор влияние его литературной деятельности чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного“; тогда стало очевидно,

что к этому необходимо прибавить, что и до сих пор каждый новый шаг вперед, делаемый нашей общественной мыслью, является новым вкладом для решения тех основных вопросов общественного развития, наличность которых открыл Белинский чутьем гениального социолога, но которые не могли быть решены им вследствие крайней отсталости современной ему российской „действительности“. Только при этой необходимой поправке становится полной и всесторонней сделанная Добролюбовым оценка литературной деятельности Белинского.

Философские взгляды А. И. Герцена.

(К столетию со дня его рождения).

Всякий знает теперь, что А. И. Герцен был человеком очень широко образованным, и что в круг его умственных интересов входила, между прочим, и философия. Но до сих пор остается невыясненным, как именно развивались философские взгляды и в каком направлении совершалось их развитие. Я полагаю, что полезно сделать это. Попробую.

I.

В годы юности А. И. Герцен не занимался философией: его больше привлекала к себе политика. Но, вернувшись в Москву из своей первой ссылки, он убедился, что ему необходимо составить себе основательный запас философских знаний. Это было то—в теоретическом отношении чрезвычайно замечательное—время, когда В. Г. Белинский и его ближайшие единомышленники проповедывали примирение с тогдашнею „российскою действительностью" на том основании, что „все действительное разумно" [1]). В своем качестве „политика" Герцен не мог не возстать против такого вывода, „и отчаянный бой закипел между нами", говорит он в „Былом и Думах". Но его политические доводы не производили никакого впечатления на противников, обеими ногами стоявших на почве гегелевой философии. Поэтому он и нашел нужным запастись философским оружием.

„Середь этой междоусобицы,—продолжает он,—я увидел необходимость ex ipso fonte bibere и серьезно занялся Гегелем. Я думаю даже, что человек, не переживший феноменологии Гегеля и противоречий общественной экономии Прудона, не перешедший через этот горн и этот закал,—не полон, не современен".

Заметьте, что здесь у него Прудон поставлен на одну доску с Гегелем. Это как нельзя более характерно для его философских взглядов. Можно сказать, не боясь упрека в преувеличении, что этим сопоставлением указывается тот предел, дальше которого не пошел наш в высшей степени даровитый и чрезвычайно блестящий автор в понимании Гегеля. Даже больше. Мы имеем право прибавить, что, если бы Герцену удалось перейти этот предел, то ему, вероятно, не пришлось бы переживать ту тяжелую душевную драму, которая дает себя чувствовать на каждой странице его знаменитой книги „С того берега". Но чтобы такие утверждения не показались читателю голословными, следует внимательно подвести итог всему тому, что нашел Герцен у Гегеля и что он заимствовал у него.

---

[1]) О значении этой эпохи в истории развития взглядов Белинского см. в моей статье: „Белинский и разумная действительность" в сборнике „За двадцать лет".

Обратимся к его дневнику. Здесь мы встречаем, например, такие места: „Читал гегелеву философию природы („Encyclopedie“ II Th.). Везде гигант, многое едва набросано, очеркнуто, но ширина и об‘ем колоссален (т. е., должно быть колоссальны? *Г. П.*). Какой огромный шаг в освобождении от абстрактных сил, в введении в свои рамы категории, величины которой подавляли все земное, и какой перевес качеству, конкреции. Он освобождает в полном развитии человека от его материального определения, от его теллурической жизни адекватностью его формы понятию (чем беднее его развитие, тем более он зависит от природы). Дух вечен, материя всегдашняя форма его инобытия. Лишь только форма способна, лишь только она может выразить дух, она и выражает его“ [1]).

Или: „Нет ничего смешнее, что до сих пор немцы, а за ними и всякая всячина считают Гегеля сухим логиком, костяным диалектиком в роде Вольфа [2]), в то время, как каждое из его сочинений проникнуто мощной поэзией, в то время, как он, увлекаемый (часто против воли) своим гением, облекает спекулятивнейшие мысли в образы поразительности, меткости удивительной. И что за сила раскрытия всякой оболочки мыслью, что за молниеносный взгляд, который всюду проникает и все видит, куда ни обернул бы взор“ [3]).

Такие места показывают, по-первых, что Герцен был как нельзя более далек от того пренебрежительного отношения к Гегелю, которым грешили у нас впоследствии многие и многие более или менее свободомыслящие люди. Но эта сторона дела нам, пожалуй, достаточно известна уже по сделанной выше выписке из „Былого и Дум“. Полезнее будет остановиться на другой его стороне, т. е. на изложении Герценом основной теоремы гегелевой философии: „Дух вечен, материя всегдашняя форма его инобытия“. Герцен ничем не выражает своего критического отношения к этой теореме, а он нисколько не стеснялся критиковать даже и „гиганта“ Гегеля, когда бывал с ним не согласен. Что же это показывает? То, что еще в апреле 1844 г. [4]), Герцен сам стоял на точке зрения гегелева идеализма или, по крайней мере, еще не формулировал даже для самого себя своих сомнений в нем. На такое же заключение толкают нас и следующие его строки, находящиеся очень близко от тех, которые нас теперь интересуют.

„Конечно, Гегель в отношении естествоведения дал более огромную раму, нежели выполнил, но coup de grâce естественным наукам в их настоящем положении окончательно нанесен. Признают ли ученые это или нет, все равно, тупое Vornehmtuerei des Ignorieren ничего не значит. Гегель ясно развил требование естественной науки и ясно показал всю жалкую путаницу физики и химии, не отрицая, разумеется, частных заслуг. Им сделан первый опыт понять жизнь природы в ее диалектическом развитии от вещества самоопределяющегося, в планетном отношении, до индивидуализации в известном теле, до суб‘ективности, не вводя никакой агенции, кроме логического движения понятия. Шеллинг предупредил его, но Шеллинг не удовлетворил наукообразности“ [5]).

---

[1]) Сочинения А. И. Герцена. Женевское издание. Т. I, стр. 193.

[2]) Собственно говоря, Вольф никогда не был диалектиком, а разве логиком. Логика, в обычном значении этого слова, относится к диалектике, как низшая математика к высшей. *Г. П.*

[3]) Сочинения, т. I, стр. 235.

[4]) Изложение гегелева взгляда на природу, как на инобытие духа, относится в „Дневнике“ Герцена к 14 апреля названного года.

[5]) Сочинения, т. I, стр. 194. Заметка от 19 апреля 1844 г.

То обстоятельство, что Гегель пытался об‘яснить диалектическое развитие жизни природы, не прибегая к другой „агенции“, кроме логического движения понятия, составляет самую слабую сторону его натурфилософии, которая вполне об‘ясняет большинство остальных промахов, сделанных им в этой области. Теперь это едва ли нуждается в пояснениях, так как теперь даже идеалистически настроенные естествоиспытатели,—таких, к сожалению, и сейчас немало,—решительно не находят возможным об‘яснять мировой процесс логическим движением понятия и не видят в таком об‘яснении ровно ничего „наукообразного“. Герцен не только не отмечает этого основного промаха Гегеля, а как будто видит в нем, наоборот, большую научную заслугу. Это могло произойти единственно потому, что сам он оставался идеалистом, т.-е. по той причине, что ему самому ссылка на такую „агенцию“, как логическое движение понятия, представлялась удовлетворительным об‘яснением естественно-исторического процесса. Правда, уже 20 июня того же года он занес в свой дневник строки, содержание которых как будто резко противоречит только-что сказанному мною. Оне посвящены статье Иордана об отношени всеобщей науки к философии. Статья эта появилась в вигандовом „Трехмесячнике“ и, очевидно, произвела на Герцена сильное впечатление. Он называет ее весьма замечательной и так передает ее главную мысль.

„Критика, снявшая религию, стоя на философской почве, должна итти далее и обратиться против самой философии. Философское воззрение есть последнее теологическое воззрение, подчиняющее во всем природу духу, полагающее мышление за prius, не уничтожающее, в сущности, противоположности мышления и бытия своим тождеством. Дух,—мысль—результаты материи и истории. Полагая началом чистое мышление, философия впадает в абстракции, восполняемые невозможностью держаться в них, конкретное представление беспрерывно присуще; нам мучительно и тоскливо в сфере абстракций—и срываемся беспрерывно в другую. Философия хочет быть отдельной наукой, наукой мышления“ [1]). Затем в дневнике следует немецкий текст, в самом деле заслуживающий величайшего внимания и потому переводимый мною здесь целиком: „И потому (т.-е. потому, что философия хочет быть наукой мышления) она хочет быть в то же самое время наукой мира, так как законы мышления те же, что и мировые законы. Это прежде всего нужно поставить в обратном порядке: мышление есть не что иное, как мир, поскольку он познает самого себя, мышление есть мир, в лице человека становящийся ясным самому себе“. После этого Герцен продолжает уже по-русски: „а потому нельзя наукою мышления начинать и из нее выводить природу. Философия не отдельная наука, на место ее должно быть соединение всех ныне разрозненных наук“ [2]).

Если мы предположим, что Герцен вполне согласен с Иорданом [3]), то неизбежно должны будем также признать, что он уже расстался с идеализмом: взгляд Иордана прямо противоположен взгляду Гегеля [4]), и нельзя одновременно признавать, что дух и мысль суть результаты материи и истории,

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 208—209.

[2]) Статья Вильгельма Иордана была напечатана в первом томе вигандова Трехмесячника“ („Wigand‘s Yierteljahrschrift“). Том этот вышел в мае 1844 года, а в июне того же года он был прочитан Герценом. Отсюда видно, как внимательно следил тогда наш автор за философской литературой Германии.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 209.

[4]) Вильгельм Иордан стоял на точке зрения Фейербаха. Некоторые называли его даже вернейшим учеником этого последнего в философии (ср. статью Фр. Шмидта: „Die deutsche Philosophie in ihrer Entwickelung zum Sozialismus“ в „Deutsches Bürgerbuch für 1846“ (zweiter Jahrgang), S. 71.

считать логическое понятие главной „агенцией“ мирового процесса. Но, приняв указанное предположение, мы должны будем также допустить, что переход Герцена от одного из этих двух взглядов к другому совершился именно в промежуток времени от 14 апреля до 20 июня 1844 г.; если бы он произошел раньше, то осталось бы совершенно непонятным уже знакомое нам сочувственное и чуждое всякой критики отношение нашего автора к основному тезису идеалистической натурфилософии Гегеля. Конечно, это допущение, рассматриваемое само по себе, не заключает в себе ничего невозможного: почему бы Герцену не расстаться с абсолютным идеализмом именно весною 1844 года? Но существуют данные, несогласимые с этим допущением.

II.

Во первых, в том же дневнике и после указанного времени продолжают встречаться места, свидетельствующие о большом сочувствии Герцена идеализму. Девятого августа того же года он, излагая,—заметьте, по Фейербаху!—учение Лейбница, ставит этому последнему в большую заслугу его близость к „понятию“: „монада есть уже в некотором смысле понятие“ [1]). Какое же понятие? То, о котором говорит логика Гегеля. Ясно, что подобная похвала могла выйти только из-под пера такого человека, который сам далеко еще не вышел из-под влияния гегелизма. А вот нечто, пожалуй, еще более убедительное. В конце того же месяца Герцен, читая розенкранцеву биографию Гегеля, отмечает одно место в первоначальном наброске гегелевой натурфилософии и так рассуждает по его поводу: „В тогдашнем опыте философии природы находится замечательное место о строении земного шара; расчленение оного принимает он (т.-е. Гегель. *Г. П.)* за результат безусловного прошедшего, которого они (т.-е. продукты расчленения земного шара. *Г. П.*) немым представителем и остались, они теперь равнодушно стоят рядом, потерявши отношение свое, пораженные будто параличем. Мысль чрезвычайно важная; отсюда нельзя ли ждать когда-нибудь отгадки, для чего и как явилось вещество планеты простыми телами; что побудило сочетаться в известные горнокаменные породы, не был ли это опыт жить всею планетой так, как растения, опыт, жить всею поверхностью“ [2])? Нечего и говорить, что подобные вопросы („загадки“) могли возникнуть только в идеалистически настроенной голове.

Во-вторых, знаменитые „Письма об изучении природы“, наивно принимаемые некоторыми историками нашей литературы за нечто в роде „реалистического“ манифеста Герцена, неоспоримо доказывают, что автор их находился под сильным влиянием идеализма—и именно гегелева идеализма. Конечно, и в них мы находим строки и даже целые страницы, полные „реалистического“,—сохраним пока этот термин,—содержания. Например: „Гегель хотел природу и историю, как прикладную логику,—а не логику, как отвлеченную разумность природы и истории. Вот причина, почему эмпирическая наука осталась так же хладнокровно-глуха к энциклопедии Гегеля, как к диссертациям Шеллинга“ [3]). Здесь мы имеем перед собой тот самый упрек, который много времени спустя делал Гегелю материалист Энгельс. А вот еще: „Без сомнения, Гегель поставил мышление на такой высоте, что нет возможности после него сделать шаг, не оставив совершенно за собой идеализма“ [4]).

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 223.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 229.
[3]) Сочинения, т. II, стр. 72. Курсив в подлиннике.
[4]) Там же, стр. 72.

Это звучит тоже совсем реалистично. Не менее „реалистичны“ и следующие строки: „Идеализм всегда имел в себе нечто невыносимо-дерзкое: человек, уверившийся в том, что природа вздор, что все временное не заслуживает его внимания, делается горд, беспощаден в своей односторонности и совершенно недоступен истине. Идеализм высокомерно думал, что ему стоит сказать какую-нибудь презрительную фразу об эмпирии—и она рассеется как прах; вышние натуры метафизиков ошиблись“ и т. д.[1]). Прочитав это место, всякий скажет: „автор „Писем об изучении природы“ был решительным противником идеализма; его точка зрения была противоположна идеалистической“. Но это будет ошибка или, как любил выражаться наш автор, не вся истина. И далеко не вся! То, что сказано в последнем из приведенных отрывков об идеализме, направляется, собственно, против суб‘ективного идеализма. А мы знаем из истории философии, что можно выступить его противником, отнюдь не покидая идеалистической почвы: это достаточно подтверждается примером того же Гегеля и Шеллинга, отвергавших суб‘ективный идеализм Фихте. Замечание о том, что после Гегеля нет возможности сделать шаг вперед в философии природы, не покидая идеалистической почвы, как будто направляется уже не только против суб‘ективного идеализма, а также и против абсолютно-идеалистической философии Гегеля. Однако, в „Письмах об изучении природы“ это замечание сопровождается следующей знаменательной оговоркой: „Но шаг этот не сделан, и эмпиризм хладнокровно ждет его; зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всем отвлеченным сферам человеческого ведения“ [2])! Вы видите: тот шаг, который должен вывести мысль естествоиспытателей из ограниченности эмпиризма, еще не сделан, по мнению Герцена. Это мнение было не верно: в лице Фейербаха западная философия уже покинула тогда идеалистическую почву. Однако, верное или нет, оно, во всяком случае, не могло определить собою собственную теоретическую задачу автора „Писем“: если необходимый для науки шаг еще не был сделан, то Герцен сам должен был попытаться его сделать. И вот тут-то и возникает вопрос: удалось ли ему это? Всякий, кто знаком с тогдашним состоянием философии, ответит, что нет, если только даст себе приятный труд внимательно прочитать „Письма об изучении природы“.

Герцен идет в них ощупью. Время от времени ему случается поставить ногу на твердую „реалистическую“ почву; но чаще всего он ставит ее на ту самую почву идеализма, которую он находит нужным покинуть. И, в конце концов, даже совершенно верные замечания его против идеалистов приобретают уже отмеченный мною, гораздо более узкий смысл критических выпадов против сторонников суб‘ективного идеализма. Когда Герценом направляется по адресу Гегеля вполне справедливое обвинение во взгляде на природу и на историю как на прикладную логику, тогда представляется несомненным, что наш автор совершенно ясно видит, в чем состоит первородный грех абсолютного идеализма. Но такое представление не выдерживает встречи с рассуждениями в роде следующего: „Органический процесс неминуемо должен развить в животном кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятию“ [3]). Эта мысль, возвращая нас к „понятию“, представляет собою шаг за пределы гегелева идеализма, а, так сказать, в самую его сердцевину. А такими мыслями изобилуют „Письма об

---

[1]) Там же, стр. 41.
[2]) Сочинения, т. II, стр. 72—73.
[3]) Сочинения, т. II, стр. 275.

изучении природы". Всякий раз, когда их автор принимается за критику материализма, он рассуждает, как убежденный идеалист. Вот несколько примеров.

Критикуя материализм Эпикура, Герцен говорит о „верховном начале, царящем над физическим многоразличием" [1]); ограниченность материалистического воззрения в том, по его словам, и заключается, что оно не признает существования такого начала. Но признать его существование значит обеими ногами утвердиться на идеалистической почве. Таким образом, материалисты грешили, по Герцену, тем, что отвергали идеалистический взгляд на „физическое многоразличие", то-есть на материальный мир. Ему и в голову здесь не приходит, что, признав существование „начала, царящего над физическим многоразличием", можно, нимало не изменяя себе, взглянуть на природу как на прикладную логику. Далее. Французских материалистов XVIII в. Герцен упрекает в том, что они не понимали единства бытия и мышления. „У них бытие и мышление или распадаются или действуют друг на друга внешним образом, говорит он; природа помимо мышления,—часть, а не целое; мышление так же естественно, как протяжение, так же степень развития, как механизм, химизм, органика— только высшая. Этой простой мысли не могли понять материалисты; они думали, что природа без человека полна, замкнута и довлеет себе, что человек какой-то посторонний" [2]). Этот упрек тем более странен, что Герцен, как видно, читал „Système de la nature" Гольбаха и должен был бы помнить, с какой настойчивостью проводится там мысль об единстве бытия и мышления. Ни сам Гольбах и ни один из остальных членов материалистического кружка, выразившего свои взгляды в „Системе природы", никогда не думал смотреть на человека как на что-то постороннее природе, и никогда не отрицал, что природа „помимо мышления",—т.-е., выражаясь точней, вообще, помимо так называемых психических явлений,—представляет собою не целое, а только часть. Одно из главных возражений, выдвигавшихся французскими материалистами против спиритуалистов, именно в том и состояло, что нельзя смотреть на „дух" как на особое начало, противостоящее природе и царящее над нею. В глазах материалистов, материя отнюдь не была тем мертвым телом, каким об'явил ее Декарт. Почему же Герцен приписал им ошибку, которой они никогда не делали? Тут было очевидное недоразумение. Но как же оно возникло?

III.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вдуматься в следующие слова нашего автора: „Шеллинг застал борьбу разных взглядов на разум и на природу в ее высшем и крайнем выражении, когда, с одной стороны, „не-я" пало под ударами Фихте и власть разума провозгласилась в каких-то бесконечных пространствах холода и пустоты; с другой, французы отрицали все нечувственное и, как черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углублениями, а не бугорки мыслию, и он первый высказал, хотя не вполне, высокое единство, о котором мы говорили" (т.-е. единство бытия и мышления. *Г. П.* [3]).

С этим полезно сопоставить еще вот какое соображение Герцена: „Крайность реализма выразили энциклопедисты; они так же действительно, так же верно, так же полно представляют свою сторону духа человеческого, как

[1]) Сочинения, т. II, стр. 171.
[2]) Там же, стр. 282.
[3]) Сочинения, т. II, стр. 284—285

идеалисты свою; и так же, как они, обусловлены временем, после которого и те и другие должны потерять свои исключительные притязания и соединиться в одно стройное понимание истины. К этому примирению, повторяем, стремился Шеллинг и все последователи его; ему-то обширные основания воздвигнул Гегель—остальное доделает время“.

Это как нельзя более характерно для тогдашних философских взглядов Герцена. Он справедливо считал важнейшим вопросом философии вопрос об отношении мышления к бытию, суб'екта к об'екту. Всякую данную философскую систему он оценивал прежде всего применительно к этому вопросу. Иначе, разумеется, и не мог поступать человек, прошедший через школу такого последовательного мониста, такого непримиримого врага всякого дуализма, каким был Гегель. В учении Гегеля, как, впрочем, и в учении Шеллинга, единство мышления и бытия являлось одновременно основой и венцом всех прочих философских построений. И надо признать, что в этом заключалось огромное преимущество их философии в сравнении, например, с дуалистической философией Канта. Как же, однако, понимали единство бытия и мышления великие монисты Шеллинг и Гегель? Нетрудно догадаться, что они понимали его в идеалистическом смысле: иначе они не были бы идеалистами. Но в том-то и дело, что их понимание было неправильно, как это показал еще Фейербах.

По словам Фейербаха, идеалистическая философия, нашедшая крайнее свое выражение в Шеллинге и Гегеле, устранила противоречие между бытием и мышлением, продолжая оставаться внутри его, т.-е., в сущности, совсем не устранила. Это значит вот что: у Гегеля мышление и есть бытие, так как у него в последнем счете нет ничего, кроме мышления; сама природа есть не более, как инобытие духа: чтобы сотворить природу, абсолютная идея противополагает себя самой себе. По Гегелю, „мышление—суб'ект, бытие,—предикат“, говорит Фейербах, выражая то же самое тогдашним философским языком. Но, если это правда; если у Гегеля мышление и есть бытие, то нечего и искать единства между мышлением и бытием: оно дано заранее. Выходит, что Гегель не разрешил антиномии между бытием и мышлением, а только устранил один из двух ее составных элементов; бытие, материю, природу. Фейербах прибавлял,—и опять совершенно справедливо,—что, если, по учению Гегеля, природа создается тем, что идея противополагает себя самой себе, то это есть лишь перевод на язык спекулятивной философии теологического учения о создании материи духовным существом, природы—богом.

Так смотрел Фейербах. А как смотрел Герцен? Он,—мы это видели,—думал, что Шеллинг „первый высказал, хотя и не вполне, высокое единство“ бытия и мышления, и что Гегель воздвигнул этому единству „обширные основания“. Правда, кое-что в решении вопроса Шеллингом—Гегелем казалось и ему неудовлетворительным. Но это кое-что было в его глазах не очень значительно: он утверждал, что недоделанное великими немецкими идеалистами будет доделано временем [1]). В этом-то и состояла коренная философская

[1]) Несколько ниже Герцен говорит: „Гегель понимал действительное отношение бытия к мышлению; но понимать не значит вполне отречься от старого... Никто из рожденных в плену египетском не вышел в обетованную землю... Гегель своим гением, мощью своей мысли подавлял египетский элемент, и он остался у него больше дурной привычкой; Шеллинг же был подавлен им“ (Соч., т. II, стр. 73). Итак, по существу, Гегель был прав и только дурно выражался по старой идеалистической привычке. Эту дурную привычку и должно, как видно, устранить время. Другими словами, это значит, что абсолютный идеализм правильно определял отношение мышления к бытию. О Шеллинге Герцен выражается здесь менее одобрительно, но не надо забывать, что Шеллинг уже выступил тогда со своей реакционной „Философией откровения“.

ошибка автора „Писем об изучении природы". Герцен говорил в них, что после Герцена итти вперед значит выйти из области идеализма, и это было совершенно справедливо. Но, когда он сам пытался сделать такой шаг вперед, он брал за точку исхода предложенное Гегелем идеалистическое решение антиномии между мышлением и бытием. Поэтому его критика идеализма осталась не более как критикой суб'ективного идеализма, имевшего тогда очень мало значения. Это хорошо видно из того, что говорится им о роли Шеллинга: явившись в самый разгар войны между Фихте, с одной стороны, и „французам" (т.-е., французскими материалистами), с другой, Шеллинг первый, по словами Герцена, высказал, хотя и не с полной ясностью, мысль об единстве бытия и мышления. После этого не удивительно, что наш автор продолжал смотреть на материализм глазами великих немецких идеалистов. Он читал „Систему природы", но читал ее, запасшись предварительно ошибочным взглядом на материализм, а потому и нашел в этой книге то, чего в ней не было, и вовсе не обратил должного внимания на то, что в ней было.

Интересно, что Герцен уже знал Фейербаха в то время, когда писал свои „Письма об изучении природы": его познакомил с этим мыслителем Огарев, навестивший его в новгородской ссылке и захвативший с собою знаменитую книгу: „Das Wesen des Christentums". Книга эта привела в восторг новгородского ссыльного. „Прочитав первые страницы, я вспрыгнул от радости,—говорит он.—Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказание, мы—свободные люди, а не рабы Ксанора, не нужно нам облекать истину в мифы" [1]. Однако, увлекшись Фейербахом, Герцен еще далеко не усвоил себе, как мы видели, его отрицательного взгляда на гегелево учение об единстве мышления и бытия. А потому он остался несравненно более близким к идеализму, нежели к Фейербаху: лишь по временам, лишь на некоторых страницах „Дневника" и „Писем об изучении природы", лишь в тех случаях, когда он сочувственно цитирует такие статьи, в которых мысль и дух об'являются результатами материи и истории, прорывается у него взгляд, родственный материалистическому взгляду Фейербаха. Но это только исключения, подтверждающие собою общее правило. А общее правило то, что Герцен продолжает держаться идеализма.

Впрочем, тут надо сделать довольно длинную оговорку. Сущность материалистического взгляда Фейербаха сводится к той,—прекрасно знакомой всем марксистам,—мысли, что не бытие определяется мышлением, а мышление—бытием. Бытие определяется самим собою; оно имеет основу в самом себе. Поэтому Фейербах в противоположность Гегелю утверждал, что бытие есть предмет, а мышление—свойство предмета [2]. Мыслит не отвлеченное существо, не то „я", которым занимается идеалистическая философия. Думает мое тело; мое тело и есть мое „я". Но это „я" есть „я" только для меня: для другого—оно не „я", а „ты". Таким образом, ошибаются идеалисты, принимая за точку исхода „я". Точкой исхода должно быть одновременно „я" и „ты". Это представляется парадоксом: кажется, будто Фейербах требует принятия за точку исхода двух точек. Но это только так кажется: на самом деле Фейербах принимает за точку исхода одно положение, гласящее, что „я" есть не только суб'ект, но в то же время и об'ект (суб'ект для себя; об'ект для другого). Это и есть материалистическое учение об единстве мышления и бытия, суб'екта и об'екта, духа и материи. „Что для меня, или суб'-

---

[1]) Сочинения, т. VII, стр. 133.

[2]) На тогдашнем философском языке это звучало так: „бытие—суб'ект, мышление—предикат".

ективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе, об'ективно, есть акт материальный, чувственный", говорит Фейербах.

Вдумайтесь в это, и вы непременно согласитесь с Фейербахом. А согласившись с ним, вы сами увидите, до какой степени слабы те идеалистические возражения, с которыми выступал Герцен в „Письмах об изучении природы". Он утверждал, что материализм отрицает все „нечувственное". Но вы сами слышали сейчас от Фейербаха, что „нечувственное" есть лишь другая сторона „чувственного", и что устранять один из элементов антиномии между бытием и мышлением значит не решать ее, а уклоняться от ее решения.

Герцен принял здоровую голову за больную, а больную за здоровую. Это было большое недоразумение, на которое опиралась значительная часть его критики материализма. Он рассуждал так: „Разумеется, что опыт возбуждает сознание, но также разумеется, что возбужденное сознание вовсе не им произведено, что опыт—одно условие, толчок, такой толчок, который никак не может отвечать за последствия, потому что они не в его власти, потому что сознание не tabula rasa, а actus purus, деятельность не внешняя предмету, а совсем напротив внутреннейшая внутренность его, так как, вообще, мысль и предмет составляют не два разные предмета, а два момента чего-то единого" [1].

В этих последних словах, направленных не против материализма, а против философского дуализма, виден монист. Но та мысль, что опыт служит сознанию таким толчком, который не отвечает за свои последствия, так как сознание есть actus purus, а не tabula rasa, еще раз обнаруживает идеалистическую природу того монизма, которого держался Герцен, когда писал „Письма об изучении природы".

Если опыт не отвечает за свои собственные последствия, то, это значит, что человеческий рассудок предписывает природе ее законы, как учил некогда Кант. Но и этот взгляд опровергнут тем же Фейербахом.

„Книга природы,—превосходно говорил он,—вовсе не есть дикий хаос беспорядочно набросанных одна на другую букв, хаос, в который рассудок впервые вносил бы взаимную связь и порядок, суб'ективно и произвольно сочетая буквы в осмысленные предложения. Нет, рассудок различает и сочетает вещи на основании признаков, данных ему внешними чувствами; мы разделяем то, что разделено в природе, и связываем то, что связано в ней; мы подчиняем вещи одну другой как основу и следствие, как причину и действие, потому что таково их фактическое, чувственное, действительное, предметное взаимоотношение" [2].

Только при таком взгляде на вопрос об отношении бытия к мышлению получают смысл те строки сочувственно цитируемой Герценом статьи Иордана, где говорится, что „дух, мысль—результаты материи и истории", и что мышление, вообще, есть не что иное, как „мир, поскольку он познает самого себя" (см выше) [3]. Принимая мышление за actus purus, определяющий собою „последствие опыта", Герцен должен был бы об'явить эти строки бессмысленными.

То замечание Герцена, что не опыт „производит" сознание, равносильно, если я не ошибаюсь, тому соображению, что движение, к которому сводится в последнем счете всякий опыт, не переходит в мысль, или иначе, что

---

[1]) Сочинения, т. II, стр. 277.

[2]) Сочинения Фейербаха, т. II, стр. 322—323. Энгельс очень остроумно замечал впоследствии, что, если наш рассудок произвольно отнесет к разряду млекопитающих платяную щетку, то от этого у нее не вырастут молочные железы.

[3]) Иордан, как видно, держался фейербахова решения названного вопроса: он говорил, что, полагая мышление за prius, философия не уничтожает противоположности мышления и бытия.

мысль не есть движение вещества. На этом едва ли нужно останавливаться после всего сказанного выше. Разумеется, мысль не есть материальный акт, если она есть другая сторона такого акта. Только не уяснив себе материалистического учения, можно понимать его в смысле отождествления движения с мыслью. В глазах последовательных материалистов это было бы равнозначительно тому отождествлению мышления и бытия, которое ставится ими в вину идеализму. Их единство бытия и мышления вовсе не есть тождество [1]).

Герцен выдвигает против материализма еще и такие доводы, которые не имеют прямого отношения к только что рассмотренному вопросу. Я разберу их потом. Тогда читатель согласится, надеюсь, что и эти доводы,—иногда весьма неожиданные,—основываются на недоразумении.

IV.

Мне скажут, пожалуй, что, критикуя материализм, наш автор имел в виду вовсе не учение Фейербаха, а материализм прежнего времени, до французского материализма XVIII в. включительно, и что нынешние историки философии даже не признают Фейербаха материалистом. На это я отвечу, что Герцен считал свои возражения против материализма прежнего времени неопровержимыми для всякого вообще материализма, и что, к тому же, в интересующей нас здесь области теоретическая позиция прежнего материализма,—начиная, по крайней мере, с Гоббса,—ничем существенным не отличается от позиции Фейербаха. Отсюда видно, как следует относиться к толкам о том, что Фейербах вовсе не был материалистом. Они основаны не на том, что было, а на том, что должно было быть, по мнению некоторых идеологов буржуазии, сделавшейся на старости лет весьма консервативной, чопорной и богомольной. Эти идеологи держатся удобного для них, но смешного и жалкого правила не признавать материалистом ни одного серьезного мыслителя, каково бы ни было его учение. Когда-то, споря со мною в „Neue Zeit", Конрад Шмидт отказался признать материалистами даже Ламеттри, Гольбаха и Гельвеция. По поводу таких возражений можно заметить только то, что человек обязан „знать меру" и даже тогда, когда почему-нибудь намеревается поставить себя в смешное положение.

Считая излишним повторять здесь сказанное мною в разных других местах о материализме Фейербаха, напомню читателю только следующий факт.

Когда вышла книга Молешотта: „Lehre der Nahrungsmittel" [2]), Фейербах не только радостно приветствовал ее, но об'явил, что в ней решаются труднейшие вопросы философии, и что она заключает в себе истинные „основы философии будущего" [3]). Может быть, и Молешотта напрасно причисляют к материалистам?

Нет, зачем говорить пустое! Энгельс был совершенно прав, замечая: „Ход развития Фейербаха есть превращение гегельянца... в материалиста" [4]).

---

[1]) Поэтому же не основательно и то мнение,—заимствованное Герценом у Гегеля,—что мышление есть „так же степень развития, как механизм, химизм, органика" (см. выше). Мышление вовсе не есть над'органическое явление: оно есть функция организма, стоящего на известной высоте развития.

[2]) Переведенная по-русски под названием: „Учение о пище", она сыграла также некоторую роль в истории нашего умственного развития.

[3]) Так называлось одно из главнейших философских произведений Фейербаха. См. „Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass, dargestellt von Karl Grün", том II, стр. 81.

[4]) Материалистом считали его и наши славянофилы, напр., Хомяков.

Но всякое развитие имеет свои фазы. Сам Фейербах признавал впоследствии, что точка зрения его книги: „Сущность христианства“ не была его окончательной точкой зрения и до известной степени грешила идеализмом [1]). Герцен тоже развивался в направлении от гегельянства к материализму. Но его „Письма об изучении природы“ несравненно дальше от последовательного материалистического учения, нежели фейербахова „Сущность христианства“. Если бы меня спросили, какой именно фазе развитие Фейербаха соответствует философский взгляд, выраженный Герценом в „Письмах об изучении природы“, у меня явилось бы сильное искушение ответить: той, к которой относится фейербахова статья: „Kritik des Idealismus“, посвященная разбору книги Ф. Дорфгута: „Kritik des Idealismus und Materialen zur Grundlegung eines apodiktischen Real-Rationalismus“ и написанная в 1838 году. В этой статье Фейербах восстает, между прочим, против мысли о том, что мышление есть лишь предикат бытия, т. е. против той самой мысли, которая впоследствии легла в основу его собственной философии. Я думаю, что автор „Писем об изучении природы“ нашел бы совершенно правильными соображения, высказанные Фейербахом в названной статье *против* этой мысли [2]).

Теперь понятно и то, что Герцен мог, как мы видели, одобрять не подлежащий никакому сомнению крайний идеализм Лейбница, *находясь под впечатлением одного из исследований Фейербаха*: дело в том, что фейербаховы исследования по истории философии принадлежат *до-материалистическому периоду* его теоретического развития [3]).

Но достойно замечания вот что. Как мы уже видели, по Фейербаху, гегелево решение антиномии между мышлением и бытием представляет собою лишь перевод на философский язык теологического учения о сотворении природы богом. Автор „Писем об изучении природы“ решительно восставал против этого учения. Известно, что его дружба с Грановским надорвалась как раз по той причине, что тот никак не хотел расстаться с многовековым теологическим положением. Но, восставая против него в одном его виде,—в теологическом одеянии,—Герцен отстаивал его (в своих „Письмах“), поскольку он был одет в философский костюм [4]). Это была несомненная непоследовательность, которой чужды были такие люди 60-х годов, как Чернышевский и Добролюбов [5]). Герцен, повидимому, и сам впоследствии отделался от нее. Но, поскольку она дала себя почувствовать в таких значительных его сочинениях, как „Письма об изучении природы“, она вряд ли ускользнула от внимания наи-

---

[1]) Вероятно, этим ее недостатком об'ясняется то обстоятельство, что г. А. Луначарский находит возможным противопоставлять теперь высказанный в этой книге взгляд на религию взгляду на нее „Энгельса и Плеханова“. Г.г. А. Луначарский и Богданов готовы рукоплескать всякому промаху всякого мыслителя, если этот промах сближает его с идеализмом.

[2]) Статья против Дорфгута находится во втором томе полного собрания сочинений Фейербаха, стр. 131—145 (издание 1904 года). Прошу запомнить: я вовсе не говорю, что Фейербах впоследствии *во всем согласился с Дорфгутом*. Этого не было. Я только утверждаю, что указанная в тексте мысль, отвергавшаяся им в споре с Дорфгутом, была всецело признана им со временем. Этого довольно.

[3]) См. в его сочинениях (т. II, стр. 406) его собственное признание на этот счет.

[4]) Многие немецкие читатели и почитатели Фейербаха, восхищаясь его „Сущностью христианства“, тоже не давали себе ясного отчета в его основных философских взглядах. Это было замечено еще в сороковых годах прошлого века. Ср. вышеуказанную статью *Фр. Шмидта*, Deutsches Bürgerbruch, т. II, стр. 65. Не мешает заметить, однако, что от этого недостатка не свободен и сам Фр. Шмидт.

[5]) О Чернышевском и его отношении к Фейербаху см. в моей книге: „Н. Г. Чернышевский“ и в статье: „Эстетическая теория Чернышевского“ в моем сборнике: „За двадцать лет“.

более образованных в философском отношении „шестидесятников“. Чернышевский и Добролюбов также были убежденными последователями Фейербаха. Но тот Фейербах, за которым шли они, был Фейербах последней стадии развития, Фейербах написавший „Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie“, „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“, „Wider den Dualismus von Leid und Seele“ и чрезвычайно характерное предисловие к первому полному изданию своих сочинений. В виду этого „шестидесятники“ могли не без основания полагать, что они лучше знали Фейербаха и были вернее ему, нежели передовые люди сороковых годов [1]). Позволительно предположить, что это убеждение обнаружилось в ироническом восклицании, посылаемом Добролюбовым по адресу Берсенева: „Вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит“! Если это предположение,—которому, вероятно, суждено остаться не более как предположением,—правильно, то „весьма хорошему русскому дворянину“ Берсеневу пришлось пострадать здесь не только за себя, а чуть не за целое поколение.

Ниже я укажу на позднейшие произведения Герцена, в которых он как будто совсем разрывал с идеализмом. Теперь же я могу пока ограничиться повторением того, что не может быть и речи о приурочении этого разрыва к весне 1844 года: в ту пору он, как мы видели, еще держался за идеалистическое решение вопроса об отношении мышления к бытию.

У нас так привыкли считать Герцена „реалистом“,—не вкладывая, однако, в термин „реализм“ сколько-нибудь определенного теоретического содержания,—что многим может показаться странным сказанное мною об его идеализме. Но этот идеализм есть факт, от которого нельзя отговориться, и который необходимо было отметить в интересах истории русской общественной мысли. Пожалуй, иной читатель огорчится, услыхав об идеализме автора „Писем об изучении природы“; такому читателю я расскажу в утешение вот какое происшествие.

В первую свою встречу с Энгельсом я заговорил с ним, между прочим, о Лассале, которого он, разумеется, очень хорошо знал. Характеризуя его философские взгляды, Энгельс сказал мне: „Представьте себе, что он до конца жизни верил в предсуществование гегелевых категорий (Präexistenz der Hegelshen Kategorien)!“ Этому без труда поверит всякий знакомый, например, с таким сочинением Лассаля, как „System der erworbenn Rechte“. В миросозерцании Лассаля были свои слабые стороны. Но дело в том, что в „Письмах об изучении природы“ Герцен критикует материализм именно как человек, верящий—по крайней мере, по временам—в Präexistenz der Hegelschen Kategorien. Прошу читателя припомнить, что говорит наш автор о „предсуществующем понятии“, осуществляющемся в органическом процессе. Еще выразительнее в этом отношении его похвала Гегелю за попытку об‘яснить диалектический процесс природы, „не вводя никакой другой агенции, кроме логического движения понятия“.

V.

До недавнего времени был очень распространен тот взгляд, что, если Белинский увлекался некогда „философским колпаком“ Гегеля, то Герцен счастливо избежал этой ошибки молодости и, стоя на „реалистической“ точке зрения, никогда не имел к „колпаку“ никакого положительного отношения.

---

[1]) Если судить по „Очеркам гоголевского периода русской литературы“, то надо думать, что в таком случае делалось, по крайней мере, одно лестное исключение—для В. Г. Белинского.

Мы видим теперь, до какой степени это ошибочно. Герцену тоже суждено было долго носить „философский колпак" Гегеля. И архи-нелепо сожалеть об этом, так как это было для него не бедой, а огромным счастьем. Наш блестящий автор остался бы, по его собственному выражению, „не полон, не современен", если бы не попал в „закаляющий горн" гегелевой логики. В обычном представлении о ходе его умственного развития справедливо только то, что философия Гегеля никогда не приводила его,—в противоположность с Белинским,—к примирению с российской действительностью. Это различие произошло преимущественно по двум причинам: во-первых, по обстоятельствам времени; во-вторых, потому, что склад ума Герцена не был похож на склад ума Белинского.

Герцен, в юности принадлежавший к „политикам", начал знакомиться с философией Гегеля несколькими годами позже, нежели Белинский. Это было очень важно в такое время, когда каждый новый год приносил с собою много новых побед левому крылу гегелевой школы и много новых поражений ее правому крылу. Эти победы и эти поражения не оставались неизвестными в России. Сам Герцен весьма образно свидетельствует о том, как внимательно следили в Москве за немецкой философской литературой. „Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней" [1]). Он шутливо прибавляет, что все Вердеры, Маргейнеке, Михелеты, Отто, Ватке, Шаллеры, Розенкранцы и даже сам Арнольд Руге расплакались бы от умиления, услыхав, „какие побоища и ратования возбудили они в Москве между Маросейкой и Моховой, как их читали и как их покупали" [2]). Но читали и покупали не только Отто, Маргейнеке и Михелетов, а также и представителей левого крыла. Одного из них, — Арнольд Руге, — называет сам Герцен, к Руге надо прибавить Бруно Бауэра, Штирнера, уже упомянутого выше Иордана и многих других. Из дневника Герцена видно, например, что ему хорошо известно было волнение, вызванное в передовых германских кругах карой, постигшей Бруно Бауэра, у которого за его смелые богословские исследования начальство отняло licentia docendi. Не остался неизвестным ему и орган левых гегельянцев: „Deutsche Jahrbücher". Об этих последних мы встречаем в „Дневнике" такую заметку: „Ими философия германская выступает из аудитории в жизнь, становится социальна, революционна, получает плоть и, следовательно, прямое действие в мире событий. Тут видны, ясны большие шаги в политическом воспитании, и немцы делаются почти свободны от обвинений, обыкновенно налагаемых на них... Одна из статей оканчивается прямо: „надобно решиться и однажды навсегда—христианство и монархия или философия и республика"! И вот Германия lancée (бросилась. *Г. П.*) в эмансипацию политическую и т. д. [3]).

Когда получаешь подобные впечатления от истолкователей данной философской системы, невозможно понять ее в смысле примирения с действительностью,—совсем наоборот [4]).

---

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 121. Мы видели, как быстро дошел до него самого „Трехмесячник" Виганда.

[2]) Там же, стр. 122. Курсив в подлиннике.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 30—31. „Трехмесячник" Отто Виганда тоже был органом левого крыла гегелевой школы.

[4]) Тогдашняя передовая немецкая интеллигенция,—по крайней мере, в лице так назыв. истинных (или философских) социалистов,—справлялась с „разумностью действительности" довольно своеобразно. У Гегеля слова: „в с е д е й с т в и т е л ь н о е

Учение Гегеля было подробно и последовательно разработанной системы абсолютного идеализма. Абсолютный идеализм выдавал себя за философское откровение абсолютной истины. А так как, по Гегелю, истина познается людьми лишь после того, как она воплощается в жизни („сова Минервы вылетает лишь в сумерках“), то мыслитель, считавший себя обладателем целой системы абсолютной истины, непременно должен был считать современные ему общественно-политические учреждения весьма близкими к совершенству. „Абсолютные“ претензии Гегеля подсказывали ему консервативные выводы. И кто мирился с этими претензиями, тому приходилось принимать и эти выводы. Так делал в течение некоторого времени Белинский. Но в учении Гегеля была еще другая сторона—с т о р о н а д и а л е к т и к и. Диалектический взгляд на мир, превосходно высказавшийся еще в словах Гераклита Темного: „все течет, все изменяется“, исключает всякий консерватизм и заранее мирится с поступательным движением общества, разумеется, поскольку не изменяет себе. Борьба левых гегельянцев с правыми означала собою восстание людей, ценивших в учении Гегеля преимущественно его диалектическую сторону, против людей, склонявшихся к философскому абсолютизму. Герцен ясно сознавал это. Он писал: „Подвиг Гегеля в том и состоит, что он науку воплотил в методу, что стоит понять его методу, чтобы почти вовсе забыть его личность“ [1]). В статье: „Буддизм в науке“ он едко насмехается над формалистами, которым „удивительно, о чем люди хлопочут, когда все об‘яснено, сознано, и человечество достигло а б с о л ю т н о й [2]) формы бытия—что доказано ясно тем, что современная философия есть абсолютная философия, а наука всегда является тожественною эпохе, но как ее результат, т. е. по совершении в бытии. Для них такое доказательство неопровержимо“ [3]). Опасаясь, что читатель усомнится в существовании подобных „формалистов“, он ссылается на забытого теперь гегельянца Байергоффера, написавшего „абсолютную“ книгу: „Die Idee und Geschichte der Philosophie“. Он нимало не скрывает своего глубокого сочувствия сторонникам диалектического миропонимания.

По его словам, они вернее Гегелю, нежели он сам; они „из его начал смело идут против его непоследовательности—с твердым сознанием, что идут з а н е г о, а н е п р о т и в н е г о“ [4]). Сам Гегель выходит в его обрисовке философом, понявшим глубоко революционный характер своего диалектического идеализма, но убоявшимся его. У него выходит, что этим страхом, который испытывал Гегель перед революционным характером своей собственной философии, об‘ясняется даже тот общеизвестный факт, что Гегель писал из рук вон тяжело.

„Гегель, несмотря на всю мощь и величие своего гения, был тоже человек; испытал панический страх просто выговориться в эпоху, выражавшуюся ломаным языком, так как боялся итти до последнего следствия своих начал; у него недостало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю ширину ее и чего бы она ни стоила. Величайшие люди

р а з у м н о“ дополнялись словами: „в с е р а з у м н о е д е й с т в и т е л ь н о“. Немецкие социалисты „истинного“ направления говорили: так как наши стремления р а з у м н ы, то они непременно будут д е й с т в и т е л ь н ы, т.-е. о с у щ е с т в я т с я. Таким образом, у них учение Гегеля приводило к примирению не с действительностью, а с утопизмом. Впрочем, нет указания на то, что Герцен был знаком с этим социализмом до поездки за границу.

[1]) Сочинения, т. II, стр. 159.

[2]) Курсив подлинника.

[3]) Сочинения. т. I, стр. 373.

[4]) Сочинения, т. II, стр. 159.

останавливались перед очевидным результатом своих начал; иные, испугавшись, шли вспять и вместо того, чтобы искать ясности, затемняли себя. Гегель видел, что многим из общепринятого надобно пожертвовать; ему жаль было разить; но, с другой стороны, он не мог не высказать того, что был призван высказать“ [1]). Отсюда—невероятно тяжелый язык Гегеля.

Подобный же взгляд на Гегеля встречаем мы в „Былом и Думах“. Там сказано: „Гегель во время своего профессората в Берлине—долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом—намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара; он не любил зацепляться за эти проклятые практические вопросы, с которыми трудно ладить, и на которые надобно отвечать положительно“ [2]).

Это мнение о „намеренном взвинчивании“ Гегелем „своей философии над земным уровнем“ не выдерживает критики. Его ошибочность доказана всем последующим развитием передовой мысли Запада. На самом деле революционное содержание гегелевой философии не было понято во всей полноте и во всех своих возможных выводах не только самим Гегелем, но даже и левыми гегельянцами. Такое понимание встречается только у Маркса и Энгельса, которые, пройдя после школы Гегеля школу Фейербаха, поставили диалектику „на ноги“, то есть превратили ее из идеалистической, какой она оставалась у Гегеля и у левых гегельянцев, включительно до Бруно Бауэра, в материалистическую. Но, как бы там ни было, достойно внимания то, что Герцен и в этом случае был очень близок к левым гегельянцам Германии. В известной книге Бруно Бауэра: Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel den Atheisten und Antichristen“ великий немецкий идеалист тоже изображается как человек, ясно сознающий те революционные „следствия“, которые вытекают из его „начал“. Не менее достойно внимания и то, что Бруно Бауэр, изображая Гегеля крайним революционером в области мысли, сам оставался идеалистом. Материалист Фейербах даже полемизировал с ним вследствие этого в своих „Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie“.

VI.

Выше я заметил, что ношение „философского колпака“ Гегеля было не бедой, а большим счастьем для Герцена, так как оно закалило его ум. Если бы теперь возможно было какое-нибудь сомнение на этот счет, то я мог бы указать на те же „Письма об изучении природы“. Я обнаружил основную теоретическую ошибку их автора. Ошибку эту, повидимому, с полным правом могут отнести на счет Гегеля: она заключалась в том, что Герцен плохо понял материалистическое учение об единстве мышления и бытия. Но дело тут было, собственно, в идеализме, а не в том особенном виде, который был придан идеализму Гегелем. И, когда я говорю, что влияние Гегеля закалило ум Герцена, то я имею в виду не идеалистическую, а диалектическую сторону его философии. Насколько благоприятно было влияние на Герцена этой стороны, легко поймет всякий, кто доставит себе удовольствие перечитать „Письма об изучении природы“. Письма эти, несмотря на указанную выше слабую их сторону, должны быть признаны очень большой теоретической и литературной заслугой Герцена. Подумайте только! Наш автор стремился в них проложить

[1]) Сочинения, т. I, стр. 349—350.
[2]) Сочинения, т. VII, стр. 124—125.

путь для сближения философии с естествознанием в то самое время, когда, например, Ю. Ф. Самарин хлопотал, — подобно тому, как хлопочет теперь, скажем, г. Базаров,—о соединении философии с религией [1]). Весьма понятно, что для сближения философии Гегеля с религией нужно было сосредоточивать свое внимание, главным образом, на „абсолютной“ стороне гегелизма, и не менее понятно, что для сближения философии с естествознанием нужно было опираться преимущественно на диалектику. В „Письмах об изучении природы“ есть поистине блестящие страницы, излагающие диалектический взгляд на мировой процесс. Я не имею никакой возможности воспроизвести здесь эти страницы: их слишком много; но я не могу устоять перед искушением выписать из них некоторые наиболее характерные отрывки.

„Бытие,—говорит Герцен, сочувственно излагая Гераклита, — живо движением; с одной стороны, жизнь есть не что иное как движение беспрерывное, не останавливающееся, деятельная борьба и, если хотите, деятельное примирение бытия с небытием, и, чем упорнее, злее, эта борьба, тем ближе они друг к другу, тем выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вечно у конца и вечно у начала,— беспрерывное взаимодействие, из которого они выйти не могут“ [2]).

Не подумайте, что Герцен ограничивается повторением и некоторым расширением общей мысли „темного“ эфесского философа о том, что „все течет, все изменяется“. Нет, он умеет пользоваться этой общей мыслью, применять ее к отдельным явлениям природы. Вот его значение об организме.

„Животный организм представляет постоянную борьбу с смертью, которая всякий раз восторжествует; но торжество это опять в пользу определенного бытия, а не небытия. Многоначальные ткани, из которых составлено живое тело, беспрестанно разлагаются на двуначальные (т. е. на неорудные, минеральные) и беспрестанно вновь образуются; голод возобновляет требования свои, потому, что беспрерывно утрачивается материал; дыхание поддерживает жизнь и сожигает организм; организм беспрерывно вырабатывает сожигаемое. Не кормите животного—у него кровь и мозг сгорят... Чем более развита жизнь, чем в высшую сферу перешла она, тем отчаяннее борьба бытия и небытия, тем ближе они друг к другу“ [3]).

А вот еще. „Большинство нашего времени (я разумею сознающих себя грамотеями) так отвыкло или так не привыкло к определениям мысли, что оно, только безсознательно употребляя их, не возмущается. Нас не удивляет, например, что человек в физиологическом отношении неделимое, целость, атом, а в анатомическом—многочисленная куча самых разнообразных частей; что тело наше—вместе и наше я и наше другое; никого не удивляет процесс возникновения, беспрерывно совершающий около нас, это глухая борьба бытия с небытием, без которой было бы одно безразличие; никого не удивляет эта вечность мимолетного, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видят и чувствуют ежедневно, словами,—они не поймут вас и никогда не узнают в ваших словах близких знакомых“ [4]).

Последний отрывок. „Практически мы именно гераклитовски (т. е. диалектически. *Г. П.*) посмотрим на вещи; только во всеобщей сфере мышления

---

[1]) Проповедуя сближение естествознания с философией, Герцен иногда говорил почти буквально то самое, что Фейербах (см., например, что сказано об этом предмете у Фейербаха в его „Vorläufigen Thesen zur Reform der Philosophie“. Сочин., т. II, стр. 214). Однако, и этой мысли Герцен придает, в общем, идеалистический оттенок, а у Фейербаха она материалистична.

[2]) Сочинения т. II, стр. 114.

[3]) Там же, стр. 114—115.

[4]) Сочинения, т. II, стр. 137.

не можем понять того, что делаем. Не спокон ли века сознавали люди, что не мертвая косность сущего предмета, не его тождество с собою — полная истина его? Во всем живом, например, разве мы видим что-нибудь, кроме процесса вечного преображения, живущего, повидимому, в одной перемене? Кости — самое твердое бытие организма, а мы их даже живыми не считаем“ [1]).

Под впечатлением всех этих отрывков легко можно подумать, что они написаны не в начале 40-х г., а во второй половине 70-х, и притом не Герценом, а Энгельсом [2]). До такой степени мысли первого похожи на мысли второго. А это поразительное сходство показывает, что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть, и Маркса. Не даром Герцен проходил ту же школу Гегеля, через которую прошли почти одновременно с ним основатели научного социализма. Разница лишь в том,— и это, конечно, весьма существенная разница,—что диалектика Герцена оставалась идеалистической, а диалектика Энгельса-Маркса была уже материалистической. Что я не несправедлив к Герцену, это, кажется, ясно после всего сказанного выше. Однако, на всякий случай, вот еще одно весьма убедительное доказательство.

Изложив с величайшим сочувствием диалектический взгляд Гераклита на вселенную, наш автор считает себя обязанным указать слабую сторону этого взгляда. „Мало того, что он (Гераклит. *Г. П.*) понял природу процессом: он понял ее самодеятельным процессом. Однако, из этого движения ничего не исторгается, нет единства, которое ставилось бы временным кружением и обличалось бы результатом его и его началом. Начало движения у Гераклита—роковая тягостная необходимость, выдерживающая себя в многоразличии, неизвестно для чего вытесняющая себя как неотразимая сила, как событие, но не как свободная, сознательная цель. Цели движению Гераклит не дал; его движение конкретнее элеатического бытия, но оно абстрактно; оно громко требует цели, постоянного“ [3]).

Это критическое замечание написано под влиянием Гегеля, как можно убедиться, прочитав страницу, посвященную критике Гераклита в гегелевых „Vorletungen über die Geschichte der Philosophie“. Но тот факт, что Герцен был в этом случае согласен с Гегелем, обнаруживает идеалистический характер его взгляда на диалектику: только идеалист может говорить о „ц е л и“ вечного мирового движения.

Вопреки своему идеалистическому характеру, диалектическая философия Гегеля благотворно повлияла на Герцена также и в том отношении, что он считал необходимым „освободить“ естествознание от „абстрактных сил“. Естествознание, действительно, освободилось от них впоследствии, когда возникло и распространилось учение о превращении энергии [4]).

---

[1]) Там же, стр. 117. В январе 1845 г. Герцен с увлечением читает историю химии Дюма и делает по ее поводу следующее интересное замечание: „Без химии нет физиологии, нет, следовательно, и естественных наук. Естественные науки доселе имели чрезвычайно шаткую основу потому, что они занимались одной морфологией, а не тем, ч т о изменяется в ней“ (Сочинения, т. I, стр. 264).

[2]) См. полемику Энгельса с Дюрингом, вышедшую по-русски под названием: „Философия. Политическая экономия. Социализм (Анти-Дюринг)“, стр. 15 и след.

[3]) Сочинения, т. II, стр. 118—119.

[4]) Герцен говорит: „Без всякого сомнения, математика ушла несравненно дальше в мышлении против физики; одна теория бесконечно-малых доказывает это“. (Сочинения, т. II, стр. 56). В другом месте он подробнее развивает этот взглядъ. Он хвалит математику за то, что она рассталась с рассудочным т о и л и д р у г о е. Что такое дифференциал? Бесконечно-малая величина; стало быть, или он имеет величину, и в таком случае это величина конечная, или не имеет никакой величины

Энгельсов „Анти-Дюринг“ еще и тем напоминает „Письма об изучении природы“, что настойчиво твердит естествоиспытателям, как полезно было бы для них диалектически взглянуть на природу. „К сожалению,—замечает Энгельс,—до сих пор можно по пальцам пересчитать естествоиспытателей, мыслящих диалектически; вследствие этого происходят постоянные противоречия между данными опыта и принятым методом мышления, которыми и об'ясняется безграничная путаница, господствующая в настоящее время в теоретическом естествознании и приводящая в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей“ [1]).

Энгельс повторяет здесь,—разумеется, ни мало не подозревая этого,—жалобы, с которыми мы встречаемся чуть не на каждой странице „Писем об изучении природы“.

Г.г. натуралисты до сих пор не являют большой склонности к усвоению диалектического взгляда на природу, хотя химические открытия последних лет лишний раз показали, что, как говорил Энгельс, в природе все происходит диалектически. В этом надо винить нынешний идеализм, влиянию которого подвергаются, между прочим, и естествоиспытатели, и который, в противоположность с идеализмом Гегеля, совершенно не умеет обращаться с оружием диалектики.

Герцен упрекал естествоиспытателей еще в том, что они „никак не хотят разобрать отношение знания к предмету, мышления к бытию“. Естествоиспытатели, по его словам, „до того боятся систематики учения, что даже материализма не хотят, как учения; им бы хотелось относиться к своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собой разумеется, что для мыслящего существа это так же невозможно, как организму принимать пищу, не претворяя ее“ [2]). Это, как говорится, не в бровь, а в глаз. Естествоиспытатели до сих пор не хотят дать себе труд разобрать отношение бытия к мышлению. Поэтому философствующие естествоиспытатели обнаруживают обыкновенно детскую беспомощность всякий раз, когда заговаривают об этом важном предмете. Для примера можно указать на Оствальда, учение которого об энергии опирается на чисто идеалистическую гносеологию; на Маха, который воскрешает Берклея, и даже на Геккеля, который иногда вдруг ни с того ни с сего обрушивается на материализм, составляющий единствено-истинное содержание его монистической теории. И все эти естествоиспытатели, невольно грешащие идеализмом, наивно убеждены в том, что их взгляды, как небо от земли, далеки от него. Оно и понятно: когда ученый игнорирует какой-нибудь важный вопрос теории, то он поневоле и без собственного ведома усваивает устарелое, несостоятельное решение этого вопроса. Но что касается Герцена, то он сам неправильно решал антиномию мышления и бытия, следуя Гегелю. По этому упрек, посылаемый им естествоиспытателям, совершенно правильный по своему существу, принимал у него смысл обвинения их в том, что они предпочитают крайний эмпиризм абсолютному идеализму. Формулированное таким образом обвинение это представляется, как видим, не очень страшным.

в таком случае он нуль. Но Лейбниц и Ньютон постигли шире и приняли сосуществование бытия и небытия, начальное движение возникновения, перелив от ничего к чему-нибудь. Результаты теории бесконечно-малых известны. Далее, математика не испугалась ни отрицательных величин, ни несоизмеримости, ни бесконечно-великого, ни мнимых корней. А разумеется, все это падает в прах перед узеньким рассудочным „то или другое“. (Сочинения, т. I, стр. 294—5, примеч.). Это чисто диалектический, заимствованный, к тому же, у Гегеля, взгляд на математику.

[1]) „Философия, полит. экон., социализм“. Изд. г. Яковенко, стр. 16.

[2]) Сочинения, т. II, стр. 40.

VII.

Двадцать шестого октября 1843 года Герцен, под влиянием одного разговора с П. В. Киреевским, внес в свой дневник, между прочим, следующие строки: „История, как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию, для них не существует, их взгляд на историю приближается к взгляду скептицизма и материализма с противоположной стороны. Вся жизнь человечества—болезненное, а нормальное явление. В этом есть сумасшедшая консеквенция“ [1]).

В „Письмах об изучении природы“ он, оспаривая то мнение, что не стоит изучать историю философии, так как она представляет собою собрание противоречащих одна другой философских систем, говорит: „Нет. У кого глаза так слабы, что за наружной формой явления они не могут разглядеть просвечивающее внутреннее содержание, не могут разглядеть за видимым многообразием невидимое единство, тому, что ни говори, история науки будет казаться сбродом мнений разных мудрецов, рассуждающих каждый на свой салтык о разных поучительных и наставительных предметах и имевших скверную привычку непременно противоречить учителю и браниться с предшественниками: это атомизм, материализм в истории; с этой точки зрения, не одно развитие науки, а вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного сплетения случайностей—взгляд антирелигиозный, принадлежавший некоторым из скептиков и недоученной толпе“ [2]).

Современному читателю, конечно, странно слышать тот упрек славянофилам, что их взгляд на историю приближается к материалистическому. Подобный упрек невозможен в наше время, которое, в известном смысле, можно назвать временем исторического материализма. Но Герцену этот материализм был совершенно известен, да и, к тому же, он был еще плохо разработан в рассматриваемую здесь эпоху развития нашего автора. Герцен не предчувствовал, что одним из важнейших теоретических приобретений его времени будет обоснование материалистического взгляда на историю. Он полагал, что в материализме далее Гоббса итти некуда, разве броситься в скептицизм“ [3]). На „Левиафан“ Гоббса он, разумеется, не мог смотреть как на удовлетворительную попытку об‘яснить исторический ход общественного развития. Не могли удовлетворить его и взгляды французских материалистов XVIII века. Гольбах говаривал, что историческая судьба данного народа иногда на целые века определяется данным движением данного атома в голове данного тирана. Подобный исторический материализм, в самом деле, чрезвычайно близок к полному скептицизму. Он равносилен решительному признанию невозможности научного об‘яснения исторического процесса. Герцен прав, говоря, что, с этой точки зрения, „вся всемирная история кажется делом личных выдумок и странного сплетения случайностей“, что она представляет собою „болезненное, а нормальное явление“. А ему, как ученику Гегеля, хотелось понять историю именно „как движение человечества к освобождению и себяпознанию, к сознательному деянию“. Он писал: „История мышления—продолжение истории

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 140—141.

[2]) Сочинения, т. II, стр. 91.

[3]) Сочинения, т. II, стр. 292. Кстати. Скептицизм Юма изображается у Герцена как reductio ad absurdum материализма. На самом деле он представлял собою шаг назад: возврат от материализма к идеализму. Философия Юма отчасти возродилась в наше время в учении Маха, поскольку можно приписывать Маху какое-нибудь выдержанное философское учение.

природы: ни человечества, ни природы нельзя понять мимо исторического развития. Различие этих историй состоит в том, что природа ничего не помнит, что для нее былого нет, а человек носит в себе все былое свое: оттого человек представляет не только себя как частного, но и как родового. История связует природу с логикой: без нее они распадаются“ [1]). Это значит, что он стремился и на историю взглянуть с диалектической точки зрения. При этом в своем качестве левого гегельянца он делал диалектику духовным рычагом революционного движения. „Философия Гегеля—алгебра революции“, говорил он: „она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя“ [2])

Это сказано чрезвычайно хорошо и ярко. К сожалению, в этом чрезвычайно хорошем и ярком выражении истины заключена лишь одна часть ее. Философия Гегеля есть алгебра революции, потому что она „необыкновенно освобождает человека“. Это так. Но о каком освобождении идет здесь речь? Об идейном освобождении человека. Стало быть, философия Гегеля есть алгебра революции, потому что она необыкновенно содействует выработке революционных идей. Но с точки зрения Гегеля, о методе которого говорит здесь Герцен, идеи далеко не представляют собой главной пружины исторического движения: „сова Минервы вылетает только в сумерки“. Мы видели выше, что, говоря о гегелевой натурфилософии, Герцен одобрял великого немецкого идеалиста за его апелляцию к логическому движению понятия, как к единственной „агенции“. Гегель и в своей философии истории не переставал апеллировать к логическому движению понятия, как к высшей инстанции. Спрашивается: одобрял ли Герцен такую апелляцию в деле об‘яснения исторического процесса? На этот вопрос приходится ответить отрицательно. Я согласен, что, отвечая на него отрицательно, необходимо оговориться, но все-таки я не вижу возможности дать положительный ответ.

Необходимая здесь оговорка заключается в следующем. Держась гегелева взгляда на отношение мышления к бытию, т.-е. оставаясь идеалистом в основном вопросе всякой философии, Герцен не мог не высказываться подчас как „абсолютный“ идеалист и в своей философии истории. Вот наглядный пример. В „Письмах об изучении природы“ он предупреждает читателя: „В сущности, все равно, рассказать ли логический процесс самопознания или исторический. Мы изберем последний. Строгий, светлый, примиренный с собою шаг логики менее сочувствующ с нами“ [3]). Под историческим процессом самопознания он понимает здесь историческое развитие философии. У него выходит, стало быть, что все равно, рассказывать ли логический процесс самопознания, т.-е. излагать ли *логику*, или же описывать и об‘яснять историческое движение философской мысли. Это неоспоримо, с точки зрения Гегеля, у которого развитие философии, как и всякое другое развитие, определяется, в конце концов, логическим развитием абсолютной идеи. Высказывая эту неоспоримую с точки зрения Гегеля мысль, Герцен выступает правоверным гегельянцем, сторонником абсолютного идеализма. Но нам уже известно, что в другом месте он высказывал недовольство Гегелем за его взгляд на природу и на историю как на прикладную логику. Значит, Герцен чувствовал несостоятельность того взгляда, в силу которого только и могло быть „все равно“ и т. д. И, действительно, в своих исторических рассуждениях он очень редко прибегает к „логическому движению понятия“, как наиболее глубокой „агенции“; чаще всего в них об-

[1]) Сочинения, т. II, стр. 82.
[2]) Сочинения, т VII, стр. 128.
[3]) Сочинения, т. II, стр. 83.

наруживается тот, очень распространенный также и между левыми гегельянцами Германии, взгляд, согласно которому ход истории определяется ходом идейного развития человечества. Этот взгляд и предрасположил Герцена к пониманию диалектики как алгебры революции.

Французские материалисты, исторические взгляды которых пугали Герцена, были в этом случае очень близки к нему. Рассуждения Гольбаха о шальном атоме, способном на долгое время определить ход человеческой истории, являлись крайностью, до которой очень редко доходили французские материалисты. Чаще всего люди этого направления утверждали: „C'est l'opinion, qui gouverne le monde—миром правит мнение“. Это — тот же исторический идеализм, к которому пришли впоследствии левые гегельянцы, и между ними Герцен. Если мы сравним его с философией истории Гегеля, то увидим, что он отличается гораздо меньшею глубиною. Гегель охотно повторял слова Анаксагора: „Миром правит νοῦς“ (разум). Но он прибавлял при этом, что разум есть и в движении небесных светил, однако, те не сознают этого. Понятие разумности было равносильно у него с понятием закономерности. И, когда речь заходила у него об историческом движении человечества, он хорошо сознавал, что развитие „мнения“ далеко не представляет собою самой глубокой его причины. Это сознание и отражалось у него ссылкой на логическое движение понятия (чтобы повторить здесь то его выражение, которое употребил Герцен). Конечно, сама по себе ссылка эта ничего не об'ясняла: она только напоминала о неудовлетворительности того об'яснения, которое состоит в указании на „мнение“. В своей „Философии истории“ Гегель нередко поступал так: сославшись на движение понятия,—или, что все равно, на развитие абсолютной Идеи,—он, как будто чувствуя бессилие этой бесплотной „агенции“, неожиданно обращался к реальным общественным отношениям, ища в них разгадки данного исторического явления. Так, например, по поводу падения древней Греции он высказал много возвышенных соображений о развитии всемирного Духа, а потом вдруг обратился к экономике и об'явил, что Лакедемон пал вследствие неравенства имуществ. Таким образом, в его „Философии истории“ против его воли получалось нечто прямо противоположное тому, что он любил повторять в своих общих философских рассуждениях. Он говаривал: идеализм показывает себя как истина материализма. А в его „Философии истории“ выходило, что, наоборот, материализм есть истина идеализма, или,—если мы захотим выразиться точнее,—что только материализм кое-что раз'ясняет там, где идеализм показывает себя простой „словесностью“ [1]). Подобные обращения к экономике, довольно частые у Гегеля, вносили материалистический элемент не только в „Философию истории“, но также,—что весьма замечательно,—и в его эстетику. Главный недостаток исторических взглядов писателей, собравшихся на левом фланге его школы, а в том числе и Герцена, заключался именно в том, что, сосредоточив свое исключительное внимание на развитии „мнения“, писатели эти не заметили колоссальной плодотворности этих материалистических грехопадений Гегеля и выступали в истории чистыми идеалистами. Это было, несомненно, шагом назад в области теории. Но с ним мирились все левые последователи Гегеля, за исключением Маркса и Энгельса [2]).

---

[1]) См. об этом мою статью: „К 60-летию со дня смерти Гегеля“ в моем сборнике: „Критика наших критиков“.

[2]) Один из самых видных представителей так называемого философского социализма в Германии, Мозес Гесс, находившийся под сильнейшим влиянием Фейербаха, обвинял этого последнего в том, что он стоит на точке зрения абсолютного материализма. (См. его статью: „Beachtenswerte Schriften für die neuesten Bestrebungen“ в „Deutschen Bürgerbuch“ für 1845, стр. 98). Это чрезвычайно интересно и

Правда, у наиболее даровитых из них оставалось в глубине их „теоретической совести“ более или менее смутное сознание неправомерности такого мира. Мы увидим, как мучило впоследствии Герцена это сознание. Но полной ясности оно и у него никогда не достигло: в этом и состояла пережитая им неподдельная и глубокая теоретическая мука.

VIII.

Что Герцен смотрел на развитие „мнения“ как на главную пружину исторического развития, это можно доказать очень многими выписками из его дневника, а также из его „Писем об изучении природы“ и из статей: „Дилетантизм в науке“ и „Буддизм в науке“. Ограничусь, по своему обыкновению, несколькими такими, которые представляются мне наиболее убедительными.

О древнем Востоке он говорит: „Восточный человек не понимал своего достоинства: оттого он был или в прахе валяющийся раб или необузданный деспот“ [1]). Вряд ли нужно раз‘яснять, что только с идеалистической точки зрения незаметна научная неудовлетворительность подобного „о т т о г о“.

О германцах он рассуждал так: „Германец с первого появления является с характером несравненно более освобожденным от всего непосредственного, от почвы, от поколения, даже от семьи; личность—вот идея, которую он вносит в мир, и, исчерпав все необ‘ятное содержание своей мысли, он, будто оканчивая свое призвание, как завещание будущему, оставляет déclaration des droits de l'homme... В германцах с первого шага ясна идея, которую они внесут в мир“ [2]).

Наконец, вот еще более замечательная мысль, сыгравшая немалую роль в истории русского общественного движения. По словам Герцена, „история человечества есть продолжение истории природы“ [3]), но „в природе идея существует телесно, бессознательно, подчиненная закону необходимости и влечениям темным, не снятым свободным разумением“ [4]), между тем как в истории начинается сознание; а „где начинается сознание, там начинается нравственная свобода; каждая личность одействоряет п о - с в о е м у призвание, оставляя печать своей индивидуальности на событиях“ [5]).

Если философия Гегеля была, как говорил Герцен, а л г е б р о й р е в о л ю ц и и, то эта мысль Герцена о свободе личностей, действующих в истории „п о - с в о е м у“, может быть названа алгеброй исторического идеализма в его применении к философии практического действия, иначе—а л г е б р о й у т о п и з м а. Измените тут терминологию, и вы получите главную мысль „Исторических писем“ П. Л. Лаврова, который учил, что история делается критически мыслящими личностями, „п о - с в о е м у“ перерабатывающими культуру. Теоретическая ошибка, лежащая в основе этой алгебраической формулы утопизма, уже знакома нам в другой своей разновидности. Как помнит, может

характерно: философский социализм опирался на материалиста Фейербаха, но отвергал его материализм, поскольку не находил в материализме желанной теоретической опоры для своих утопических стремлений. По этой же причине материализм отвергался у нас суб‘ективистами (Н. Михайловским и другими), а теперь отвергается махистами (Луначарским и Богдановым). Все, отвергавшие материализм по э т о й причине, находили, что он не оставляет надлежащего места для самодеятельности личности.

[1]) Сочинения, т. II, стр. 96.
[2]) Сочинения, т. I, стр. 175.
[3]) Сочинения, т. I, стр. 380.
[4]) Там же, стр. 377.
[5]) Там же, стр. 380. Подчеркнуто в подлиннике.

быть, читатель, Герцен, опровергая материалистическую теорию познания, доказывал, что деятельность рассудка есть actus purus, и что поэтому опыт, возбуждая действие сознания, не определяет собою последствий этого возбуждения. Фейербах опровергал такой взгляд,—разумеется, не Герценом высказанный впервые, — указанием на независимую от человеческого рассудка закономерность явлений природы. Но совершенно такое же указание должно быть сделано и по отношению к истории. Если книга природы отнюдь не есть дикий хаос беспорядочно набросанных одна на другую букв, то, ведь, и книга общественной жизни не имеет ничего общего с подобным хаосом. Если мы разделяем то, что разделено в природе, и связываем то, что в ней связано, то, ведь, и в общественной жизни мы не можем по своему произволу установлять взаимную связь событий. Если мы, изучая природу, подчиняем вещи одну другой, как причину и следствие, только потому, что таково их действительное, фактическое соотношение, то, ведь, единственно поэтому мы имеем право говорить о причинах и последствиях общественных явлений. А раз это так, то всякая данная историческая личность „одействоряет по-своему призвание“ лишь в той мере, в какой ее „нравственно свободная работа“ опирается на закономерный ход общественного развития и выражает его собою. Герцен хвалил Гегеля за то, что он „освобождает в полном развитии человека от его материального определения“, другими словами, за то, что, по Гегелю, чем беднее развитие человека, тем более он зависит от природы. Эта похвала занесена в его дневник 14-го апреля 1844 г., статья же („Буддизм в науке“), в которой говорится о личности, свободно „одействоряющей призвание“, помечена 23 м марта 1843 г., т.-е. окончена более чем за двенадцать месяцев до того. Вполне позволительно думать, что похвала не чужда была связи с разбираемым местом статьи. Вероятно, Герцен потому и одобрил в дневнике мысль Гегеля, что она показалась ему новым подтверждением его собственной мысли об отношении естественной законосообразности к нравственной свободе. Но противопоставления закономерности свободе были вообще не в духе гегелевой философии. Гегель сказал: „Die Freiheit ist dies: Nichts zu wollen, als sich“ [1] („свобода состоит в том, чтобы не желать ничего, кроме себя“). И это было, поистине, гениальное определение; однако, оно нисколько не исключало закономерности в процессе возникновения желаний. Наоборот, оно непременно предполагало ее, так как и желание не возникает же без причины. К тому же, еще Шеллинг показал, что, если бы не существовало необходимости, — т.-е. закономерности,—то невозможна была бы и свобода [2]). Наконец, Герцен как будто упустил здесь из виду, что понятие закономерности не исчерпывается понятием закономерности явлений природы, так как есть еще закономерность исторического процесса. Но эта ошибка сделана им—или, может быть, надо сказать: эта неясность мысли была допущена им у себя здесь,—именно потому, что исторический идеализм, на почве которого он стоял вместе со всем левым крылом гегелевой школы [3]), сосредоточивал свое внимание на развитии идей, т.-е. на сознательной деятельности общественного человека, а она представляется свободной деятельностью, не подчиненной закону необходимости. В этой области только научный анализ

---

[1]) Hegel's Werke, 12-er Band, стр. 98.

[2]) Это едва ли не самая гениальная мысль его.

[3]) Я уже заметил выше, что в данном случае я не причисляю сюда Маркса и Энгельса. Да и ошибочно было бы поступать так, потому что их взгляды вышли далеко за пределы левого гегельянства: основатели научного социализма сами нередко противопоставляли себя левым гегельянцам.

устраняет ту абстракцию, в силу которой человек сознает себя как причину, не сознавая себя следствием [1]).

Заканчивая свою статью: „Буддизм в науке“, Герцен говорит: „Августин на развалинах древнего мира возвестил высокую мысль о веси Господней, к построению которой идет человечество, и указал вдали торжественную субботу успокоения. Это было поэтико-религиозное начало философии истории; оно, очевидно, лежало в христианстве, но долго не понимали его; не более как век тому назад человечество подумало и в самом деле стало спрашивать отчета в своей жизни, провидя, что оно не даром идет, и что биография его имеет глубокий и единый всесвязывающий смысл. Этим совершеннолетним вопросом оно указало, что воспитание оканчивается [2]). Наука взялась отвечать на него; едва она высказала ответ, явилась у людей потребность выхода из науки—второй признак совершеннолетия. Но для того, чтобы своими руками растворить двери, наука должна совершить во всей полноте свое призвание; пока хоть одна твердая точка остается непокоренною самопознанием, внешнее будет противодействовать... Из врат храма науки человечество пойдет с гордым и поднятым челом, вдохновенное сознанием: omnia sua secum portans—на творческое создание воли божией“ [3]).

Все это в высшей степени характерно для тогдашнего Герцена и все это вполне согласно с духом исторического идеализма. Я, конечно, не стану поднимать вопрос о том, лежало ли в христианстве какое-нибудь начало философии земной истории: ясно, что, утверждая это, Герцен платил дань тем мистическим увлечениям, которым он поддался во время своей первой ссылки. Но посмотрите, с какой поры начинается, по его мнению, совершеннолетие человечества: как-раз с того XVIII в., который с непоколебимым убеждением повторял: „миром правит мнение“. Наука выясняет совершеннолетнему человечеству смысл его собственной биографии. Когда все будет ясно с этой стороны, тогда противодействие „внешнего будет побеждено, и человечество гордо примется за устройство царства божия на земле“. Это—исторический идеализм в его самом крайнем выражении: все последующее развитие общества целиком приурочивается здесь к покорению знанием „твердых точек“ бессознательности; план „божьей веси“ будет выработан людьми науки. Именно так смотрели просветители XVIII в., они только выражались немного иначе: та роль, которую схема Герцена отводит науке, принадлежала у них философии. Следует помнить, однако, что под наукой Герцен разумел именно философию, — конечно, не ту, которой увлекался XVIII век, но все-таки философию [4]).

„Твердые точки“, подлежащие покорению наукой, это—различные предрассудки, унаследованные человечеством от времени его малолетства и несо-

---

[1]) Не даром Шеллинг говорил в своем вышеназванном сочинении, что бессознательное и есть необходимость в ее противоположности свободе.

[2]) Т.-е. воспитание рода человеческого. Герцен несколько выше приводит в своей статье это выражение Лессинга.

[3]) Сочинения, т. I, стр. 382—383. Употребленный здесь Герценом термин „самопознание“ заставляет вспомнить любимое выражение Бруно Бауэра: „Selbstbewusstsein“ (самопознание) и едва ли не доказывает лишний раз, что сочинения Бауэра были знакомы Герцену. Отличие Бауэра от Фейербаха в том и состояло, что он оставался идеалистом в то время, как Фейербах перешел на почву материализма. Впрочем, в исторической области сам Фейербах оставался идеалистом.

[4]) Прибавлю, что, так как на той же идеалистической точке зрения стоял и немецкий философский идеализм 40-х г.г., то можно предположить, что, говоря о построении наукой „веси божьей“, Герцен находился не столько под влиянием французских просветителей XVIII века, сколько под влиянием современного ему немецкого утопического социализма.

вершеннолетия. Чем меньше таких „точек“, тем легче построить „весь божию“. Просветителям XVIII века казалось иногда, что освободительная заповедь их философии с гораздо меньшим трудом будет осуществлена в „новых странах“, только недавно выступивших на путь европейской цивилизации. Герцен согласен с ними. В дневнике (29-го окт. 1844 г.) он потому осуждает заведение у нас майоратов, что этим путем теряют „те выгоды, которые мы имели перед Европой, те выгоды, о которых Бентам писал к императору Александру I, когда он воцарился, что ему легче, нежели какому нибудь (другому. *Г. П.*) монарху, дать дельные законы, потому что предрассудки римско-феодальные не мешают“ [1]).

Такой взгляд на наши „выгоды“ перед Европой высказывался и раньше Герцена: его защищал еще пессимист Чаадаев, а впоследствии он сохранился у нас до Н. К. Михайловского включительно.

Исторический идеализм, вообще, сильно преувеличивал роль личностей в истории, особенно личностей, располагавших политической властью. Но роль эта должна была принимать, в их представлении, совсем уже беспредельные размеры, когда речь заходила о „новых странах“, чуждых „римско-феодальных предрассудков“ и потому считавшихся, — как мы только-что видели,— более доступными сознательному воздействию со стороны своих властителей. Это мы видим и у Герцена. „Патология и характеристика Екатерины, Павла и Александра — единственный ключ к пониманию русской истории нового времени“, говорит он в дневнике (5-го марта 1844 г. [2]). С этим вряд ли согласится теперь даже наименее склонный к историческому материализму русский историк.

IX.

Как будет построена совершеннолетним и просвещенным человечеством „весь божия“? В своей статье наш автор отказывается отвечать на этот вопрос.

„Как именно, принадлежит будущему, — говорит он, — мы можем предузнавать будущее, потому что мы — посылки, на которых оснуется его силлогизм, только общим, отвлеченным образом“ [3]). Но в статье нет даже и „общих, отвлеченных“ указаний на то, что, собственно, „предузнавал“ он в будущем. „Когда настанет время, молния событий раздерет тучи, сожжет препятствия, и будущее, как Паллада, родится в полном вооружении“,—вот все, что решается сказать Герцен. Оно и понятно: тогдашняя цензура не отличалась кротостью. В дневнике он выражается несравненно откровеннее, и там мы видим, что его сочувствие принадлежало социализму. Усердно изучая Гегеля и левых гегельянцев, он с неменьшим усердием следил за социалистической литературой. Его знакомство с нею даже предшествовало знакомству его с литературой философии: он увлекался Сен-Симоном еще в годы своего студенчества. Но в то время, к которому принадлежит дневник (1842—1844 г.г.), он больше читал фурьеристов, — особенно В. Консидерана, Луи Блана и Прудона. В феврале 1843 г. он так формулировал для себя общую задачу будущей социальной реформы: „Общественное управление собствен-

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 276.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 180. Это гораздо более идеалистический взгляд, нежели та мысль Гоголя (в его лекции о средних веках), согласно которой „вся средняя история есть история папы“. Под папой Гоголь все-таки понимает не отдельного человека, а ц е л о е у ч р е ж д е н и е.

[3]) Там же, стр. 181.

ностями и капиталами, артельное житье, организация работ и возмездий (т.-е., конечно, вознаграждений за работы. *Г. П.*) и право собственности, поставленное на иных началах. Не совершенное уничтожение личной собственности, а такая инвеститура обществом, которая государству дает право общих направлений“ [1]). Эта программа ближе к сен-симонизму, как он выразился в трудах учеников Сен-Симона; но Герцен тут же замечает, что „фурьеризм, конечно, всех глубже раскрыл вопрос о социализме“ [2]). Впрочем, и это вовсе не свидетельствует о безусловном увлечении фурьеризмом. В другом месте дневника мы читаем у него, что, „без всякого сомнения, у сен-симонистов и у фурьеристов высказаны величайшие пророчества, но чего-то недостает“ [3]). Фурьеризм вызывает в нем критическое отношение своей „убийственной прозаичностью“, а в сен-симонизме ученики погубили, по его словам, учителя. Очевидно, что, говоря это, Герцен имел в виду странности Анфантэна и его ближайших единомышленников. Однако, моя задача заключается здесь в изложении и критике философских, а не социалистических взглядов Герцена. Поэтому я могу ограничиться тем замечанием, что в сороковых годах Герцен продолжал стоять на точке зрения утопического социализма, и прямо перейти к оценке того влияния, какое имел Гегель на его отношение к социалистической теории.

В „Письмах об изучении природы“ он делает следующее неожиданное и в то же время весьма замечательное сближение современных ему социалистов с неоплатониками: „У неоплатоников — почти как у нынешних мечтателей-социалистов—пробиваются великие слова: примирение, обновление... но они остаются отвлеченными... неудобопонятными... неоплатонизм был для ученых, для немногих“ [4]). Всмотримся в это сопоставление сначала со стороны той похвалы, которая в нем содержится.

Социалисты, — названные мечтателями, вероятно, для успокоения цензуры,—произносят великие слова: „обновление“ и „примирение“. Эта похвала социалистам не раз повторяется Герценом и в других местах. Это показывает, что он смотрел на их дело, прежде всего, как на дело примирения. И он был прав в том смысле, что они сами так смотрели на свое дело. Они, как огня, боялись классовой борьбы, и их программы расчитаны были на водворение мира между различными общественными классами [5]). Одной из причин позднейшего разочарования Герцена в Западной Европе послужило то обстоятельство, что события 1848—49 г.г., вместо мирного решения социального вопроса, ознаменовались кровавой борьбой между пролетариатом и буржуазией во Франции, т.-е. в самой передовой стране того времени (по крайней мере, на материке Европы [6]), и это совсем не удивительно со стороны исторического идеалиста. Если построение „веси божией“ замедляется теперь только тем, что наука осветила пока еще не все „твердые точки“, и если совершеннолетнее человечество ждет лишь окончания этого теоретического дела, чтобы торжественно приняться за практическое дело общественной реформы, то ясно, что почин и главное руководство в этом последнем должны принадлежать тем классам или слоям, которые ярче других освещаются светом науки. Народная

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 83.
[2]) Там же, стр. 83.
[3]) Там же, стр. 187. Курсив в подлиннике.
[4]) Сочинения, т. II, стр. 180.
[5]) Исключения есть, но они совсем не характерны для утопического социализма того времени.
[6]) Подробнее см. об этом в моей статье: „А. И. Герцен и крепостное право“ в ноябрьской кн. „Современного Мира“ за прошлый год.

масса, — даже западно европейская, — представлялась Герцену почти совершенно неспособной понимать научные выводы: „Доселе с народом можно говорить только через священное писание“, замечает он в своем дневнике [1]). И в этом выразилось у него не мимолетное настроение, а твердое убеждение. Приехав в Париж в 1847 г. и убедившись в том, что французская буржуазия, даже в лице своей интеллигенции, не намерена браться за общественную реформу, он начал задумываться о том, что произошло бы, если бы за нее пришлось взяться одному пролетариату. И вот заключение, к которому он пришел на этот счет.

„Надежда у буржуазии одна—невежество масс. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели думают. Может, массы долго не поймут, чем помочь своей беде, но они поймут, чем вырвать из рук несправедливые права, не для того, чтобы воспользоваться, а чтобы разбить их, не для того, чтобы обогатиться, а чтобы пустить других по миру“ [2]).

При таком взгляде на психологию классовой борьбы и на ее возможный исход ничего другого не оставалось, как стремиться к примирению. Но примирение примирению рознь. Примирение не всегда исключает борьбу; напротив, очень часто оно предполагает ее как свое необходимое условие. Логика Гегеля, имевшая такое большое влияние на Герцена, не знает другого пути для примирения (в высшем единстве) противоречащих один другому элементов данного понятия, кроме их непримиримой взаимной борьбы. Сам Гегель умел смотреть на классовую борьбу как на выражение „принципа жизненности“ (Prinzip der Lebendigkeit), который, вызывая общественное возбуждение, им же и питается [3]). Поэтому Герцен, отвергая классовую борьбу вслед за французскими социалистами-утопистами, изменял диалектическому методу своего учителя. Разумеется, он сам не замечает своей непоследовательности. Но непоследовательность была налицо и мстила за себя, внося скептический элемент в отношение Герцена к социализму и чувство неудовлетворенности в его сердце.

Герцен верит в социализм. И тот же Герцен вписывает в свой дневник, например, такие признания: „Читаю IV том L. Blanc [4]). Как подл и отвратителен Людвиг-Филипп и его правительство в истории с герцогиней Беррийской... Вообще, историю этого времени читать грустно, все так мелко, пошло... Разумеется, прорываются громадные деяния и громадные характеры, но это исключение. Таков книгопродавец и типограф Бот в первых днях июльской революции, отдельные сцены в истории Cloître de St. Mery. Roddl, идущий продавать афишку, рыцарь-демократ Ар. Карель, итальянец Бонароти, старец карбонаризма, великая, святая личность и огненная натура Маццини, и... и вся бесполезность их усилий. Это опять отбрасывает во все ужасы скептицизма“ (21-го декабря 1843 г.) [5]). Это именно та неудовлетворенность, на которую я намекнул выше, и происходила она именно из указанного мною источника: человек, прошедший через школу Гегеля, непременно должен был пред'явить к социалистической идее более глубокие требования, нежели те, которые обнаруживаются в приведенных рассуждениях Герцена.

---

1) 24-го марта 1844 г.; соч., т. I, стр. 187.
2) „Письма из Франции и Италии“. Соч., т. IV, стр. 192.
3) См. его глубокое замечание о внутренней борьбе в средневековых городах. „Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte“, изд. Эд. Гансом, стр. 393—394.
4) Т.-е. четвертый том его „Histoire de dix ans“.
5) Сочинения, т. I, стр. 156.

X.

В „Письмах об изучении природы“ мы читаем: „Дело науки — возведение всего сущего в мысль. Мышление стремится понять, усвоить вне-сущий предмет и с первого приступа начинает отрицать то, что его делает внешним, другим, противоположным мысли, т.-е., отрицает непосредственность предмета, обобщает его и имеет уже с ним дело, как с всеобщим: таким оно старается его понять. Понять предмет—значит раскрыть необходимость его содержания, оправдать его бытие, его развитие“ [1]).

Несколько ниже там же говорится: „ибо доказательство только и состоит в раскрытии необходимости предмета“.

Герцен и здесь рассуждает как идеалист. Но здесь его идеализм не тот, который выразился в убеждении, что миром правит мнение. Напротив, здесь мы имеем дело с тем идеализмом Гегеля, который, как уже сказано выше, не уживался с этим убеждением. Если доказать предмет значит раскрыть его необходимость, то „доказать“ социализм значит понять его как необходимый продукт общественного развития. Но что значит понять его как такой продукт? Значит ли это показать его соответствие с нашими собственными стремлениями, симпатиями и антипатиями? Нет! Наши собственные стремления, симпатии и антипатии могут оказаться в действительности принадлежностью небольшой горсти людей, лишенных всякого серьезного влияния на ход событий. Герцен прекрасно понимал это. „Наше состояние безвыходно“, писал он однажды: „потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело отчаянное страдание“ [2]). А что, если историческая логика укажет, что и социализм вне народных потребностей Запада? Тогда, очевидно, и на долю западно-европейских социалистов останется одно отчаянное страдание. Когда Герцен признавался в своем дневнике, что самоотверженные усилия революционеров и социалистов Западной Европы представляются ему бесполезными, он, несомненно, был не далек от подобного взгляда на дело [3]). Но не подлежит сомнению, что такой взгляд в самом деле должен был „отбрасывать во все ужасы скептицизма“. Чтобы раз навсегда отогнать от себя эти ужасы, необходимо было обнаружить теоретическую несостоятельность этого взгляда. Но как? Для этого был только один путь, и он указан мною выше: Герцен только в том случае мог вполне убедить себя, что социализм не лежит вне народных потребностей Запада, если бы ему удалось обнаружить об'ективную необходимость социальной „реформы“. А как можно было сделать это? Тут тоже был только один путь: надо было покинуть точку зрения исторического идеализма. Стоя на ней, Герцен утверждал: „Мы можем предузнавать будущее, потому

---

1) Сочинения, т. II, стр. 77.

2) Дневник от 21-го апреля 1843 г. Сочинения, т. I, стр. 98.

3) Интересная подробность: отвергая классовую борьбу, Герцен вовсе не был тогда против революционного способа действий. Это происходило вследствие весьма распространенного идеалистического взгляда, согласно которому великие революционные движения представляют собою не взаимную борьбу двух классов, а борьбу свободы с деспотизмом, справедливости с несправедливостью, истины с заблуждением и т. п. Великая французская революция пользовалась глубочайшими симпатиями Герцена до самого конца его жизни. Для него, как видно, остался неясным ее классовый характер, несмотря на то, что был очень недурно выяснен еще французскими историками времен Реставрации: напр., Огюстэном Тьери, одной из работ которого Герцен посвятил даже особую статью („Рассказы о временах Меровингов“ во II т. женевского издания сочинений).

что мы посылки, на которых обоснуется его силлогизм". Покинув же эту точку зрения, он должен был сказать: „Мы можем предузнавать будущее, потому что видим те его посылки, которые уже находятся в действительности настоящего времени". Таким образом, все дело свелось бы для него к анализу этой действительности с целью обнаружения этих об'ективных посылок. Но от этого коренным образом изменилось бы и его отношение к программе будущих общественных реформ. В качестве исторического идеалиста он считал возможным придумать план этих реформ: общественное управление собственностями и капиталами, артельное житье и т. д. Критерием для оценки этого плана служил его суб'ективный взгляд на свободу личности, права государства и пр. При отказе от исторического идеализма немедленно бросилась бы в глаза полная неудовлетворительность такого критерия. Тогда пришлось бы анализировать исторические условия возникновения данного вида собственности и те новые общественные явления, благодаря которым этот вид мало-по-малу, в свою очередь, оказывается „вне народных потребностей". И то же самое Герцену пришлось бы сделать по отношению ко всем другим пунктам своей социалистической программы. Он сам говорил это, — правда, сам того не сознавая, — когда занимался „алгеброй" мышления. Он писал: „Само собою разумеется, что мысль предмета не есть исключительное личное достояние мыслящего; не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала, как скрытый разум, в непосредственном бытии предмета" [1]). Достаточно было от „алгебры" мышления перейти к арифметике общественного порядка, чтобы увидеть, в чем заключалось то необходимое и достаточное условие, которому должна была удовлетворять социалистическая программа: она должна была явиться не как „личное достояние" того или другого общественного реформатора — Сен-Симона, Фурье, Пьера Леру, Кабэ ил Прудона,—а как обнаружение того „скрытого разума", который заключается „в непосредственном бытии предмета", в данном характере общественных отношений и в данном направлении их развития. То правда, что если бы программа Герцена удовлетворила этому условию, он сделался бы основателем научного социализма. Правда и то, что диалектический метод мог быть успешно применен к изучению закономерного хода общественного развития лишь после того, как сам он подвергся коренному превращению, т.-е. когда идеалистическая диалектика Гегеля уступила место материалистической диалектике Маркса-Энгельса.

А пока что людям, испытавшим на себе влияние диалектики, — которое весьма значительно повышало их умственную требовательность, — и, вообще, имевшим глубокие теоретические интересы, предстояло вплотную подходить к задаче колоссальной важности, остававшейся неразрешенной для них за недостатком данных. Мучительность этой драмы нимало не ослаблялась тем, что завязка ее совершалась в области теории: лучшие „люди сороковых годов" умели связывать самые глубокие вопросы теории с самыми жгучими вопросами общественной жизни.

Те, которые укоризненно качают головой в сторону Белинского за его временную слабость к „философскому колпаку" Гегеля, чаще всего питают то утешительное для них убеждение, что, по крайней мере, Герцен легко справился с „вражьей силой" колпака. Это утешительное убеждение в корне ошибочно; но надо признать, что сам Герцен отчасти, хотя и невольно, способствовал его выработке.

---

[1]) Сочинения, т. II, стр. 78.

XI.

В „Былом и Думах“ он говорит: „Философская фраза, наделавшая всего больше вреда, и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: „все действительное разумно“, была иначе высказанное начало достаточной причины и соответственности логики и фактов. Дурно понятая фраза Гегеля сделалась в философии тем, чем некогда были слова жирондиста Павла: „нет власти, как от бога“. Но, если все власти от бога, и если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана. Формально принятые эти две сентенции чистая тавтология“ [1]).

Наш блестящий автор выражается здесь несколько небрежно, и может показаться, что он делает логическую ошибку. В самом деле, из того, что всякая власть от бога, еще не следует, что от бога же всякая борьба против данной власти. То же и с общественным порядком. Но рассуждение Герцена необходимо понимать в том гораздо более широком смысле, что, если все существующее разумно, то разумна, между прочим, и всякая данная борьба со всякой данной властью и со всяким данным общественным порядком. Понятое таким образом, оно, конечно, верно. Гегеля, в самом деле, ошибочно понимали те, которые, опираясь на его слова: „все действительное разумно“, отстаивали разумность всего существующего. У него понятие действительного далеко-далеко не покрывалось понятием существующего. Но неправильно понимал его и Герцен, называя его тезис „иначе высказанным началом достаточной причины“. Это начало несравненно беднее содержанием, нежели этот тезис. Все существующее имеет свою достаточную причину. Но не всякая причина „достаточна“ для того, чтобы явление, обязанное ей своим существованием, было действительным. „Старый порядок“ существовал во Франции вплоть до революции. И само собою разумеется, что была достаточная причина для его существования, скажем, в апреле 1789 года. Но тогда он уже не был действительным, он сделался „призрачным“, так как уже прошло его время. Действительным было тогда именно направлявшееся против него общественное движение, потому что оно выражало собою глубочайшую общественную потребность тогдашней Франции [2]). По Гегелю, всякий данный общественный порядок сам порождает в процессе своего развития те силы, которые, в конце концов, разрушают его и вызывают появление на его развалинах нового порядка. Действительно, а, следовательно, и разумно только то отрицание этого порядка, которое опирается на эти силы или, вернее сказать, является сознательным выражением их бессознательного исторического действия. Белинский почувствовал это своим гениальным чутьем, ознакомившись с философией Гегеля. Его „примирение с действительностью“ означало лишь то, что он отрицает всякое отрицание, не опирающееся на закономерный ход общественного развития. Если он отверг „абстрактный идеал“, то лишь потому, что не сумел „развить идею отрицания“, т.-е. найти для нее об'ективную основу. Он обнаружил при этом гораздо более глубокий взгляд на учение Гегеля о разумности всего действительного, нежели Герцен, приравнявший это учение к „началу достаточной причины“.

---

[1]) Сочинения, т. VII, стр. 126.

[2]) Поэтому Гегель говорил о великой французской революции с истинным энтузиазмом. Прибавлю еще, что иное дело—начало достаточной причины, а иное дело—соответствие логики с фактом.

Как это часто бывает, одна ошибка повела за собой другую. Только об'явив „философскую фразу“ великого мыслителя новой формулировкой той старой мысли, что нет действия без причины, Герцен мог поставить на одну доску с Гегелем автора „Системы экономических противоречий“. Маркс показал в своей книге: „Нищета философии“, что метод Прудона не имел ничего общего с методом Гегеля. Возвращаться к этому предмету нет ни малейшей надобности. Но читатель должен помнить вот что. Критикуя капиталистический порядок, Прудон рассуждал, как идеал чистейшей воды: задача общественного реформатора сводилась им к сохранению хороших сторон нынешнего способа производства и к удалению дурных. Он и не подозревал, что в ходе экономического развития есть своя внутренняя („имманентная“, как сказал бы Гегель и как говорил Маркс) логика, обусловливающая собою и дурные и хорошие стороны создаваемого ею общественного порядка, и что данная программа общественного переустройства только тогда не утопична, когда за ее осуществление ручается эта об'ективная логика. Прудон повторил тут ошибку, делаемую всеми последовательными сторонниками исторического идеализма [1]). Но к их числу принадлежал, как мы знаем, и Герцен. И, поскольку он принадлежал к их числу, он сам упускал из виду необходимость опираться на об'ективную логику исторического движения. Вот почему он и не заметил, что метод Прудона был совершенно несовместим с методом Гегеля. Но по той же самой причине не заметил он и глубокой разницы между „началом достаточной причины“ и учением Гегеля о разумности всего действительного.

Из всего этого—скажу еще раз—следует, что в „Былом и Думах“ Герцен проявил менее глубокое понимание гегелева метода, нежели то, которое было проявлено Белинским в эпоху своего мучительного примирения с российскою действительностью. Это обстоятельство и подкупает обыкновенно господ, только по наслышке знающих о „философском колпаке Егора Федорыча“. Он-то и дает им приятный для них повод думать, что „колпак“ не имел вредного влияния на Герцена. Но я был бы несправедлив к автору „Писем об изучении природы“, если бы не постарался показать, что такая похвала заслужена была им в значительно меньшей степени, чем это думают. Надеюсь, что это отчасти уже выполнено мною. Но есть одна сторона вопроса, на которую я до сих пор почти только намекал, и которую теперь надо разобрать полностью.

В начале статьи я сказал, что сделанное Герценом неудачное сопоставление Прудона с Гегелем обозначает собою предел, дальше которого не пошел он в понимании своего учителя философии. Теперь нужно прибавить, что раньше им была сделана чрезвычайно интересная попытка перейти этот предел, и что эта философская попытка,—вообще говоря, не увенчавшаяся успехом,—оставила свой след на его общественных взглядах. Мало заметный в течение первой половины сороковых годов, этот след становится заметным в конце второй их половины, в сочинениях, написанных под впечатлением неудачного исхода февральской революции.

В богатой теоретическим содержанием статье „Буддизм в науке“ Герцен приводит „чрезвычайно глубокомысленные“ слова Гегеля: „понять то, что есть,—задача философии, ибо то, что есть,—разум“ [2]). Эти слова Гегеля выражают хорошо знакомую нам мысль о разумности всего действительного

---

[1]) Интересно, что философию Гегеля излагали ему немецкий утопист Карл Грюн и русский утопист Михаил Бакунин.

[2]) Сочинения, т. I, стр. 364.

Но здесь Герцен еще не отождествляет этой мысли с началом достаточной причины, как он сделал это потом, в „Былом и Думах“. Наоборот, здесь он истолковывает ее в совершенно правильном смысле внутренней закономерности исторического процесса, т.-е. в том самом смысле, в каком понял ее в конце тридцатых годов Белинский. Конечно, между Герценом и Белинским была в этом случае та,—уже отмеченная выше,—разница, что они сделали из этой мысли прямо противоположные выводы: один умозаключил от нее,—по крайней мере, на время,—к неизбежному торжеству прогрессивных стремлений, а другой отверг,—правда, тоже лишь на время,—эти стремления, как чисто суб'ективные. Но я уже ставил читателю на вид, что в то время, когда Герцен принялся изучать философию Гегеля, гораздо легче было понять ее в диалектическом,—а, стало-быть, и в прогрессивном,—смысле, нежели в „абсолютном“ смысле консерватизма. Да и темперамент Герцена заставлял его интересоваться больше вытекающими из данного учения практическими выводами, нежели его основными теоретическими посылками. Белинский, несомненно, был более „философской организации“, нежели Герцен. Замечу мимоходом, что именно этому обстоятельству обязан был „неистовый Виссарион“ той неуклонной последовательностью своею в практических выводах, которая даже вовсе не робкого Герцена заставляла называть его фанатиком и „человеком экстремы“: глубочайший интерес к теории есть едва ли не самое важное из всех условий, способных обеспечить последовательность „практического разума“. Но, как бы там, однако, ни было, факт тот, что и Герцен не всегда отождествлял учение о разумности действительного с началом достаточной причины. Он склонился к подобному отождествлению только тогда, когда занятия философией отошли для него в область прошедшего, и когда между ним и Гегелем стал целый ряд потрясающих событий 1848—1849 г.г., которые надолго лишили его необходимой для теоретических занятий ясности духа. А пока он еще не пережил этих страшных годов, ему чаще вспоминались заветы Гегеля, и тогда он,—замечательная черта, неожиданно сближающая его с автором статьи о бородинской годовщине!—начинал сомневаться в социализме, как в идеале, не имеющем под собой об'ективной основы, т.-е. тогда он сам отвергал абстрактный идеал.

XII.

Это всего нагляднее показывает глава: „Перед грозой“ в книге: „С того берега“. Глава эта помечена 31 декабря 1847 г., значит, ее содержание никак не может быть об'яснено разочарованием, причиненным революционными неудачами. В ней, действительно, сквозит сильное разочарование, но только совсем не то, о котором любят распространяться биографы Герцена. Нужно лишь небольшое внимание, чтобы убедиться в этом.

Статья представляет собою разговор двух русских, одинаково интересующихся жгучими вопросами западно-европейского развития, но неодинаково относящихся к тем их решениям, которые предлагались тогдашним утопическим социализмом. Один из собеседников,—высказывающий настроение самого автора,—говорит, между прочим: ...„Нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану“ [1])...

Другими словами: закономерный ход исторического развития не дает нам никакого ручательства за будущее осуществление социалистического идеала. Теперь вспомните то утверждение автора „Писем об изучении природы“, что

[1]) Сочинения, т. V, стр. 25. Курсив мой. *Г. П.*

„доказательство только и состоит в раскрытии внутренней необходимости предмета", и скажите сами, как смотрел Герцен на передовой идеал европейского Запада еще в конце 1847 года. Двух мнений тут быть не может: если нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану, то это значит, что мы не видим его внутренней необходимости, а, не видя внутренней необходимости предмета, мы не умеем доказать его. Итак, социализм есть нечто недоказанное, суб'ективное, не опирающееся на об'ективную логику общественной жизни. Это—„лейт-мотив", проходящий через всю главу „Перед грозой" и показывающий, до чего ошибочно понималось обыкновенно влияние грозы на Герцена. Собеседник, устами которого говорит наш автор, настойчиво повторяет: „Наша цивилизация лучший цвет современной жизни; кто же поступится своим развитием? Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?" [1]).

Сказать, что социализм не „доказан", как „необходимое" будущее следствие общественного развития; признать, что социалисты „вдумали„ свою мысль в действительность, а не открыли ее там,—это для человека, вкусившего от плода диалектики, равносильно было признанию теоретической несостоятельности социалистического идеала. А признание такой его несостоятельности неизбежно вело к разочарованию в нем. Цитируемая мною здесь глава книги: „С того берега" изобилует доказательствами такого разочарования. Сравнивая положение своих единомышленников с положением деятелей времен великой революции, собеседник-Герцен делает, напр., такое замечание: „Свидетели всего бывшего, мы не можем иметь надежды наших предшественников. Глубже изучивши революционные вопросы, мы требуем теперь и больше и шире того, что они требовали, а их-то требования остались тою же неприлагаемостью, как были. С одной стороны, вы видите логическую последовательность мысли, ее успех; с другой—полное бессилие ее над миром глухим, немым, бессильным схватить мысль спасения так, как она высказывается ему—потому ли что она дурно высказывается, или потому, что имеет только теоретическое, книжное значение, как, например, римская философия, не выходившая никогда из небольшого круга образованных людей" [2]).

На вопрос другого участника спора: „Кто же прав, теоретическая мысль, которая тоже, ведь, развилась исторически, или же факт современного мира, отвергающий эту мысль"?—собеседник-Герцен дает чрезвычайно характерный ответ: „Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума" [3]).

Это вводит нас в теоретический центр вопроса. Под диалектикой чистого разума Герцен разумеет здесь логику суб'ективной мысли, которая, по его мнению, находится в непримиримом противоречии с эмбриогенией общественной жизни. От этого и происходит вся путаница. Но в каком же смысле права суб'ективная мысль? Очевидно, она могла быть права только в смысле соответствия своих выводов со своими собственными посылками, т.-е. в смысле формальной последовательности. О том, что она права в смысле соответствия своего закономерному ходу общественного развития, тут не может быть и речи: Герцен категорически заявляет, что между эмбриогенией общественной жизни и чистым разумом,—т.-е. социалистическою мыслью,—лежит целая пропасть.

---

[1]) Сочинения, т. V, стр. 26.
[2]) Сочинения, т. V, стр. 29—30.
[3]) Там же.

А это значит, что суб'ективная мысль не права с точки зрения диалектики Гегеля, продиктовавшей „Письма об изучении природы". Вот эта-то диалектика и вызывала разочарование Герцена в западно-европейском социализме. В „Письмах из Франции и Италии",—письмо IV, помеченное 15 сент. 1874 г.,—Герцен так характеризует положение тогдашних социалистических школ:

„Попытки нового хозяйственного устройства одна за другой выходили на свет и разбивались о чугунную крепость привычек, предрассудков, фактических стародавностей, фантастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, полны нравственности и преданности, но не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение" [1]).

Это—все то же требование „доказательства" социализма путем обнаружения его об'ективной необходимости. Это требование, так сильно мучившее тогда Герцена, уже самым существованием своим показывает, как несостоятельно было сделанное им впоследствии отождествление начала достаточной причины с учением о разумности действительного. Раз существовала социалистическая мысль, ясно, что для этого имелась достаточная причина (на это даже прямо указывает другой участник разговора „Перед грозой"). Но беда была в том, что эта достаточная причина оказывалась недостаточной для наведения мостов „из стремления в приложение, из всеобщности в действительную жизнь". Говорят, что первые „Письма из Франции и Италии" произвели тяжелое впечатление в тогдашних передовых русских кружках. Некоторые либеральные историки русской общественной мысли об'ясняли это тем, что Герцен нападал в этих письмах на французскую буржуазную конституцию. А это казалось неуместным на страницах передового журнала, выходившего в пределах неограниченной российской монархии. Но вряд ли такое об'яснение удовлетворительно. Во всяком случае, довольствоваться им невозможно. Необходимо также помнить, что тогдашние передовые русские кружки очень сильно увлекались утопическим социализмом, и что разочарование в нем Герцена должно было подействовать на многих его читателей, как ушат холодной воды. Герцен писал, например: „Настоящим положением Франции все недовольны, кроме записной буржуазии, да и та боится вперед заглядывать. Чем недовольны, знают многие, чем поправить и как—почти никто; ни даже социалисты, люди дальнего идеала, едва виднеющегося в будущем" [2]). Не таких сообщений могли ожидать от него люди, с восторгом читавшие сочинения „Петра Рыжего" (Pierre Leroux) и других социалистов.

Но оставим это. Исторический идеалист, утверждающий, что мнение правит миром, тем самым говорит, что сознание определяет собою бытие. А человек, утверждающий, что „доказать" предмет значит обнаружить его об'ективную необходимость, и что мысль должна быть не „вдумана" в действительность, а открыта в ней, тем самым говорит, наоборот, что мышление определяется бытием. Мы уже знаем, что Герцен в теоретической философии удовольствовался тем идеалистическим решением вопроса об отношении мышления к бытию, которое предложено было Шеллингом и Гегелем. Мы видели также, что в своей философии истории Герцен, подобно немецким левым гегельянцам, держался исторического идеализма. Теперь мы видим, что исторический идеализм оказался совершенно неспособным справиться с за-

---

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 189.
[2]) Сочинения, т. IV, стр. 182.

дачей научного обоснования социалистического идеала, и что Герцен болезненно почувствовал эту его несостоятельность. Мне остается прибавить теперь лишь очень немного.

XIII.

Во-первых. События 1848—49 г.г. не причинили собою разочарования Герцена в европейском Западе, а только усилили его, принеся с собою множество неотразимых, как казалось Герцену, доказательств, что социалистическая мысль находится в противоречии с эмбриогенией общественной жизни. Книга „С того берега“, так плохо понятая и в России и за границей, была воплем человека, к ужасу своему вполне убедившегося в том, что противоречие это неразрешимо.

Во-вторых. Задача, над которой бился в этом случае Герцен, и которую значительно раньше его пытался решить Белинский своим примирением с действительностью, не переставала добиваться своего решения от передовых людей России и в последующее время. Она стояла перед ними как сфинкс со словами: „Реши меня или я пожру твой социализм!“

В-третьих. Болезненно почувствовав несостоятельность исторического идеализма в деле выяснения вопроса о связи мышления с бытием в истории человечества, Герцен естественно, хотя, должно быть, и не вполне сознательно, обратился в сторону исторического материализма. Его убеждение в том, что общинная Россия осуществит идеал социализма, выработанный индивидуалистическим Западом, представляло собою своеобразную попытку решить ту самую задачу, которую не сумела, по его мнению, решить западно-европейская мысль: русская община сыграла в его полуславянофильской теории роль страстно искомого им „моста из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение“. Его апелляция к общине была полупризнанием того, что не мышление определяет собою бытие, а бытие определяет собою мышление. Это полупризнание было очень замечательно, поскольку оно шло от человека, стоявшего когда-то на почве исторического идеализма, и чрезвычайно характерно для Герцена, как для бывшего ученика Гегеля. В нем еще раз обнаружилась плодотворность влияния гегелевой диалектики на умы передовых русских людей 40-х г.г. [1]). Но, так как полупризнание осталось полупризнанием, оно привело и могло привести лишь к утопическому решению рокового вопроса.

В-четвертых. Последующие статьи Герцена, отводившие такое широкое место публицистике, уже не касались тех „первых вопросов“ философии, которыми занимались „Письма об изучении природы“, а в значительной степени также статьи: „Дилетантизм в науке“ и „Буддизм в науке“. Поэтому они заключают в себе мало данных для суждения о дальнейшем ходе развития философских взглядов Герцена. Едва ли не наиболее характерна в этом отношении напечатанная в 8-й книжке „Полярной Звезды“ остроумная статья: „Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова. Сочин. прозектора и ад'юнкт-профессора Тита Левиафанского“. Эта философская шутка интересна именно тем, что речь ведет в ней „prosector et anatomiae pro-

[1]) Полуславянофильская теория Герцена при всей своей ошибочности все-таки была значительно выше в теоретическом отношении, нежели тот абстрактный идеалистический взгляд на ход человеческого прогресса, которого Герцен держался прежде, и который впоследствии возродился у нас в „формуле“ П. Л. Лаврова: „Культура перерабатывается критической мыслью“.

fessor adj.", т.-е. натуралист, и что, написанная для натуралиста Шиффа, она очень понравилась не только ему, но и другому натуралисту Карлу Фохту. Можно думать, что к тому времени, когда она была написана, т.-е. во второй половине 60-х г.г., Герцен уже не довольствовался идеалистическим ответом Гегеля и Шеллинга на вопрос об отношении мышления к бытию. Он тогда, наверно, уже хорошо знал и вполне разделял взгляд на этот вопрос материалиста Фейербаха. Но „Aphorismata Тита Левиафанского" дают основание предполагать, что Герцен истолковывал этот взгляд,—по крайней мере, по временам, — в смысле того материализма, который Маркс назвал естественно-научным в узком смысле этого слова. Замечательно, что склонность к такому материализму обнаруживается Герценом уже в цитированной выше главе книги „С того берега" („Перед грозой"), т.-е. в том сочинении, в котором он так скорбно выразил свое разочарование в историческом идеализме. Вот весьма поучительный отрывок:

„Каждая эпоха, каждое поколение, каждая жизнь имели, имеют свою полноту, по дороге развиваются новые требования, испытания, новые средства, одни способности усовершаются на счет других, наконец, самое вещество мозга улучшается... что вы улыбаетесь?.. да, да, церебрин улучшается... Как все естественное становится вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав. Когда Гете был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространнее; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка? Этот родовой рост не цель, как вы полагаете, а свойство преемственно продолжающегося существования поколений" [1]).

Улучшение вещества головного мозга является одним из условий, благоприятствующих прогрессу. Это, конечно, чисто материалистическое убеждение. Но каким образом содействует прогрессу улучшенный церебрин? Он должен, как видно, способствовать появлению у людей более правильных взглядов на свои взаимные отношения, а, следовательно, и усовершенствованию общественного строя. Стало быть, он непосредственно ведет к улучшению того самого „мнения", которое „правит миром". Материализм немедленно переходит, таким образом, в идеализм. В этом и заключается коренной недостаток „естественно-научного" материализма. Этим же об'ясняется и то, что люди, более или менее последовательно держащиеся исторического идеализма, нередко очень легко мирятся с материализмом этого рода [2]).

---

[1]) Сочинения, т. V, стр. 36—37.

[2]) В своей книге: „Н. Г. Чернышевский" я показал, что наш знаменитый просветитель, вообще говоря, склонявшийся к историческому идеализму, по временам делался в своих исторических рассуждениях убежденным последователем „естественно-научного" материализма. Там же я показал, что он был верным учеником Фейербаха. Здесь я прибавлю, что немецкие последователи Фейербаха, тоже бывшие идеалистами в своей философии истории, тоже не отвергали подчас естественно-научного материализма. В интересной статье: „Feuerbach und die Socialisten" Карл Грюн доказывает, между прочим, что теперь философия должна не только стать на место религии, но целиком превратиться в науку практики, первой задачей которой является переустройство общественных отношений. При этом он опасается, однако, как бы его не поняли в том смысле, что теперь можно пренебрегать „антропологией и физиологией". Поэтому он оговаривается, что эти две зеленые ветви засохшего дерева философии должны войти в науку практики, которая станет „наукой обобществления, об'единения (Wissenschaft der Vergesellschaftung, der Vereinigung: подчеркнуто в подлин-

Когда „естественно-научный“ материализм немедленно возвращает к историческому идеализму человека, переставшего удовлетворяться идеалистическими рассуждениями, тогда этот человек должен чувствовать себя в довольно беспомощном положении [1]). Именно в таком положении чувствовал себя, вероятно, Герцен в то время, к которому относятся „Aphorismata Тита Левиафанского“. В этой остроумной философской шутке чрезвычайно много горечи. „Не в уме сила и слава истории, да и не в счастьи, как поет старинная песня, а в безумии“,—таков основной афоризм ученого прозектора и ад‘юнкт-профессора. „Кто настроил величественные храмы и воздвиг целые леса мрамора и порфира для славы божией? Кто одержал все победы, которыми гордятся века? Кто одевал лавровые венки на свирепых, окровавленных бойцов, стоявших на грудах трупов? Кто отводил руку народа от сохи, дал ему вместо нее меч и сделал его из пахаря земли пахарем смерти, убийцей по ремеслу, победителем и завоевателем, без которых не было бы ни Ассирии, ни Пруссии (привычка к цензуре постоянно заставляет меня умалчивать о любезном отечестве)?.. Кто?.. Будто разум“ [2])?.. Нечего и говорить, что, по мнению Тита Ливиафанского, дело тут не в разуме, а в безумии. Невольно вспоминаешь при этом замечание, сделанное некогда Герценом по поводу исторических взглядов славянофилов: „тут есть сумасшедшая консеквенция“.

Герцена называли иногда русским Вольтером. Это правильно разве только в том смысле, что Герцен был, подобно Вольтеру, очень остроумен. Отношение Герцена к проклятым вопросам своего времени очень мало походило на отношение фернейского патриарха к важнейшим задачам XVIII столетия. Вообще, человек, испытавший на себе глубокое влияние Гегеля, не мог довольствоваться вольтеровским способом мышления. Вернее было бы сказать, что некоторыми своими сочинениями, напр., „Записками д-ра Крупова“ и „Афоризмами Тита Левиафанского“, Герцен напоминает автора „Похвалы глупости“, Эразма Роттердамского. Но Эразму Роттердамскому гораздо легче было смеяться над историческими блужданиями человечества, нежели Герцену: он не стремился к построению на земле „веси господней“. Остроумный смех Герцена—автора „Афоризмов“—был, в полном смысле этого слова, смехом сквозь слезы.

Герцен упрекал когда-то славянофилов „в скептицизме и материализме“ за то, что они не умели взглянуть на историю как на „движение человечества к освобождению“. Теперь он сам, устами Тита Левиафанского, решительно отвергает подобный взгляд на исторический процесс.

Ад‘юнкт-профессор анатомии хочет, чтобы и впредь безумие, хранящее и утешающее человеческий род, сопровождало его, пока он не будет истреблен каким-нибудь геологическим переворотом. „И пусть“, говорит он: „перед его торжественным шествием несется, как и прежде, то лучезарное, то в облаках,

---

нике)“. См. „Deutsches Bürgerbuch“ für 1845 her. von H. Püttman Darmstadt. 1845, стр. 66. Научный социализм опирается преимущественно на экономию. Попытки опереться на физиологию встречаются в русском утопическом социализме до Михайловского включительно.

[1]) Как известно, сам Фейербах, временами указывавший на ограниченность „естественно-научного“ материализма, временами как будто готов был удовольствоваться им. В цитированной выше статье о книге Молешотта: „Учение о пище“ он категорически утверждает: „Der Mensch ist, was er isst (человек есть то, что он ест)“. Это—„естественно-научный“ материализм чистейшей воды. И против такого материализма ничего не возразил бы сам Тит Левиафанский.

[2]) Сочинения, т. X, стр. 415.

то полное, то с ущербом светило разума, пребывающее, как луна, все в том же расстоянии от земного шара, как бы он ни торопился“ [1]).

Это несколько странно: откуда взялось у нашего прозектора „светило разума“? Сам Герцен сообщает, что Карл Фохт, шутя, требовал ответа Левиафанскому, „обвиняя его в скрытном деизме на том основании, что он своего бога спрятал в фонаре, которого нет“. Фохт был совершенно прав. Но Герцен побоялся, что его шутка надоест читателю, и потому не решился вступить в спор с Титом. А жаль! Было бы очень интересно знать, что, собственно, возразил бы он ему насчет „фонаря“. Мне сдается, что „светило разума“, всегда остающееся на одинаковом расстоянии от земного шара, было символом тех отвлеченных идеалов, от которых нет моста к земной действительности. Читатель помнит, что на непримиримое противоречие между этой действительностью и этими идеалами Герцен указывал еще „перед грозой“, т.-е. в 1847 г. (см. выше). Теперь мы видим, что оно не перестало мучить его в 1867 г., т.-е. 20 лет спустя. Вызванное им тяжелое сомнение не покидало его,—как горе-злосчастие доброго молодца в известной песне,—от начала до конца его общественной деятельности на свободной почве Запада. Оно наложило свою глубокую печать на некоторые из самых лучших его произведений. Эти произведения, между прочим, потому и нравятся многим буржуазным сверх-человекам и просто либеральным филистерам, что в них слышится нота, скептическая по отношению к социализму. Но придет время, когда историки социализма выяснят, наконец, истинный смысл этого мучительного сомнения. Они отведут нашему блестящему автору одно из самых видных мест в ряду тех писателей первой половины XIX века, которые, всем сердцем сочувствуя социализму, более или менее ясно сознавали шаткость его утопической основы и делали — оставшиеся безуспешными, но все-таки в высшей степени замечательные — попытки поставить его на прочный фундамент науки [2]).

XIV.

Что передовые русские люди 40-х г.г. не могли сделаться основателями научного социализма, это в достаточной мере об'ясняется экономической отсталостью России и их неполным знакомством с экономикой Запада. Но, что эти люди дошли до сознания неудовлетворительности утопического социализма, это свидетельствует об их выдающейся даровитости. Конечно, тут чрезвычайно много значила школа Гегеля, через которую они имели великое счастье пройти. Но очень многие немецкие социалисты тоже испытали на себе благотворное влияние Гегеля; однако, между ними только Маркс и Энгельс поняли, каким образом социализм из утопии может сделаться наукой. Все

---

[1]) Сочинения, т. X, стр. 415—416.

[2]) Теоретическая драма Герцена заключалась в том, что он, чувствуя несостоятельность исторического идеализма, не мог сделаться историческим материалистом. Это вполне очевидно и чрезвычайно поучительно. Теперь пора, кстати, об'яснить, что надо понимать под его термином „реализм“. „Крайним реализмом“ назывался у него материализм. Ясно поэтому, что слово „реализм“, не сопровождаемое эпитетом „крайний“, обозначало в его „Письмах об изучении природы“ недостаточно определившуюся позицию между материализмом и идеализмом. Но, как уже сказано, нападая на идеализм, Герцен имел в виду, собственно, суб'ективный идеализм. Абсолютный идеализм продолжал удовлетворять его своим решением антиномии между мышлением и бытием. Этого не понимают люди, одновременно ухитряющиеся хвалить Герцена за его склонность к „реализму“ и порицать Гегеля за его „метафизику“.

остальные гегельянцы (и фейербахианцы), увлекавшиеся социализмом, вполне довольствовались его утопической основой. Вот почему мы с полным правом можем считать наших Белинского и Герцена людьми несравненно более даровитыми, нежели Грюн, Гесс, Земмиг, Фр. Шмидт и другие философские социалисты Германии.

Каков человек, такова и его философия, — говаривал Фихте. Эти его слова вполне применимы к Герцену. Его философия была философией человека деятельного по преимуществу. Интересно следить по его дневнику за тем впечатлением, которое производило на него чтение великих философов. Их теоретические заслуги определяются им не всегда безошибочно и, пожалуй, слишком бегло, но зато он всегда безошибочно и подробно отмечает то, что можно назвать деятельной стороной их теорий. Возьмем для примера Спинозу. Отзывы о нем в дневнике не показывают, чтобы Герцену удалось выяснить себе ту сторону спинозизма, за которую Фейербах называл Спинозу „Моисеем новейших свободных мыслителей и материалистов". Но нельзя без огромного удовольствия читать у Герцена хотя бы вот эти строки об авторе „Этики": „Не говоря о целом учении его, замечу, какие молнии гения беспрестанно прорываются у него, например: homo liber de nulla re minus quam de morte cogitat et eius sapientia non mortis, sed vitae meditatio est (свободный человек меньше всего думает о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, но о жизни)" [1]). Эту мысль Спинозы вряд ли нашли бы гениальной нынешние наши религиозные искатели, в роде г. Мережковского, думающего гораздо больше о смерти, нежели о жизни. Но в том-то и дело, что ни к одному из них не применимо название homo liber, и что Фихте прав: каков человек, такова и его философия.

Много лет спустя, в своем „Колоколе" 1864 г., Герцен напечатал ряд статей, озаглавленных: „Письма к противнику" и содержащих в себе ответы на упреки, письменно и устно сделанные ему Ю. Ф. Самариным. Эти ответы тоже не понравились бы жвачным „искателям", в роде г. Мережковского, любящим пережевывать старые теологические доводы. Герцен писал, между прочим: „Вы находите, напр., непоследовательным, что человек, не верующий в будущую жизнь, вступается за настоящую жизнь ближнего. А мне кажется, что только он и может дорожить временной жизнью своей и чужой; он знает, что лучше этой жизни для существующего человека ничего не будет, и сочувствует каждому в его самохранении. С теологической точки зрения смерть представляется совсем не такой бедой; религиозным людям была нужна заповедь „не убий", чтоб они не принялись людей спасать от греховного тела; смерть, собственно, одолжает человека, ускоряя его вечную жизнь. Грех убийства состоит вовсе не в акте плотоумерщвления, а в самовольном повышении пациентов в высший класс" [2]).

Это место, интересное во многих отношениях, едва ли не более всего интересно тем, что по своему содержанию оно близко к рассуждению Фейербаха о несовместимости,—разумеется, в последовательно мыслящей голове,— „идеализма или спиритуализма" с приверженностью к политической свободе... „Спиритуалист", говорил Фейербах, „довольствуется духовной свободой... Для спиритуалиста политическая свобода есть материализм в области политики. К действительной свободе принадлежит—материальная, телесная... Спиритуалист довольствуется свободой в мысли". Герцен, наверно, не читал именно этого

[1]) Сочинения, т. I, стр. 136—137.

[2]) См. „Первое письмо к противнику", „Колок." от 15 ноября 1864 г. Перепечатано в сборнике: „Колокол". Избр. статьи А. И. Герцена. Женева. 1887 г. С предисловием... нынешнего редактора „Московских Ведомостей", Л. А. Тихомирова.

рассуждения Фейербаха: оно было напечатано только после смерти немецкого материалиста в его изданном Карлом Грюном литературном „Наследстве“ [1]). Но мысль, высказываемая здесь Фейербахом, до такой степени согласна со всем его,—окончательным,—образом мыслей, что близость к ней довода, выдвинутого Герценом против Самарина, лишний раз доказывает хорошее знакомство издателя „Колокола“ с автором „Основ философии будущего“. Фейербах, без сомнения, признал бы вполне правильным то соображение Герцена, что человек, верующий в загробное существование, не имеет повода слишком горячо отстаивать земную жизнь своего ближнего.

Дальше следует чрезвычайно характерное место, могущее послужить новым аргументом в пользу сказанного выше о том, что учение Герцена о нравственности содержит в себе всю истину толстовской теории непротивление злу насилием. Это место длинновато; но читатель, конечно, не посетует на меня за то, что я продлю предстоящее ему удовольствие непосредственной беседы с Герценом.

Благочестивый Ю. Ф. Самарин наивно спрашивал Герцена, какими нравственными наказаниями думает он заменить телесные, и не телесные ли наказания тюрьма, ссылка и проч. Тот отвечал на это, что он не князь Черкасский и не считает нужным придумать детские или старческие, светские или духовные розги и их эквиваленты. Самарин напоминает ему человека, который спросил бы, чем думают заменить холеру люди, стремящиеся к ея уничтожению. По его справедливому мнению, такой вопрос не разрешим.

„Розги и тюрьмы“, грабеж судом выработанного и насильственная работа виновного“, говорит он: „все это телесные наказания, и могут быть только заменены другим общественным устройством.

„Материалист Оуэн не искал не преступников, ни наказаний, ни уравнений между кандалами и побоями, а думал, как найти такие условия жизни, которые не наводили бы людей на преступления. Он начал с воспитания; испуганные безнаказанностью детей, пиэтисты закрыли его школу.

„Фурье попытался самые страсти, причиняющие в своем необузданном и, вместе с тем, стесненном состоянии, все преступные взрывы и отклонения направить на пользу общества—в нем заметили одну смешную сторону...

„Целые страны существуют без телесных наказаний, а у нас еще ведут контраверзу о том: сечь или не сечь? Если сечь—чем сечь? Если не сечь—сажать ли на цепь или в клетку?.. Что лучше, розга или клетка?..

„Уничтожение наказаний невозможно“, скажете вы с точки зрения религии, которая сделала себе специальностью все прощать, все прощать. Может быть; но, ведь, из этого не следует, что наказание надо выдавать за правду, а не за то, что они есть—за печальную необходимость, за несчастное последствие. О самих вменениях хлопотать нечего, они найдутся. Пока будет судейское ремесло, пока останется кровавый кодекс общественной мести и средневековое невежество масс, хирург правосудия—палач не умрет без работы“ [2]).

Все это, поистине, превосходно. Герцен, как видно, очень хорошо знал те мысли современных ему социалистов, которые относились к вопросу о наказаниях. И он, разумеется, не поверил бы, если бы ему сказали, что в недалеком будущем весь цивилизованный мир станет рукоплескать, как Колумбу, некоему пророку, который оденет эти мысли в мистический костюм и, прибавив к ним консервативный орнамент, уничтожающий всю их внутреннюю кра-

[1]) Сочинения, т. II, стр. 328.
[2]) Цитир. сб. „Колок.“, стр. 517.

соту, возвестит их как свое великое открытие. Он подумал бы, что человек, предсказывающий ему появление подобного пророка, или насмехается над ним, своим слушателем, или клевещет на цивилизованный мир...

Пойдем дальше. Я уже сказал, что Герцен ошибался, признавая верным гегелево учение об единстве мышления и бытия. Но трудно было бы не признать, что он был совершенно прав, с восторгом цитируя размышление Гегеля о смертной казни. Что поражает нас в ней? В ответ на этот вопрос Герцен приводит длинные немецкие цитаты из Гегеля. Я переведу из них наиболее замечательные строки: „Нам бросается в глаза беззащитный человек, которого выводят связанным и окруженным многочисленной стражей, сопровождаемого гнусными помощниками палача, а также взывающими к нему и читающими молитвы духовными лицами, которым внимает преступник, чтобы заглушить в себе сознание переживаемого момента. Отталкивающее впечатление, производимое зрелищем беззащитного человека, предаваемого смерти превосходным числом людей, к тому же вооруженных, только потому не вызывает негодования в зрителях, что для них свят приговор закона. И, хотя палачи служат правосудию, но это обстоятельство все-таки не может уничтожить того впечатления, под влиянием которого люди считают гнусным и клеймят позором ремесло или звание этих людей, способных всенародно и хладнокровно убить беззащитного человека, исполняющих свою службу, подобно слепым орудиям или диким зверям, которым некогда отдавали на растерзание преступников“ [1]).

А вот—опять переведенное мною—другое место, выписанное Герценом из того же Гегеля: „Кто слишком пренебрегает конечным, тот никогда не достигает ничего действительного, но остается в абстракции и погружается в самого себя (Enzycl, т. I, § 92)“ [2]). Это стоит целого трактата, который давно пора бы написать для назидания тех буржуазных сверх-человеков, которые никак не могут примириться теперь с элементом „конечного“ (именуемого ими мещанским) в великом освободительном движении нашего времени.

Наконец, еще одно место из известного обращения Гегеля к своим слушателям в 1818 г.: „Мужественное отношение к жизни, вера в силу духа есть первое условие философских занятий; человек должен уважать самого себя и считать себя достойным самого высшего. Скрытая сущность вселенной не имеет в себе такой силы, которая могла бы сопротивляться мужеству познания; она должна открыться перед ним, обнаружить свою глубину и предоставить свои богатства в его пользование“ [3]). Когда встречаешь такие отрывки из Гегеля у того или другого человека 40-х г.г., тогда начинаешь понимать, какое возвышающее и облагораживающее влияние оказывал на них тот „философский колпак Егора Федоровича“, на который они имели право нападать, потому что умели также глубоко ценить его, и над которым наши „суб'ективные“ невежды насмехались впоследствии единственно по своей философской малограмотности.

Восьмого января 1845 г. Герцен писал в своем дневнике: „Наказание—современная нелепость. В развитом государстве и в будущем будут удивляться, как правительство вступало в соревнование с каждым злодеем и делало такую же мерзость над ним, какую он сделал, с тем различием, что он был более или менее вынужден обстоятельствами, а правительство так без всякой нужды. Казнь, это—абсолютное преступление. Но где же истинное, непогрешающее мерило того, что хорошо, и того, что дурно для человека? В самом

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 60—61.
[2]) Там же, стр. 213.
[3]) Там же, стр. 209.

понятии человека, развивающегося в истории, в историческом моменте, в среде, в которой он вырос. Хорошо все то, что развивает слитно-родовое и индивидуальное течение человека; дурно, если индивидуальное, феноменальное совершенно поглощает общечеловеческое. Дурно, если тело совершенно задавит дух, но наказывать (scilicet, в развитом государстве) и за это нельзя; такие люди будут презираемы, а дело положительных законодательств, чтобы эти отрицательные люди не могли положительно вредить, как безумные, как дураки, как животные“ [1]). Эти строки написаны под очевидным влиянием Гегеля, а также, конечно, социалистических писателей. Нетрудно видеть, что они заключают в себе все то золото, которое можно найти в так называемом учении Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием. Находясь под влиянием Гегеля и социалистов, Герцен отвергает насилие как средство исправления общественных нравов, совершенно не касаясь здесь, однако, вопроса о насилии как о средстве устранения препятствий, затрудняющих улучшение общественных отношений, а с ними и общественной нравственности. Читатели, знакомые с моей статьей: „А. И. Герцен и крепостное право“, помнят, может-быть, разговор отрока-Герцена со своим французским учителем Бушо из Меца. Уже, судя по одному тому, как передает Герцен этот свой разговор, можно с уверенностью утверждать, что он понимал великий исторический смысл положительного решения указанного вопроса.

---

[1]) Сочинения, т. I, стр. 261.

Герцен-эмигрант.

Герцен оставил Россию в январе 1847 г. В начале он рассчитывал повидимому, скоро вернуться на родину, но уже два года спустя он видит себя вынужденным надолго остаться за границей. Первая глава его книги „С того берега“, помеченная 1 марта 1849 г., носит характерное название: „Прощайте!“ Он говорит там, обращаясь к своим друзьям в России: „Наша разлука продолжится еще долго, — может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом не знаю, будет ли это возможно“. Осенью следующего года обстоятельства сложились так, что его возвращение стало окончательно невозможным. „Одним утром“ он получил через русского консула в Ницце бумагу, требовавшую, „чтобы такой-то немедленно возвратился, о чем ему об'явить, не принимая от него никаких причин, которые могли бы замедлить его от'езд, и не давая ему ни в каком случае отсрочки“. Герцен отказался последовать этому высочайше нетерпеливому приглашению, и с тех пор его „легальные“ связи с далекой, но дорогой Россией были покончены навсегда. Жизнь эмигранта,—даже совершенно обеспеченного в материальном отношении, как это было с нашим автором,—всегда тяжела. Герцен признавался впоследствии, что предпочел бы ссылку в Сибирь скитальческой жизни за границей. Но историку русской литературы едва ли приходится жалеть о принятом Герценом решении. Можно почти с полной уверенностью сказать, что только при свободных условиях западно-европейской жизни и только благодаря богатому запасу впечатлений, полученных им на Западе, Герцен мог сделать в нашей литературе то, что он сделал. В его лице наша общественная мысль, вынужденная цензурой наряжаться в одежду литературной критики, открыто и смело вошла, наконец, в области публицистики.

Прощаясь со своими русскими друзьями, Герцен писал в цитированной выше главе книги „С того берега“: „Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки; но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме н а ш е г о дела... Я здесь полезнее, я здесь бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель“. Но кроме этой роли бесцензурной речи передовых людей России наш автор решился взять на себя еще другую роль. „Для русских за границей есть еще другое дело,— говорил он.—Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего... Пусть она узнает ближе народ, которого отроческую силу она оценила в бое, где он остался победителем; расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе.

Выполнение Герценом первой из двух указанных нами ролей началось основанием в мае 1853 г. вольной русской типографии в Лондоне и продолжалось изданием „Полярной Звезды“ и „Колокола“. Вторая роль выполнена

была им в целом ряде статей, брошюр, речей и открытых писем к выдающимся деятелям западно-европейской демократии. И там, и здесь Герцен обнаружил, по своему обыкновению, очень много ума, знаний, чувства и литературного таланта. Наша задача заключается в том, чтобы дать краткий очерк этой необыкновенно блестящей деятельности. И, повидимому, нет ничего легче, как исполнить эту задачу. Сочинения такого высоко-талантливого человека, как Герцен, говорят сами за себя: умейте только цитировать их кстати, и читателю трудно будет оторваться от вашего очерка. Но беда в том, что кстати цитировать Герцена далеко не так легко, как это кажется на первый взгляд.

В его чрезвычайно блестящей литературной деятельности очень много парадоксального и даже противоречивого. Чтобы разобраться в его парадоксах и противоречиях, необходимо глубоко проникнуть в ход его умственного развития. А чтобы с успехом сделать это, приходится касаться таких вопросов, которые не имеют прямого отношения к жизни и деятельности Герцена за границей. Пусть же читатель не сетует на нас, видя, что мы обращаемся к этим вопросам.

I.

Настроение Герцена в течение последних лет его пребывания в России было, несмотря на его природную страстишку (как выражался Белинский) к веселым остротам, очень тяжелым. Мы видим это почти на каждой странице его „Дневника“, относящегося к 1842—45 г.г. Вот, например, 11 сентября 1842 г. он спрашивал в своем „Дневнике“: „Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между тем наше страдание—почка, из которой разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений, пьем вино и пр.?.. Отчего руки не поднимаются на большой труд? Отчего в минуту восторга не забываем тоски?.. О, пусть они остановятся с мыслью и с грустью перед камнями, под которыми мы успем, мы заслужили их грусть! Была ли такая эпоха для какой-либо страны: Рим в последние века существования—и то нет“. Двадцать второго числа того же месяца он пишет там же: „Высочайшее произведение русской живописи, разумеется, Последний день Помпеи. Странно, предмет ее переходит черту трагического, самая борьба невозможна. Дикая, необузданная Naturgewalt с одной стороны и безвыходно трагическая гибель всем предстоящим... Почему русского художника вдохновил именно этот предмет?“ Ответ ясен: потому, что в борьбе с „дикой, необузданной Naturgewalt“ гибнут и гибли лучшие русские люди. В виду этого неудивительно, что в другом месте „Дневника“ (от 10 апреля 1843 г.) мы встречаем такие строки: „Сегодня я читал какую-то статью о „Мертвых душах“ в „Отеч. Зап.“, там приложены отрывки. Между прочим русский пейзаж (зимняя и летняя дорога); перечитывание этих строк задушило меня какой-то безвыходной грустью, эта степь-Русь так живо представилась мне, современный вопрос так болезненно повторялся, что я готов был рыдать: Долог сон, тяжел. За что мы рано проснулись—спать бы себе, как все около.—Довольно!“

Когда русский человек находится у себя дома в таком тяжелом настроении,—и заметьте: по причинам не личного, а общественного свойства,—тогда легко понять, что он с удовольствием едет за границу. Герцен, почти с детских лет жадно внимавший рассказам о славных временах великой французской революции, нетерпеливо рвался во Францию и больше всего,

разумеется, в Париж. Описывая в 5-ой части „Былого и Дум“ свое первое путешествие с семьей по Западной Европе, он говорит:

„Берлин, Кельн, Бельгия, все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать, и доехали наконец... В Париже—едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове „Москва“. Об этой минуте я мечтал с детства. Дайте же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy в Пале Ройяле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком à la Bastille!

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова—вот rue St.-Honoré, Елисейские поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет... Я был вне себя от радости!“

Нельзя не сочувствовать радости, идущей из такого чистого источника; к сожалению, она оказывается весьма непродолжительной. Западная жизнь уже скоро начинает производить на Герцена весьма тяжелое впечатление. И чем дольше живет он за границей, тем более усиливается это впечатление. Он сам говорит о себе: „Начавшись с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на родину“. К этому надо прибавить, что его духовное возвращение на родину имело для него огромнейшее нравственное значение: оно, по его собственному признанию, спасло его на краю нравственной гибели. В чем же тут дело? Разве в России перестала господствовать „дикая, необузданная Naturgewalt“? Нет! Духовное возвращение Герцена на родину совершалось в такое время, когда господство этой Naturgewalt не только не прекратилось и не только не обещало скоро прекратиться, но достигло, можно сказать, наивысшей степени: в последние годы царствования Николая I. И в этом состоит одно из наиболее парадоксальных явлений духовной жизни Герцена. Очень нередко это парадоксальное явление об'ясняется неудачным исходом революционного движения 1848—9 г.г. Так, например, г. Н. Белозерский говорит: „Разочарование Герцена в Зап. Европе начинается с 1848 г.: благоговейно-восторженное отношение сменяется холодным скептицизмом, переходящим порой в полное отчаяние перед тем будущим, которое ожидает Европу. Франция была первой страной, обманувшей Герцена в его ожиданиях и надеждах“ [1]). Такое об'яснение представляется на первый взгляд не только не вероятным, но и прямо несомненным, потому что его придерживался сам Герцен. „Видя, как Франция смело ставит социальный вопрос, я предполагал,—говорит он,—что она хоть отчасти разрешит его, и оттого был, как тогда называли, западником. Париж в один год отрезвил меня“—зато этот год был 1848-ой. Во имя тех же начал, во имя которых я спорил с славянофилами за Запад, я стал спорить с ним самим“ („Колокол“, № 191). Но это свидетельство Герцена нуждается в весьма существенной поправке: „отрезвление“ нашего автора началось на самом деле раньше 1848 г. И это обстоятельство имеет как нельзя более важное значение в истории его умственного развития.

Чтобы убедить читателя в справедливости наших слов, мы сошлемся на свидетельство того же Герцена. В одном из своих писем Бакунину он спрашивает его: „Помнишь наши долгие разговоры перед февральской революцией, в которых я, как прозектор, указывал рост смерти западного „старика“, а ты с надеждой и упованием—рост едва обличившейся жизни славянского недоросля. Я и в него не очень верил, а верил в одну Россию и ее

[1]) А. И. Герцен, Славянофилы и западники, Спб. 1905 г.

социальные зачатки“ (подчеркнуто Герценом; это письмо напечатано в „Колоколе“ от 1-го июля 1867 г.).

Вы видите: еще до февральской революции Герцен ведет с Бакуниным „долгие разговоры“, в которых указывает на рост смерти западного старика. Кажется, что мы уже тут видим перед собой довольно серьезное разочарование в „Зап. Европе“. И этому свидетельству Герцена вполне соответствуют некоторые места в его „Письмах из Франции и Италии“. Так, например, в начале пятого письма он называет Париж единственным местом в гибнущем Западе, где широко и удобно гибнуть. В том же самом письме он, сравнивая русское село с западно европейским, не знающим общинного землевладения, замечает: „Русского села в Европе нет. Смысл деревенской коммуны в Европе только полицейский; что общего между этими разбросанными домами, огораживающимися друг от друга? у них все особое, они связаны только общей межой; что может быть общего между голодными работниками, которым коммуна предоставляет le droit de glaner, и богатыми домохозяевами? Да здравствует, господа, русское село—-будущность его велика!“

Сделанные нами выписки заключают в себе, в кратком виде, те самые мысли о судьбе Запада и о значении русской общины, которые Герцен настойчиво проповедывал после 1868 г., и возникновение которых об'ясняют разочарованием, причиненным революционными неудачами этого года. Мы не спорим: события 1848 г. имели большое значение в истории умственного развития Герцена; но значение это не совсем таково, как обыкновенно думают.

Дело представляется нам в таком виде. Вырвавшись из России и попав в Париж, который тогда мог с гораздо большим правом, чем теперь, претендовать на имя „города-солнца“, Герцен вскоре после первых восторгов начинает сомневаться в судьбах Франции, а с нею и всей Западной Европы, вследствие чего переезжает (осенью того же года) в Италию, чтобы стряхнуть с себя полученные во Франции тяжелые впечатления. В Италии, переживавшей тогда сильный политический под'ем, его настроение становится несравненно более отрадным, а когда разражается в Париже буря февральских дней, он опять спешит во Францию с новой верой в ее революционное призвание. Но уже 15-го мая он видит, что республика, по его выражению, ранена на смерть, и с этих пор он идет от одного разочарования к другому вплоть до coup d'état Луи-Бонапарта, после которого ему остается только воскликнуть: „vive la mort!“ И тогда к нему опять возвращаются с удвоенной настойчивостью те мысли о „росте смерти западного старика“, которые он развивал еще до февральской революции в „долгих разговорах“ с Бакуниным. Тогда же воскресает в нем старая вера „в одну Россию и ее социальные зачатки“, сложившаяся у него, очевидно, не без влияния славянофилов еще во время пребывания его в Москве [1]). Темная ночь реакции, покрывшая Европу после бона-

---

[1]) Семнадцатого мая 1844 г., получив от Белинского известное письмо, в котором тот громил его за сношения с славянофилами и восклицал: „Я жид по натуре и с филистимлянами за одним столом есть не могу“, Герцен записывает в своем „Дневнике“: „Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu в славянском вопросе: перед ними я человек Запада, перед их врагами—человек Востока“. Это очень знаменательное признание. Но этого мало. В 30 главе четвертой части „Былого и Дум“ Герцен писал о П. В. Киреевском: „В его взгляде (и это я оценил гораздо после) была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоянии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 г.“. Поэтому можно предположить, что разговоры с П. В. Киреевским больше всего содействовали возникновению у Герцена веры в „социальные зачатки“ России.

партовского coup d'état, могла, конечно, только укрепить в Герцине мнение о „росте смерти старика". И мы в самом деле видим, что мнение это становится у него все более и более прочным до тех пор, пока Международное Товарищество Рабочих не вызывает в нем новой надежды на то что и на Западе найдутся силы, способные решать „социальные вопросы" [1]). Но смерть не дает окрепнуть этой новой надежде.

II.

Теперь спрашивается: что же, собственно, привело Герцена к безотрадной мысли о росте смерти „старика"? Мы упомянули о влиянии на него славянофилов. Но ведь были же, вероятно, в жизни Западной Европы такие явления, которые поддержали это влияние и позволили ему окрасить собою все социально-политические взгляды Герцена. Какие же это явления? Ответа на этот вопрос надо искать в его „Письмах Avenue Marigny" [2]).

В четвертом письме (помеченном: Париж. 15 сентября 1847 г.) Герцен говорит: „Франция ни в какое время не падала так глубоко в нравственном отношении, как теперь. Она больна. Это чувствуют все, Гизо и Прудон, префект полиции и Виктор Консидеран".

Старик близится к смерти, потому что он болен. Это понятно. Однако, в чем же состоит его болезнь? почему она неизлечима?

Болезнь состоит в том, что „большинство"—„народ, работники, чернь"— Герцен одинаково употребляет все эти выражения, находится в полной зависимости от меньшинства, т. е. от буржуазии. А в зависимость эту оно попало потому, что во время прошлых переворотов была упущена из виду „экономическая сторона, которая тогда еще не была настолько зрела, чтоб занять свое место". Последствия этой ошибки дают себя чувствовать во всех проявлениях общественной жизни Западной Европы вообще и Франции в частности. Нужно исправить эту ошибку. Но беда в том, что исправить ее некому. Социалисты? Они были сильны в критике и слабы в своих положительных программах. К тому же их не понимал народ, который, по словам Герцена, слишком поэт и слишком дитя, „чтоб увлекаться отвлеченными мыслями и чисто экономическими теориями". Утопические опыты нового хозяйственного устройства (фаланстеры, коммунистические общины и проч.) окончились неудачей. Герцен следующим образом об'ясняет их крушение:

„Попытки нового хозяйственного устройства, одна за другой, выходили на свет и разбивались о чугунную крепость привычек, предрассудков, фактических стародавностей, фантастических преданий. Они были сами по себе полны желанием общего блага, полны любви и веры, полны нравственности и преданности, но не знали, как навести мосты из всеобщности в действительную жизнь, из стремления в приложение".

Итак, вот каково было положение дел: социалисты видели причину зла и даже придумали более или менее удовлетворительные средства для его устранения; но они не умели навести мосты, ведущие из области теории в

---

[1]) Это новое настроение Герцена сказалось в его „Письмах к старому товарищу" (т. е. к Бакунину). Особенно интересно в этом смысле второе письмо, помеченное: Ницца, 26 января 1869 г. В этом письме Герцен говорит: „Международные рабочие с'езды становятся ассизами, перед которыми вызывается один социальный вопрос за другим; они получают больше и больше организующий склад, их члены эксперты и следователи... Международный союз может вырасти в Авентинскую гору à l'intérieue " и т. д.

[2]) Четыре письма из Avenue Marigny, напечатанные первоначально в „Современнике" 1847 г. (тт. V и VI), вошли потом в Письма из Франции и Италии".

10*

действительную жизнь; поэтому их идеалы остались неосуществимыми. Мы сказали, что, по мнению Герцена, тогдашние социалисты указывали „более или менее удовлетворительные средства“ устранения общественного зла. Мы выразились так не без умысла. Дело в том, что ни одна из тогдашних социалистических систем не удовлетворяла вполне нашего автора. Он находил, что во всех построениях социалистов человек, освобожденный от нищеты, не становится свободным человеком, а как-то теряется в общине. И это большой недостаток. „Понять всю ширину и действительность, понять всю святость прав личности,—говорит Герцен,—и не разрушить, не раздробить на атомы общество,—самая трудная социальная задача. Ее разрешит, вероятно, сама история для будущего, в прошедшем она никогда не была разрешена“.

К формулировке этой задачи Герцен не раз возвращался и в последующих своих сочинениях. Но как ни велика была важность ее в его глазах, она все-таки имела для него лишь второстепенное значение. И потому мы не будем останавливаться на ней. Главной бедой тогдашней Франции, грозившей смертью всему ее общественному организму, он считал указанное выше противоречие между общественной жизнью с одной стороны и лучшими проявлениями общественной мысли с другой. Это противоречие представлялось Герцену неразрешимым. Массы были глухи к голосу социалистов вследствие своего невежества, а невежество их являлось, в свою очередь, неизбежным следствием их нищеты. „Нет образования при голоде,—говорит Герцен;—чернь будет чернью до тех пор, пока не выработает себе пищу и досуг“. А досуга не будет у нее, пока она останется невежественной. Герцен не видел выхода из этого противоречия и оттого считал положение „старика“ безнадежным. Он писал: „Надежда у буржуазии одна—невежество масс. Надежда большая, но ненависть и зависть, месть и долгое страдание образуют быстрее, нежели думают. Может, массы долго не поймут, чем помочь своей беде, но они поймут, чем вырвать из рук несправедливые права, не для того, чтобы воспользоваться, а чтоб разбить их, не для того, чтоб обогатиться, а чтоб пустить других по миру“.

Когда массы способны восстать только для того, чтобы пустить других по миру, а не для того, чтобы освободить себя, тогда можно не без основания опасаться за жизнь общественного организма.

Эта мысль, как видно, очень занимала Герцена в течение всего 1847 г. Мы встречаемся с нею не только в „Письмах из Avenue Marigny“, но также в 1-ой главе книги „С того берега“, тоже написанной, как известно, еще до февральской революции (она помечена: Roma, via del Corso, 31 декабря 1847 г.). Герцен говорит там, характеризуя трагическое положение своих мыслящих современников: „Беда в том, что мысль забегает всегда далеко вперед, народы не поспевают за своими учителями; возьмите наше время, несколько человек коснулись переворота, который совершить не в силах ни они сами, ни народы. Передовые думали, что стоит сказать: „брось одр твой и иди за нами“—все и двинется; они ошиблись, народ их так же мало знал, как они его, им не поверили. Не замечая, что за ними никого нет, эти люди предводительствовали, шли вперед; спохватившись, они стали кричать отставшим, махать, звать их, осыпать упреками—но поздно, слишком далеко, голоса недостает, да и язык их не тот, которым говорят массы. Нам больно сознаться, что мы живем в мире, выжившем из ума, дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает силы и поведения, чтоб подняться на высоту собственной мысли“.

В другом месте той же главы („Перед грозой“), представляющей собой род диалога, собеседник Герцена спрашивает: „Но кто же по-вашему прав? мысль

ли теоретическая, которая точно так же развилась и сложилась исторически, но сознательно, или факт современного мира, отвергающий мысль и представляющий так же, как она, необходимый результат прошедшего".

На это Герцен решительно отвечает: „Оба совершенно правы. Вся эта запутанность выходит из того, что жизнь имеет свою эмбриогению, не совпадающую с диалектикой чистого разума. Я помянул древний мир, вот вам пример: вместо того, чтоб осуществлять республику Платона и политику Аристотеля, он осуществил Римскую республику и политику их завоевателей вместо утопий Цицерона и Сенеки—Лонгобардское графство и германское право".

Просим читателя обратить внимание еще на то, что уже в этой статье Герцен допускает возможность завоевания Россией Западной Европы в том случае, если эта последняя не сумеет справиться со своим „социальным вопросом". Но это мимоходом.

III.

Известно, что собеседник Герцена, фигурирующий в статье „Перед грозой", совсем не выдуманное лицо. По словам Герцена, это был И. П. Галахов, о котором идет речь в 29-ой главе четвертой части „Былого и Дум". Герцен говорит, что в то время И. П. Галахов, несмотря на свою склонность к иронии, „хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям". Основная мысль главы „Перед грозой" состоит в том, что „романтические надежды" не основательны, а „какие-то верования" не выдерживают критики. Это уже полное разочарование. Понятно поэтому, что в первом же письме из Avenue Marigny (помечено: Париж, 12 мая 1847 года) Герцен писал: „Везде скучно, будьте уверены... В Париже—весело-скучно, в Лондоне—безопасно-скучно, в Риме—величаво-скучно, в Мадриде—душная скука, в Вене—скука душная. Что тут прикажите делать!.. Вот время какое пришло!"

Причина Герценова разочарования теперь рисуется перед нами с некоторой ясностью. Она заключалась в неумении разрешить антиномию между указаниями мысли и ходом жизни, между требованиями социалистического идеала и прозаическими данными западно-европейской действительности. Герцен говорит, что он не может отказаться от достигнутого им развития, не может не знать того, что знает. „Наша цивилизация,—говорит он,—лучший цвет современной жизни, кто же поступится своим развитием?" Но именно эта невозможность покинуть раз достигнутую степень развития и является источником страданий современного передового человека. Социалистический идеал мог бы явиться источником нравственного удовлетворения только в том случае, если бы у людей, им проникнутых, было какое-нибудь об'ективное ручательство за то, что он осуществится. А Герцен ни в чем не видит этого ручательства. Он говорит Галахову: „Нет причины думать, что новый мир будет строиться по нашему плану" (та же статья). Несколько далее он, указав на невозможность покинуть достигнутую ступень развития, прибавляет: „Но какое же это имеет отношение к осуществлению наших идеалов, где лежит необходимость, чтобы будущее разыгрывало нами придуманную программу?"

Иначе сказать: уже в 1847 году тогдашний утопический социализм перестал удовлетворять Герцена по той причине, что не заключал в себе теоретических данных, необходимых для разрешения антиномии между суб'ектом и

об'ектом, между сознанием и бытием, в ее применении к ходу исторического развития человека.

До какой степени доходила неудовлетворенность нашего автора, показывают его слова, обращенные к Галахову: „Вы ищете найти знамя, а я ищу потерять его". К этому нечего прибавлять. При таком взгляде, естественно, приходили мысли о „росте смерти западного старика", и также естественно было утешать себя надеждой на „социальные зачатки" России, которые годились для этой роли утешителей именно благодаря своей крайней неясности и неопределенности.

Чтобы дойти до такого состояния, нужно было пережить целую душевную драму. Мы видим теперь, что драма эта была пережита Герценом уже в первые месяцы его пребывания на Западе. Больше мы не будем возвращаться к этому предмету и взглянем на дело с другой стороны.

Мысль Герцена мучительно билась над вопросом о том, в чем заключается об'ективная необходимость осуществления наших идеалов. Это было в 1847 г., а может быть также, хотя и в меньшей степени, и в последнее время его пребывания в России. Теперь мы просим читателя вспомнить какой смысл имела умственная драма, пережитая Белинским в эпоху его знаменитого „примирения с действительностью". Как это показано нами (см. нашу статью о нем), смысл этой драмы заключался в том, что Белинский, не удовлетворяясь „абстрактным героизмом", т. е. отвлеченным идеалом, стремился понять действительность, как закономерный процесс развития. Mutatis Mutandis это—та самая задача, которую пытался решить Герцен лет около десяти спустя. Пользуясь выражением Белинского, мы скажем, что Герцен, подобно ему, стремился „развить идею отрицания", т. е. убедить себя в том, что идея эта сама является необходимым продуктом общественного развития, и что за ее осуществление в будущем ручается вся об'ективная сила этого последнего.

Когда Белинского мучила эта загадка сфинкса, Герцен, как видно, даже не подозревал возможности ее существования. Он пугал Белинского практическими выводами, будто бы непременно вытекающими из принятых тем теоретических посылок. Но не замеченная тогда Герценом загадка сфинкса привлекла к себе все его внимание, когда он попал за границу. Тогда и его стали пугать соображениями практического свойства; тогда и ему стали твердить, что его выводы идут на пользу реакции. Мы не знаем, заставило ли его это обстоятельство вспомнить о Белинском. Повидимому, нет. Но что в их положении была весьма значительная и достойная всякого внимания аналогия, это в наших глазах не подлежит ни малейшему сомнению.

Герцен и Белинский разными путями в разное время и различным образом,—вследствие разницы в темпераментах и во внешних условиях,—подошли к одной и той же, чрезвычайно важной теоретической задаче: „развить идею отрицания" из об'ективных условий ее возникновения и тем самым найти об'ективное ручательство за то, что она восторжествует. И оба они не могли не подойти к этой задаче по той простой причине, что оба они с большой пользой для себя изучали философию Гегеля.

Нам нет нужды повторять здесь сказанное нами в статье о Белинском. Ограничимся Герценом.

Во втором „Письме об изучении природы" он говорил, что „доказать предмет—значит раскрыть его необходимость", и что „мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действитель-

ность, она им только сознана; она предсуществовала, как скрытый разум, в непосредственном бытии предмета“.

Примените эти общие соображения к социализму, и вы увидите, что Герцен должен столкнуться с той загадкой сфинкса, которая привела его к разочарованию в утопическом социализме. В самом деле, если „доказать“ предмет значит раскрыть его необходимость, то „доказать“ социализм значит открыт об‘ективную необходимость будущего перехода буржуазной общественной организации в социалистическую. Кто не умеет сделать это, у того социалистический идеал остается недоказанным и не идет дальше „романтической надежды“, суб‘ективного „верования“. Таким социализмом могли довольствоваться—и в самом деле довольствовались—очень многие из тех передовых людей того времени, которым не случилось пройти (т. е. пройти с некоторым успехом) суровую, но закаляющую школу Гегелевой логики. Тех же, которые прошли (повторяем: прошли с некоторым успехом) эту школу, отвлеченные идеалы утопического социализма не могли удовлетворить надолго, хотя в силу известных нравственных потребностей и могли приобретать над ними временную власть. Людям этого логического закала нельзя было бы не столкнуться рано или поздно с указанной нами загадкой сфинкса, и им нужно было разрешить ее или, по крайней мере, усомниться в утопическом идеале, если им не удавалось додуматься до разгадки. Так было с Белинским; так было с Герценом.

Некоторые немецкие, а за ними и русские авторы видят преимущество Герцена перед Марксом в том, что он, в противоположность автору „Капитала“, социализм которого имел под собой материалистическую основу, смотрел на „социальный вопрос“ с идеалистической точки зрения. На самом деле это было не преимуществом, а слабостью Герцена, причинившей ему много тяжелых страданий. И Герцен сам смутно чувствовал, что источником таких страданий является именно идеалистический его взгляд на общественную жизнь. Споря с „романтиком“ Галаховым, он боролся со своим собственным идеализмом. Ему не удалось победить его. Посмотрим, по какой причине.

IV.

Уже в статье „Перед грозой“ Герцен старается построить материалистическую теорию прогресса в противоположность идеалистическим рассуждениям Галахова на ту же тему. „Прогресс,—говорит он,—неот‘емлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и физиологическое усовершенствование людей общественной жизнью“.

Почему же думает Герцен, что общественная жизнь ведет к физиологическому усовершенствованию людей? Между прочим потому, что под ее влиянием происходит улучшение мозгового вещества. „Что вы улыбаетесь? — спрашивает он своего идеалистически настроенного собеседника, — да, да, церебрин улучшается... Как все естественное становится к вам ребром, удивляет вас, идеалистов, точно как некогда рыцари удивлялись, что вилланы хотят тоже человеческих прав. Когда Гете был в Италии, он сравнивал череп древнего быка с черепом наших быков и нашел, что у нашего кость тоньше, а вместилище больших полушарий мозга пространней; древний бык был, очевидно, сильнее нашего, а наш развился в отношении к мозгу в своем мирном подчинении человеку. За что же вы считаете человека менее способным к развитию, нежели быка?“

Это несомненно материалистическое соображение, напоминающее приведенные нами в другом месте по аналогичному поводу слова Фейербаха: человек есть то, что он ест (Der Mensch ist, was er isst). И нельзя сомневаться в том, что стремление Герцена разделаться с историческим идеализмом в значительной степени подкреплялось переходом его в философии от идеалиста Гегеля (влияние которого очень сильно заметно еще в „Письмах об изучении природы“) к материалисту Фейербаху. Но каких же последствий можно ждать в истории от того факта,—если это в самом деле факт,—что церебрин улучшается? Понятно—каких! Благодаря улучшению церебрина мозг лучше исполняет свою функцию мышления. А чем лучше он исполняет эту функцию, тем правильней становятся понятия людей. А чем правильней становятся понятия людей, тем более улучшаются их общественные отношения. Начав с материализма, мы, как видите, прямым путем приходим к тому историческому идеализму, согласно которому ход общественного развития определяется в последнем счете ходом развития человеческих понятий. Мы начали с того, что сознание обусловливается бытием, а пришли, незаметно для нас самих, к тому, что бытие, (на этот раз — общественное бытие людей) обусловливается сознанием. Попытка разделаться с идеализмом оказывается неудачной [1]). И такая неудача,—а она несомненно постигла Герцена,—неизбежно ведет за собой целый ряд теоретических промахов. Вот некоторые из них.

Восставая против идеализма, Герцен продолжает смотреть на общественную жизнь с идеалистической точки зрения. В его глазах тот класс наиболее способен стать двигателем общественного развития, который накопил наибольший запас знаний. Но запас знаний у „черни“ очень невелик. Поэтому Герцен и не верит в историческую самодеятельность народа. Он ждет такой самодеятельности лишь от некоторых слоев высших классов, от так называемой у нас теперь интеллигенции. Но в тогдашней западно-европейской интеллигенции только сравнительно немногие люди (социалисты) задумывались о коренном переустройстве общественных отношений. Да и к этим, сравнительно немногим, людям Герцен относился, как мы видели, весьма критически: он находил, что они в своих построениях упустили из виду элемент личной свободы, а кроме того,—и это главное,—не умели „навести мосты“ из сферы теории в область действительной жизни. Вся же остальная часть интеллигенции не доросла даже до постановки, а не только до решения социального вопроса. „Ни журнальная, ни парламентская оппозиция,—писал Герцен в 4-м письме из Avenue Marigny,—не знают ни истинного смысла недуга, ни действительных лекарств“. Междоусобная война, разразившаяся во Франции летом 1848 г., убедила Герцена в том, что „оппозиция“, о которой он говорил в указанном письме, на самом деле очень недурно понимала смысл общественного „недуга“, но отнюдь не хотела лечить его, так как его излечение противоречило бы интересам того общественного класса, к которому она принадлежала. В этом и заключалась, по мнению Герцена, главная причина того застоя общественной мысли, той китайщины в западно-европейской общественной жизни, которые он так красноречиво оплакивал в своих письмах Тургеневу („Концы и начала“; писаны в 1862 г.), в статье о книге Милля „On liberty“ (писано в 1859 г.) и в целом ряде других сочинений. „Перед нами,— писал он, — цивилизация, последовательно развившаяся на беземельном пролетариате, на безусловном праве собственника над собственностью. То, что

---

[1]) Чернышевский, тоже исходивший из философии Фейербаха, испытал совершенно такую же неудачу (см. нашу статью о нем).

ей пророчил Сиэс, случилось: среднее состояние сделалось всем—на условии владеть чем-нибудь“. Но если главная беда западно-европейского „старика“ в самом деле заключалась в том, что успехи его мысли были остановлены известным складом его жизни, то выходило, что общественное сознание обусловливается общественным бытием и что пример Западной Европы опровергает основное положение исторического идеализма: „мнение правит миром“.

Таким образом Герцен старается построить материалистическую теорию прогресса. Но эта теория не мешает ему держаться чисто идеалистического взгляда на ход западно-европейского общественного развития. В свою очередь, этот чисто идеалистический взгляд не помешал ему притти к тому чисто материалистическому выводу, что на Западе ход идей определяется ходом вещей. Другими словами, Герцен постоянно переходил от одного об'яснения истории к другому, прямо противоположному. И эти его постоянные переходы происходили совершенно незаметно для него самого. То же мы видим и в его рассуждениях о вероятной судьбе России. Он и тут охотно апеллирует к материализму. Когда Тургенев в своем письме к нему от 8-го ноября 1862 г. сказал, что мы, русские, „принадлежим и по языку и по породе к европейской семье, „genus europaeum“ и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны итти по той же дороге“, он ровно ничего не возразил в принципе против такой ссылки на „физиологию“. Он только заметил, что „физиология“, наоборот, говорит в его пользу. Он писал: „Общий план развития допускает бесконечное число вариаций непредвидимых, как хобот слона, как горб верблюда. Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончие, борзые, водолазы, моськи... Общее происхождение нисколько не обусловливает одинаковость биографии“. В биологическом смысле это было совершенно верно, хотя так же мало доказывало, что Россия ближе к социализму, нежели Запад, как и противоположное мнение Тургенева [1]). Но и из этих „физиологических“, — т.-е., стало быть, материалистических, — посылок Герцен немедленно делает чисто идеалистический вывод. В „genus europaeum“,—говорит он,—есть народы, состарившиеся без полного развития мещанства (кельты, некоторые части Испании, южной Италии и проч.), есть другие, которым мещанство так идет, как вода жабрам — отчего же не быть и такому народу, для которого мещанство будет переходным, неудовлетворительным состоянием, как жабры для утки?“ Это было равносильно тому утверждению, что общественное развитие данного народа об'ясняется свойствами его духа. Едва ли не излишне прибавлять, что утверждение это насквозь пропитано совершенно некритическим идеализмом [2]).

К тому же Герцен допускал в своем споре с Тургеневым, что Россия „вероятно пройдет [3]) и мещанской полосой“ (там же, то же письмо). Выходило так, что русский народный дух мог сократить прохождение России через фазу „мещанства“, но не был достаточно силен для того, чтобы позволить ей миновать ее. Это, разумеется, не прибавляло ясности к мыслям нашего автора.

---

[1]) Чернышевский в своей статье „О причинах падения Рима“ тоже оспаривал взгляд Герцена на „западного старика“, между прочим, с помощью физиологических доводов. Но и под его пером такие доводы ничего не доказывали,—да по существу дела и не могли ничего доказать,—в этом вопросе.

[2]) Тургенев в письме к Герцену от $^{13}/_{25}$ декабря 1867 г. справедливо писал ему: „Ты романтик и художник... веришь... в особую породу людей, в известную расу: ведь это в своем роде тоже троеручница!“

[3]) Подчеркнуто у Герцена.

V.

Но и это еще не все. В Западной Европе высшие классы не хотят социализма, потому что он противоречит их интересам. А как обстоит на этот счет дело в России?

Основав русскую типографию в Лондоне, Герцен писал, обращаясь к нашему дворянству: „Первое вольное русское слово из-за границы пусть будет обращено к вам“. И это его слово не только советует дворянам „начать собой новую свободную Русь и полюбовно решить тяжелый вопрос с крестьянами“, но и указывает им на социализм, очевидно, в надежде вызвать их сочувствие к нему. Герцен советует русским дворянам взглянуть на западных мещан, которые „все потеряли“ своим тупым упорством и, вместо общественного пересоздания, подготовили общественное разрушение. Для большей убедительности он прибавляет, что предстоящий социалистический переворот не так чужд русскому сердцу, как прежние (т.-е., по терминологии Герцена, чисто-политические) перевороты. „Слово социализм, — пишет он, — неизвестно нашему народу, но смысл его близок душе русского человека, изживающего век свой в сельской общине и в работнической артели. В социализме встретится Россия с революцией“.

На Западе высшие классы восстают против „социализма и революции“, которые противоречат их интересам. Там классовое бытие определяет собою классовое сознание. А в России? Там социализм и революция, очевидно, тоже не могли пойти на пользу дворянству. Стало быть, Герцен мог обратиться к нему с проповедью социализма и революции только в том предположении, что у нас дело происходит не так, как на Западе, т.-е. что у нас классовое сознание не определяется классовым бытием.

И это вовсе не описка. В своей речи, произнесенной в Лондоне 27-го февраля 1854 г. на международном собрании в память февральской революции, Герцен говорил, характеризуя Россию:

„Там вы встретите два зародыша движения: один сверху, другой снизу. Один, — преимущественно отрицающий, разлагающий, раз'едающий, — рассыпается в малых кружках, но готов составить большой, деятельный заговор. Другой—более положительный, хранящий в себе почки будущего образования—находится в состоянии дремоты и бездействия. Я говорю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского государства“ [1]).

Так как, по теории Герцена, „дремлющая“ русская община могла перейти в социалистическую форму лишь под влиянием западно-европейской революционной мысли, носителем которой должно было явиться у нас „молодое дворянство“, то выходило, что от доброй воли этого последнего зависела вся судьба русского социализма.

---

[1]) В другом месте он, рисуя положение дел в России, говорит, что работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве (Du developpement des idées révolutionnaires en Russie par A. Iskander. Paris, 1851 p. 84). Цитируемое здесь сочинение Герцена посвящено á notre ami Michel Bakunine. Русский его перевод издан под названием: „Движение общественной мысли в России“.—Москва, 1907). Свою схему будущего общественного движения Герцен строил, находясь под сильным влиянием воспоминания о декабристах. Но образованному слою нашего дворянства не суждено было сыграть во второй раз роль, сыгранную им в двадцатых годах XIX века.

Надо, впрочем, заметить, что, как видно из тех же слов Герцена, „молодое дворянство“ сводилось в его представлении к „малым кружкам“, готовым, правда, „составить большой, деятельный заговор“.

Это значит, что Герцен рассчитывал на то, что дворянство даст элементы, необходимые для образования у нас революционной партии. Поведение дворянства в эпоху освобождения крестьян показало Герцену, что надежды, которые он возлагал когда-то на это сословие, были не основательны. Тогда „молодое дворянство“ заменилось в его схеме разночинным образованным „меньшинством“, к которому и стал обращаться „Колокол“ со своей проповедью социализма.

Редакция „Колокола“ признавала, что это меньшинство очень слабо, но она утешала себя тем соображением, что, как выразился Н. П. Огарев, „христианство распространилось в мире посредством двенадцати человек, составлявших каждый несколько тайных обществ, тайных, потому что им надо было ограждаться от преследований“ [1]). Это, конечно, тоже чисто идеалистическое соображение, совсем неубедительное с той точки зрения, на которую встал Герцен в своей критике утопического социализма: с этой точки зрения весь вопрос был бы именно в том, каковы были об'ективные, коренившиеся в общественном „бытии“, причины, обеспечившие победу христианских „тайных обществ“? Почему этим обществам удалось „навести мосты из стремления в приложение“?

Если, разочаровавшись в утопическом социализме, Герцен стал находить основательным, хотя и нуждающимся в значительной переделке, славянофильское противопоставление России Западу, то он сделал это, повинуясь голосу правильного,—по своему существу,—теоретического инстинкта. Этот инстинкт напоминал ему, что доказать предмет значит раскрыть его необходимость, и что „мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действительность... Она предсуществовала, как скрытый разум, в непосредственном бытии предмета“. Отсюда следовало, что социалистическая мысль только тогда может быть признана мыслью, имеющей серьезное общественное значение, если удастся доказать, что она не есть исключительное достояние социалистов, а существует, „как скрытый разум, в непосредственном бытии“ общества, т.-е. служит сознательным выражением бессознательных общественных отношений. Русская община и представлялась Герцену той общественной формой, в „непосредственном бытии“ которой социалистическая мысль об'ективно существовала, „как скрытый разум“. Это было, конечно, повторением славянофильской мысли о том, что у нас существует, как факт, то, что на Западе существует лишь в идеале. Но дело не в этом, а в том, что Герцен не остался верен до конца теоретическому инстинкту, побудившему его искать об'ективной опоры для социалистического идеала. Община еще не „социализм“. Чтобы перейти в „социализм“, она должна пережить более или менее длинный процесс развития. Если бы Герцен был верен указанному теоретическому инстинкту, то он сказал бы, что община перейдет в социализм только в том случае, если в ней самой, благодаря ее внутреннему складу, найдутся силы, которые сделают такой переход об'ективно необходимым. Но он сказал нечто прямо противоположное. Он видел, что в самой общине нет сил, способных привести ее к социализму [2]), и потому

---

[1]) „Колокол“, № 108 (Oct. 1, 1861). Ответ на ответ Великоруссу.—Н. Огарева.

[2]) Прибавим, во избежание недоразумений, что к числу таких сил мы относим и те, которые, находясь вне общины,—например, в городском пролетариате,—явились бы, однако, продуктом ее внутреннего развития и могли бы подготовить торжество социализма также и внутри общины. Но дворянство, как сказано, не могло быть подобной силой.

обратился за помощью сначала к молодому дворянству, а потом к образованному меньшинству. Он хотел найти для „сознания“ опору в „бытии“, а кончил тем, что поставил „бытие“ в причинную зависимость от „сознания“, т. е., в данном случае, от того же отвлеченного идеала социалистов, в котором он сам разочаровался именно потому, что убедился в бессилии мысли, не опирающейся на об'ективный процесс развития. Тут мы опять видим нелогичность, бессознательный переход от исторического материализма к историческому идеализму, делающий ошибочным все рассуждение нашего автора.

Дальше. В своем известном письме к Мишлэ („Русский народ и социализм“) Герцен делает следующее интересное замечание: „Из этого вы видите..., какое это счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания“.

Теоретические ошибки имеют свою логику. Здесь логика теоретической ошибки привела прогрессиста Герцена к тому, что он стал считать благодетельным многовековый застой России. Это напоминает Данилевского, который в своей книге „Россия и Европа“ утверждал, что турки, „наложив свою леденящую руку“ на народы Балканского полуострова и тем „заморив в них развитие жизни“, предохранили их от потери нравственной самобытности.

Тургенев говорил по поводу пятого письма в „Концах и Началах“, что „оно, как все прежние, умно, тонко, красиво—но без вывода и применения“ (см. его письмо к Герцену от 4 ноября 1862 г.).

Мы с своей стороны скажем, что все, написанное Герценом о судьбах „западного старика“ и об отношении русского народа к социализму, было умно, тонко, красиво, но очень редко удовлетворяло тем теоретическим требованиям, которые он сам же, — под влиянием Гегеля, — пред'являл к социализму и которые заставили его разочароваться в утопических системах.

Огромный умственный труд, затраченный Герценом в его рассуждениях на эти темы, дает нам ясное понятие о том, как сильно было в нем стремление найти для социализма научную основу.

А то обстоятельство, что он, при всей силе этого стремления, при всем богатстве своих дарований и при всей разносторонности своих сведений, все-таки не нашел такой основы, об'ясняется неудовлетворительностью его метода. Расставшись с идеалистическим „романтизмом“, он вслед за Фейербахом перешел к материализму. Но в этом направлении он не пошел дальше того материализма, который назван у Маркса естественно-научным материализмом. Этот материализм отнюдь не исключает идеалистического об'яснения истории, хотя и вносит в него те или другие, обыкновенно ровно ничего не об'ясняющие, „физиологические“ соображения. „Естественно-научный“ материализм вообще не мог справиться с историческим идеализмом; это мы видим, как у Герцена с Чернышевским, так и у французских материалистов XVIII века. Да, наконец, и сам Фейербах очень грешил идеализмом в своих исторических воззрениях. Только Марксу и Энгельсу суждено было выбить идеализм из его последней позиции, положив главнейшие теоретические основы исторического материализма. Но замечательно, что идеи Маркса и Энгельса остались совершенно неизвестными нашему автору.

VI.

Между социалистическими писателями Герцен больше всех сочувствовал Прудону, у которого, по его словам, нет положительных выводов, а есть одна критика. Это очень характерный для Герцена отзыв. На самом деле Прудон совсем не чужд положительных выводов. Его учение об организации обмена („mutuellisme“) есть нечто вполне положительное, хотя и вовсе несостоятельное. Но не это учение интересовало Герцена. Ему нравилось в Прудоне его критическое отношение к другим социалистическим утопиям и революционным догматам. Нравилось и то, что Прудон не был равнодушен к немецкой философии, вследствие чего являлся очень редким исключением между французскими социалистами. Он считал Прудона прекрасным диалектиком. Маркс уже в „Нищете философии“ показал, как плохо владел Прудон диалектическим методом Гегеля. К тому, что сказано в Марксовой „Нищете философии“, можно прибавить, что Прудон отнесся к философии Гегеля, как человек, совершенно неспособный оценить находившиеся в ней зачатки материалистического об'яснения исторических явлений [1]. Но этого недостатка прудоновского миросозерцания не мог заметить Герцен, сам,—как мы только видели,—далеко не разделавшийся, вопреки своим постоянным усилиям, с историческим идеализмом [2].

Осенью 1849 г. Герцен дал Прудону 24 тысячи франков на издание журнала „La voix du peuple“ (т. е., собственно, на залог для этого журнала, требовавшийся тогда по французским законам о печати). Давая деньги, он выговорил себе, „во-первых, право помещать статьи, свои и не свои, во-вторых, право заведывать всею иностранною частью, рекомендовать редакторов для нее, корреспондентов и пр.“. Той же осенью в трех №№ этого журнала (за ноябрь и декабрь) появилась, в виде письма к Гервегу, большая статья Герцена о России, подписанная: „Русский“. В № от 15 го марта следующего года была напечатана там же статья его, составившая потом восьмую главу книги „С того берега“: „Донозо Кортес Маркиз Вальдегамас и Юлиан, Император Римский“. Герцен был вообще очень доволен журналом Прудона. „Журнал пошел удивительно,—говорит он в главе XLI пятой части „Былого и Дум“.—Прудон из своей тюремной кельи мастерски дирижировал своим оркестром“. Все это полезно отметить, потому что всем этим подтверждается справедливость сказанного нами об огромном влиянии Прудона на Герцена. Огарев недаром назвал Герцена прудонистом (в „Письме к издателю“, напечатанном в 1-м листе „Колокола“ и подписанном „Р. Ч.“). Элемент прудонизма был чрезвычайно силен в воззрениях Герцена. И,—хотя это опять может показаться парадоксом,—особенно в его политических воззрениях. Как же это так? А вот как.

Герцен писал о Прудоне: „Политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, несущественны. В подобном отношении к религиозному вопросу

---

[1]) Мы позволим себе указать на нашу статью „О философии Гегеля“, помещенную в нашем сборнике „За 20 лет“.

[2]) В 1849 году он писал Прудону из Женевы: „Я знаю одного свободного француза,—это вас. Ваши революционеры — консерваторы. Они христиане, не зная того, и монархисты, сражаясь за республику. Вы одни подняли вопрос негации переворота на высоту науки“.

стоят все, оставившие христианскую точку зрения. Я могу признавать, что конституционная религия протестантизма несколько посвободнее католического самодержавия, но принимать к сердцу вопрос об исповедании и церкви не могу". Эти его слова очень многое об'ясняют в его собственной политической деятельности. В цитированном нами письме к издателю „Колокола" Огарев хвалил этого писателя (т. е. Герцена) за то, что он готов „ужиться со всяким правительством, лишь бы оно стояло на высоте экономических изменений". Огарев не ошибся: Герцен в самом деле готов был ужиться со всяким правительством. О нем можно было сказать, как он сказал о Прудоне: „он не приписывает особой важности политическим формам, которые, по его мнению, несущественны". И в этом именно сказалось влияние Прудона [1]). Герцен видел в этом равнодушии к политическим формам доказательство зрелости своей политической мысли; он свысока смотрел на политические вопросы, подобно тому,—мы употребляем его же сравнение,—как неверующий человек свысока смотрит на споры „об исповедании и церкви". На самом же деле тут была ошибка: политические формы имеют гораздо больше значения, чем это думали Огарев и Герцен вслед за Прудоном. Но в начале издания „Колокола" сама эта ошибка была очень полезна этому изданию. В августе 1857 г. К. Д. Кавелин, еще не знавший о том, что в Лондоне начал выходить с 1-го июля того же года „Колокол", писал Герцену, доказывая ему необходимость заграничного органа. „Но орган должен быть умеренный,—прибавлял он,—который через это получил бы возможность входить во все интересы, служить органом для всех мнений. Политический вопрос мало занимает наше общество, как это ни покажется тебе странным. Но административные, социальные, церковные — очень много. В управлении хаос, нелепость, бессмыслица достигли до Геркулесовых столбов, а хлестать их примерами негде". Русская читающая публика мало интересовалась „политическим вопросом", потому что была еще недостаточно развита для этого. Для Герцена тот же вопрос имел второстепенное значение потому, что был заслонен „экономическим" вопросом. Разные причины привели к одинаковым следствиям. „Колокол" обратился именно к вопросам „административным и социальным". В письме к императору Александру II („Колокол" 1 октября 1857 г.) Герцен предлагал молодому государю взять на себя решение той социальной задачи, с которой не могла справиться Западная Европа. „На своей больничной койке,—говорит он,—Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает, как единый путь спасения, именно на те элементы, которые глубоко лежат в народном характере, и притом не одной петровской, всей русской России Поэтому мы думаем, что у нас развитие пойдет иным путем"... При такой постановке социального вопроса „политика", действительно, должна была отходить на самый задний план. Девять месяцев спустя (в № от 1 июля 1858 г.) Герцен утверждает, что „Александр II не оправдал надежд, возлагавшихся на него Россией при его воцарении". Несмотря на это, он говорит в той же статье: „Нам дела нет до форм правления, мы все их видим на деле и видим, что все они никуда не годятся, если они реакционны, и все хороши, если они совершенны и прогрессивны". И с этим был совершенно согласен Огарев, который писал Герцену (в цитированном выше „Письме к издателю"): „Дело не в перемене правительства, а в перемене, которая улучшила бы положение людей. Вот в чем ваш так называемый социализм, с которым всякое разумное правительство, которое не хочет погибнуть, должно

[1]) Уже в его книге „С того берега" весьма заметно это влияние.

быть заодно". Впоследствии такое отношение к „политике" было не только усвоено русскими революционерами, разделявшими народнические,—как стали выражаться тогда,—взгляды Герцена на „социальный вопрос" в России, но и возведено в степень. Народники считали изменой социализму всякий интерес к „политике". И поскольку Герцен способствовал распространению в нашей передовой молодежи такого отношения к политике, он толкал ее на ошибочный путь. Правда, в этом отношении несравненно больше его сделал Бакунин, выступивший у нас первым влиятельным проповедником прудоновского „анархизма". Правда и то, что уже в эпоху издания „Колокола" наша революционная молодежь, пренебрегая „политикой", не одобряла политического направления Герцена. Дело в том, что его частые письма к коронованным лицам и его беспрестанные попытки обратить русское правительство на путь истины казались ей непоследовательностью, вредным „политиканством".

Но как бы там ни было, критика началась,—с разных сторон,—впоследствии, а в первое пятилетие своего существования „Колокол" имел поистине колоссальный небывалый у нас, ни прежде, ни после, успех. Это признавали и враги, и друзья, и полу-друзья, полу-враги, вроде покойного Чичерина, который писал Герцену, в известном своем письме: „Положение ваше исключительное, можно сказать, почти единственное в мире... В вашем положении все, что вы говорите, имеет значение; вы—сила, вы — власть в государстве" (см. „Колокол" № 29 от 1-го декабря 1858 г.). Тургенев говорит в своем письме к нему же из Рима от 7 января 1858 г.: „Боткин, с которым я вижусь каждый день, совершенно симпатизирует твоей деятельности и велит тебе сказать, что, по его мнению, ты и твои издания составляют эпоху в жизни России". И это была правда. В том же письме Тургенев сообщает факт, показывающий, как велико было в самом деле тогдашнее влияние „Колокола": „Актеров в Москве вздумали прижать, отнять у них собственные деньги; они решились отправить от себя депутатом старика Щепкина искать правды от Гедеонова (молока от козла). Тот, разумеется, и слышать не хочет; „тогда,—говорит Щ.,—придется пожаловаться министру".—Не смеете!—„В таком случае,—возразил Щ.,—остается пожаловаться „Колоколу".—Гедеонов вспыхнул и кончил тем, что деньги возвратил актерам. Вот брат, какие штуки выкидывает твой „Колокол".

Славянофил Ю. Самарин писал Герцену в том же году от 9-го мая: „Дело, вами начатое, займет не последнее место в истории русского просвещения. „Колокол"—это теперь единственный голос, к которому прислушивается правительство; оно справляется с ним, как порядочный человек справляется со своей совестью. „Колокол" заменяет для правительства совесть, которой по штату не полагается, и общественное мнение, которым пренебрегают. Вы теперь по своему положению пользуетесь монополией свободного слова" (см. женевское „Вольное Слово", 1881 г., № 59).

Приведем наконец отрывок из письма Кавелина к Герцену от 21 августа 1859 г.: „Я не могу любить тебя как совершенно равного, потому что преклоняюсь перед тобой и вижу в тебе великого человека. Если это утешение в страданиях, то ты можешь этим утешаться. Время ложного стыда должно пройти, как всего ложного. Пора называть вещи их именами. Не я один так смотрю на тебя, а многие; может быть из близких тебе я один решаюсь это высказать. Тебе лавровый венок, представителю русской мысли, свободной, чающей свое величие и свою неизмеримую будущность".

В этот период колоссального успеха „Колокола" Герцену, как это само собою разумеется, не было отбоя от соотечественников. „Ни страшная даль, в которой я жил от Вест-Энда,—вспоминал он потом,—ни постоянно запертые

двери по утрам, ничто не помогало. Мы были в моде. Кого и кого мы не видали тогда! Как многие дорого заплатили бы теперь, чтобы стереть из памяти если не своей, то людской, свой визит... Но тогда, повторяю, мы были в моде, и в каком-то гиде туристов я был отмечен в числе достопримечательностей Путнея". Число посетителей еще более возросло в 1862 г., когда на всемирную лондонскую выставку стали приезжать, по словам Герцена, купцы и туристы, журналисты и чиновники всех вообще отделений, и третьего в особенности.

Так было, опять по свидетельству самого Герцена, от 1857 [1]) до 1863 года. Потом начался быстрый и сильный отлив, под влиянием которого на Герцена стали клеветать едва ли не с таким же увлечением, с каким прежде ему рукоплескали.

VII.

Быстрый и сильный упадок влияния Герцена после 1863 г. обыкновенно об'ясняется отношением его к польскому восстанию, которому не сочувствовало огромнейшее большинство русского общества. Но это не совсем так. Отношение Герцена к польскому восстанию, несомненно, сыграло тут большую роль. Им об'ясняется многое; но далеко не все. Как заметил М. П. Драгоманов, начало разногласия с Герценом известной части русского общества относится еще к 1859 г. [2]). С тех пор оно все более и более усиливалось. Программа, выставленная Герценом в первых №№ его „Колокола", сводилась к трем пунктам: „Освобождение слова от цензуры, крестьян от помещиков, податного состояния от побоев". Такая программа нравилась своей умеренностью, и ей сочувствовали все те, которые, не будучи заинтересованы в сохранении николаевского режима, понимали, что без „освобождения крестьян от помещиков" нельзя сделать ни шагу в деле преобразования внутренней жизни России. Но Герцен требовал не только освобождения крестьян от помещиков, но настоятельно требовал освобождения их с землею, и притом со всей той землею, которой они пользовались при крепостном праве. Этой программы не могли одобрить те из помещиков, которые настаивали на знаменитых впоследствии „отрезках". Далее. Каждый раз, когда до сведения Герцена и Огарева доходила какая-нибудь попытка помещиков обеспечить свои интересы на счет освобождаемых крестьян, „Колокол" энергично ополчался против плантаторских поползновений. Само собою понятно, что и это обстоятельство не могло увеличивать популярность его издателей вообще и Герцена в частности.

Этого мало. Герцен, который под влиянием Прудона не придавал значения политическим формам, скоро сам должен был увидеть, что они имеют большое значение. Он пишет теперь, что правительство идет против народа („Колокол" № 111, ноябрь 1861 г.) и резко бичует „блуждающую, беспутную правительственную мысль" (там же, 22-го ноября того же года). С своей стороны Огарев (в № 108, от 1-го октября 1861 г.) утверждал в своем „Ответе

---

[1]) Первый № „Колокола" вышел в Лондоне 1 июля 1857 г.

[2]) А пожалуй, даже и к более раннему времени. А. Никитенко занес в свой „Дневник" уже 30-го октября 1858 года: „Говорят, Герцен, в 25-м номере „Колокола" разражается ругательствами на разных лиц, не исключая и очень высокопоставленных. Право же, это не умно. Герцен... мог бы быть очень полезен. Теперь же, благодаря его излишествам, к нему начинают быть равнодушными те, которые его боялись" и т. д. Никитенко говорит, что Герцен „может мало-по-малу совсем утратить свое влияние в России", „Записки и дневник", т. I, стр. 531

на ответ Великоруссу", что революционная молодежь должна на первый план ставить „вред царской власти". Это, как видите, очень далеко от той мысли, что политические формы не имеют никакого значения. „Радикализм" Герцена начинает отпугивать от его издания даже самых горячих его друзей. В письме к нему из Парижа от 30 мая/11 июня 1862 г. Кавелин пишет: „Когда ты обличал у нас все с неслыханной и невиданной смелостью, когда ты бросал в гениальных своих статьях и памфлетах мысли, которые забегали на века вперед, а для текущего дня ставил требования самые умеренные, самые ближайшие, стоявшие на очереди, ты мне представлялся тем великим человеком, которым должна начаться новая русская история... После ты несколько уклонился от этой программы. Тебя взяло нетерпение и досада. Из мыслителя, обличителя ты стал политическим агитатором, главою партии, которая во что бы то ни стало хочет теперь же, сию минуту водворить у нас новый порядок дел, и если нельзя мирными средствами, так переворотом. Я считаю это ошибкой. Мне больше по сердцу прежняя твоя деятельность".

Другие корреспонденты Герцена выражались еще определеннее. В № 135 своего издания он (в статье: „Москва нам не сочувствует") привел следующие строки из письма, полученного им из Москвы: „Москва решительно не за вас, скорее Петербург. Тверь... Москва вам не сочувствует [1]), напротив. Мы все здесь, к какой бы партии ни принадлежали, люди исторические, и радикализма мы переварить не можем. Не думайте, чтобы я говорил про один какой-либо кружок. Нет, я говорю о всех, исключая, разумеется, небольшой части молодежи. У нас уважают искренность ваших убеждений, пользу от большей части сообщаемых вами известий, и об вас говорят не иначе, как с любовью, но на этом и останавливается сочувствие".

Москвич Герцен с веселой шутливостью восклицал по поводу этого письма: „Прости, Москва, приют родимый!" Но ему приходилось прощаться не с одной Москвою.

Наконец, не надо забывать и своеобразный социализм Герцена. В его глазах освобождение крестьян с землею было лишь первой из тех социальных реформ, которые должны были дать России возможность миновать путь западно-европейского развития. В этом смысле он высказывался с самого основания „Колокола" и, как это совершенно понятно, еще чаще стал высказываться после 19-го февраля 1861 г. Очень характерно, что к прежнему девизу „Колокола": Vivos voco! прибавлен был им с № 197 [2]) (1865 года, апрель) новый девиз: Земля и Воля! Но о земле и воле речь не раз шла уже и в лондонском „Колоколе". Естественно, что это нравилось только тем из читателей Герцена, которые разделяли его социалистические взгляды. А такие были в меньшинстве. В декабре 1862 г. Тургенев писал ему, что его газета „гораздо менее читается с тех пор, как в ней стал первенствовать Огарев [3]); эта фраза стала в России тем, что в Англии называется a truism. И это понятно: публике, читающей в России „Колокол", не до социализма: она нуждается в той критике, в той чисто политической агитации, от которой ты отступил, сам надломив свой меч.

---

[1]) Подчеркнуто в подлиннике.

[2]) Этот № появился уже в Женеве, куда издание „Колокола" перенесено было из Лондона.

[3]) Подчеркнуто у Тургенева. Статьи, излагавшие социалистическую программ „Колокола", писались тогда по большей части Огаревым.

„Колокол“, напечатавший без протеста ½ манифеста Бакунина [1]) и социалистические статьи Огарева, — уже не герценовский, не прежний „Колокол“, как его понимала и любила Россия“. Оставляя в стороне вопрос о произведениях Бакунина, с которым Герцен не сходился во многом, мы заметим, что он не мог не печатать социалистических статей Огарева, так как они развивали его собственную программу.

Достаточно сказать, что Катков уже в июне 1862 г. счел возможным напечатать в „Русском Вестнике“ свою известную „Заметку для издателя Колокола“. Он не решился бы сделать это, если бы не видел, что популярность Герцена быстро падала.

И однако, неоспоримо, что польское восстание, разбудивши шовинизм русского общества, очень приблизило время окончательного разрыва Герцена с огромнейшим большинством его читателей. Теперь уже доказано, что Герцен и Огарев не желали восстания в Польше; но когда оно все-таки началось, они открыто высказали свое сочувствие полякам, как народу, отстаивающему свою национальную независимость. Тогда на них обрушились с самыми изумительными клеветами. Их называли изменниками, их упрекали в том, что они принадлежат к обществу зажигателей и подделывателей русских кредитных билетов. Герцен думал, что „порядочные люди“ этому не поверят (см. его заметку: „Общество поджигателей“ в № 237 „Колокола“). На самом деле „порядочные люди“ тоже обнаружили в этом случае очень много непростительного легковерия. Так, И. С. Аксаков, напечатав в своей газете „Москва“ (1867 г., № 58) „Открытое письмо“, в котором Герцен протестовал против взводимых на него клевет, с своей стороны замечал, что если издатель „Колокола“ и не принадлежал к обществу поджигателей, то все-таки он был солидарен с поляками. „Следовательно, — заключал И. С. Аксаков, — вопрос только в том, одним ли мечом или также и огнем производился тот ущерб России, в нанесении которого г. Герцен принимал если не непосредственное, то косвенное и нравственное участие. Пусть же в этом покается перед Россиею г. Герцен. Не может же он не понимать, что для покаяния в его прегрешениях перед Россией нет компромиссов“. По этому поводу Герцен напечатал в № 240 „Колокола“ (от 1-го мая 1867 года) свой „Ответ И. С. Аксакову“, в котором доказывал, что ему каяться не в чем, и еще раз опровергал выдвинутые против него нелепые клеветы. „Нет, Иван Сергеевич,—гордо писал он,—не блудными детьми России, не поседевшими Магдалинами с понурой головой воротимся мы, если воротимся, а свободными людьми, требующими не оправдания, не прощения, а признанья дела всей их жизни... Не при жизни, так на нашей могиле настанет день не нашего раскаянья, а раскаянья перед нашими тенями за оскорбленную в нас любовь к России!“

Как бы там ни было, издание „Колокола“ мало-по-малу окончательно утратило свой смысл. В его № 244—245 (от 1-го июня 1867 г.) напечатано было заявление о его приостановке на полгода. Издатели говорили, что следующий лист „Колокола“ выйдет 1-го января 1868 года, и что этот орган, как и раньше, будет „прежде всего органом р у с с к о г о с о ц и а л и з м а и е г о р а з в и т и я [2]), социализма аграрного и артельного, сельского и городского, государственного и областного“.

---

[1]) Речь идет о начале манифеста Бакунина „Русским, польским и всем славянским друзьям“, напечатанном в № 122—123 „Колокола“. Продолжение манифеста не появлялось.

[2]) Подчеркнуто в подлиннике.

„Колокол“ в самом деле был возобновлен в январе 1869 г., но теперь же не на русском, а на французском языке. Вынужденный прекратить свою русскую пропаганду, Герцен возвращался к тому делу, которым он так усердно занимался до ее начала: к делу ознакомления Западной Европы с Россией. В статье „Prolegoménes“ [1]) он писал: „Единственные русские публицисты на Западе, мы не хотим взять на себя ответственность за молчание“. Далее он повторял свой взгляд на особенности русского социального развития и на великие задатки, таящиеся в русской общинѣ. Наконец, он доказывал необходимость созвания „Великого Собора“ (Grand Conseile), который будет нашим первым учредительным собранием и позволит России без потрясений (sans secousses) выйти из петербургского периода.

Но французский „Колокол“ имел очень мало успеха. В его 14—15 № (от 1-го декабря 1868 г.) помещено было письмо Герцена и Огарева об его прекращении. Тургенев (в письме от 11-го марта 1869 г.) назвал это письмо герценовскими „Adieux de Fontainebleau“.

В том же письме Тургенев говорил: „Особенно мне было досадно, что ты мог вообразить, будто французам нужно знать правду о чем бы то ни было, не говоря уже о России!“

Герцен мог бы ответить на это, что по-французски читают не одни французы и что, кроме того, не все же французы лишены всякого интереса к России, некоторые из них,—например, Кинэ и Мишлэ,—очень сожалели о прекращении французского „Колокола“. Но Герцен и сам был неудовлетворен отношением к нему западно-европейских читателей. Он находил, что его мысли об отношении России к „старому миру“ были очень плохо поняты ими. И это в самом деле было так. Международная демократия Запада очень плохо представляла себе ту роль, которую Герцен отводил России в будущей истории практического осуществления социализма. Многочисленные сочинения, посвященные им этому вопросу [2]), имели только то значение, что убеждали западных демократов в существовании мыслящих русских людей, враждебных деспотизму и сочувствующих европейской революции. Это было тогда совершенно новым и очень приятным для демократии явлением. И она готова была рукоплескать Герцену, обаятельная личность которого производила к тому же весьма сильное впечатление на всех тех, кому приходилось с ним сближаться [3]). Нам кажется, что самое верное понятие о том, какое впечатление

---

[1]) Напечатанной в первых №№ этого издания.

[2]) Осенью 1849 г. появилась, как сказано выше, в трех №№ органа Прудона „La voix du peuple“ обширная статья Герцена о России. В 1850 г. эта статья вышла по-немецки в приложении к книге „Vom andern Ufer“ („С того берега“). В том же году вышли по-немецки „Письма из Франции и Италии“. В 1851 г. появилось в „Deutsche Jahrbücher“ сочинение Герцена „О развитии революционных идей в России“. В том же году это сочинение вышло по-французски. Тогда же вышла брошюра „Le peuple russe et le socialisme“ („Письмо к Мишлэ“). В 1854 г. опубликованы „Letters to W. Linton, Esq.“; по-немецки вышло в том же году под названием „Russlands soziale Zustände“; по-русски переведено в 58 г. под заглавием „Старый Мир и Россия“. К 1857 г. относится в № 18 „Italia del Popolo“ „Письмо к Мадзини“; к 1858 г.—„La France ou l'Angleterre“; к 1859 г.—„La conspiration russe de 1825“ (вышло также по-немецки); к 1864 г. — „Nouvelle phase de la littérature russe“. О французском „Колоколе“ мы только что говорили.

[3]) А он был знаком почти со всеми корифеями международной демократии. Он был в хороших отношениях с французами: Прудоном, Пьером Леру, Мишлэ, Ледрю-Роллэном, Виктором Гюго; с немцами: Карлом Шурцем, Карлом Фохтом, Фридрихом Каппом, Арнольдом Ругэ и др.; с поляками: Ворцелем, А. Бернацким и т. д.; с итальянцами: Гарибальди, Мадзини, Сафи, Медичи, Пизакане и проч.; с швейцарцем Фази; с венгерцем Кошутом, и пр. и пр. Только с Марксом и его

получали от пропаганды Герцена западные демократы, дают тосты, предложенные Мадзини и Гарибальди на международном обеде в Лондоне у Герцена 17-го апреля 1864 г. Гарибальди сказал, что он пьет за ту юную Россию, которая страдает и борется; за ту новую Россию, которая, справившись со старой Россией, будет играть огромную роль в судьбах мира. Мадзини предложил выпить за тех русских, которые под знаменем „земли и воли" подают братскую руку Польше и трудятся над прогрессивным развитием своей страны. В глазах всей европейской демократии Герцен был именно чрезвычайно даровитым и блестящим представителем этой юной России. Он первый убедил ее в существовании этой России и научил относиться к ней с сочувствием и уважением. И в этом состоит, бесспорно, одна из самых больших его заслуг: нужно помнить, что до него европейская демократия видела в России варварскую нацию рабов, способную лишь на то, чтобы играть роль международного жандарма. Но что касается собственно „русского социализма", то можно с уверенностью сказать, что западные демократы не поняли в нем ровно ничего. Те из них, которые иногда утверждали противное, делали это просто из учтивости или потому, что сами ничего не понимали, — подобно Мишлэ или Гюго, — в вопросах этого рода. Более того: этот „социализм" должен был неприятно удивлять тех из них, которые доработались до ясных социалистических понятий. Таков был Маркс, очень насмешливо отозвавшийся об этом социализме в 1-м издании I тома „Капитала". Но, повторяем, дело было не в пропаганде „русского социализма", а в том, что, благодаря Герцену, Европа узнала о существовании „юной", свободомыслящей России.

По прекращении „Колокола" Герцен издал еще одну (8-ую) книжку „Полярной Звезды" [1]), в которой помещены его статьи: „Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова, сочинение прозектора и ад'юнкт-профессора Тита Левиафанского", и „Еще раз Базаров". В 1868—69 г.г. его статейка „Скуки ради" (за подписью И. Нионский) напечатана была в „Неделе" (1868 г., № 48; 1869 г., № 10). В 1869 г. в „Биржевых Ведомостях" (№ 71) напечатаны были его письма в редакцию по поводу слухов об его мнимом возвращении в Россию.

Последние годы жизни Герцена значительно отравлены были его раздорами с тогдашней „молодой эмиграцией" из России. Памятником этих раздоров (если не считать некоторых беззубых выходок против него М. Элпидина) осталась брошюра А. Серно-Соловьевича „Наши домашние дела". Герцен рассказал печальную повесть этих раздоров в статье „Общий фонд", вошедшей в сборник его посмертных сочинений. Мы не будем останавливаться на этом. Скажем одно: „молодое поколение" эмигрантов [2]) не могло не разойтись с Герценом в виду того, что он очень скептически относился тогда к революционному способу действий, к которому решительно склонялась наша

кружком (с „марксидами", по его выражению) у него, как нарочно, были дурные отношения. Это произошло вследствие целого ряда печальнейших недоразумений. Точно какая-то злая судьба препятствовала сближению с основателем научного социализма того русского публициста, который сам всеми своими силами стремился поставить социализм на научную основу.

[1]) Первая книга „Полярной Звезды" вышла 20 июля/1 августа 1855 г. с девизом: „Да здравствует разум!" Следующие книги вышли в 1856, 57, 58, 59, 61, 62 и, как сказано, 69 г.г. Таким образом, это издание было ежегодником. Название свое оно получило в память „Полярной Звезды" Рылеева и Бестужева.

[2]) Взаимная борьба „поколений" в революционном движении есть вернейший признак того, что движение это вышло из среды идеологов, чуждых классовой точки зрения.

революционная молодежь. Но когда эта молодежь третировала Герцена, как пережившего самого себя старика, она не ведала, „что творила“: социалистические идеи Герцена, — те самые идеи, которые, как сказано, не производили никакого впечатления на Западе, — легли в основу русского народничества, сложившегося в половине 70-х годов в довольно стройную систему и господствовавшего в среде нашей интеллигенции вплоть до появления марксизма.

Герцен скончался в Париже 9/21 января 1870 г. На время тело его было погребено на кладбище „Père Lachaise“, а потом перевезено в Ниццу, где на его могиле поставлена прекрасная бронзовая статуя работы художника Забеллы. Известно посвященное этому памятнику стихотворение Надсона.

Герцен был один из самых замечательных людей, выдвинутых замечательной эпохой 40-х годов. Он уступал Белинскому по логической силе ума, но превосходил его разносторонностью знаний и яркостью литературного изложения. Как политический публицист, он до сих пор не имеет у нас себе равного. В истории русской общественной мысли он всегда будет занимать одно из самых первых мест. И не только русской: когда будет, наконец, написана критическая история международной социалистической мысли, Герцен явится в ней как один из наиболее вдумчивых и блестящих представителей той переходной эпохи, когда социализм стремился сделаться „из утопии наукой“.

А. И. Герцен и крепостное право.

I.

В № 94 „Колокола“ (от 15 марта 1861 г.) А. И. Герцен, глубоко волнуясь в ожидании манифеста, возвестившего упразднение крепостного права, выразил пожелание, чтобы его „помянул кто-нибудь в день великого народного воскресения“. И он, конечно, вполне заслуживал такого поминания. Ему принадлежит одно из самых первых мест между теми нашими писателями, которые подготовляли общественное мнение России к „великой реформе“. Поэтому уместно будет вспомнить о нем теперь, в тот год, когда исполнилось 50 лет со времени отмены крепостного бесправия.

Жизнь А. И. Герцена резко разделяется на две части. Он родился в Москве 25 марта 1812 г. и до 1847 года жил в России, частью как „свободный“ обыватель, а частью в качестве ссыльного и поднадзорного грешника. Но 31 января 1847 г. он переехал в Таурогене русскую границу и с тех пор уже не возвращался на родину. Сообразно с этим делением его жизни и я разделю свое изложение на две части. В первой я покажу, как относился он к крепостному праву в бытность свою на родине, а во второй—рассмотрю, как боролся он с ним, вооруженный своим могучим литературным талантом и пользуясь английской свободой печати в бытность свою заграницей.

В то время, к которому относится пребывание Герцена в России, борьба передовых русских писателей с крепостным правом была страшно затруднена крайнею строгостью цензуры. Чтобы характеризовать с этой стороны то время, достаточно напомнить известную сцену, разыгравшуюся в конце 1842 года в московском цензурном комитете при докладе цензора Снигирева о „Мертвых душах“ Гоголя. Председатель комитета, помощник попечителя московского учебного округа, двоюродный брат Герцена, Д. П. Голохвастов, о котором довольно часто упоминается в „Былом и Думах“, заявил, как только услышал название книги:

— Нет, я этого никогда не позволю: душа бывает бессмертна, мертвой души не может быть; автор вооружается против бессмертия!

Когда докладчик об'яснил, что под мертвыми душами понимаются души тех умерших крестьян, которые продолжают числиться в ревизских списках, председатель еще больше переполошился.

— Нет,—закричал он, дружно поддержанный всем почтенным собранием,—этого и подавно нельзя позволить, хотя бы в рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревизская душа; уж этого нельзя позволить: это значит—против крепостного права!

Касаться крепостного права было еще строже запрещено, чем касаться вопроса о бессмертии души. Оно и не удивительно. Крепостное право считалось одной из важнейших основ общественного порядка. При таком положении дел передовые писатели могли восставать против крепостного права

только в художественных произведениях, поскольку они изображали темные стороны тогдашнего крестьянского быта. Но и тут цензура смотрела, что называется, в оба. Вот почему, говоря о том времени, когда Герцен жил в России, уместнее будет обратить главное внимание не столько на борьбу его с крепостным правом, сколько на те влияния, благодаря которым он склонился к этой борьбе.

А. И. Герцен был незаконным сыном богатого и родовитого русского барина Ивана Алексеевича Яковлева. Его незаконное происхождение создавало для него некоторые, и, пожалуй, даже немалые, неудобства в жизни. Очень вероятно, что разговоры старших об его „ложном положении“ немало содействовали пробуждению критической мысли в голове ребенка. По словам самого Герцена, разговоры эти вселили в него то убеждение, что он зависит от своего родителя меньше, чем зависят от своих отцов законные дети. „Эта самобытность, которую я сам себе выдумал, мне нравилась“,—признается он. Однако, И. А. Яковлев много заботился о судьбе своего незаконного сына, и несомненно, что при своих обширных связях он мог обеспечить ему завидное местечко среди тех, которые пользовались всеми выгодами крепостного порядка. Что же сделало из А. И. Герцена врага этого порядка? Что укрепило любовь к свободе в душе впечатлительного ребенка?

Он принадлежал к тому поколению русских людей, на которое глубоко повлияло событие, вообще имевшее огромное значение в истории внутреннего развития России. Я говорю о неудавшемся восстании 14 декабря 1825 г. В „Былом и Думах“ Герцена есть интересное место, очень ясно показывающее, как подействовали на него вести о петербургском восстании и об его ближайших последствиях.

„Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая, или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души“ [1]).

От кого же мог ждать пробудившийся ребенок поддержки своим свободолюбивым стремлениям? Кто мог ответить ему на те вопросы, которые вызваны были в нем „картечью и победами, тюрьмами и цепями?“ Ответили его учителя—„русский“ и „французский“.

Прежде всего мальчик обратился к „русскому“ учителю И. Е. Протопопову. Того глубоко тронули его признания, и, уходя домой с урока, он обнял мальчика со словами: „Дай бог, чтобы эти чувства созрели в вас и укрепились“. После этого он стал носить ему запрещенные стихотворения: „Думы“ Рылеева, „Кинжал“ и „Оды на свободу“ Пушкина. Герцен замечает в „Былом и Думах“: „Я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!)“ [2]).

Потом пришла очередь „французского“ учителя: должно быть, „русский“ не все об‘яснил.

Герцен случайно открыл в подвальной библиотеке своего отца какую-то историю французской революции. Написанная роялистом и крайне пристрастная, она вызвала к себе недоверчивое отношение со стороны своего юного читателя; но, вместе с тем, она породила в нем желание потолковать с каким-нибудь компетентным лицом о выдающихся событиях великой эпохи. Наиболее компетентным показался ему на этот раз „французский“ учитель. Герцен так передает свою беседу с ним:

---

[1]) Сочинения (заграничное изд.), т. VI, стр. 66.

[2]) Т.-е. в Вольной русской типографии в Лондоне.

„— Зачем,—спросил я его середь урока,—казнили Людовика XVI?“

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

„— Parce qu'il a été traître à la patrie“ [1]).

По справедливому замечанию Герцена, такой решительный ответ стоил всяких сюбжонктивов. Он окончательно убедил юного свободолюбца в том, что французского короля казнили не даром.

Юмористическая подробность. Старый террорист прежде не любил Герцена, считая его пустым шалуном за то, что тот дурно готовил уроки. Он нередко говаривал: „Из вас ничего не выйдет“. Однако, после разговора о казни Людовика XVI гнев сменился милостью. „Он с тою же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил: „Я, право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас“ [2]).

II.

Почему люди, имеющие возможность пользоваться известной привилегией восстают иногда против ее существования? Как об'ясняется это несомненное явление? И не опровергает ли оно собою той материалистической теории, согласно которой стремления всякого данного общественного класса (или сословия) определяются, в последнем счете, его интересами?

Маркс и Энгельс говорят в знаменитом „Манифесте“, что в тот исторический момент, когда борьба классов, в своем данном виде, приближается к развязке, процесс разложения охватывает весь господствующий класс, вследствие чего от него отделяются некоторые его элементы, переходя на сторону угнетенного класса, борющегося за свое освобождение. В доказательство авторы „Манифеста“ указывают на то, что некогда часть дворянства перешла на сторону буржуазии, а в наши дни некоторые элементы буржуазии переходят на сторону пролетариата. Они правы. Если мы примем во внимание указываемые ими неоспоримые исторические факты, то дело представится нам в таком виде.

Стремления различных общественных классов определяются их положением, т. е., значит, *их интересами*. Но, так как классовые положения, а, следовательно, и классовые интересы различны, то различны и обусловленные ими стремления. Когда человек, принадлежащий к *господствующему* классу, переходит на сторону класса *угнетенного*, тогда он доказывает этим не то, что он освободился от *всякого вообще классового влияния*, а только то, что он вышел из-под влияния *одного* класса и попал под влияние *другого*. Стало быть, его пример не опровергает исторического

---

[1]) Т.-е. потому, что он изменил своему отечеству (Соч., т. VI, стр. 71).

[2]) В России конца XVIII и начала XIX в. находилось много французских эмигрантов. Между ними были защитники старого порядка и были революционеры; как те, так и другие оставили след в ходе развития своих русских воспитанников. Так, напр., биограф А. И. Кошелева говорит, что мать наших известных славянофилов Киреевских была воспитанницей французской эмигрантки графини Доррер, которая отличалась, по его словам, вполне аристократическими привычками и характером. Он замечает, что это обстоятельство имело большое влияние на ее умственный и нравственный строй (Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. II. Москва, 1889 г. стр. 3). Мы имеем право думать, что обстоятельство это, через посредство Авдотьи Петровны, не осталось без влияния также на умственный и нравственный склад ее сыновей, Ивана и Петра Киреевских, отличавшихся большим консерватизмом. Ср. также В. Лясковского, „Братья Киреевские, жизнь и труды их“. Спб. 1899 г.

материализма, а только предостерегает от его узкого и одностороннего понимания.

В чем же заключается задача всякой серьезной биографии такого общественного деятеля, который, принадлежа по своему происхождению к угнетателям, перешел на сторону угнетенных? В том, чтобы обнаружить обстоятельства, вырвавшие его из-под влияния угнетателей и возбудившие в нем сочувствие к угнетенным. Признаюсь, я дорого дал бы за такую биографию, например, аристократического аббата Сиэйса, которая выяснила бы мне, какими именно путями проникло до него влияние третьего сословия, впоследствии заставившее его написать знаменитые слова: „Что такое третье сословие?— Ничто! Чем оно должно быть?—Всем"! К сожалению, до сих пор биографы довольно невнимательно изучали такие обстоятельства.

Что касается А. И. Герцена, то мы уже кое-что знаем о том, под какими влияниями развивалась его любовь к свободе. Нам уже известно, какую часть этих влияний следует отнести на долю его учителей. Теперь мы рассмотрим то влияние, которое шло, по его выражению, из передней, т.-е. от крепостной прислуги.

Что русская „крещеная собственность" (его же выражение) не оставалась без того или другого более или менее полезного и разностороннего влияния на „благородное сословие", это нетрудно признать a priori, и это подтверждается целым рядом общеизвестных фактов. Кто не знает, например, что Пушкин учился русскому языку у своей крепостной нянюшки, знаменитой теперь Арины Родионовны?

Другой пример. Автор „Жизни за царя" и „Руслана", М. И. Глинка, рассказывает, что в детстве он часто слышал в доме своих родителей русские народные песни. „Эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились,—говорит он,—и, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиною того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку" [1].

Чтобы не плодить примеров, я ограничусь еще одним только указанием на выразительное и убедительное свидетельство П. Д. Боборыкина. В небольшой статье, посвященной „крепостным развивателям" и напечатанной в IV т. юбилейного издания: „Великая реформа", он говорит:

„Теперь, по прошествии пятидесяти лет моего писательства, я, вспоминая моих „развивателей", чувствую к ним нелицемерную признательность. От кого же я узнал столько о жизни, и старой и той, когда я стал более сознательно относиться ко всему окружающему, как не от них? И то, что я видел в них самих, и что они мне рассказывали в течение целого десятка лет, и их язык, и их житейский опыт, и очень тонкая наблюдательность, и любовь к природе и животным, и народное миросозерцание, склад их понятий, верований, правил, вся поэзия быта, где реальная правда так сливается с народной фантазией, все это их дар, их наследство!" [2].

Тут перед нами яркий пример весьма разностороннего влияния крепостных людей на своего будущего барина. Правда, тут еще ничего не сказано о том, как влияли на Боборыкина его „крепостные развиватели" в смысле отношения к дворянским привилегиям. Но дальше Боборыкин говорит и об этом: „Они, мои крепостные развиватели, привлекая ребенка тем, что они

---

[1]) Цит. в „Истории музыкального развития России" М. М. Иванова. Спб., 1910 г., т. I, стр. 270—271.

[2]) Указ. соч., стр. 84—85.

собою представляли, чем занимались, что умели, о чем рассказывали, воздержали его от черствости и гордыни сословного чувства“ [1]).

На Герцена „крепостные развиватели“ тоже влияли в смысле разрушения в нем сословного предрассудка. Вообще, вспоминая об этих своих „развивателях“, Герцен решительно оспаривает дворянский предрассудок, согласно которому крепостная прислуга могла только развращать барских детей. „Напротив, — говорит он, — она, эта передняя, с ранних лет развила во мне непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Бывало, когда я еще был ребенком, Вера Артамоновна, желая меня сильно обидеть за какую-нибудь шалость, говаривала мне: „Дайте срок, вырастете, такой же барин будете, как другие“. Меня это ужасно оскорбляло. Старушка может быть довольна — таким, как другие, по крайней мере, я не сделался“ [2]).

Приводимое здесь Герценом пророчество его нянюшки чрезвычайно характерно. Крепостная прислуга по горькому опыту знала, что иное дело психология „барского дитяти“, а иное дело психология взрослого барина. Барином человек не родится, а становится. Чтобы он научился ограничивать свое поле зрения интересами эксплоататоров, нужно немало времени. Ребенку не так легко дается эта наука. „Барское дитя“ первоначально просто общественное животное — zoon politicon, как выражается Аристотель. В качестве такового оно способно сочувствовать всем своим ближним независимо от их общественного положения. Лишь постепенно, переставая быть „дитятей“, оно научается смотреть с разных точек зрения на слугу и на барина; а, когда оно научается этому, когда в его сердце укрепляются сословные предрассудки, оно, по выражению Веры Артамоновны, становится таким же барином, как другие. Но в исключительные эпохи, —недалекие от момента крушения данного порядка, — известная часть юных кандидатов на роль эксплоататоров не подчиняется этому общему правилу. Она состоит, разумеется, из наиболее отзывчивых индивидуумов [3]). Герцен принадлежал к их числу, и по этой причине не сбылось по отношению к нему мрачное, на горьком опыте основанное, пророчество его няни Веры Артамоновны.

III.

Повидимому, И. А. Яковлев не был очень жесток в обращении со своими крепостными. Это положительно признает А. И. Герцен в „Былом и Думах“, и это же подтверждает М. К. Рейхель в своих воспоминаниях. Мы узнаем от нее, что И. А. крестьян своих „не тиранил“, а, если кому-нибудь из его слуг случалось провиниться, то он читал ему длиннейшие нотации, но не ругался при этом, а, главное, не подвергал виновного телесному наказанию [4]).

---

[1]) Там же, стр. 85.

[2]) Соч., т. VI, стр. 49.

[3]) Прилагательное „отзывчивые“ я употребляю здесь для обозначения способности сочувствовать страданиям окружающих. Способность эта не всегда бывает значительно развита даже у очень даровитых личностей. Так, например, И. А. Гончаров вряд ли обладал ею в значительной степени. По крайней мере, из его очерка „Слуги“ совсем не видно, чтобы он когда-нибудь проникался таким горячим сочувствием к „передней“, какое заметно в воспоминаниях Герцена.

[4]) „Отрывки из воспоминаний М. К. Рейхель и письма к ней А. И. Герцена“. Москва, 1909 г., стр. 15. Ср. Соч. Герцена, т. VI, стр. 41.—Герцен говорит в противность М. К. Рейхель, что телесные наказания практиковались и его отцом, но они „были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками“.

И все-таки впечатлительный ребенок мог рано заметить много чрезвычайно тяжелого в подневольном положении барских слуг. Его глубоко поражало, например, отчаяние тех молодых людей, которых отдавали в солдаты.

„На меня сильно действовали эти страшные сцены... Являлись два полицейские солдата по зову помещика; они воровски, невзначай, врасплох брали назначенного человека; староста обыкновенно тут об'являл, что барин с вечера приказал представить его в присутствие, и человек сквозь слезы куражился, женщины плакали, все давали подарки, и я отдавал все, что мог, т. е. какой-нибудь двугривенный, шейный платок" [1]).

Вспоминает Герцен еще о том, как его отец приказал обрить бороду одному из своих старост. Это своеобразное „наказание на теле" страшно огорчило несчастного старосту: „он плакал навзрыд, кланялся в землю и просил положить на него, сверх оброка, сто целковых штрафу, но помиловать от бесчестья" [2]).

Еще более сильное впечатление должны были произвести на него рассказанная в „Былом и Думах" история повара, составлявшего „крещеную собственность" его дяди („Сенатора"), а также смерть крепостного медика Толочанова.

„Сенатору" удалось отдать своего повара в учение знаменитому царскому повару-французу. Усвоив его науку, он служил в английском клубе, разбогател и пожелал выкупиться на волю. „Сенатор" не согласился продать ему свободу, сказав, что отпустит его даром после своей смерти. Это так подействовало на бедного артиста кулинарного искусства, что он сделался горьким пьяницей. Герцен, имевший случай близко видеть этого погибшего человека, пишет:

„Я тут разглядел, какая сосредоточенная ненависть и злоба против господ лежат на сердце у крепостного человека: он говорил со скрипом зубов и с мимикой, которая особенно в поваре могла быть опасна. При мне он не боялся давать волю языку; он меня любил и часто, фамильярно трепля меня по плечу, говорил: „добрая ветвь испорченного дерева".—После смерти „Сенатора" мой отец дал ему тотчас отпускную; это было поздно, и значило сбыть его с рук, он так и пропал" [3]).

Судьба крепостного врача была, если это возможно, еще более трагична. Он принадлежал тому же „Сенатору". Барин выхлопотал ему позволение ходить на лекции медико-хирургической академии. Герцен говорит, что по окончании своих занятий в академии крепостной врач „лечил кой-как"; однако, признает, что у него были способности, и что он выучил латинский и немецкий языки. Впоследствии Толочанов женился на дочери какого-то офицера, умолчав перед нею о своем подневольном положении. Когда печальная истина открылась, жена пришла в ужас и бежала от него с другим. Бедняк отравился. Это было 31 декабря 1821 года. Одиннадцатилетний Герцен слышал стоны Толочанова и его крики: „жжет! жжет! огонь!" Когда кто-то посоветовал умиравшему послать за священником, он отказался, об'явив, что не верит в загробную жизнь. Он умер в 12-м часу ночи со словами: „Вот и Новый год, поздравляю вас!"

Все эти страшные подробности, как видно, тогда же дошли до сведения юного Герцена. Пусть он сам расскажет, как подействовала на него эта ужасная история.

„Утром я бросился в небольшой флигель, служивший баней; туда снесли Толочанова; тело лежало на столе, в том виде, как он умер, во фраке, без

---

1) Соч., т. VI, стр. 41.
2) Там же, стр. 41—42.
3) Там же, стр. 47.

галстука, с раскрытой грудью; черты его были страшно искажены и уже почернели. Это было первое мертвое тело, которое я видел; близкий к обмороку, я вышел вон. И игрушки и картинки, подаренные мне на Новый год, не тешили меня; почернелый Толочанов носился перед глазами и я слышал его „жжет—огонь!“ [1]).

Именно после рассказа о смерти Толочанова Герцен и замечает („в заключение“), что на него передняя не имела никакого дурного влияния, а, наоборот, развила в нем с детства непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу. Только-что приведенные мною примеры ясно показывают, думается мне, откуда именно взялась эта ненависть. Ее заронили в душу отзывчивого ребенка те люди, которые сами жестоко страдали от произвола и рабства, и, вызывая в его душе это благородное чувство, они давали ничем незаменимый толчок его дальнейшему нравственному развитию.

Заметьте при этом, что Герцен отнюдь не был склонен к идеализации передней. Он говорит, что приучать дворовых детей к „службе“ значило приучать их к праздности, лени, лганью и к употреблению сивухи [2]). И, однако, он признает, как мы видели, что именно крепостной передней обязан он своей ненавистью ко всякому угнетению человека человеком. Как же это так? Да очень просто!

Приучая человека к употреблению сивухи, к праздности и лганью, передняя не приучала его, — по крайней мере, в то время, к которому относится детство и отрочество Герцена,—мириться со своим угнетенным положением [3]). А это значит, что ответ, который она давала на вопрос о взаимных отношениях людей, был неизмеримо выше в нравственном отношении, нежели тот, который можно было получить в барском кабинете или в гостиной. Только те молодые ветви испорченного древа, которые не забывали ответа, даваемого крепостной передней,—только они и могли сделаться прогрессивными работниками в тогдашней России.

История нашей литературы очень мало рассматривалась до сих пор с точки зрения общественной психологии. А эта последняя, в свою очередь, очень мало изучалась с точки зрения взаимного отношения и взаимного влияния общественных классов. Но то немногое, что мы знаем об этом предмете, вполне подтверждает сказанное мною о роли крепостной передней в деле нравственного развития тех представителей „отрицательного“ направления нашей общественной мысли, которые происходили из дворянской среды.

Укажу на Лермонтова. Г. Нестор Котляревский говорит: „В деревне Лермонтов провел тринадцать лет,—не только свое детство, но и отрочество. Крестьянский быт был у него перед глазами, и он, как рассказывают, жил в довольно тесном общении с простым людом“ [4]).

Не это ли тесное общение забросило в его душу первые семена того „отрицательного“ настроения, которое впоследствии так своеобразно развилось, — вернее было бы сказать: так своеобразно не доразвилось,— в ней?

---

[1]) Соч., т. VI, стр. 48—49.

[2]) Там же, стр. 42.

[3]) Иногда бывает не так. Путешественники сообщают, что в некоторых местностях Африки рабы свысока смотрят на наемника, считая свое положение более почетным. Так всегда бывает на тех ступенях общественного развития, когда рабство вполне соответствует, как „организация труда“, состоянию общественных производительных сил. В эпоху Герцена такого соответствия у нас уже не было.

[4]) Н. Котляревский, „Лермонтов“, Спб., 1909 г., стр. 18.

Я считаю это весьма и весьма вероятным.

Но, как бы там ни было по отношению к Лермонтову, что касается Герцена — никакое сомнение невозможно [1]). Он сам говорит, как мы уже знаем, что ненависть к рабству и произволу была внушена ему крепостной прислугой. А, если это так, то ясно, что общение с этой прислугой впервые сделало его способным понимать проповедь свободы, что оно впервые сделало его восприимчивым к таким влияниям, как влияние 14 декабря, запрещенных стихотворений Рылеева и Пушкина или, наконец, террористической проповеди „французского" учителя: ведь, он, конечно, раньше пришел в „общение", скажем, со своей нянюшкой Верой Артамоновной, чем услышал о 14-м декабря или стал брать уроки у французского террориста из Меца, monsieur Бушо. А это значит, что, вызывая в нем ненависть ко всякому рабству и произволу, крепостная прислуга, сама того нимало не подозревая, очень сильно содействовала его последующему политическому развитию.

IV.

„Мне одиночество в кругу зверей вредно",—писал Герцен в своем дневнике 10 июня 1842 г. Такое одиночество вредно всякому. Неизвестно, какой вид приняла бы в душе Герцена ненависть к рабству и произволу, впервые посеянная в нем крепостной прислугой, если бы ему суждено было остаться одиноким со своими свободолюбивыми стремлениями. Может быть, он подобно Лермонтову,—который тоже далеко не чужд был свободолюбивых стремлений в своей юности, но которому, как видно, выпал на долю тяжелый жребий нравственного одиночества,—может быть, он не пошел бы дальше гордого, но бесплодного презрения к „пошлой толпе".

Чтобы пояснить мою мысль, я приведу пример, заимствуя его у того же Герцена. По его словам, он, будучи переполнен своим „бушотовским терроризмом", вздумал однажды доказать одному из своих ровесников справедливость казни Людовика XVI. „Все так, но, ведь, он был помазанник божий",— возразил его слушатель. „Я посмотрел на него с сожалением, разлюбил его, и ни разу потом не просился к ним" [2]). Это понятно. Но представьте себе, что все те ровесники, которым юный Герцен вздумал бы излагать свои крайние взгляды, оказались бы похожими на этого слушателя, что произошло бы отсюда? Он стал бы на каждого из них смотреть с сожалением; он разлюбил бы их всех и, хотя, может быть, не перестал бы встречаться с ними, но уж, наверно, не пытался бы более открывать перед ними свою душу. Другими словами, он сделался бы **замкнутым**, т.-е. именно таким, каким до конца жизни оставался Лермонтов. Но это не все. Смотря на своих сверстников с презрением, он приучился бы видеть в себе избранника, не оцененного и не понятого „толпою", т.-е. опять-таки то, что видел в себе Лермонтов. Да и это еще не все. Свободолюбивые стремления впечатлительного юноши, не найдя себе отклика в окружающей среде, вызвали бы в нем мрачный взгляд на будущее. Кто не помнит знаменитого стихотворения Лермонтова: „Дума"?

Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее — иль пусто иль темно;
Меж тем, под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно.

---

[1]) Ч. Ветринский замечает, что вследствие незаконного происхождения Герцена прислуга смотрела на него как на полубарченка („Герцен". Спб., 1908, стр. 7). В самом деле, вполне возможно, что его происхождение способствовало его сближению с крепостной прислугой.

[2]) Соч., т. VI, стр. 90.

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.

Если для Герцена, Белинского и других людей 40-х годов жизнь не превратилась в ровный путь без цели; если они избежали лермонтовского разочарования, то это в значительной степени надо отнести на счет тех счастливых случайностей, которые избавили их от „одиночества среди зверей“ [1]). Их спасло сочувствие, встреченное ими в кружках единомышленников. Я не стану распространяться о том значении, которое имела в отроческой жизни Герцена дружба его с Н. П. Огаревым. Напомню только знаменитую клятву, произнесенную молодыми друзьями во время прогулки на Воробьевых горах.

„Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга, и вдруг, обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу“ [2]).

Сцена эта своей романтической внешностью способна вызвать у иного читателя улыбку. Но, если принять во внимание, что с этого дня Воробьевы горы стали для обоих ее участников как бы местом паломничества, куда они ходили по нескольку раз в год, „и всегда одни“, то сделается ясным, что она оставила глубокий след в их душе.

Герцен говорит: „Ничто в свете не очищает, не облагораживает так отроческий возраст, не хранит его, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес“ [3]). Это бесспорно, так. Но можно прибавить: ничто в свете не охраняет так возбужденный в отроке общечеловеческий интерес, как возможность разделить его.

В университете вокруг Герцена и Огарева быстро образовался товарищеский кружок—знаменитый в истории нашего умственного развития кружок Герцена и Огарева. К нему принадлежали Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, В. Пассек, Н. Х. Кетчер, Маслов, Лахтин, Носков и известный впоследствии как астроном А. Н. Савич.

Учащаяся молодежь, окружавшая Герцена, была, как он выражается, прекрасная. Она живо интересовалась вопросами науки и в то же время не

---

[1]) Что Лермонтов в своей ранней юности имел много свободолюбивых стремлений, в этом теперь невозможно сомневаться. Г. Н. Котляревский говорит: „В его юношеских тетрадях немало заметок и стихов, в которых он касается политических событий своего времени. Суждения его о них самые либеральные, для тех годов даже очень смелые. Есть резкая выходка против „тирана“ Аракчеева („Новгород“, 1830), весьма непочтительная сатира по адресу королей („Пир Асмодея“, 1830) и малопонятное предсказание для России какого-то черного года, чуть ли не возвращение пугачевщины („Предсказание“, 1830). Пусть все это незрело и непродуманно, но очевидно, что мысль Лермонтова начинала работать в этом направлении очень рано, и некоторые его позднейшие стихотворения, заподозренные в либерализме, были, как видим, не капризом, а плодом уже долгого раздумья. Есть в юношеских тетрадях поэта также два стихотворения, посвященные июльской революции,—оба восторженные и полные радикального духа, хотя слабые по выполнению. Есть одно стихотворение, очень умное и красивое—привет какому то певцу, который был изгнан из страны родной, но, очевидно, не за любовь свою к „Музам“ (цит. соч., стр. 47—48). Все это довольно знаменательно; но политические стремления Лермонтова остались неразвитыми, а впоследствии, повидимому, совсем заглохли. В его поэзии преобладает нота индивидуального протеста гордой и независимой личности против пошлой общественной среды.

[2]) Соч., т. VI, стр. 93.

[3]) Там же, стр. 91.

закрывала глаз на окружавшую ее общественную жизнь. Герцен замечает, что это сочувствие с общественной жизнью необыкновенно поднимало гражданскую нравственность студентов. „Мы и наши товарищи говорили в аудитории открыто все, что приходило в голову; тетрадки запрещенных стихов ходили из рук в руки, запрещенные книги читались с комментариями и при всем том я не помню ни одного доноса из аудитории, ни одного предательства. Были робкие молодые люди, уклонявшиеся, отстранявшиеся,—но и те молчали“ [1]).

Для понимания взгляда Герцена на Россию, сложившегося впоследствии, но тесно связанного, разумеется, с воспоминаниями юности, полезно будет здесь же отметить следующее обстоятельство.

По его словам, общественные различия не имели никакого влияния на взаимные отношения в среде тогдашнего студенчества. Студент, который вздумал бы хвастаться знатностью своего происхождения или своим богатством, был бы, как выражается наш автор, „отлучен от „воды и огня“, замучен товарищами“. И все-таки это была преимущественно дворянская молодежь. Медицинское отделение, на котором преобладали немцы и семинаристы, держалось в стороне от всего остального студенческого мира. „Немцы,—говорит Герцен, — держали себя несколько в стороне, были очень пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас—мы говорили разными языками; они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей реторикой и теологией, завидовали нашей развязности; мы — досадовали на их христианское смирение“ [2]).

Не касаясь немцев, вспомним, что в 60-х годах студенты из семинаристов не только не обнаруживали „христианского смирения“, но составляли, можно сказать, передовой отряд учащейся молодежи. Студент-разночинец частью опередил тогда студента-дворянина, частью подчинил его своему влиянию. Это изменение в удельном весе разночинного общественного элемента нашло свое выражение в истории наших общественных идей. Когда наши народники 70-х годов утверждали, что интеллигенция организует наиболее отзывчивые элементы крестьянства и возьмется вместе с ними за осуществление идеалов „Земли и Воли“, они имели в виду интеллигентов-разночинцев. А, когда Герцен, в начале 50-х г.г., говорил, что наша интеллигенция принесет народу последние (социалистические) выводы западно-европейской мысли, он подразумевал дворянскую интеллигенцию. Так, например, в своем сочинении: „Du dévéloppement des idées revolutionnaires en Russie“ (Paris, 1851, p. 84) он прямо говорит, что „работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве“. То же повторяет он и в некоторых других случаях.

Ниже я подробнее рассмотрю эту сторону его взглядов, а теперь мне хотелось только отметить, до какой степени история умственного развития его подтверждает правильность того материалистического положения, что не бытие определяется мышлением, а мышление—бытием.

V.

Кружок Герцена-Огарева был „политическим“ кружком в противоположность не менее знаменитому кружку Станкевича, отличавшемуся фило-

---

[1]) Сочинения т. VI, стр. 138.
[2]) Там же, стр. 127.

софским направлением. „Философы“ довольно высокомерно посматривали на „политиков“, подозревая их в отсутствии основательности [1]). Тем не менее, к „философам“ столько же, сколько и к „политикам“, применимо то замечание Герцена, что тогдашняя учащаяся молодежь, интересуясь вопросами теории, не отворачивалась от вопросов жизни. От К. С. Аксакова,—который был одним из членов кружка Станкевича, — мы узнаем, что в кружке этом „выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир“, и притом, — заметьте это, — „воззрение большею частью отрицательное“ [2]). Если это было так между „философами“, то тем полнее должно было господствовать отрицательное воззрение между „политиками“.

„Политики“ были неутомимыми пропагандистами. Герцен говорит: „Там, где открывалась возможность обращать, проповедывать, там мы были со всем сердцем и помышлением, неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже“...

Что же, собственно, проповедывали они? За ответом на этот вопрос я опять предпочитаю обратиться прямо к Герцену.

„Что мы, собственно, проповедывали, трудно сказать. Идеи были смутны: мы проповедывали французскую революцию, потом проповедывали сэн-симонизм и ту же революцию; мы проповедывали конституцию и республику, чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе. Но пуще всего проповедывали ненависть ко всякому насилию, ко всякому произволу“.

Знакомясь с учением Сэн-Симона, наша передовая молодежь впервые знакомилась тогда с западно-европейским социализмом. Герцен говорит, что сэн-симонизм лег в основу его убеждений,—он даже употребляет более широкое выражение: „в основу *наших* убеждений“,—„и неизменно остался в существенном“ [3]). Тут он опять совершенно прав. Он, в самом деле, до конца жизни остался социалистом. Кто позабудет об этом, тот не поймет и публицистической деятельности Герцена в эпоху уничтожения крепостного права. И до конца жизни Герцен повторял в своем социализме ту ошибку, которая свойственна была не только учению Сэн-Симона, но и всему вообще утопическому социализму. Я имею в виду *неуменье этого социализма свести концы с концами в своем понимании связи между бытием и сознанием, экономикой и политикой*. Читатель подумает, пожалуй, что я хочу сказать парадокс, если я прибавлю, что этой слабой стороной взглядов Герцена-*социалиста* до известной степени об‘ясняется *широта* того влияния, которое имел „Колокол“ в первые годы своего существования. Но это в самом деле так. Ниже я раз‘ясню, в чем тут дело [4]). А теперь замечу пока вот что.

Одной из самых коренных и самых плодотворных мыслей в системе Сэн-Симона является та мысль, что „dans tout pays la loi fondamentale est

---

[1]) Герцен рассказывает: „До ссылки между нашим кругом и кругом Станкевича не было большой симпатии. Им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти исключительно умозрительное. Они нас считали фрондерами и французами, мы их — сентименталистами и немцами. Первый человек, признанный нами и ими, который дружески подал обоим руки и снял своей теплой любовью к обоим, своей примиряющей натурой, последние следы взаимного непонимания, был Грановский“ (Соч., т. VII, загр. изд., стр. 120).

[2]) К. С. Аксаков. „Воспоминание студентства 1832—1835 годов“, Спб., 1911 г., стр. 17.

[3]) Соч., т. VII, стр. 197.

[4]) См. об этом также в моей статье: „Герцен-эмигрант“, напечатанной в 13-м выпуске „Истории русской литературы XIX века“, выходящей под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского в изд. т-ва „Мир“, стр. 150.

celle, qui établit la propriété et les dispositions pour la faire respecter" [1]). Будучи правильно понята, эта чрезвычайно важная мысль подсказывает тот вывод, что правовые отношения и политический строй всякой данной страны определяются ее экономикой. Это—чисто материалистическая мысль. Сэн-Симон не только дошел до этой мысли, но положил ее в основу многих весьма глубоких своих соображений о ходе развития европейской цивилизации в течение нового и новейшего времени. Он доказывал, что производство есть цель общественного союза, а вследствие этого во главе такого союза всегда будут находиться люди, руководящие производством. До XV века важнейшей отраслью производительной деятельности были земледельческие работы, которыми руководило дворянство. Поэтому в руках дворянства сосредоточивалась политическая власть. Но мало-по-малу, по мере развития промышленности, возник и выступил в роли значительной исторической силы новый общественный класс—промышленники в собственном смысле этого слова. Класс этот вступил в борьбу с дворянством и постепенно отнял у него почти все его экономические позиции. Ища себе союзников в этой борьбе, он соединился с королевской властью, и этим обстоятельством об'ясняется весь дальнейший ход развития французской монархии вплоть до Людовика XIV, в лице которого королевская власть отвернулась от промышленного класса и сделалась союзницей дворянства. Сэн-Симон считал это большой политической ошибкой и неустанно убеждал Бурбонов в том, что им следует как можно скорее поправить свой промах, т.-е. разорвать вредный—как для них самих, так и для всей Франции—союз с аристократией и перейти на сторону „промышленного класса".

Излишне говорить, что Бурбоны остались глухи к его совету. Но не мешает отметить характерную для Сэн-Симона, равно как и для всех других социалистов-утопистов, теоретическую ошибку. Она заключается в том, что, пока речь идет о п р о ш л о м, Сэн-Симон рассматривает политическую власть—а, следовательно, и деятельность ее представителей в течение каждого данного исторического периода—как с л е д с т в и е, необходимо вытекающее из своей п р и ч и н ы, т.-е. из экономических отношений данного времени. А, когда речь заходит о н а с т о я щ е м и о б у д у щ е м, тот же самый писатель рассматривает ту же самую власть как независимую общественную силу, которая может по своему благоусмотрению сделаться выразительницей интересов любого общественного класса. По отношению к прошлому Сэн-Симон—материалист; по отношению к настоящему и будущему он—чистокровный идеалист. Материализму он обязан своими глубокими философско-историческими рассуждениями, — из которых так много заимствовали Огюстэн Тьери и Огюст Конт,—а насчет идеализма должна быть отнесена его политическая программа, не раз изменявшаяся в частностях, но всегда сохранявшая наивно-утопический характер.

В виду всего этого приобретают особенно поучительное значение приведенные мною выше слова А. И. Герцена о том, что сэн-симонизм лег в основу его убеждений и „неизменно остался в существенном". Мы скоро увидим, что в своей роли публициста Герцен повторял ошибку Сэн-Симона и других социалистов-утопистов; он тоже возлагал слишком много надежд на благоусмотрение представителей политической власти; он тоже забывал в этой своей роли, что пределы возможного для всякого данного правительства определяются характером тех экономических отношений, из которых оно вырастает.

---

[1]) Не имея под руками Сэн-Симона, цитирую по P. Louis, „Histoire du socialisme français", Paris, 1901, p. 66. Т.-е. в каждой стране основной закон есть тот, который устанавливает собственность и принимает меры, нужные для ее охраны.

В известном смысле, он даже более склонен был к этой ошибке, нежели западно-европейские социалисты-утописты. По крайней мере, в его теоретических взглядах было меньше препятствий для нее.

Дело тут вот в чем.

В западно-европейской литературе Сэн-Симон со своими учениками был далеко не единственным носителем того взгляда, что ход внутреннего развития европейского общества определился борьбой „промышленного класса“ с аристократией. Уже в эпоху реставрации взгляд этот был усвоен всеми выдающимися французскими историками, а от них перешел и к русским писателям. Но эти последние весьма своеобразно видоизменили или, если хотите, дополнили его. Они признали, что западно-европейское общество, действительно, создано было борьбою классов, но полагали в то же время, что такая борьба не играла ровно никакой роли во внутреннем развитии России. Эта двойственная и противоречивая философия истории с наибольшим усердием разрабатывалась М. П. Погодиным и славянофилами, собственно, так называемыми; однако, ее отнюдь не отвергали и западники. Ее держался Белинский; ее же держался и Герцен. Каждый из этих двух блестящих писателей, так горячо споривших со славянофилами и так едко смеявшихся над ними, готов был повторить вместе с Погодиным, что Россия—не Запад, и что русское общество создавалось не взаимной борьбой классов, а,—по крайней мере, со времен Петра,—цивилизующим влиянием правительства [1]). Всякий понимает, что такая философия русской истории необходимо должна была предрасполагать Герцена к огромному преувеличению тех возможностей, которые стояли тогда перед верховной властью в деле уничтожения крепостного права, а также, конечно, и в деле других реформ.

Мы остановились бы в полнейшем недоумении перед некоторыми относящимися сюда, теперь почти невероятными, упованиями Герцена-публициста, если бы от нашего внимания ускользнули эти слабые стороны Герцена-теоретика.

С практической стороны имела большую важность для Герцена и его кружка еще та мысль Сэн-Симона, что „все общественные учреждения должны иметь целью нравственное, умственное и физическое усовершенствование сословия самого многочисленного и бедного“.

Впоследствии, говоря о системе Сэн-Симона, Н. П. Огарев изображал эту мысль как главнейший и практический вывод из учения знаменитого французского социалиста [2]). И всякий, кто знаком с литературной деятель-

---

[1]) См. об этом подробнее в моей статье: „М. П. Погодин и борьба классов“ („Совр. Мир“, 1911 г., март и апрель). Наши западники видели в процессе исторического движения России нечто противоположное ходу социального развития на Западе. Чаще всего противоположность обосновывалась ими ссылкой на отсутствие у нас борьбы классов; впоследствии они очень сочувственно встретили мысль Кавелина о родовом характере русской истории, противоположном личному характеру истории западной. Белинский называл эту мысль гениальной („Белинский. Его жизнь и переписка“. Изд. 1876 г., т. II, стр. 248).

[2]) См. в „Колоколе“ (№ 223) статью Огарева: „Частные письма об общих вопросах“. Письмо IV.—В этой чрезвычайно интересной статье Огарев называет главной мыслью системы Сэн-Симона то положение, что будущее есть функция прошедшего, и утверждает, что эта „простая мысль... не может не привести (курсив мой. *Г. П.*) к необходимости общественного пересоздания, в котором сословия имущих тунеядцев... и сословие неимущих работников должны слиться в одну общую людскую производящую силу“... Надо сознаться, что это „не может не привести“ не имеет достаточного логического основания. То положение, что будущее есть функция прошедшего, применимо ко всем эпохам общественного развития, а, между тем, лишь в XIX в. возникло стремление к организации работников „в одну общую производящую силу“, о которой говорится здесь у Огарева.

ностью Герцена и Огарева, согласится, что мысль эта решительно никогда не упускалась ими из виду.

VI.

Однако, не будем забегать вперед. В ночь с 19 на 20 июля 1834 года Герцен был арестован, а в апреле следующего года он был отправлен в ссылку. С этих пор начинается первый ссыльный период в жизни Герцена, продолжавшийся до марта 1840 года. Второй ссыльный период его начался в июле 1841 года, когда он явился в Новгород и поселился на берегу Волхова, „против самого того кургана, откуда вольтерианцы XII столетия бросили в реку чудотворную статую Перуна“ [1]). Посмотрим же, как повлияла на него провинциальная жизнь в смысле отношения его к крепостному праву.

Время своей первой ссылки Герцен провел в Перми, Вятке и Владимире-на-Клязьме. В течение владимирского периода его внимание очень сильно занято было большим личным делом: его отношениями к Наталье Александровне Захарьиной, на которой он женился 10 мая 1838 года. В начале этого же года (5 января) он писал ей в Москву: „Теперь я весь твой: нет людей, а эти мне не нужны. Я всем друзьям сказал — прощайте. Так, как сказал мечтам о славе, о поприще, о деятельности—прощайте. Вся моя жизнь в тебе. Кончено. Я искал великого и нашел в тебе; я искал святого, идейного—и нашел в тебе. Итак, прощай весь мир“ [2]). Потом, после женитьбы, исключительность такого настроения ослабела. В „Былом и Думах“ Герцен пишет: „Грудь наша не была замкнута счастием, а, напротив, была больше, чем когда-либо, раскрыта всем интересам; мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова и снова сосредоточивались на нашей любви; мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий все было родное, созвучное“ [3]). Но уже самые эти строки показывают, что главное его внимание все-таки сосредоточивалось тогда на его личных чувствах и отношениях. Неудивительно, что описание этих отношений и чувств почти целиком занимает собою те главы „Былого и Дум“, которые повествуют о жизни Герцена во Владимире-на-Клязьме. Что касается Перми,—в которой он оставался, впрочем, совсем недолго,—и Вятки, то в них отсутствует помещичий элемент, а потому они мало знали крепостное право. Во время своей ссыльной жизни в том краю Герцен сталкивался, главным образом, с проявлениями бюрократического произвола. В „Былом и Думах“ мы встречаем несравненное

---

[1]) Соч., т. VII, стр. 195.—В разговоре с тогдашним шефом жандармов Бенкендорфом Герцен перед своей второй ссылкой заметил: „В 1835 г. я был сослан по делу праздника, на котором вовсе не был! Теперь я наказываюсь за слух, о котором говорил весь город. Странная судьба!“ (там же, стр. 179). Действительно—странная! В первый раз Герцен и Огарев были привлечены к делу о празднике, на котором пелись запрещенные песни. Праздник пришелся в день именин старика Яковлева, и как Герцен, так и Огарев провели этот день в его доме. Во второй раз Герцена сослали за то, что он в письме к своему отцу сообщил слух об убийстве в Петербурге будочником одного обывателя. Письмо, разумеется, было вскрыто. На вопрос, каким образом Герцен и Огарев могли быть привлечены к делу, в котором не принимали участия, П. В. Анненков отвечает: „Это об'ясняется растяжимостью политических процессов и свойством их захватывать ради полноты, сферы и идеи, лежащие по соседству“ „Литературные воспоминания“. Спб., 1909 г., стр. 73). Глубокая, но горькая истина!

[2]) Ветринский. „Герцен“, стр. 74.

[3]) Соч., т. VII, стр. 89—90.

изображение этого произвола, конечно, больше всего давившего собою то сословие, часть которого изнывала под гнетом помещичьей власти, т.-е. крестьянство. Напомню читателю хотя бы рассказ Герцена о „картофельном бунте“ крестьян, отказавшихся засевать свои поля (по предписанию начальства) мерзлым картофелем. Дело дошло до картечи; крестьяне рассыпались по лесам; казаки выгоняли их оттуда, как диких зверей, и отводили в Козьмодемьянск на следствие...

„...Ну, и следствие пошло обычным русским чередом: мужиков секли при допросах, секли в наказание, секли для примера, секли из денег, и целую толпу сослали в Сибирь“ [1])...

Заслуживает большого внимания также полный юмора рассказ о том, как исправник Девлет-Килдеев, „правоверный магометанин“, насильственно обращал язычников-черемисов в православие. По словам Герцена, равноапостольный татарин получил в награду за труды Владимирский крест, к немалому смущению своих татарских единоверцев. Герцен прибавляет:

„Я потом читал в журнале министерства внутренних дел об этом блестящем обращении черемисов. В статье было упомянуто ревностное содействие Девлет-Килдеева. По несчастию, забыли прибавить, что усердие к церкви было тем более бескорыстно у него, чем тверже он верил в исламизм“ [2]).

Так как ссыльный Герцен по высочайшему повелению был определен на государственную службу, то ему, волей-неволей, пришлось близко ознакомиться с проявлениями бюрократической заботливости о народном благосостоянии. Он рассказывает, что перед окончанием его вятской жизни департамент государственных имуществ воровал до такой степени, что над ним была назначена следственная комиссия, разославшая ревизоров по губерниям. Вятский губернатор Корнилов должен был назначить от себя двух чиновников при этой ревизии, и одним из них оказался Герцен. „Чего не пришлось мне тут прочесть—и печального, и смешного, и гадкого! Самые заголовки дел поражали меня удивлением.—„Дело о потере неизвестно куда дома волостного правления и о изгрызении плана оного мышами“.—„Дело о потере двадцати двух казенных оброчных статей“, т.-е. верст пятнадцати земли. — „Дело о перечислении крестьянского мальчика Василья в женский пол“ [3]). Это последнее дело возникло оттого, что священник, быв под хмельком, окрестил девочку мальчиком, назвав ее по ошибке вместо Василисы Василием. Ее отец обратился к подлежащему начальству с просьбой разрешить его недоумение о том, должна ли будет девочка впоследствии платить подушную подать и отбывать рекрутскую повинность. Герцен не знал, чем кончилось это курьезное дело, длившееся целые годы, но подозревал, что „чуть ли девочку не оставили в подозрении мужского пола“. По этому поводу он вспоминает, как при императоре Павле один полковник по ошибке записал умершим больного офицера. Больной был по высочайшему повелению исключен из списков, но на беду свою выздоровел и подал просьбу о своем перечислении в список живых. Павел решил: „Так как о г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать“. Герцен, не без основания, находит, что это еще лучше Василисы-Василия.

Вряд ли нужно говорить, что не весьма отрадны были те выводы, к которым приходил Герцен благодаря своим наблюдениям над жизнью в провинции. Ради точности приведу, впрочем, то замечание, которое он делает в

---

[1]) Соч., т. VII, стр. 331.
[2]) Там же, стр. 325.
[3]) Там же, стр. 325.

„Былом и Думах“ по поводу обращения магометанином язычников в христианскую веру. Он думает, что это обращение—тип всех реформ, предпринимаемых нашей бюрократией: „фасад, декорация, blague, ложь, пышный отчет, кто-нибудь крадет и кого-нибудь секут“ [1]).

Другими словами, выходило, что понятие: „крепостное право“ значительно шире понятия: „крепостная зависимость крестьян от помещиков“. Это, конечно, известно было Герцену и раньше. Но то, что раньше опиралось на более или менее отвлеченные соображения, теперь приобретало всю убедительность непосредственного наблюдения.

Во время своей второй ссылки Герцен служил советником губернского правления и стоял во главе его второго отделения. В этом своем качестве он заведывал делами: о лицах, находившихся под полицейским надзором, о раскольниках и о злоупотреблениях помещичьей властью. Так как он сам был под надзором, то ему приходилось заведывать делом о самом себе. „Нелепее, глупее ничего нельзя себе представить; я уверен, что три четверти людей, которые прочтут это, не поверят, а, между тем, это сущая правда“ [2]). Как это легко понять, поднадзорный Герцен не доставлял больших хлопот чиновнику-Герцену. Что касается дел о раскольниках, то наш советник, просмотрев их, оставил в покое, так как их, по его соображениям, лучше было не поднимать в интересах преследуемых. Но зато тем энергичнее налег он на дела о злоупотреблениях помещичьей властью.

„В передних и девичьих, в селах и полицейских застенках схоронены целые мартирологи страшных злодейств, воспоминание об них бродит в душе и поколениями назревает в кровавую, беспощадную месть, которую предупредить легко, а остановить вряд возможно ли будет“ [3]).

Герцен делал, что мог, для защиты несчастных крепостных. Он с удовольствием рассказывает, например, как ему удалось отдать под суд отставного морского офицера Струговщикова, долго и безнаказанно позволявшего себе в своем имении „всевозможные неистовства“. Проигравший дело морской офицер пришел в ярость и обещался избить его. Но, как догадывается Герцен, вследствие непривычки к сухопутным кампаниям, оставил эту угрозу неисполненной.

Впрочем, подобные радости были не часты и не продолжительны. Служба становилась все менее и менее выносимой для ссыльного советника новгородского губернского правления. И не столько вследствие своей подневольности, сколько вследствие того, что, превращая его в одно из звеньев бюрократической машины, она возлагала на него нравственную ответственность перед своей совестью за зло, причиняемое народу этой машиной. Последней каплей, переполнившей чашу, был следующий случай.

Новгородский помещик Мусин-Пушкин ссылал в Сибирь на поселение своего крестьянина с женою. У этой четы был десятилетний сын, которого помещик оставлял у себя. Однажды, явившись в правление, Герцен застал там ссыльную крестьянку, пришедшую хлопотать за сына. Она бросилась перед ним на колени и со слезами просила заступиться за нее. Пока она рассказывала ему, в чем дело, вошел губернатор, которому он и передал ее просьбу. Губернатор об‘явил, что по закону дети старше десяти лет остаются, в случае ссылки родителей, у помещика. Бедная мать, не понимавшая бесчеловечного закона, продолжала плакать, цепляясь за ноги неумолимого начальника губер-

---

[1]) Соч., т. VII, стр. 323.
[2]) Там же, стр. 199.
[3]) Там же, стр. 208.

нии. Это надоело ему, и он крикнул, грубо оттолкнув ее от себя: „Да что ты за дура такая, ведь, по-русски тебе говорю, что я ничего не могу сделать, что же ты пристаешь!“ После этого он твердым шагом пошел к своему делу.

„И я пошел... с меня было довольно... Разве эта женщина не приняла меня за одного из них? Пора кончить комедию.

„— Вы нездоровы? — спросил меня советник Хлопин, переведенный из Сибири за какие-то грехи.

„— Болен,—отвечал я, встал, раскланялся и уехал. В тот же день написал я рапорт о моей болезни, и с тех пор нога моя не была в губернском правлении“ [1]).

VII.

Третьего апреля 1842 года Герцен „за болезнью“ подал просьбу об отставке. Отставка была ему дана и даже с чином надворного советника; но в то же время Бенкендорф довел до сведения губернатора, что Герцену запрещается выезд из Новгорода. Только в июле того же года ему разрешено было переселиться в Москву, но без права в‘езда в Петербург.

Ссыльная одиссея кончилась. Герцен опять был на „свободе“. Он стремился действовать. Единственным возможным для него тогда в России родом деятельности была литература. Уже в 1843 году появились в „Отечественных Записках“ его известные статьи: „Диллетантизм в науке“; затем,—не говоря о более мелких статьях и об остроумной полемике с „Москвитянином“,—последовали „Письма об изучении природы“, роман „Кто виноват?“, повесть „Доктор Крупов“, „Письма из Avenue Marigny“ и повесть „Сорока-воровка“. Некоторые из этих произведений вышли в свет, когда он уже был за границей, а некоторые („Письма из Avenue Marigny“) и написаны были им на чужбине; но все они относятся к тому же периоду его деятельности, который непосредственно предшествовал его решению не возвращаться в Россию. Почти все они очень важны для истории развития русской общественной мысли [2]). К сожалению, я могу здесь коснуться, да и то в немногих словах, лишь того, что относится в них к крепостному праву.

Как уже сказано выше, вопрос этот, при тогдашних цензурных условиях, был отчасти доступен только для беллетристов. Поэтому и у меня пойдет речь только о беллетристических сочинениях Герцена [3]).

---

[1]) Соч., т. VII, стр. 213.

[2]) Для этой истории имеет особенную важность второе „Письмо об изучении природы“, где Герцен, следуя Гегелю, развивает ту замечательную мысль, что „доказать“ предмет значит раскрыть его необходимость, и что „мысль предмета не есть исключительно личное достояние мыслящего: не он вдумал ее в действительность, она им только сознана; она предсуществовала как скрытый разум в непосредственном бытии предмета“. О том, какую роль играла эта мысль в истории собственных взглядов Герцена, см. вышеназванную статью мою о Герцене, стр, 141 того же вып. „Ист. русск. лит“.

[3]) Герцена упрекали за темноту его философских статей. Шутливо оправдываясь от этого упрека, он говорил: „Виссарион Григорьевич гораздо больше любит наши сказочки, чем наши трактаты, да он и прав. В трактатах мы беспрестанно переодеваемся от надзора и раскланиваемся любезно с каждым будочником, а в сказке ходим гордо и никого знать не хотим, потому что в кармане плакатный билет имеем: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежные“ (П. В. Анненков. „Литературные воспоминания“, стр. 288—289). Однако и переодевания не всегда помогали его трактатам избавляться от надзора. Он говорит (в письме к Киреевскому), что, боясь цензуры, не решился излагать философские взгляды Спинозы. „Такой, право, был жид, хоть брось!“

Герцен как беллетрист находился, что и понятно, под сильнейшим влиянием Гоголя. Г-н А. Веселовский очень верно говорит, что его роман „Кто виноват?“ в своих описательных приемах и в своей юмористической расценке людей и быта, так же был связан с „Мертвыми душами“, как впоследствии связаны были с ними „Губернские очерки“ Щедрина [1]). Но между тем, как Гоголь видит в крепостном праве что-то в роде неизменного и даже благодетельного закона природы (см. его „Избранные места из переписки с друзьями“), Герцен ненавидит это право всем сердцем и всем помышлением. Это существенное различие в отношении к тому учреждению, которое служило тогда основой всей помещичьей жизни, резко сказывается в творчестве обоих этих писателей. Гениально осмеивая своих Собакевичей, Коробочек, Ноздревых и Маниловых, Гоголь изображает, — по крайней мере, хотел бы изобразить, — свойственные им недостатки и пороки вне причинной их связи с крепостным бытом. Совсем не то видим мы у Герцена. Чрезвычайно много уступая Гоголю в силе художественного творчества, он обнаруживает несравненно большую проницательность мысли. Внимательно прочитавши роман „Кто виноват?“, вы ясно видите, что именно на почве крепостного права выросли так едко осмеянные автором понятия и привычки генеральской семьи Негровых; и не менее ясно видите вы, что то же право отравило молодые годы жизни генеральской „воспитанницы“ Любоньки. Герцен знает, что за каждым движением его пера глядит внимательный и зоркий враг—цензура. Он выражается осторожно. Но сдержанное осторожностью негодованье его делает его насмешку еще более тонкой, а потому еще более язвительной. Напомню хоть деревенские занятия генерала Негрова. Поселившись в своей деревне, его превосходительство „бранил всякий день приказчика и старосту, ездил за зайцами и ходил с ружьем. Не привыкнув решительно ни к какого рода делам, он не мог сообразить, что надобно делать, занимался мелочами и был доволен. Приказчик и староста были, с своей стороны, довольны барином; о крестьянах не знаю: они молчали. Месяца через два в окнах господского дома показалось прекрасное женское личико, сначала с заплаканными, а потом просто с прелестными голубыми глазками“ [2]).

Прелестные голубые глазки принадлежали дочери крепостного крестьянина Емельки Барбаша. Для полноты картины остается только прибавить, что наш сельский хозяин недолго предается и этим утомительным занятиям: „Он уверил себя, что исправил все недостаки по хозяйству и, что еще важнее, дал такое прочное направление ему, что оно и без него итти может, и снова собрался ехать в Москву“ [3]). Но здесь юмор еще берет верх над негодованием. К тому же, подобные ноты встречаются нередко и у Гоголя. А в истории крепостной гувернантки Софьи Немчиновой, ставшей впоследствии женою помещика Бельтова и матерью одного из главных героев романа „Кто виноват?“ — Владимира Бельтова, юмор уступает место жгучему негодованию, которое и находит свое выражение в письме Софьи к своему преследователю. Вообще, Герцена, как видно, сильно занимала трагическая судьба людей, принадлежавших к крепостной интеллигенции. Одной из представительниц этой разновидности является героиня повести „Сорока-воровка“, талантливая актриса, погибающая жертвой ухаживаний графа Скалинского [4]). Белинский находил, что

[1]) А. Веселовский, „Герцен-писатель“. Очерк. Москва, 1909 г., стр. 47.
[2]) Соч., т. III, стр. 18—19.
[3]) Там же, стр. 19.
[4]) Повесть эта появилась в февральской книжке „Современника“ за 1848 гдо, т.-е. уже во время пребывания Герцена за границей.

повесть эта отзывается анекдотом, хотя написана мастерски и производит глубокое впечатление. Но в ней рассказано истинное происшествие, и сам собою возникает вопрос, какого приговора заслуживает тот порядок, при котором возможны анекдоты, подобные сообщенному Герценом?

Еще более темную картину крепостного быта дает повесть „Долг прежде всего", первая часть которой была послана Герценом в Петербург из-за границы в начале 1848 г. Он говорит, что в герое этой повести Анатолии Столыгине ему хотелось представить человека, полного сил, энергии и способностей, но ведущего пустую, ложную и тягостную жизнь, вследствие постоянного противоречия между его стремлениями и его долгом. На это намерение автора (повесть осталась неоконченной) указывает и ее название: „Долг прежде всего". Сообщаемый Герценом план повести показывает, что долг, требования которого отравили жизнь героя, представлял собою не что иное, как совокупность требований, пред'являвшихся крепостным—в широком смысле этого слова—порядком к своим привилегированным защитникам. Таким образом, повесть эта расширяет вопрос о крепостном праве до размера политического вопроса. Цензура не позволила ее печатать, и она появилась за границей в сборнике „Прерванные рассказы" (1854 г.). Герцен об'ясняет строгость цензуры по отношению к его повести тем, что тогда был сильнейший припадок цензурной болезни:

„Сверх обыкновенной гражданской цензуры, была в то время учреждена другая—военная, составленная из генерал-ад'ютантов, генерал-лейтенантов, генерал-интендантов, инженеров, артиллеристов, начальников штаба, свиты его величества офицеров, плац- и бау-ад'ютантов, одного татарского князя и двух православных монахов под председательством морского министра" [1]).

Эта остроумная характеристика знаменитого цензурного сверх-комитета вряд ли справедлива в своем качестве об'яснения того, почему не могла появиться повесть: „Долг прежде всего". Совершенно достаточно было обыкновенной цензуры, чтобы запретить ее. Белинский, характеризуя Герцена как беллетриста, чрезвычайно тонко заметил, что „он изображает преступления, не подлежащие ведомству законов и понимаемые большинством как действия разумные и нравственные" [2]). Но совершенно естественно, что повесть, изображавшая как преступление то, что представлялось вполне законным и справедливым с точки зрения тогдашнего порядка, сама должна была представляться преступной служителям этого порядка. Повесть „Долг прежде всего" особенно грешила этим грехом. А потому и не увидела света в России

VIII.

9 октября 1843 года Герцен вписал в свой дневник следующие строки:

„...Нам, славянам, предстоит молчание или слово вне отечества, как сказал Мицкевич" [3]).

В том же „Дневнике", под 24—25 января следующего года, стоит: „Террор. Какая-то страшная туча собирается над головами людей, вышедших из толпы. Страшно подумать: люди, совершенно невинные, не имеющие ни практической прямой цели, не принадлежащие ни к какой ассоциации, могут быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образ мыслей... Противники мысли об экспатриации советуют ехать по-добру, по-здорову".

Отсюда видно, что мысль об экспатриации, т.-е. о переселении за границу, стала приходить Герцену, по крайней мере, с конца 1843 года. В про-

---

[1]) Соч., т. IV, стр. 69.
[2]) Сочинения В. Белинского. Ч. XI, Москва, 1884 г., стр. 390.
[3]) Соч., т. I, стр. 40.

долженио нескольких лет „экспатриация“ рассматривается им лишь как неприятная возможность. Даже отправляясь за границу в январе 1847 года, он остается чуждым намерения сделать эту возможность действительностью. Однако, уже 2 года спустя у него созревает решение остаться за границей. Первая глава его так много нашумевшей книги: „С того берега“ носит знаменательное название: „Прощайте!“ [1]).

Обращаясь в ней к своим друзьям в России, он говорит: „Наша разлука продолжится еще долго—может, всегда. Теперь я не хочу возвратиться, потом, не знаю, будет ли это возможно“. Потом,—и весьма скоро,—это оказалось невозможным. Осенью 1850 года, через своего консула в Ницце, русское правительство потребовало его немедленного приезда на родину, заранее ставя на вид, что ни в каком случае не согласится на отсрочку. В виду такого нетерпения он, с своей стороны, убедился, что ехать домой ему ни в каком случае не следует. Так сделался он эмигрантом. Впоследствии он говорил, что предпочел бы ссылку в Сибирь положению эмигранта. Но в Сибири над ним тяготела бы та же всероссийская цензура, а жизнь за границей обеспечивала ему свободу слова. И это существенно меняет положение дела.

В только-что цитированной мною главе книги: „С того берега“ он писал: „Я остаюсь здесь не только потому, что мне противно, переезжая через границу, снова надеть колодки, но для того, чтоб работать. Жить сложа руки можно везде; здесь мне нет другого дела, кроме н а ш е г о дела... Я здесь полезнее, я здесь—бесцензурная речь ваша, ваш свободный орган, ваш случайный представитель“.

Таким образом, когда ему пришлось выбирать между молчанием и словом вне отечества, он выбрал свободное слово.

Если принять во внимание, что Белинский был тогда уже в могиле, то надо признать, что не было человека, который лучше Герцена годился бы для роли „свободного органа“ передовых русских людей. И Герцен, как известно, блестяще выполнил эту роль.

Нам предстоит теперь ознакомиться с тем, как боролся он с крепостным правом, живя за границей. Но для полного понимания этой его деятельности не мешает подвести окончательный итог его взгляду на русский народ. После всего сказанного выше едва ли нужно доказывать, что все его симпатии были именно на стороне народа. Впрочем, вот весьма убедительная выписка из его дневника (от 8 июля 1844 года):

„Чего недостает ему (т.-е. народу. *Г. П.*), чтоб выйти из жалкой апатии? Ум блестит в глазах; вообще, на десять мужиков, наверное, восемь не глупы и пятеро положительно умны, сметливы и знающие люди; их много клевещут с нравственной стороны, они лукавы и готовы мошенничать, но это тогда, когда становятся в противоположность нам. Иначе не может быть, мы явно и законно грабим их, сила не одинаковая“ [2])...

Эта выписка явилась бы ненужным повторением того, что уже известно читателю, если бы в ней не обнаруживалась новая сторона взгляда нашего автора на крестьянство. Он от всей души сочувствует крестьянину, он верит в его умственные и нравственные качества, но он считает его находящимся в состоянии жалкой апатии. Э т а сторона взгляда Герцена многое об‘ясняет собою в его последующей заграничной литературной деятельности. На нее необходимо было обратить здесь внимание. Очень ошибся бы тот, кто предположил бы, что относящиеся сюда слова только-что приведенной выписки выражают собою мимоходный, случайный оттенок взгляда Герцена. В этом

---

[1]) Глава эта помечена 1 марта 1849 г.

[2]) Соч., т. I, стр. 211.

оттенке нет ничего случайного, мимоходного. В апреле того же года он, рассказав в своем дневнике о возмущении крестьян одной волости Тамбовской губернии, прибавляет: „Все мужики этой волости—молокане, перед ними шла девушка, певшая псалмы. Итак, из раскольничьих скитов вырываются такие звуки, среди общей немоты крестьян“ [1]).

Звуки, о которых говорит здесь Герцен,—т.-е. крестьянские волнения— не ограничивались тогда средой сектантов. Но при неоспоримой немоте нашей печати они оставались неизвестными даже передовым людям той эпохи. Само собою разумеется, что волнения в роде того, о котором говорит Герцен в своем дневнике, еще отнюдь не свидетельствуют о способности крестьян к социально-политической самодеятельности. Впоследствии наши народники, „бунтари“ 70-х годов, совершили крупную ошибку, приурочив свои упования к такого рода волнениям. Жизнь очень скоро „разочаровала“ их с этой стороны. Но как бы там ни было, а для характеристики взглядов Герцена и его тогдашних единомышленников немаловажно то обстоятельство, что крестьянство казалось им более „немым“ и апатичным, даже чем оно было на самом деле. Иначе сказать, Герцен и его единомышленники при всем своем сочувствии к народу признавали и должны были признавать его пока еще совершенно неспособным к деятельной защите своих интересов. Оставалось уповать на будущее. И Герцен много уповал на него.

Интересно, что „Мервые души“ Гоголя понравились Герцену тем, что они, по его мнению, представляли собою, хотя и горький, но не безнадежный упрек России. По его словам, Гоголь видит удалую, полной силы национальность там, где взгляд его проникает сквозь туман навозных испарений.

„Грустно в мире Чичикова, так как грустно нам в самом деле; и там и тут одно утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упование ins Blaue, а имеет реалистическую основу, кровь как-то хорошо обращается у русского в груди. Я часто смотрю из окна на бурлаков, особенно в праздничный день, когда, подгулявши, с бубнами и пением, они едут на лодке: крик, свист, шум. Немцу во сне не пригрезится такого гулянья; и потом в бурю — какая дерзость, смелость: летит себе, а что будет, ни будет. Взглянул бы на тебя, дитя — на нашего, но мне не дождаться; благословляю же тебя хоть из могилы“ [2]).

Эта вера в будущее русского народа далеко не всегда предохраняла его от тяжелого настроения, порою недалекого от отчаяния. В его дневнике, под 21 апреля 1843 г. мы читаем:

„Наше состояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело— отчаянное страдание“ [3]).

Однако, в общем, у него преобладает светлый взгляд на будущее России [4]). И этот взгляд поддерживается верой в будущее западно-европейского

---

[1]) Соч., т. I, стр. 193.
[2]) Там же, стр. 18.
[3]) Там же, стр. 98.
[4]) Эта вера в будущее составляет у него даже что-то в роде категорического императива. Он рассуждает так: „Чаадаев превосходно заметил однажды, что один из величайших характеров христианского воззрения есть понятие (здесь, вероятно, опечатка: „поднятие“. *Г. П.*) надежды в добродетель и постановление ее с верой и любовью. Я с ним совершенно согласен. Эту сторону упования в горести, твердой

мира. „И как подумаешь,—пишет он,—что едва 75 лет прошло, как Европа спала в унижении, едва пробуждаемая благовестом водворителей нового мира, и взглянешь на современное ее состояние, далекое от достижения, но, тем не менее, развитое потребностию, невольно благоговейный трепет уважения к человечеству обнимает душу. Велика французская революция; она первая возвестила миру, удивленным народам и царям, что мир новый родился и старому нет места“ [1]).

Мы сейчас увидим, что скоро у него установился почти безнадежный взгляд на Западную Европу. Тогда тем нужнее стала ему вера в Россию. Но и тогда он нигде не обнаруживал надежды на крестьянскую самодеятельность. А что касается исключительно занимающего нас периода до от'езда его за границу, то его недоверие к народной самодеятельности прекрасно выражается в следующем месте его дневника:

„Кто-нибудь должен проснуться,—или правительство или народ. О первом так же трудно поверить, как о другом“...

Эти строки были написаны 24 декабря 1843 г. А 24 марта 1844 г. Герцен утверждает: „Доселе с народом можно говорить только через священное писание“. Запомним это.

IX.

За границей Герцен пережил революционное движение 1848—1849 гг. и, как утверждают обыкновенно, разочаровался вследствие неудачного исхода этого движения. Тут есть некоторая неточность, которую надо поправить.

В „Колоколе“, от 1 июня 1867 года, Герцен спрашивает Бакунина: „Помнишь наши долгие разговоры перед февральской революцией, в которых я, как прозектор, указывал рост смерти западного „старика“, а ты с надеждой и упованием — рост едва обличившейся жизни славянского недоросля. Я и в него не очень верил, а верил в одну Россию и ее социальные зачатки“.

Как видите, в своем отношении к Западной Европе Герцен—тот самый Герцен, у которого вера в Россию поддерживалась верой в силу общечеловеческого прогресса,—был очень похож на разочарованного еще „перед февральской революцией“. Стало быть, нельзя сказать, что Герцен разочаровался только под влиянием неудачного исхода этой революции. Напротив, вполне позволительно предположить, что ее неудачный исход не привел бы его к разочарованию, если бы он не был в значительной степени разочарован еще до нее [2]).

Как бы там ни было, несомненно то, что, когда Герцен решился остаться надолго в Западной Европе, он был глубоко разочарован в ней. Так как это его разочарование определило собою дальнейшее развитие его взглядов, то на нем необходимо остановиться.

Когда Герцен, еще „перед февральской революцией“, в своих разговорах с Бакуниным, „указывал на рост смерти западного старика“, он, несомненно, повторял с более или менее существенными оговорками ту славянофильскую мысль, что „Запад“ уже изжил самого себя. А, когда впоследствии

надежды в повидимому безвыходном положении, должны по преимуществу осуществить мы. Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего“ (т. I, стр. 179).

[1]) Дневник, 27 июля 1843 г. Соч., т. I, стр. 130—131.

[1]) См. об этом мою статью „Герцен-эмигрант“ в 13-м вып. „Истории русской литературы XIX в.“, изд. тов. „Мир“, под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского.

эта мысль утвердилась в нем благодаря неудачному опыту февральской революции, она приняла у него следующий вид.

Роль теперешней Европы совершенно кончена. С 1848 г. разложение ее растет с каждым шагом. Спасти Запад от разложения способен только работник. Но „работник может быть побежден, а, если он будет побежден, то разложение старой Европы сделается неизбежным“. Иногда Герцен начинал думать, что „работник“ уже и окончательно побежден, и что, стало быть, разложение Западной Европы уже неотвратимо; иногда, наоборот, у него воскресала более или менее сильная надежда на то, что дело „работника“ на Западе еще не совсем проиграно, и тогда он опять начинал верить в возможность ее прогрессивного развития. Эта надежда оживилась со времени возникновения Международного товарищества рабочих. Если бы Герцену суждено было видеть дальнейшие успехи западно-европейского рабочего движения, то вполне возможно, что он совсем отказался бы от своего мрачного взгляда на внутреннее состояние Европы. К сожалению, преждевременная смерть,—он умер, как известно, 21 января 1870 г.,—устранила эту возможность. Поэтому те наши современники, которые даже в нынешней Европе не видят ничего, кроме „мещанства“ („слона-то я и не приметил!“), имеют некоторое кажущееся право ссылаться на Герцена. В сущности, настроение этих... скептиков не имеет ровно ничего общего с настроением Герцена. Он думал, что только торжество рабочего движения могло бы спасти Запад от овладевшего им мещанства. А наши нынешние скептики считают одним из самых ярких проявлений мещанства именно современное рабочее движение. Ясно, что они — далеко не родня Герцену; ясно, что они всуе приемлют его знаменитое имя.

Но оставим их. Мы видим, что, рассуждая о возможной судьбе Запада, Герцен становится на точке зрения борьбы классов: победит рабочий класс—Западная Европа воскреснет к новой жизни; не победит—она окончательно разложится. Эта попытка определить дальнейший ход внутреннего развития данного общества, становясь на точку зрения происходящей в нем борьбы классов, сближает здесь Герцена с последователями современного научного социализма. Но не следует преувеличивать это сближение. Герцен, только скрепя сердце, приурочивает к борьбе классов свои упования на будущее торжество социализма в Западной Европе. Разрешение „социального вопроса“ путем классовой борьбы представлялось ему самым худшим средством его разрешения. Утопический характер того социализма, которого, говоря вообще, держался наш великий публицист, едва ли не больше всего сказался в его отвращении от классовой борьбы [1]). События 1848—1849 гг. разочаровали его, главным образом, потому, что явились выражением классовой борьбы в западно-европейском обществе. Поскольку борьба эта являлась более или менее надежным средством разрешения великого вопроса об отношении труда к капиталу, она производила на него впечатление горькой насмешки над силой того самого разума, последним словом которого он считал западно-европейский социализм. Требованиям разума соответствовал, по его взгляду, лишь такой ход решения „социального вопроса“, при котором почин общественного преобразования взяли бы на себя просвещенные и беспристрастные представители господствующего класса. Из всех уроков, данных ему западно-европейской жизнью, самым тяжелым для него был тот, который

---

[1]) Ниже будет указано, что Герцен уже чувствовал, однако, некоторые слабые стороны утопического социализма, и что это не осталось без влияния на его мнение о западном „старике“.

гласил, что образованные представители господствующего класса на Западе отнюдь не хотят—да и не могут хотеть—браться за осуществление социалистического идеала. Вот почему его уверенность в том, что судьба западноевропейского общества зависит от победы (или поражения) рабочего класса, вполне уживалась у него с весьма безотрадным взглядом на западно-европейскую жизнь. Придя к этой уверенности, он продолжал оставаться разочарованным, во-первых, потому, что, как сказано выше, вообще, видел в классовой борьбе самый неудовлетворительный способ решения общественных вопросов, а, во-вторых, еще и потому, что шансы победы пролетариата казались ему до крайности незначительными [1]).

Можно, пожалуй, сказать, что он и в этом отношении остался сэн-симонистом. В самом деле, 29 ноября 1831 г. сэн-симонистский (тогда) „Globe" писал: „Les classes inférieures ne peuvent s'élever qu'autant que les classes supérieures leur tendent la main. C'est de ces dernières que doit venir l'initiative" („Низшие классы могут подняться лишь в той мере, к какой им помогут сделать это высшие классы. От этих последних должен исходить почин"). Так думал, как видно, и Герцен. Но так же думали и все социалисты-утописты. Поэтому нельзя сказать, что в данном случае он был особенно близок к сэн-симонистам. Но этим нисколько не ослабляется правильность того положения, что разочарование Герцена в Западной Европе вызвано было нежеланием высших классов западно-европейского общества взять на себя почин общественного преобразования.

Герцен очень любил сравнивать отношение европейского Запада к социализму с отношением Римской империи к христианству. Рим выработал христианский идеал, но не мог осуществить его: это сделали другие народы. Герцену казалось вероятным, что, выработав социалистический идеал, Западная Европа не в состоянии будет воплотить его в жизнь, и что к его осуществлению призвана именно Россия. Не мешает заметить, что французские социалисты того времени вообще находили очень много сходства в положении современного им европейского общества с положением Рима в эпоху появления христианства [2]). Герцен лишь дополнил это сравнение такой гипотезой, которая могла прийти в голову только русскому. Интересно, что сама терминология Герцена часто представляет собою лишь видоизмененную терминологию современных ему французских социалистов. Так, например, его известный ответ Мишле озаглавлен: „Старый мир и Россия". Это приводит на память вышедшую несколькими годами раньше только-что указанную мною книгу Консидерана: „Социализм перед старым миром или живой перед мертвым". Разница лишь в том, что у Консидерана старым миром назывался мир защитников

---

[1]) Вот его собственные слова: „Пока дело шло о политических правах, все образованное стояло со стороны движения; дошедши до социального вопроса, сделалось новое расщепление. Несколько человек остались верными логике и движению, но масса образованных отступила и очутилась, при своих оппозиционных замашках,—с консервативной стороны. Народ, за которого прежний революционер становился ходатаем, снова пал на руки попам или вовсе остался беспомощным в потемках низменных сфер жизни; адвокаты его, скрывавшие за собой его детскую неразвитость, расступились, и мы увидали несколько пророков на горе, а внизу—спящую тяжелым сном народную массу. Итти вперед боялись, итти назад было невозможно, вера в прошедшее была утрачена; надо было выжидать, ладить, удерживать нужное и ненужное, отстаивать приобретенное, отталкивать новое. Такому положению дел простой деспотизм империи, т.-е. самодержавной полиции, естественнее конституционной монархии" („Письма к путешественнику". Письмо VI. „Колокол", № 203).

[2]) См., например, Виктора Консидерана, „Le socialisme devant le vieux monde ou le vivant devant les morts". Paris, 1848, p. 25.

старого общественного порядка, а у Герцена этим именем обозначается весь европейский Запад.

X.

Чем сильнее было разочарование Герцена в Западной Европе, тем большее нравственное значение приобретала для него вера в Россию. Прежде вера эта сама поддерживалась, как мы знаем, верой в революционные силы Запада. Теперь вера в Запад пропала, зато тем сильнее стала вера в Россию. Это кажется парадоксом: как могла укрепиться вера в Россию после разрушения той основы, на которую она когда-то опиралась? Недоумение разрушается только-что указанными мною особенностями социалистических взглядов Герцена.

Я сказал, что, по основному практическому смыслу этих взглядов, требованиям разума соответствовал лишь такой ход решения социального вопроса, при котором почин общественного преобразования взяли бы на себя просвещенные представители господствующего класса. На Западе представители этого класса показали себя во время революции 1848—49 гг. совсем не на высоте призвания. А в России они как будто готовы были подняться на эту высоту. Я уже цитировал то место из брошюры Герцена: „Du développement des idées revolutionnaires en Russie", где говорится, что работа революционной мысли совершалась у нас не в правительстве и не в народе, а в мелком и среднем дворянстве. То же повторял Герцен и в других случаях. Так, в речи, произнесенной в Лондоне 27 февраля 1854 г. в международном собрании, чествовавшем память февральской революции, он следующим образом характеризует современную ему Россию: „Там вы встретите два зародыша движения: один—сверху, другой—снизу. Один—преимущественно отрицающий, разлагающий, раз'едающий—рассыпается в малых кружках, но готов составить большой, деятельный заговор. Другой — более положительный, хранящий в себе почки будущего образования—находится в состоянии дремоты и бездействия. Я говорю о молодом дворянстве и о сельской общине, которая представляет основную ячейку всей ткани общественной, животворящее начало славянского государства".

Тут рядом с „деятельным" молодым дворянством, будто бы готовым взяться за решение той задачи, от которой отвернулся господствующий класс западно-европейских стран, указывается другой общественный фактор, при всей своей пассивности составляющий, по мнению Герцена, чрезвычайно счастливую особенность России: общинное владение землею. Существование общины в огромной степени облегчит деятельному молодому дворянству его прогрессивную реформаторскую работу. Таким образом, Россия осуществит тот социалистический идеал, до которого Запад доработался в своем развитии, но которого он не мог воплотить в жизнь.

Этот ход рассуждений показывает нам, каким образом автор книги: „С того берега" мог укрепить свою веру в Россию, несмотря на то, что рушилась его вера в Западную Европу. И он же делает понятными все главные отличительные черты его последующей публицистической деятельности.

Поселившись в Лондоне, он завел типографию, — первую действительно вольную, т.-е. свободную от цензуры, русскую типографию,—и тотчас принялся за проповедь крестьянского освобождения. Борьба против крепостного права стала его важнейшей целью. Но к кому обратился он с своей проповедью? Прежде всего к дворянству. В брошюре: „Юрьев день! Юрьев день!" он писал, обращаясь к этому сословию:

„Мы—рабы, потому что мы господа. Мы—слуги, потому что мы помещики. Мы—крепостные, потому что держим в неволе наших братий, равных нам по происхождению, по крови, по языку. Нет свободы для нас, подлое проклятие крепостного состояния тяготит над нами. С Юрьева дня начнется новая жизнь России, с Юрьева дня начнется наше освобождение“.

В настоящее время может показаться странным, что, начиная борьбу за уничтожение крепостного права, Герцен прежде всего обратился к тому сословию, которое было наиболее заинтересовано в его сохранении. Всего естественнее было бы обратиться к тому сословию, которое больше всех других страдало от крепостничества, т.-е. к крестьянству. Но Герцен был по-своему совершенно последователен. Обратиться к крестьянству мог только тот, кто рассчитывал на его способность к политической деятельности. А Герцен совсем на нее не рассчитывал. В его представлении о вероятном развитии России в направлении к социализму крестьянству отводилась пассивная роль, между тем, как „молодому дворянству“ принадлежала деятельная роль начинателя. Что же касается вопроса о том, не противоречит ли выставленная Герценом программа освобождения крестьян сословным интересам дворянства, то он разрешался надеждой на способность передовой части этого сословия подняться выше этих интересов. И так смотрел не один Герцен. С ним был безусловно согласен его друг Н. П. Огарев.

Во 2-й книге „Полярной Звезды“ (1856 г.) напечатана очень интересная статья Огарева,—который подписывался тогда: „Р. Ч.“,—озаглавленная „Русские вопросы“. В ней автор спрашивает, между прочим, кого могло бы взять правительство себе в помощники, предпринимая дело освобождения крепостных людей, и отвечает так:

„Народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли.

„Большие баре! Люди, у которых по пяти, по двадцати, по тридцати, по полутораста тысяч душ... Но эти люди, никогда не соприкасавшиеся с народом и его потребностями, никогда не мыслившие, привыкшие только тратить огромные с неба валившиеся суммы, не стесняясь ни на волос в самых необузданных капризах. Нет, это плохие советники!..

„Мелкопоместное дворянство? Но это люди, лишенные воспитания, люди, выжимающие из мужика все здоровые соки... Плохие советники!

„Купечество? Но это каста, которая рада своей замкнутости и считает себя пауком, а все остальное мухами, и которая, следственно, мерит благоденствие государства своею прибылью, достигаемою всеми путями неправды. Плохие советники!

„Чиновники?.. Но это члены одной огромной организации повсеместного грабежа, где оконечности пользуются копейками и постепенно к центрам скопляются рубли. Плохие советники!.. Да и попробуйте затронуть их циркулярчики, увидите, что значит бюрократическое самолюбьице. Плохие советники!

„Остается тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а, с другой стороны, жил в деревнях и знает народ и его потребности и, между тем, не продавал своей совести за места по службе. Да, юному правительству [1]) следует обратиться к образованным русским людям не по мере долговременности их службы, а по мере их независимости от службы, не по мере значительности, а по мере незначительности их чина“ [2]).

[1]) Т.-е. правительству имп. Александра II.
[2]) Стр. 274—275. Цитирую по 2-му изданию.

Вся эта аргументация как нельзя более характерна для тогдашних взглядов Огарева и Герцена. Но, по мнению каждого из них, освобождение крестьян должно было явиться лишь первым крупным шагом на пути социалистического развития России. Поэтому, призывая правительство и дворянство к уничтожению крепостного права, Огарев и Герцен старательно оттеняли экономическую самобытность России.

„Нам нечего заимствовать у мещанской Европы, — пишет Герцен. — Мы — не мещане, мы — мужики“ [1]). И эта мысль, — основная мысль, всего русского народничества,—подробно обосновывается Герценом в той же статье.

„Мы бедны городами и богаты селами. Все усилия создать у нас городское мещанство в западном смысле приводили до сих пор к тощим и нелепым последствиям. Настоящие горожане наши одни чиновники; купечество ближе к крестьянам, нежели к нам. Помещики естественно более сельские жители, нежели городские. Итак, город у нас почти одно правительство, Россия государственная, а село—вся Россия, Россия народная.

„Нашу особенность, самобытность составляет деревня с своей общинной самозаконностью, с мирской сходкой, с выборными, с отсутствием личной поземельной собственности, с разделом полей по числу тягол. Сельская община наша пережила ту эпоху тяжелого государственного роста, в которой обыкновенно общины гибнут, и уцелела в двойных целях (очевидно: цепях. *Г. П.*), сохранилась под ударами помещичьей власти и чиновничьего грабежа“ [2]).

Мысль об экономической самобытности России, дающей нам возможность миновать „мещанскую“ дорогу западно-европейского развития, до такой степени занимала Герцена, что он нашел нужным высказать ее даже в одном из своих многочисленных писем к имп. Александру II. Я имею в виду письмо по поводу известной книги барона Корфа о восшествии на престол имп. Николая I. Сказав в нем, что нам даром достаются истины и результаты, до которых западные народы доработались посредством междоусобий и тяжелых утрат, он прибавляет:

„На своей больничной койке Европа, как бы исповедуясь или завещая последнюю тайну, скорбно и поздно приобретенную, указывает как единый путь спасения именно на те элементы, которые сильно и глубоко лежат в народном характере и притом не одной петровской России, а всей русской России. Поэтому мы думаем, что у нас развитие пойдет иным путем“ [3]).

XI.

Первым условием, необходимым для выступления России на иной путь экономического развития, Герцен и Огарев считали освобождение крестьян с землею. Такая мера предупредит появление в России пролетариата и избавит ее от всех тех страданий и смут, которые последовали за его появлением на Западе.

„...О, моя Россия!—восклицает Огарев в цитированной уже мною статье: „Русские вопросы“. — Дорого бы я дал, чтобы ты была избавлена от всех страданий западного развития, бесплодных кровопролитий, раздробления собственности, нищенства, пролетариата, формально-законных и человечески-несправедливых судов, притеснений, позорного мещанского тиранства, лицемерия, и развивалась бы ты мирно путем вечно-юной реформы“.

---

1) „Пол. Звезда“, кн. 2-я, на 1856 г., изд. 2-е. Статья, подписанная „И—р“ под заглавием: „Вперед! Вперед!“, стр. VII и VIII.

2) Там же, стр. VIII.

3) „Колокол“, № 4.

Огарев думает, что, если крестьян освободят без земли, то дворянство „вместо роли образованного класса в государстве разыграет роль западного мещанства“, и тогда у нас начнутся смуты, „которых жестокость будет страшная“ [1]). Опасение этих смут, как видно, занимало большое место в соображениях Огарева и Герцена о русских вопросах. В № 3 „Колокола“ (1 сентября 1857 г.), в статье: „Правительственные распоряжения“, Огарев писал:

„Настоящее правительство, кажется, поняло, что элементов европейской революции в России нет, что ему с этой стороны бояться нечего; но что Россия, изнуренная государственным правительством, поддержанным полицейским насилием, требует возрождения; что, если правительство не станет во главе этого возрождения, то оно может наткнуться на иную революцию, совсем не европейскую, а дикую революцию, враждебную образованности; что крестьянская революция в России тем возможнее, что войско будет за нее; что нет ни одного государства, где бы войско, несмотря на долговременность службы, было так дружно с народом, как у нас“.

Не следует думать, будто „Колокол“, в лице Огарева, только на предмет запугивания правительства изображал возможную крестьянскую революцию в России в виде революции дикой и враждебной образованности. Правда, ему, вероятно, не чуждо было желание запугать. Но, судя по тогдашнему образу мыслей Герцена и Огарева, приходится предположить, что желание это выразилось в указанной статье лишь в очень незначительном преувеличении шансов крестьянской революции („крестьянская революция тем возможнее, что“... и т. д.); а изображение этой революции в виде дикого, стихийного явления вполне соответствовало, надо думать, убеждению издателей „Колокола“.

Мы видели выше, что Герцен отнюдь не был принципиальным сторонником классовой борьбы. Если он утверждал, что на Западе мещанство может быть побеждено только рабочей революцией, то в этом его убеждении выражалось его разочарование в Западной Европе. А, кроме того, он думал, что и на Западе рабочая революция может оказаться неизбежной лишь вследствие неразвитости народных масс. На этот счет не оставляет никакого сомнения следующее место в статье Герцена: „Еще вариация на старую тему“:

„Вопрос о будущности Европы я не считаю окончательно решенным; но добросовестно, с покорностью перед истиной и скорее с предрассудками в пользу Запада, чем против него, изучая его десятый год не в теориях и книгах, а в клубах и на площади, в средоточии всей политической и социальной жизни его, я должен сказать, что ни близкого ни хорошего выхода не вижу. Стоит взглянуть, с одной стороны, на горячечное, одностороннее развитие промышленности; на сосредоточение всех богатств, нравственных и вещественных, в руках меньшинства среднего состояния; на то, что оно захватило в руки церковь и правительство, машины и школы; что ему повинуются войска, что в его пользу судят судьи; и, с другой стороны, глядя на неразвитость масс, на незрелость и шаткость революционной партии, я не предвижу

---

[1]) Если Герцен и Огарев боялись, что русское дворянство вместо „роли образованного класса в государстве“ возьмет на себя роль западного мещанства, то Белинский незадолго до своей смерти пришел к прямо противоположному убеждению: „Теперь ясно видно,—писал он в письме к Анненкову, от 15 февраля 1848 г.,— что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не раньше, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию“...

без страшнейшей, кровавой борьбы близкого падения мещанства и обновления старого государственного строя“ [1]).

При всем своем разочаровании в Западной Европе Герцен не мог, однако, не видеть, что русская народная масса менее развита, нежели, например, французская или немецкая. Стало быть, русский народный взрыв должен был представляться ему еще менее „хорошим выходом“, нежели народное восстание в той или другой западной стране. Наши народники 70-х годов смотрели на этот предмет совершенно иначе. Их совсем не огорчала борьба классов на Западе, а крестьянская революция, на подготовку которой они направляли все свои усилия, отнюдь не рисовалась их фантазии в виде „дикого, враждебного образованности“ народного движения. В этом они очень разошлись с Герценом и Огаревым. Но это все-таки частность, хотя и очень важная с тактической точки зрения. Что же касается основных теоретических взглядов,—например, взгляда на вопрос об экономической самобытности России и о том пути развития, по которому ей надлежит итти,—то народники 70-х гг. целиком заимствовали их, хотя и не вполне сознательно, у Герцена и Огарева. Поэтому мы имеем полное право сказать, что уже в первых своих произведениях, напечатанных в „Вольной лондонской типографии“, Герцен и Огарев выступили как родоначальники русского народничества. В этом качестве родоначальников русского народничества они предприняли свой публицистический поход против крепостного права.

Вся литература „русского социализма“ 70-х и 80-х гг. явилась лишь повторением тех теоретических взглядов, проповедь которых начата была еще накануне крестьянского освобождения Герценом, Огаревым и их единомышленниками [2]). До какой степени это так, видно, например, из следующего.

Известно, что наши самобытные „социологи“ 70-х гг. много потрудились над выработкой „формулы прогресса“. Но, и тут все их выводы предупреждены были кружком Герцена и Огарева. В статье: „Место России на всемирной выставке“ Н. Сазонов, отвечая на вопрос, „в чем состоит просвещение истинно-человеческое“, писал:

„Развитие личности посредством и для отношений более и более разнообразных, более и более сложных к другим людям и к целому миру. Чем эти отношения обширнее и, вместе с тем, сознательнее, тем правильнее, тем личность чувствует себя возвышеннее, определеннее, тем более достигает истинной свободы, т.-е. сознательного и ревностного исполнения непреложных законов природы“ [3]).

---

[1]) Соч., т. X, стр. 285.

[2]) О социалистической литературе 60-х гг. это можно сказать лишь в той мере, в какой она не подчинялась влиянию Чернышевского, во многом расходившегося с Герценом. Известно, что он даже полемизировал с издателем „Колокола“ по вопросу об отношении России к Западу. См. его статью: „О причинах падения России“. В свою очередь, Герцен считал Чернышевского сторонником „чисто-западного социализма“, служившего, как он думал, „дополнением русскому социализму“. Он говорил, что среда Чернышевского „была городская, университетская, среда развитой скорби, сознательного недовольства и негодования; она состояла исключительно из работников умственного движения, из пролетариата интеллигенции“. Напротив, русским социализмом был в глазах Герцена „тот социализм, который идет от земли и крестьянского быта, от фактического надела и существующего передела полей, от общинного владения и общинного управления—и идет вместе с работничьей артелью навстречу той экономической справедливости, к которой стремится социализм вообще и которую подтверждает наука“ („Колокол“, № 233-234). Излишне прибавлять, что представителями этого социализма Герцен считал себя и Огарева.

[3]) „Пол. Звезда“, 2-я кн., 2 изд., стр. 228.

Вспомните „формулу прогресса“ покойного Ник. Михайловского и сопоставьте ее с тем, что говорит здесь Н. Сазонов; вы увидите, что разница заключается лишь в названии, так как один называет прогрессом именно то, что у другого называется просвещением. А по содержанию своему „прогресс“ Ник. Михайловского явился лишь новым изданием „просвещения“ Н. Сазонова. Обращаю на это внимание глубокомысленного г. Иванова-Разумника. Н. Сазонов находил, что „в настоящий момент своего развития западно-европейское человечество“ идет по такой дороге, которая совершенно противоположна пути истинного просвещения. Россия была, по его мнению, гораздо ближе к этому пути. Если она отстала от Запада в промышленном отношении, то „потому только, что промышленность теперь в эпохе буржуазной, а в России буржуазии нет“. Это тоже чисто народническое рассуждение [1]).

Западники — и между ними И. С. Тургенев — упрекали Герцена в том, что его воззрение на Россию сближало его со славянофилами. „Упреки эти сами собою свидетельствуют,—возражал он им,—что усобица ваша с московскими староверами не улеглась; это жаль“. Борьба со славянофилами потеряла интерес и смысл после смерти имп. Николая. Герцен с ужасом отвергает некоторые практические стремления славянофилов: „от них веет застенком, рваными ноздрями, епитимьей, покаяньем, Соловецким монастырем“. Тем не менее, он признает,—„я никогда не отрицал“,—говорит он,—„что у славян есть верное сознание живой души в народе“. Притом он находил, что обычные доводы западников против славянофилов совершенно выдохлись. Нельзя сбить славянофилов с их позиции примером Запада, „когда достаточно одного номера любой газеты, чтобы увидеть страшную болезнь, от которой ломится Европа. Западники любят европейские идеи“. Герцен тоже любит их, так как это идеи всей истории и так как без них мы впали бы в азиатский квиэтизм, в африканскую тупость. Только эти идеи помогут России войти во владения достающимся ей историческим наследством. „Но,—говорит Герцен, обращаясь к западникам, — вам не хочется знать, что теперешняя жизнь в Европе не сообразна с ее идеями. Вам становится страшно за них; идеи, не находящие себе осуществления дома, кажутся вам нигде неосуществляемыми“. Этого страха Герцен не разделяет. Анализируя русский народный быт, он находит в общине залог осуществимости социальных идей, выработанных на Западе [2]). Он сходится со славянофилами только во взгляде на Запад и на значение русской общины. Зато с этой стороны он подходит к ним совсем близко. Сознание этой близости выразилось в его собственных словах, с которыми он, через несколько лет после изложенного здесь спора с западниками, обратился к одному из своих противников со славянофильской стороны.

„Год тому назад [3]) я встретил на пароходе между Неаполем и Ливорно русского, который читал сочинения Хомякова в новом издании. Когда он стал дремать, я попросил у него книгу и прочел довольно много. Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный и освещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно видел, как во многом мы одинаким образом поняли западный вопрос, несмотря на разные об'яснения и выводы“ [4]).

---

[1]) Н. Сазонов кое в чем расходился с Герценом. Но у них, как видим, был совершенно одинаковый взгляд на отношение России к Западу.

[2]) См. ст. „Еще вариация на старую тему“. Статья эта, подписанная 3-го февраля 1857 г., перепечатана в загр. изд. соч. Герцена, т. X, стр. 281—297.

[3]) Герцен писал это в октябре 1864 г.

[4]) „Колокол“, № 191. „Письма к противнику“.

Огарев, занимавшийся в „Полярной Звезде", а особенно в „Колоколе", разработкой частных вопросов „русского социализма", шел в направлении к славянофильству еще дальше, нежели Герцен. Он говорил:

„Совершенно несогласный ни с какой религией, а, следственно, и с их (т.-е. со славянофильским. *Г. П.*) преображенным православием, я, или лучше—мы, тем не менее, искренно, откровенно оставляем за ними название пророков русского гражданского развития" [1]).

Огарев находит зародыш славянофильства уже у декабристов. При этом он указывает на стихотворение А. Одоевского: „Славянское дело". В этом стихотворении есть, пожалуй, некоторый привкус панславизма. Однако, на славянофильство собственно так называемое в нем нет и намека [2]).

Много лет спустя, И. Аксаков называл наше народничество непоследовательным славянофильством. Так как родоначальниками народничества были Герцен и Огарев, то И. Аксаков не отказался бы, вероятно, распространить свою оценку и на их учение. И надо признать, что в известном смысле он был бы совершенно прав.

XII.

Первые заграничные издания Герцена не встретили никакого сочувствия в России [3]). Положим, часть помещиков уже понимала, что при экономических отношениях, сложившихся к половине XIX века, крепостное право переставало быть необходимым условием материального благосостояния дворянства. Это подтверждается, между прочим, любопытным свидетельством министра внутренних дел Перовского.

В своей записке об уничтожении крепостного права, поданной императору Николаю еще в 1845 году, Перовский говорил, что крестьянский вопрос сделался „одним из довольно обыкновенных предметов беседы в образованных состояниях" [4])... По свидетельству того же министра, „состояния" эти не обнаруживали страха при мысли об отмене крепостного права.

„Время и новые отношения,—говорит он,—вовсе изменили взгляд образованных помещиков на крепостное право: они, конечно, опасаются последствий свободы, знагя необузданность народа, вышедшего однажды в каком-либо отношении из своего обычного положения и из пределов повиновения; но владельцы ныне уже вовсе не боятся утраты своего достояния от дарования людям свободы. Помещики сами начинают понимать, что крестьяне тяготят их и что было бы желательно изменить эти обоюдно невыгодные отношения" [5]). Перовский очень метко указывает, что к такому взгляду привели помещиков повысившиеся цены

---

[1]) См. его интересную статью: „Кавказские воды", в 6-ой кн. „Полярной Звезды" на 1861 г., стр. 353.

[2]) В стихотворении говорится, что

Старшая дева в семействе славяна
Всех превзошла величием стана,

и что она должна спешить в поле с меньшими сестрами, ведя за собой их хорово и дружно сплетая руки с руками. Старшая дева, это—конечно, Россия. Но отсюда до славянофильства еще очень далеко. Прибавлю еще, что у Герцена мы встречаем признания в роде следующего: „Труды славянофилов подготовили материал для понимания—им принадлежит честь и слава почина" (в статье: „Repetitio est mater studiorum". „Колокол", № 107).

[3]) „Мы должны были умолкнуть в начале 1854 г.",—говорит он в статье: „К нашим". „Пол. Звезда", кн. I, изд. II, стр. 230.

[4]) В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России и т. д., т. II, стр. 135—136.

[5]) Там же, стр. 138.

земли и удачные опыты применения наемного сельско-хозяйственного труда в губерниях Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и некоторых других. Но он замечает, что, хотя большая половина нашего дворянства не опасается утраты своего достояния от уничтожения крепостного права, однако, она „страшится последствий переворота, коих всякий благоразумный человек, знающий народ и его понятия и наклонности, должен опасаться“ [1]).

При таком настроении дворянства трудно было ожидать, чтобы оно откликнулось на призыв эмигранта, сочинения которого ввозились в Россию,—поскольку ввозились,—как запрещенный товар. Но свидетельство Перовского относится к 1845 году, а в то время, когда появились первые заграничные издания Герцена, настроение дворянства стало еще более консервативным. Испуганное обострением классовой борьбы на Западе, выразившимся в революции 48—49 гг., наше „общество“ хотело одного: тишины и порядка. Даже И. Киреевский писал в апреле 1848 г. М. П. Погодину, что „мы можем пред‘явить правительству только два требования: во-1-х, чтобы оно не вмешивало нас в бесполезную войну; во-2-х, чтобы оно не возмущало народ ложными слухами о свободе и не вводило никаких новых законов, покуда не утишатся дела на Западе“ [2]).

Это было именно то время, когда общество, по выражению цензора Никитенко, быстро погружалось в варварство. И этот упадок общественного настроения не остался без влияния даже на ближайших друзей Герцена. Они отнеслись несочувственно к его плану заграничных изданий. Осенью 1853 г. в Лондон приехал старый его приятель, известный артист М. С. Щепкин. Он уговаривал изгнанника прекратить свою, как сказали бы теперь, подпольную деятельность. „Какая может быть польза от вашего печатания?—говорил он ему.—Вы сгубите бездну народа, сгубите ваших друзей. Я стал бы на свои старые колени перед тобой, стал бы просить тебя остановиться, пока есть время“. Герцен не пожелал покинуть подполье; но ему, вероятно, довольно долго пришлось бы ждать сочувственного отклика с родины, если бы не Крымская война. Смерть Николая I и падение Севастополя расшевелили общественное мнение в России и сообщили Герцену новые надежды. Тогда-то он и приступил к изданию „Полярной Звезды“, а потом „Колокола“.

В первой же книжке „Полярной Звезды“ Герцен обратился к новому царю с открытым письмом, заключавшим в себе целую программу реформ.

„Государь, — писал он, — дайте свободу русскому слову. Уму нашему тесно, мысль наша отравляет нашу грудь от недостатка простора, она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь... нам есть что сказать миру и своим.

„Дайте землю крестьянам. Она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пятно крепостного состояния, залечите синие рубцы на спине наших братий—эти страшные следы презрения к человеку.

„Торопитесь. Спасите крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, которую он должен будет пролить...

„...Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало сомневаетесь, как и все.

„На первый случай нам и этого довольно“...

После всего сказанного мною выше, надеюсь, вполне понятно, почему освобождение крестьян с землею явилось средоточием программы Герцена. Но

---

[1]) В. И. Семевский, цит. сочин. т. II, стр. 138.
[2]) Соч. И. В. Киреевского. Москва, 1911 г., т. II, стр. 249.

если это требование характерно для „социальных“ взглядов нашего великого публициста, то обращение к новому императору не менее характерно для его политического образа мыслей.

Коснувшись студенческих годов Герцена и его увлечения Сэн-Симоном, я заметил, что он впоследствии повторил в своей публицистической деятельности ошибку Сэн-Симона, состоявшую в неясном понимании причинной связи между „экономикой“ и „политикой“. Я тогда же прибавил, что ошибка эта была свойственна не одному Сэн-Симону, а всем социалистам-утопистам. Теперь пора дополнить это тем указанием, что она в высшей степени свойственна была, между прочим, Прудону, сильное влияние которого испытал на себе Герцен в первые годы пребывания своего за границей.

Великий русский публицист с похвалой говорит о Прудоне: „Политика, в смысле старого либерализма и конституционной республики, стоит у него на втором плане, как что-то полупрошедшее, уходящее. В политических вопросах он равнодушен, готов делать уступки, потому что не приписывает особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны“.

Герцен, в эпоху расцвета своей публицистической деятельности, тоже смотрел на политику как на что-то полупрошедшее, полууходящее. Этим об‘ясняется его обращение к правительству. Он делал „огромные“ уступки именно потому, что политические формы и в его глазах не имели существенного значения.

Только этим и может быть об‘яснен, например, такой факт, что в той же самой книжке „Полярной Звезды“, в которой появилось письмо Герцена к императору Александру II, напечатана статья А. Таланде: „Нет социализма без республики“. Герцен, справедливо считавший себя неисправимым социалистом, по всей вероятности, разделял в теории этот взгляд Таланде, но он не считал нужным руководиться им на практике в то время, когда для России открывалась, по его мнению, возможность сделать первые крупные шаги по пути к социализму. Это могло бы показаться странным, если бы мы не знали, что он, подобно Прудону, был к политическим вопросам „равнодушен“, и готов был делать уступки, „потому что не приписывал особой важности формам, которые, по его мнению, не существенны“.

XIII.

Еще раз: это ошибка. „Политика“—вовсе не второстепенное дело. Всякая данная политическая власть вырастает на почве данных классовых отношений, сводящихся, в последнем счете, к отношениям собственности. Природою классовых отношений, существующих в данное время в данной стране, определяется природа существующей в ней политической власти. А природа этой власти, в свою очередь, определяет собою то, что может быть ею сделано по части общественного преобразования. Нельзя было ожидать, что политическая власть, исторически сложившаяся и окрепшая как выразительница интересов дворянского сословия, возьмется за реформы, несогласимые с существенными интересами того же сословия. А издатели „Колокола“ именно этого ждали и требовали от тогдашней русской власти. Тем самым они готовили себе целый ряд жестоких разочарований. Разочарования пришли очень скоро. Но пока что—и это очень интересный факт! — ошибка Герцена послужила ему на пользу в том смысле, что она расширила круг его влияния.

В августе 1857 г. К. Д. Кавелин, еще не знавший, что 1 июня того же года вышел первый номер „Колокола“, писал Герцену, советуя ему приступить к изданию боевого органа. „Но,—прибавлял он,—орган должен быть не-

временно умеренный, который через это получил бы возможность входить во все интересы, служить органом для всех мнений. Политический вопрос мало занимает наше общество, как это ни покажется странным. Но административные, социальные, церковные, очень много. В управлении хаос, нелепость, бессмыслица достигли до Геркулесовых столбов, а хлестать их примерами негде". Русское общество мало занималось „политическим вопросом" по своей политической неразвитости, а Герцен отводил ему второстепенное значение, потому что смотрел на него с точки зрения Прудона.

Разные причины привели к одинаковым следствиям: „Колокол" поставил на передний план „административные и социальные" вопросы, наиболее интересовавшие русских читателей того времени. Впоследствии оказалось, что неисправимый социалист Герцен не мог решать эти вопросы, в том смысле, в каком хотелось решить их большинству его временных поклонников. И тогда эти временные поклонники отвернулись от „Колокола". Но сначала их увлекла умеренность герценовой программы. А. М. Унковский говорит в своих воспоминаниях, что в Твери в течение 2—3 лет у большинства дворян совершенно переменился весь образ мыслей под влиянием „Колокола". Можно подумать, что под влиянием „Колокола" тверские дворяне перестали быть дворянами. В действительности это было, конечно, не так. Мы знаем, что даже знаменитые тверские либералы очень недурно отстаивали свои дворянские интересы [1]). Но до поры до времени они не замечали, что при всей умеренности своей программы Герцен смотрел на „административные и социальные" вопросы совсем не их глазами. Не замечал этого и Герцен.

Когда Александр II заявил в своей московской речи, что лучше освободить крестьян сверху, нежели ждать, пока они начнут освобождать себя снизу, Герцен откликнулся на эти его слова (в № 2 „Колокола", от 1-го августа 1857 г.) передовой статьей: „Революция в России". „Мы не только накануне переворота, но мы вошли в него, — писал он. — Необходимость и общественное мнение увлекли правительство в новую фазу развития, перемен, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдруг получили права гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это беспокойство ее и стремление вновь разрешить главные задачи государственной жизни, подвергнуть разбору исторические формы, в которых она движется,— составляют необходимую почву всякого коренного переворота".

Герцен предвидел то возражение, что коренные общественные перевороты представляют собою результат взаимной борьбы общественных сил, т. е. такого состояния общества, острых признаков которого не было заметно в тогдашней России. На это он отвечает, что в России издавна все шло не так, как на Западе, не снизу, а сверху: единственный коренной переворот, пережитый ею, был совершен царем Петром I. „Мы так привыкли,—продолжает он,—с 1789 г., что все перевороты делаются взрывами, восстаниями, что каждая уступка вырывается силой, что каждый шаг вперед берется с боя,— что невольно ищем, когда речь идет о перевороте: площадь, баррикады, кровь,

---

[1]) Так, тот же А. М. Унковский, в своей записке по крестьянскому делу, поданной Александру II в декабре 1857 г., утверждал, „что ценность всякого населенного имения, состоящего на крепостном праве, заключается не в одной земле, но и в людях, за которых помещик должен быть так же вознагражден, как и за землю, тем более, что в некоторых местностях земля без людей не имеет никакой ценности". Унковский находил только, что выкуп за крестьянские души должен быть уплачен не одними этими душами, а „всеми сословиями государства". А. М. Унковский был одним из самых либеральных дворян того времени (его записка перепечатана в восторженной, по обыкновению, книге Гр. Джаншиева: „А. М. Унковский и освобождение крестьян". М. 1894 г., стр. 58—71).

топор палача. Без сомнения, восстание, открытая борьба—одно из самых могущественных средств революций, но отнюдь не единственное". Герцен заявляет от имени редакции „Колокола", что она от души предпочитает путь мирного человеческого развития пути развития кровавого [1])...

На известный рескрипт Назимову от 20 ноября 1857 г. „Колокол" (№ 7) ответил статьей: „Освобождение крестьян", в которой говорится:

„Мы хотели следить за всеми подробностями правительственных распоряжений за прошлый год, но подробности исчезают пред великими событиями, которые совершаются в отечестве, и вместо преследования мелких частностей мы начинаем 1858 год приветствием Александру II за начало освобождения от крепостного состояния. Мы убеждены, что он неравнодушно примет это горячее приветствие людей, которым не нужно его бояться, которые для себя лично ничего от него не ждут и ничего не просят, приветствие свободных людей русских—царю, уничтожающему рабство. Мы счастливы, что можем этим начать новый год: да будет он, действительно, новой эрой для России!"

Статья эта принадлежит не Герцену, а Огареву, но это и здесь все равно, так как, повторяю, Герцен держался совершенно таких же взглядов, что лучше всего видно из знаменитой статьи: „Через три года", напечатанной в № 9 „Колокола", от 15 февраля 1858 г. Герцен обращается в ней к Александру II со словами: „Ты победил, Галилеянин! И нам легко это сказать потому, что у нас в нашей борьбе не замешано ни самолюбие ни личность. Мы боролись из дела; кто его сделал, тому и честь". Далее в статье говорится, что с тех пор, как Александр II всенародно показал себя сторонником освобождения крестьян, его имя принадлежит истории, и что этого шага его не забудут грядущие поколения. По мнению Герцена, Александр II столько же явился наследником 14 декабря, как и Николая. Статья заканчивается теми же словами, какими и начинается: „Ты победил, Галилеянин!"

Не мешает здесь же напомнить следующий эпизод с подписью Огарева. До № 9 „Колокола" он подписывал свои статьи буквами Р. Ч., но в № 9 он заявил, что ему больно прятаться от Александра II под псевдонимом, и что поэтому впредь его статьи будут подписаны его настоящим и полным именем [2]). Дальше этого умиление итти не могло.

XIV.

Уже в то время такое умиление разделялось, как видно, не всеми. Но неоспоримо, что его разделяли очень и очень многие и что к числу разделявших его принадлежал насмешливый Н. Г. Чернышевский. По поводу тех же шагов нового правительства он писал:

„Блистательные подвиги времен Петра Великого и колоссальная личность самого Петра покоряют наше воображение; неоспоримо громадно и су-

---

[1]) Его слова о том, что восстание является одним из самых могущественных средств революции, как бы противоречат тому, что сказано мною выше об его отношении к классовой борьбе. Но, во-1-х, „одно из самых могучих"—еще не значит „одно из самых лучших". Во-2-х, в революции 1848—49 гг. Герцена смущало не то обстоятельство, что революция эта была насильственною, а то, что эта насильственная революция была выражением классовой борьбы, приведшей к расхождению между „образованным классом", с одной стороны, и пролетариатом—с другой. В революции 1789 г. он такого расхождения не видел.

[2]) Это было в феврале 1858 г. А в апреле 1859 г. Огарев на правительственное приглашение вернуться в Россию отвечал в письме к императору: „Я возвращусь, когда в России будет властвовать ваша освобождающая воля, а не произвол сановников своекорыстных, неправосудных и бездарных, застилающих от вас правду и живую жизнь народа".

щественное величие совершенного им дела. Мы не знаем, каких внешних событий свидетелями поставит нас будущность. Но уже одно только дело уничтожения крепостного права благословляет времена Александра II славою, высочайшею в мире. Благословление, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра II счастием одному начать и совершить освобождение своих подданных“ [1]).

Если Герцен, обращаясь к Александру II, повторял слова, приписываемые Юлиану Отступнику, то Чернышевский взял эпиграфом своей статьи слова псалмопевца: „Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помаза тя бог твой“.

Чернышевский скоро стал отзываться о ходе крестьянской реформы совсем иначе. „Колокол“ Герцена уже в конце 1858 г. тоже начал издавать звуки, совсем не соответствующие только-что изображенному мною радужному настроению. В № 25 (от 1 октября 1858 г.), в письме к редактору, мы читаем: „Напрасно сохранять еще веру в Александра. Как ни тяжело сознаться в своей ошибке, но полно ребячиться, теперь не до того“. Редакция снабдила это письмо примечанием, в котором благодарила автора за его письмо. Однако, еще в № 60, от 1-го января 1860 года, Герцен, признаваясь, что вступает в новое десятилетие не с такой твердой надеждой, с какой он встретил „эпоху возрождения“ России, обращается к императору с настоятельным призывом.

„Государь,—восклицает он,—проснитесь! Новый год пробил нового десятилетия, которое может, будет носить ваше имя; но, ведь, нельзя одной и той же рукой ярко и светло записывать свое имя в истории как освободитель крестьян и подписывать... повеления против свободной речи и против молодости—юношей. Вас обманывают, вы сами обманываетесь—это Святки, все наряженые. Велите снять маски и посмотрите хорошенько, кто друзья России и кто любит только свою частную выгоду. Вам это потому вдвое важнее, что е щ е друзья России м о г у т б ы т ь и вашими. Велите же скорее снять маски“... и т. д.

В № 95, от 1-го апреля следующего года, в статье: „Манифест“ новое и еще более сочувственное обращение к Александру, которого автор статьи приветствует именем Освободителя: „Освобождение крестьян только н а ч а л о с ь с провозглашения манифеста. Не отдых, не торжество ждет государя, а упорный труд; не отдых, не воля ждет народ, а новый, страшный искус. Скорее, скорее в т о р о й шаг!“

В августе 1862 года Герцен, оправдываясь от упрека в том, что он потерял всякую веру в насильственные перевороты, доказывает, что у нас всего можно ожидать от государственной власти.

„Императорская власть у нас—т о л ь к о в л а с т ь, т.-е. сила, устройство, о б з а в е д е н и е; содержания в ней нет, обязанностей на ней не лежит, она может сделаться татарским ханатом и французским комитетом общественного спасения,—разве Пугачев не был императором Петром III?“ [2]). В виду таких неограниченных возможностей передовые общественные деятели России обязаны употребить все усилия для того, чтобы направить правительство на надлежащий путь. „Но для того, чтобы власть царская стала властью народной, ей надобно понять, что волна, которая ее подмывает и хочет поднять, в самом деле волна морская, что ее нельзя ни остановить ни сослать в

---

[1]) Соч. Н. Г. Чернышевского. Спб. 1906 г., т. IV, стр. 54. Статья: „О новых условиях сельского быта“.

[2]) В одном из своих „Писем к путешественнику“ („Колокол“ № 203) Герцен говорит, что у нас императорская власть есть нечто чисто внешнее. Это вполне соответствует указанной мною неясности его взглядов на политику.

Сибирь, что прилив начался и что несколько раньше, несколько позже, а ей придется сделать выбор между кормилом народной державы и илом морского дна. Свидетельствуйте об этом всеми свидетельствами, кричите ей об этом денно и нощно... Пусть она выскажется—и только после ее ответа вы узнаете, что говорить народу и к чему его звать".

Только убеждением Герцена в том, что в России перед верховной властью лежат неограниченные практические возможности, об'ясняются постоянные его обращения к ней даже по таким поводам, которые не имели никакого отношения к общественно-политическим вопросам [1]. В мае 1865 г. („Колокол", № 197) он обратился открытым письмом к Александру II по случаю смерти цесаревича Николая.

„В жизни людской есть минуты,—говорил он там,—грозно торжественные: в них человек пробуждается от ежедневной суеты, становится во весь рост, стряхает пыль—и обновляется. Верующий—молитвой, неверующий—мыслью. Минуты эти редки и невозвратимы. Горе, кто их пропускает рассеянно и бесследно! Вы в такой минуте, государь,—ловите ее. Остановитесь под всей тяжестью удара с вашей свежей раной на груди и подумайте, только без сената и синода, без министров и штаба, подумайте о пройденном—о том, где вы и куда идете".

Однако, подобные обращения постепенно становились все реже и реже. Крестьянская реформа совершалась далеко не так, как этого хотелось издателям „Колокола". Уже в июне 1861 г. они заявляют, что такого уродливого хода дел они не ожидали. И тогда же Огарев начинает доказывать, что реформа 19 февраля не освободила крестьян, а создала новое крепостное право. Около того же времени редакция „Колокола" дает новое и гораздо более радикальное выражение своим требованиям. Она формулирует их в часто повторявшихся потом словах: „земля и воля". С этим новым девизом она обращается уже не к правительству, а к тому слою, который стали впоследствии называть у нас революционной интеллигенцией, т.-е., точнее, к образованным разночинцам.

---

[1]) Кстати, современная общественная наука вовсе не признает только что указанных неограниченных возможностей. Но ошибку Герцена повторил не далее как в начале 80-х гг. Н. К. Михайловский. Это видно из статьи Н. Я. Николадзе: „Освобождение Н. Г. Чернышевского", напечатанной в сентябрьской книжке „Былого" за 1906 г. Когда Н. Я. Николадзе выразил Михайловскому свое удивление по поводу того, что представляемые им люди не выдвинули (в том случае, который описывается в статье) политических требований, т.-е. „конституции",—тот ответил ему, „что теперь настроение партии менее приподнятое, и она уверилась, что политические формы поведут к упрочению во власти не народолюбцев, а только буржуазии, что составит не прогресс, а регресс" (стр. 225—256). Если так могли рассуждать „русские социалисты" в 80-х годах, то можно ли удивляться тому, что писал Герцен в конце 50-х? Он был далеко не первым социалистом, обращавшимся к верховной власти. Социалисты утопического периода, смотревшие на политику сверху вниз и не стеснявшиеся в своих политических приемах, очень любили подобные обращения. Для примера я уже указывал на Сэн-Симона. Не приводя других примеров, укажу на самый главный. Книга Прудона: „La révolution sociale démontrée par le coup d'état du 2 Décembre", написанная сейчас же после декабрьского переворота, представляет собою поучительную попытку обращения правительства Наполеона III на путь социальной революции. К чести Герцена надо сказать, что насчет этого правительства у него никогда не было никаких иллюзий. Но все-таки можно думать, что попытка не осталась без влияния на тактику нашего великого публициста. Прудон говорил, что социалистам все равно, кто бы ни сделал социальную революцию: Луи Наполеон, потомок Карла X, потомок Луи Филиппа или, наконец, еще кто-нибудь другой (см. V изд. названн. книги, стр. 12—13). Герцен согласился с такой постановкой вопроса хоть и не вполне.

Вообще надежда на образованных разночинцев росла у Герцена и Огарева в той самой мере, в какой падала их надежда на правительство и на дворянство. Но прежде, нежели говорить об этом, надо подробнее рассмотреть, каков был взгляд редакции „Колокола“ на освобождение крестьян с землею и как изменялся он под влиянием событий.

XV.

Читатель помнит, что, говоря в первом своем письме к императору Александру II о необходимости освободить крестьян с землею, Герцен тут же прибавлял: она и так им принадлежит. Но это не значит, что он требовал утверждения за ними права собственности на землю без вознаграждения помещиков. Напротив, уже в „Полярной Звезде“ на 1856 год Огарев в цитированной мною выше статье: „Русские вопросы“ говорил о выкупе крестьянской земли. „Вознаграждение помещиков посредством банковых или иных операций можно же придумать—замечал он,—заставив над этим вопросом потрудиться свежих образованных людей“. Таких-то людей и надо было искать, по его тогдашнему мнению, в среднем дворянстве. В № 14 „Колокола“ он же поместил статью: „Еще об освобождении крестьян“, в которой категорически заявлял, что „освободить крестьян с землею так, чтобы интерес помещика не пострадал, можно только посредством выкупа“.

Основываясь на трудах Кеппена и Тенюборского, Огарев делал расчет, согласно которому у нас было:

Всей помещичьей земли	106.228.520 дес.
Из них неудобной	25.190.270 „
Итого удобной . . .	81.038.250 дес.
Число крепостных ревизских душ, заложенных в кредитных учреждениях	5.945.533
Свободных от залога:	5.124.528
Итого . . .	11.070.061
У крестьян в пользовании помещичьей земли удобной и под селениями всего	33.000.000 дес.
Затем у помещиков в своем пользовании удобной земли:	48.038.250 „
Неудобной	25.190.270 „

На основании этого расчета Огарев заключал, что „выкупить надо 33.000.000 дес. (sic!) населения“. За это дело должен был взяться Опекунский совет. По установившейся практике, этот последний выдавал помещикам под залог их имений по 70 руб. серебром на душу, при чем вся земля имения поступала в залог. Согласно проекту Огарева, Опекунский совет должен был выдавать по 70 руб. серебром за душу „при том количестве земли, которою крестьяне в сию минуту de facto владеют, т.-е. на которой живут и которую обрабатывают для себя“. Не имея денег, Опекунский совет выдал бы помещикам векселя на себя, а сам взыскивал бы с крестьян по 70 руб. серебром с души в течение 37 лет, взимая по 5% ссуды и по 1% в год капитала. Таким образом, вся выкупная операция была бы закончена в течение 37 лет. Считая по 70 руб. серебром на 11.000.000 душ, Совет должен был выдать помещикам векселями на себя 770.000.000 рублей серебром.

Этот проект Огарева, конечно, одобренный Герценом, вызвал интересную полемику на страницах „Колокола“. В № 18 появилось „Возражение на статью „Колокола“.

„Et tu quoque, Brute! — писал неизвестный автор.—Как! И „Колокол“ требует, чтобы русский мужик выкупил свои человеческие права с клочком потом и кровью орошенной им и его предками земли. Et tu quoque, Brute! Но скажите ради бога, как, почему, за что крестьянин должен нести бремя выкупа, как бы он маловажен ни был?“

Неизвестный автор выдвигает против идеи выкупа то соображение, что у нас не было завоевания, а, следовательно, и феодализма. Если Н. П. Погодину случилось прочесть этот № „Колокола“, то он, надо думать, очень удивился, встретившись с такой своеобразной утилизацией своей философии русской истории.

Неизвестный автор совершенно справедливо находил, что при предстоявшем освобождении крестьян надо было всячески стараться облегчать переход их в вольное состояние.

Но подать, взимаемая с них за освобождение, затруднила бы переход их в это состояние, и уже по одному этому ее следовало бы отвергнуть. Но он не ограничивался этим соображением. Он указывал на то, что, по проекту Огарева, выкупная сумма должна была уплачиваться в продолжение 37 лет. „В каком же положении,—спрашивал он,—должен оставаться крестьянин во все это время? Останется ли он прикрепленным к земле до тех пор, пока весь выкуп его совершится? Одним словом, будет ли он вольным человеком в продолжение сих 37 лет?“

Проекту Огарева автор противопоставлял свой собственный.

Он заключался в том, чтобы из всей земли каждого селения, за исключением лесов, отделить третью часть и безвозмездно предоставить ее сельской общине. Часть эта ни в каком случае не должна превышать 3-х десятин на тягло. Автор хорошо понимал, что такой надел очень не велик, но утешал себя и читателя тем соображением, что самая ограниченноссь надела имеет свою относительную выгоду. „Во-первых, она лишает помещика по возможности самой меньшей части земли; и, во-вторых, обеспечивая более или менее, по крайней мере, прокормление крестьян, их насущный хлеб..., она указывает им на необходимость искать дальнейших средств существования в найме земли помещичьей“. Эта несколько неожиданная аргументация показывает, что, отстаивая интересы крестьян, неизвестный автор возражения помнил и об интересах помещиков.

Отвечая на изложенное здесь возражение, Огарев прежде всего заявлял, что внутренно он совершенно согласен на безвозмездное наделение крестьян землею. Такой проект благороден, и трудно не сочувствовать ему. Беда лишь в том, что он не осуществим.

„Большинство помещиков не согласится не только на безвозмездное наделение землею, но едва согласится на выкуп; оно слишком завязло в любви не к одному землевладению, но и к рабовладению. Значительное меньшинство тотчас согласится на выкуп; но на безвозмездное наделение землею согласятся разве несколько отдельных личностей“.

Впрочем, Огарев не хочет защищать и свой проект, так как хорошо сознает его недостатки. Единственное, что он отстаивает в нем, „это—мысль о выкупе крестьян с землею посредством финансовой меры. Она у нас развивается, и на ее основании растет будущность нашей крестьянской общины“ [1]).

---

[1]) „Колокол“, № 38, 15 марта 1859 г.

Эти доводы Огарева не убедили неизвестного автора. В №№ 40—41 „Колокола“ он напечатал новое возражение Огареву. Тут он соглашался дать помещикам около 300.000.000 рублей серебром в виде вознаграждения за землю, но и это „не без колебания“, так как у России было, по его словам, много других потребностей, совершенно не удовлетворенных [1]). Но редакция „Колокола“ твердо держалась идеи выкупа. В приложении к № 44 своего издания она поместила новый проект освобождения помещичьих крестьян.

Он состоит из двух частей. В первой говорится о том, что нужно сделать во второй—о том, как это сделать.

Первая часть по-своему так замечательна, что должна быть воспроизведена здесь целиком:

„1) Сохранить общинное владение землею и все общинное устройство при освобождении помещичьих крестьян.

„2) Освободить помещичьих крестьян с землею целыми общинами, но не отдельными лицами или семействами.

„3) Произвести полное освобождение разом, без всякого переходного состояния.

„4) Предоставить во владение общины то самое количество земли, которым она пользовалась по сие время.

„5) Произвести освобождение одновременно и в один день по всей России.

„6) Произвести освобождение полное, т. е. чтобы освобождением прервать всякие обязательные отношения крестьян к помещику и поставить освобожденных крестьян в те же условия, в каких находятся крестьяне государственные.

„7) Строго сохранить при освобождении интересы помещиков и крестьян.

„8) Чтобы удовлетворить всем вышеозначенным условиям, освобождение может быть произведено только выкупом.

„9) Должны быть выкуплены как земля, так и крепостное право“.

Параграфы 2—6 этой части проекта, несомненно, заключают в себе такие требования, которые были шире огромного большинства предложений, делавшихся представителями помещичьего сословия и правительственной власти. Так, осуществление п. 4 предупредило бы появление знаменитых впоследствии „отрезков“; при осуществлении п. 6 освобождаемых крестьян миновала бы горькая чаша „временно-обязанного состояния“ и т. д. Но следующие пункты этого проекта показывают, что и его составители умели заботиться о помещичьих интересах. После того, как п. 7 напомнил о необходимости строго охранять при освобождении интересы как крестьян, так и помещиков, следующий § заявляет, что интересы обеих сторон могут быть соблюдены только при условии выкупа. А § 9 прибавляет, что выкупу подлежит не только земля, но и „крепостное право“, т.-е. право на крещеную собственность, как сказал бы Герцен. Это последнее, весьма достойное замечания, требование поясняется в проекте следующим соображением:

„В противном случае интересы помещиков пострадали бы сильно. Необходимость выкупа крепостного права бросается в глаза в имениях малоземельных, промышленных и имеющих много дворовых людей“.

Вторая часть проекта начинается повторением того требования, согласно которому в распоряжение освобождаемых крестьян должна поступить вся земля, находящаяся в их фактическом пользовании (против „отрезков“). Все последующие параграфы посвящены указаниям на то, как именно должна осуще-

---

[1]) Надо заметить, впрочем, что он и прежде соглашался дать 30 или 40 миллионов руб. сер. на вспомоществование мелкопоместным помещикам.

ствиться идея выкупа. Авторы проекта предлагают правительству учредить оценочные комитеты в уездах, губерниях и столице (центральный оценочный комитет). Все эти комитеты должны были „получать направление“ от существовавшего тогда верховного комитета. Интересен желательный авторам состав губернских и уездных комитетов: они должны составляться на половину из лиц, назначаемых правительством, и на половину из выборных от дворянства. О крестьянах нет ни слова. Самое название этих комитетов („оценочные“) показывает, что задачей их была оценка земель, отводимых под надел крестьянам. По разрешении этой задачи верховный комитет должен был выдать помещикам облигации на сумму, определенную оценкой, за вычетом из нее долга, лежавшего на заложенных имениях. Для погашения облигаций освобождаемые крестьяне должны были платить особый ежегодный налог. В более подробное рассмотрение этой части проекта входить теперь совершенно излишне. Замечу только,—и попрошу читателя запомнить,—еще тот параграф (10-ый), который гласит, что тягость, налагаемая на освобождаемых крестьян ежегодным сбором для погашения облигаций, „может быть немедленно же умерена увеличением налога на крестьян государственных, на гильдейские повинности и на земли, остающиеся в собственность помещиков“.

XVI.

Печатая этот проект, редакция „Колокола“ снабдила его следующим примечанием:

„Мы полагаем возможным и крайне необходимым представить в сокращенном виде все, что литература сказала об этом вопросе верного, неоспоримого и практического“.

Однако, не все в нем казалось ей верным и неоспоримым. В следующем же № „Колокола“ Огарев, высказываясь в общем за проект, счел нужным сделать по его поводу весьма существенную оговорку.

Он утверждал, что комитеты, составленные на половину из помещиков и на половину из чиновников, непременно будут тянуть помещичью руку. Правда, сам Огарев думал, как мы знаем, что „народ плохо может высказать понятие, находящееся у него скорее в степени инстинкта, чутья, а не ясной мысли“ (см. выше). Но все-таки ему казалась совершенно неверной та мысль, что предмет, подлежавший ведению оценочных комитетов, был выше уровня крестьянского понимания. „Крестьяне легко поймут, в чем дело“,—возражал он совершенно справедливо. Для исправления относившегося сюда места проекта Огарев требовал:

1) чтобы заседания оценочных комитетов были гласными;

2) чтобы входившие в комитеты члены от правительства имели университетское образование;

3) чтобы „возражения со стороны общин имели законную силу, были бы обнародованы в печати, и чтобы члены комитетов за невнимание к возражениям и мнениям общин подвергались строгой ответственности“.

Для окончательного же разбирательства спорных вопросов, после утверждения освободительного акта, он предлагал учредить особые третейские суды, куда представители назначались бы поровну от обеих сторон. При этом он требовал уголовной ответственности лиц, уличенных в застращивании „судей не из дворянского сословия“.

Таким образом, редакция „Колокола“ твердо держалась идеи государственного выкупа. Ее очень удивляло робкое отношение правительства к этой

идее. „Мы не понимаем,—говорила она,—страха правительства перед обязательным выкупом. Кого оно боится?“ [1])

Некоторые корреспонденты „Колокола“ доказывали, что обязательный выкуп земли в пользу освобождаемых крестьян будет выгоден только для помещиков. Редакция, в лице Огарева, отвечала, что, если это будет так, то „тем лучше: мужик независтлив, он спокойно предоставит эти выгоды помещику, лишь бы отделаться от него“ [2]).

Тот же автор, который восставал против обязательного выкупа, высказывался и против общинного владения землею. Возражая ему в указанном № „Колокола“, Огарев говорил, между прочим, что видит в общине не идеал, а факт, и „этот факт способен к своеобразному развитию, которое, если ему не помешают, может быть гораздо лучше (чем западный „факт“. *Г. П.*), потому что имеет более данных для мирного общественного устройства, признавая право каждого на пользование землею“ и т. д.

Это замечание, брошенное в данном случае совершенно мимоходом, дает новый и очень ценный материал для выяснения тогдашних политических взглядов Огарева, а, стало быть, и Герцена, который нас здесь особенно интересует. Я уже говорил, что Герцен смотрел на классовую борьбу как на самое худшее средство разрешения социального вопроса, и что, кроме того, он вполне искренно предпочитал мирный путь развития революционному. Этот его взгляд, вполне разделявшийся, как видно, и Огаревым, необходимо иметь в виду всякий раз, когда заходит речь об отношении Герцена к тогдашнему правительству, с одной стороны, и к тогдашним революционерам—с другой. Мы знаем, что постоянные обращения Герцена к императору одобрялись не всеми сторонниками освободительного движения. С течением времени они стали вызывать в передовых кругах все более и более сильный ропот. В № 64 „Колокола“ (1 марта 1860 г.) напечатано, за подписью „Русский человек“, письмо из провинции, резко порицавшее Герцена, который был, по мнению автора письма, „смущен голосом либералов-бар“ и заговорил благосклонно о таких явлениях, о которых можно говорить только с ненавистью. Автор напоминал Герцену, по поводу некоторых его преувеличенных надежд, „что то, что дается, то легко и отнимается“. В заключение он категорически заявлял: „Нет, наше положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!“

Редакция „Колокола“ не могла согласиться с этим. Герцен отвечал „Русскому человеку“, что к топору она звать не будет до тех пор, пока у нее останется хоть какая-нибудь надежда на мирную развязку.

„Чем глубже, чем дальше мы всматриваемся в западный мир, чем подробнее вникаем в явления, нас окружающие...—пояснял он свою мысль,—тем больше растет у нас отвращение от кровавых переворотов“. По его мнению, такие перевороты бывают иногда необходимы как роковое последствие роковых ошибок. Иногда они являются также делом мести или племенной ненависти. Но у нас такие стихии отсутствуют, и „в этом отношении наше положение беспримерно“.

Сопоставив подобные заявления Герцена с несомненной умеренностью его аграрной программы, приходится признать, что нужен был поистине „уродливый“, с его точки зрения, „ход дела“ для ослабления его надежды на мирное решение величайшего из всех тогдашних русских общественных вопросов. И нельзя не признать также, что наши охранители делали все от них

---

[1]) „Колокол“, № 51. В конце передовой статьи.

[2]) См. №№ 57—58 „Колокола“.

возможное для ее ослабления. Например, когда умер Ростовцев, стоявший во главе дела крестьянского освобождения, на его место был назначен известный крепостник Панин. Как мог ответить Герцен на его назначение? Он ответил следующей, полной негодования, заметкой в „Колоколе" от 15 марта 1860 г. [1]).

„Невероятная новость о назначении Панина на место Ростовцева подтвердилась. Глава самой дикой, самой тупой реакции поставлен главою освобождения крестьян. С глубокой горестью узнали мы об этом. Но горевать недостаточно, наше время слишком бойко. Это . . . . оскорбление общественного мнения и уступка плантаторской партии. Тон царствования изменился, с ним должны измениться и все отношения. Члены Редакционных комиссий, если им дорого их дело, если им дорога память, которую они оставят в истории, если они хотят, чтоб им отпустили их бюрократические страстишки и детскую привязанность к розгам, должны тотчас подать в отставку. Меньшинство дворянства должно сомкнуться и взять в свои руки дело освобождения крестьян. Ошибаться нечего, длинная фигура Панина может служить шестом со шляпой, чтоб пугать, но она слишком узка, чтоб застить собою черты"...

Читая эти резкие строки, вполне позволительно было подумать, что и у нас не совсем отсутствуют такие „стихии", которые способны значительно обострить борьбу противоположных общественных стремлений. К такому же выводу можно было прийти, прочитав в № 76 „Колокола" статью: „Узаконение государственного разбоя" [2]), направленную против появившегося тогда в сферах проекта выкупа государственными крестьянами своих земель. И к нему, действительно, приходили читатели „Колокола". Но издатели его не хотели расстаться со своими прежними надеждами и горячо приветствовали каждый такой шаг правительства, который, по их мнению, хоть отчасти соответствовал их надеждам. С этой стороны чрезвычайно интересна и поучительна передовая статья: „Манифест", в № 95 „Колокола" (от 1 апреля 1861 г.).

„Первый шаг сделан!—восклицает в ней Герцен.—Говорят, что он труднее прочих: будем ждать второго—с упованием, хотели бы ждать его с полной уверенностью; но все делается так шатко, так половинно и тяжело!...

„...Александр II сделал много; его имя теперь уже стоит выше всех его предшественников. Он боролся во имя человеческих прав, во имя сострадания против хищной толпы закоснелых негодяев—и сломил их? Этого ему ни народ русский ни всемирная история не забудут. Из дали нашей ссылки мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки,—мы приветствуем его именем освободителя!

„Но горе, если он остановится, если усталая рука его опустится".

В следующем № „Колокола" Огарев, в свою очередь, писал: „Сегодня мы из глубины души говорим Александру II: благословен грядый во имя свободы! А потом—потом посмотрим, что будет".

---

[1]) Она окружена траурной рамкой подобно некрологам: эта рамка как бы возвещала смерть некоторых упований Герцена.

[2]) Мы видели, что, согласно проекту, напечатанному в № 44 „Колокола" (часть II, § 10), „тягость", налагаемая на освобождаемых крестьян для уплаты выкупа за землю, могла быть „умерена" увеличением налога на крестьян государственных. Редакция „Колокола" ничего не возражала против этого. Следовательно, можно предположить, что мысль о выкупе земель государственных крестьян возмущала ее преимущественно тем, что ее осуществление устранило бы возможность переложить на государственных крестьян часть „тягот", возлагавшихся на крестьян помещичьих.

XVII.

Это „что будет“ очень скоро выяснилось для наших лондонских публицистов. В № 101 „Колокола“ появилась, 15 июня 1861 года,—т. е. ровно через 2 месяца после статьи Огарева, цитированной мною в конце предыдущей главы,—статья того же автора: „Разбор нового крепостного права, обнародованного 19 февраля 1861 г. в Положениях о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости“. В ней доказывалось, что: 1) старое крепостное право заменено новым; 2) вообще крепостное право не отменено; 3) народ.... обманут.

„Освобождение крестьян,—писал Огарев,—является как историческая необходимость. Но правительство ниже своей задачи, оно не стало во главе; тем не менее, нить пойдет развиваться помимо его и вопреки ему. Оно выпустило из рук живую струю и ему не на кого пенять, как на самого себя“.

Вполне понятно после этого, что в следующем же номере „Колокола“ (1 июля 1861 г.) на вопрос, что нужно народу, дается ответ, звучащий революционным призывом: очень просто—народу нужна земля и воля. При этом доказывается, что земля принадлежит именно народу, так как он спокон веков н а с а м о м д е л е владел землей, н а с а м о м д е л е лил на землю п о т и к р о в ь, а приказные н а б у м а г е ч е р н и л а м и отписывали эту землю помещикам и в.... казну“.

Но и тут еще не отвергается идея выкупа. Автор статьи говорит, что, хотя помещики 300 лет владели неправо землею, „однако, народ их обижать не хочет“. Дальше мы встречаем новый проект выкупа крестьянской земли, которым предполагается уплата помещикам в продолжение 37 лет целого миллиарда рублей сер. [1]). Автор думает, что можно помириться с идеей такого выкупа, „лишь бы народу осталась вся земля, которую он теперь на себя пашет, на которой живет“ и т. д.

Эта статья является чем-то в роде новой попытки „Колокола“ убедить дворянство в необходимости правильного,—по мнению Герцена и Огарева,—решения крестьянского вопроса. Подобной же попыткой надо признать и статью в № 115, озаглавленную: „Что нужно помещикам“. Если на вопрос, что нужно крестьянам, редакция отвечала—„земля и воля“, то, спрашивая себя, что нужно их бывшим владельцам, она говорила, что им нужны здравый смысл и деньги.

„Здравый смысл для того, чтобы не спорить и не расходиться с народом, иначе—народ их побьет, и правительство их прижмет. Деньги—для того, чтобы при здравом смысле жить и работать наймом. Теперь еще есть время одуматься, позже будет поздно“.

Статья, из которой я беру эти строки, не подписана; но у меня нет решительно никакого основания предполагать, что Герцен в чем-нибудь не одобрял ее содержания. Поэтому я ее принимаю за выражение, м е ж д у п р о ч и м, и его взгляда на тогдашнее положение дел. А, приняв ее за такое выражение, я могу сказать, что в декабре 1861 г. публицистическая мысль нашего великого писателя возвращалась к той самой точке, от которой она отправилась при самом начале его заграничной пропаганды.

В первой брошюре, отпечатанной на его вольном станке, Герцен обращался к дворянству, восклицая: „Юрьев день! Юрьев день!“ Это было еще в царствование Николая I, когда Герцен не питал никаких надежд на добрую волю правительства. Потом, когда началось царствование Александра II, Гер-

[1]) В прежнем проекте говорилось лишь о 770 миллионах.

цен стал обращаться уже не к дворянству, а к правительству, которому он доказывал, что ему нечего бояться дворянства. Далее наступило такое время, когда он утратил или почти утратил веру в правительство. Тогда он опять обратился к дворянству, убеждая его в том, что ему ничего не нужно, кроме здравого смысла и денег. Насчет денег благородному сословию, разумеется, легко было с ним согласиться. На этот счет оно легко соглашается всегда и со всеми. Но по части требований здравого смысла сговориться было несравненно труднее. И по мере того, как Герцен убеждался, что здравый смысл дворянства не похож на здравый смысл редакции „Колокола“, он все больше и больше отворачивался от „барина“ и все чаще и чаще обращался к разночинцу.

В брошюре: „Юрьев день! Юрьев день!“ Герцен указывал дворянам на политическую свободу как на цену, которой история заплатит им за отказ от крепостного права („мы рабы, потому что мы господа... С Юрьева дня начнется наше освобождение“). Обращаясь снова к дворянству в начале 60-х гг., Герцен опять выдвигает вопрос о политической свободе. Но—это крайне важно—он рассматривает его уже не с дворянской, а с общенародной („всесословной“) точки зрения. Передовая статья № 102, которая об‘являет, что народу нужна земля и воля, и что земля может быть приобретена им посредством уплаты дворянству миллиарда рублей, ставит еще и такое требование:

„Надо, чтобы подати и повинности определял бы и раскладывал промеж себя сам народ через своих выборных... Доверенные от народа не дадут народа в обиду, не позволят брать с народа лишних денег“.

Однако, из всех подобных заявлений „Колокола“ хорошо видно, что для его издателей „политика“ попрежнему остается делом „второстепенным“. Герцен и Огарев не торопились разбирать политические вопросы. Выставив в июле 1861 г. только-что отмеченное мною требование насчет „определения податей и повинностей“ народными выборными, „Колокол“ только через два года рассматривает вопрос: способна ли Россия к представительному правлению и какие элементы в ней представимы [1])? Эти вопросы разрешаются в № 166 (20 июня 1863 г.).

Там говорится, что Россия способна к представительному правлению: „Самодержавие дольше держаться не может, а другого выхода нет, как представительное правление. Другого выхода в России, как и в целом человечестве, не придумаешь“. Но сословные интересы, по мнению автора (того же Огарева), у нас не представимы: „В России представимы волостные, городские, племенные и местные или областные интересы бессословно“. Исходя из этого убеждения, автор в № 164 счел нужным противопоставить конституцию земскому собору.

„Конституция,—раз‘ясняет он там,—может быть дана сословная. Она может быть дана как готовый устав, которому приказано повиноваться“.

Наоборот, „земский собор, как с‘езд выборных от всего земства, необходимо основан на бессословности выборов, и собирается не для исполнения данного, приказанного устава, а для устройства земли русской по потребностям земства, для узаконения прав владения, выборной администрации и суда, областного распределения и учреждения формы правительства“.

Таким образом, земский собор, в представлении издателей „Колокола“, являлся учредительным собранием, созываемым не только для выработки рус-

---

[1]) См. статью Огарева: „Конституция и земский собор“ („Расчистка некоторых вопросов“) в № 164, 1 июня 1863 г.

ской конституции, но между прочим, и „для узаконения прав владения“. Можно ли было ждать, что здравый смысл и нужда в деньгах заставят наше дворянство поддерживать такие требования? Едва ли. Здравый смысл дворянского сословия непременно должен был придавать неопределенным словам „узаконение прав владения“ более точный смысл оспаривания дворянских прав на землю крестьянскими депутатами предлагаемого земского собора. А подобное оспаривание никак не могло прийтись по вкусу даже либеральному А. М. Унковскому. Вот почему популярность „Колокола“ стала быстро падать в дворянской (и на дворянский лад настроенной) среде. В одном из своих писем к Герцену И. С. Тургенев об‘яснял упадок популярности „Колокола“ тем, что в нем стал хозяйничать Огарев. Но чем же был плох этот последний? Нечего говорить, по своему литературному таланту он был много и много ниже Герцена. Но его статьи были совсем не так плохи в литературном отношении, чтобы отпугивать читателей своей тяжеловесностью. Стало быть, надо искать другого об‘яснения. И за ним не нужно далеко ходить.

Яркий лирический талант Герцена делал из него несравненного обличителя. Поэтому всякий раз, когда представлялся случай для обличения бюрократии,—читатель поверит, надеюсь, что и тогда таких случаев представлялось очень много,—или той части дворянства, которая упорно защищала свои старые привилегии, — за перо приходилось браться именно Герцену. Если вам угодно заменить здесь—в силу почтенной литературной традиции—слово „перо“ словом „бич“, то я скажу, что по свойствам своего таланта Герцену приходилось в „Колоколе“ заниматься преимущественно бичеванием. Он и сам хорошо сознавал бичующее свойство своего таланта. Не даром он, начиная свою пропаганду за границей, радостно вызывал на бой все отсталые элементы русского общества. Он заранее хорошо знал, что им плохо придется от его бича. Но, занятый делом бичевания, он имел время только для того, чтобы формулировать в общих чертах основные положения своей программы. Развивать их в подробностях приходилось другим и прежде всего, разумеется, его ближайшему единомышленнику Огареву. Мне случалось иногда слышать то мнение, что Огарев глубже Герцена смотрел на общественно-политические вопросы своего времени. Это не так. Герцен был во всех отношениях даровитее Огарева. Когда он обращал свое внимание на какой-нибудь теоретический или практический вопрос, он освещал его не только ярче, но и гораздо глубже. В социально-политической теории, по наследству перешедшей от издателей „Колокола“ к народникам, все более или менее глубокое и новое принадлежит не Огареву, а Герцену. Но отдельные положения этой теории чаще развивал Огарев, нежели Герцен, который, как сказано, был занят обличением и бичеванием. Это вызвало двойной оптический обман. Во-первых, некоторые стали считать Огарева писателем более глубоким, нежели Герцен; во-вторых, те, которым неприятно было относить на счет Герцена несимпатичные им общественные взгляды редакции „Колокола“, стали целиком приписывать их Огареву, занимавшемуся их подробным изложением. Так поступил И. С. Тургенев, чем и об‘ясняется приведенный мною отзыв его об Огареве, как о причине упадка популярности „Колокола“. Французы не даром говорят: ce sont les enfants des autres qui gâtent les nôtres.

На самом деле между Герценом и Огаревым было в то время разделение труда, а не различие во взглядах. В виду этого я и позволил, да и дальше часто буду позволять себе делать ссылки на Огарева в работе, посвященной собственно Герцену. Такие ссылки необходимы для об‘яснения взглядов этого последнего.

XVIII.

В № 134 „Колокола“ (22 мая 1864 г.), в статье: „Куда и откуда“, мы читаем: „Уничтожьте становых, исправников, окружных, суды казенные, но оставьте дворянству огромную долю земельной собственности,—и у вас заведется управление помещичье, суды помещичьи, хотя бы крестьянство и владело долей земли и было бы освобождено от барщины“.

Такая постановка вопроса, сводившая коренную задачу будущего земского собора к уменьшению размеров помещичьего землевладения, могла встретить сочувствие лишь со стороны тех дворян, которые совершенно покидали свою сословную,—в данном случае точнее было бы сказать: классовую, т.-е. землевладельческую,—точку зрения и переходили на точку зрения крестьянства. Редакция „Колокола“ чувствовала это теперь, и она уже безусловно одобряла радикальное решение аграрного вопроса. В № 131 была напечатана чрезвычайно интересная статья: „Голос за народ (Письма помещика). Письмо первое“. Автор этой статьи, несомненно, принадлежал к числу тех помещиков, которые окончательно переходили в лагерь передовых разночинцев. Он стоял за передачу народу всей той земли, которой он владел, и за обработку земледельческими артелями земли, остававшейся за помещиками. Статья оканчивалась словами: „Лично я употреблю весь труд мой на то, чтобы доказать фактом, какая это сила—земледельческая артель. Мое последнее слово: за народ и в народ!“

Редакция „Колокола“, в лице Огарева, чрезвычайно сочувственно отнеслась к этой статье помещика-народника и с своей стороны дала понять, что теперь она отказывается от уступок, делавшихся ею когда-то дворянам в интересах мирного хода дела. Огарев рассуждал теперь так:

„Если уж помещикам из общей земской подати назначается вознаграждение за то, что земля от них отходит к крестьянам; если в оброчных имениях, где помещичьей запашки и без того не было, вся земля отходит к крестьянам, — то не следует помещикам и в барщинных имениях оставлять особой земли. Они получают вознаграждение—чего же больше? Хотят иметь пай в мирской земле, по тяглому рассчету, наравне с крестьянами, пускай остаются в общине такими же крестьянами, как и все. Земля чтоб вся осталась за миром и помещик таким же мирским пайщиком, как и другие. Только тогда бывшие помещичьи крестьяне сравняются землями с бывшими казенными, и будет единое земство и единая земская земля“.

Без всякого преувеличения можно утверждать, что здесь Огарев высказывает ту идею „черного передела“, которая потом нашла свое выражение в революционной литературе начала 80-х гг. и которая, в известном смысле, действительно была народной идеей. Но само собою разумеется, что эта народная, т. е. точнее, крестьянская идея не смогла ужиться со здравым смыслом более или менее крупных землевладельцев, как бы либерально ни была настроена некоторая их часть. И. С. Тургенев отнюдь не был реакционером. А, между тем, новая программа „Колокола“ приводила его в самое искреннее негодование.

„Главное наше несогласие с О. и Г..., — пояснял он в одном из своих писем, — состоит именно в том, что они, презирая и чуть не топча в грязь образованный класс в России, предполагают революционные или реформаторские начала в народе; на деле это—совсем наоборот. Революция в истинном и живом значении этого слова—я бы мог прибавить: в самом широком значении этого слова—существует только в меньшинстве образованного

класса,—и этого достаточно для ее торжества, если мы только себя самих истреблять не будем“ [1]).

Тут заблуждение перемешано с истиной на чрезвычайно поучительный лад. Нам очень хорошо известно теперь, что Герцен и Огарев отнюдь не склонны были презирать образованное дворянство, а тем менее топтать его в грязь. Напомню речь, произнесенную Герценом в международном собрании, состоявшемся 27 февраля 1854 г. в память февральской революции. В этой речи он называет молодое дворянство одним из двух „зародышей“ будущего русского движения. Напомню также, как Огарев советовал правительству призвать к себе на помощь в только-что начинавшемся тогда деле крестьянского освобождения „тот отдел дворянства средней руки, который, с одной стороны, образовался в высших учебных заведениях и привык мыслить, а, с другой стороны, жил в деревнях и знал народ и его потребности“. И. С. Тургенев очень ошибался, приписывая Герцену и Огареву презрение к образованному классу.

Но в то же время он был, с своей точки зрения, совершенно прав. „Образованный класс“ не мог не открыть презрительного к нему отношения в новой программе Герцена и Огарева. В чем же тут дело? Вот в чем.

Читатель помнит, может быть, ту французскую комедию, в которой отец, прочитав приготовленный для его дочери и написанный под ее диктовку проект брачного контракта, восклицает: „но тут говорится только о моей смерти!“ (mais dans tout cela ne s'agit que de ma mort!). Совершенно то же мог воскликнуть „образованный класс“, ознакомившись с новой программой „Колокола“: в ней, в самом деле, шла речь только об его смерти. Ну, а кто желает смерти данному классу, тот, конечно, не питает к нему, как таковому, ни малейшего уважения. И это очень хорошо схватил И. С. Тургенев. Принять новую программу Герцена и Огарева могли только такие представители образованного класса, которые готовы были отказаться от всех своих классовых привилегий. А И. С. Тургенев принадлежал к той несравненно более многочисленной и влиятельной его части, которая вовсе не расположена была отказываться от них. Люди, подобные ему, очень сочувствовали Герцену и Огареву, пока те ограничивались нападками на сословные привилегии дворянства, к числу которых принадлежало тогда и крепостное право. Но они пришли в замешательство, как только увидели, что Герцен и Огарев начинают нападать на классовую привилегию дворянства, т.-е. на их право поземельной собственности. Тут расхождение было неизбежно, и происходило оно совсем не оттого, что Огарев стал будто бы распоряжаться в „Колоколе“, а оттого, что он совершенно так же, как и Герцен, в самом деле был неисправимым социалистом (понимая слово „социализм“ в утопическом его смысле), тогда как между людьми, рукоплескавшими „Колоколу“ в первые годы его существования, преобладали либералы.

К этому надо прибавить сочувствие Герцена и Огарева очень усиливавшемуся тогда польскому движению. Либералы и в этом вопросе не могли разойтись с „неисправимыми социалистами“. Падение популярности „Колокола“ не могло не огорчать Герцена. Однако, для него самого не ясны были вызывавшие его причины.

В № 135 „Колокола“ (1 июня 1862 г.) он поместил заметку: „Москва нам не сочувствует“ с ироническим эпиграфом: „Прости, Москва, приют родимый!“ В ней он, действительно, прощался с Москвой; но его прощание с ней

[1]) Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену и некоторым другим лицам. *Г. П.*). Загр. изд., стр. 153.

показывает, как силен был когда-то утопический элемент в его представлении о дворянском „зародыше“ русского социализма.

Заметка начинается выпиской из письма, полученного редакцией „Колокола“ от своего московского корреспондента. „Москва вам не сочувствует, напротив,—писал корреспондент.—Мы все здесь, к какой бы партии ни принадлежали, люди исторические, и радикализма мы переварить не можем. Не думайте, чтоб я говорил про один какой-либо кружок. Нет, я говорю о всех, исключая, разумеется, небольшой части молодежи. У нас уважают искренность ваших убеждений, пользу от большей части сообщаемых вами известий, и о вас говорят не иначе, как с любовью, но на этом и останавливается сочувствие“.

Герцен отвечает на это сообщение целым рядом едких сарказмов по адресу Москвы. Но едкие сарказмы только прикрывают собою его разочарование, которое сейчас же и вырывается наружу в горькой тираде:

„Как же она изменилась с тридцатых, сороковых годов... с тех времен, когда Белинский начинал свое литературное поприще, Грановский открывал свой курс!..

„Все, что впоследствии развилось и вышло наружу, все, около чего теперь группируются мнения и лица,—все зародилось в эту темную, московскую ночь, за свечкой бедного студента, за товарищескою беседой на четвертом этаже, за дружеским спором юношей до отроков, Там из неопределенной мглы стремлений, из горести и упования отделились мало-по-малу, как два волчьих глаза, две световые точки, два фонаря локомотива, растущие на всем лету, бросая длинные лучи света: один на пройденный путь, другой—на путь предстоящий. В Москве была умственная инициатива того времени, в ней подняты все жизненные вопросы, и в ней на разрешение их тратилось сердце и ум, весь досуг, все существование. В Москве развились Белинский и Хомяков. В Москве кафедра Грановского выросла в трибуну общественного протеста“.

К началу 60-х гг. Москва, без сомнения, очень изменилась сравнительно с тем, чем была, когда Герцен учился в ее университете, или когда он по возвращении из ссылки сражался с Хомяковым на вечерах у Елагиной. Однако в жизни Москвы никогда не было такого периода, в течение которого ее так называемое общество смотрело бы на вопросы русской жизни глазами университетских кружков. И, если в начале 60-х годов общество это разошлось с наиболее передовыми писателями того времени в своей оценке крестьянской реформы и польского движения, то это было как нельзя более естественно. Об'яснять такое расхождение тем, что настроение общества теперь изменилось, значило—иметь неверное представление о том, как оно было настроено в продолжение 30-х или 40-х годов. В только-что приведенных мною строках Герцена видно именно такое неверное представление. Из того, что сказано в этих строках, выходит, как будто дворянская Москва доброго старого времени пренебрегала своими существенными экономическими интересами и готова была итти, пожалуй, даже за Белинским; а к началу 60-х гг. до такой степени изменилась, что вспомнила об этих интересах, вследствие чего и отказалась поддерживать новые аграрные требования „Колокола“. На самом деле „Москва“,—да и, конечно, не одна „Москва“,—не хотела поддерживать эти требования по той вполне достаточной причине, что воплощение их в жизнь свело бы на нет все крупное землевладение.

Герцен и Огарев надеялись, что образованное дворянское меньшинство возьмет на себя почин реформ, необходимых для развития крестьянской общины в социалистическом направлении. Они думали, что благодаря образованию оно поднимется выше своих классовых интересов. На деле оказалось, что

подняться выше этих интересов способны были только отдельные личности. Остальная масса дворянства или упорно поддерживала свои сословные привилегии, или же, в лучшем случае, в лице более передовой своей части отказываясь от этих привилегий, никак не хотела расстаться с экономическими преимуществами своего классового положения, т.-е. пожертвовать своими землевладельческими правами. Перейдя от теории к практике, т.-е. от выработки своей схемы будущего социального развития России к проповеди крестьянского освобождения с землею, Герцен и Огарев сами немедленно же почувствовали, что, обращаясь к дворянству, надо щадить, по крайней мере, его землевладельческие интересы. Именно потому они и стояли за выкуп,— и, как мы видели, далеко небезвыгодный для дворянства выкуп,—земель, находившихся во владении крестьян. Но в то же время у них, так сказать, на границе сознания продолжала жить вера в образованное дворянское меньшинство. И, чем яснее становилась полная неспособность дворянства принести свои интересы в жертву освободительному движению; чем больше издатели „Колокола“ отворачивались от него, тем более они склонны были упрекать его за то, что его поведение не соответствует тем надеждам, которые они возложили на него, противополагая Россию Западу и мечтая о будущем расцвете русского социализма. Это кажется странным. Но в истории утопического социализма мы нередко наталкиваемся на подобные странности. Утопические социалисты вообще ждали и требовали от имущих классов гораздо больше, нежели они могли дать, и тем самым готовили себе много разочарований. Происходило это, конечно, не от презрения к имущим классам, а от излишней их идеализации.

XIX.

В мае 1862 г. Огарев писал: „Надо той доле дворянства, которая заодно с народом, крепко соединяться между собою и с крестьянами“ [1]).

Тут по прежнему автор обращается к дворянству. Но он делает это, как будто уступая старой, укоренившейся у него привычке. Об‘явив, что, если дворяне хотят иметь свой пай в мирской земле, то они должны сравняться с другими крестьянами [2]). Огарев не мог, разумеется, думать, что между дворянами найдется много сторонников такой аграрной программы. Впрочем, редакция „Колокола“ уже ясно видела тогда, что читающая публика в своем огромном большинстве не за нее. В номере от 1 января 1864 г. Герцен на вопрос, много ли у него сторонников в России, отвечал:

„Нет, не много, по крайней мере, сколько мы знаем, особенно с тех пор, как слабые, шаткие, мелкие, робкие ушли,—один от испуга, другие по глупости; оставшиеся тем меньше заметны, что они должны молчать под тройным надзором—явной, тайной и литературной полиции“.

Однако, он не смущался малочисленностью своих единомышленников—он верил в силу идеи. Он писал:

„Много веры, много преданности, много истины надобно, а число голов придет. Это не рекрутство и не подушный сбор. В пещерах, слабые числом, христиане росли в силу, в подземных ходах сплачивались они в те несокрушимые общины святых безумцев, с которыми не могли совладать ни дикое варварство одного мира ни маститая цивилизация другого“.

---

[1]) „Колокол“, № 134.
[2]) Это место его статьи мною приведено выше.

Другими словами это можно было выразить так: „хотя в настоящее время единомышленников у нас очень мало, но впоследствии их будет очень много“. В виду этого естественно возникает вопрос: из какой же общественной среды должны были, по мнению редакции „Колокола“, выйти ее многочисленные будущие единомышленники?

Надежда на „молодое дворянство“ оправдалась лишь в самой ничтожной степени. Крестьянству схема Герцена и Огарева продолжала отводить пассивную роль предмета просвещенного воздействия со стороны образованного меньшинства. Оставалось обратиться к разночинцам.

В октябре 1864 г. Огарев, в письме „К одному из многих“, довольно подробно говорит о разночинцах.

„Они представляют или то меньшинство дворянства, которое отказалось от своего сословия, или то разночинство, которое вовсе не пошло в чиновничество или находится в нем с отвращением. Они не могут иначе выдвинуться вперед, как по теории, а по жизни соединяясь в свои артели и опираясь не на города, а на народ, который им представляет (?*Г. П.)* основание своего элемента земства, всюду живучего и неискоренимого“.

Мы видим здесь, что редакция „Колокола“, в самом деле, обращалась теперь лишь к той ничтожной части дворянства, которая способна была покинуть точку зрения классового интереса. Само собою разумеется, что такой части дворянства охотно отводит место в своих рядах и нынешний сознательный пролетариат. Но, если теоретическим представителям нынешнего сознательного пролетариата приходится подчас перечислять те общественные классы, сословия или слои, отдельные члены которых могли бы перейти на сторону рабочих, то в своем перечне они отводят дворянству едва ли не самое последнее место. А, когда Огарев заговорил о составных элементах слоя разночинцев, он прежде всего указал на меньшинство дворянства. Это в значительной степени об'ясняется тем, что в тогдашней России было все-таки больше дворян, покидавших свою классовую точку зрения, нежели можно встретить в нынешних капиталистических странах. А, кроме того, тут опят надо принять во внимание старую привычку, коренившуюся в старых, дорогих воспоминаниях.

Говоря о студенческих годах Герцена, я уже отметил, что в тогдашних передовых кружках участвовала по преимуществу дворянская молодежь. И я привел его собственное свидетельство, согласно которому семинаристы были отсталыми элементами студенчества. Правда, то время воспитало такого разночинца, как В. Г. Белинский. Но В. Г. Белинский был лишь многознаменательным исключением из общего правила. Его появление указывало на то, что будет после, а не на то, что было тогда. В высшей степени замечательно, что в первое время своей литературной деятельности Белинский сам весьма недоверчиво относился к разночинцам. Вот как он отзывается о них в своей знаменитой статье: „Литературные мечтания“:

„Это сословие наиболее обмануло надежды Петра Великого: грамоте оно всегда училось за железные гроши, свою русскую смышленность и сметливость обратило на предосудительное ремесло — толковать указы; выучившись кланяться и подходить к ручке дам, не разучилось своими благородными руками исполнять неблагородные экзекуции“ [1]).

Такое предубеждение против разночинцев вызвано было их предшествовавшей чиновничьей ролью в истории развития русской „гражданственности“. Оно рассеялось только в 60-х годах, когда передовые представители этого общественного слоя явились во главе освободительного движения. Но и тогда оно

---

[1]) Соч., т. I, изд. Павленкова. Спб., 1896 г., стр. 23.

рассеялось не сразу, а потому редакция „Колокола“, даже обращаясь к разночинцам, видела в них прежде всего молодых дворян, окончательно разорвавших со своим „благородным“ сословием.

Огарев отводит разночинцам „роль умственной, следственно, движущей силы в государстве“ [1]). Это, как видите, та же самая роль, которая прежде отводилась им и Герценом „молодому дворянству“. Стало быть, и по их тогдашнему мнению, учащаяся молодежь по прежнему должна была играть значительную роль. Больше того. Прежде, когда Герцен верил в правительство, он видел в молодых и образованных идеологах лучших исполнителей начинаемых сверху реформ. Редакция „Колокола“ прямо говорила это, в лице Огарева. Теперь, когда вера в правительство исчезла, Герцен и Огарев ждали почина именно от образованных идеологов. Таким образом, учащаяся молодежь приобрела в их глазах еще большее значение. Не удивительно, что по поводу студенческих „беспорядков“ Герцен написал в № 110 „Колокола“ статью: „Исполин просыпается!“ Понятно и то, что студентам, исключенным из высших учебных заведений за „беспорядки“, он советует итти в народ.

„В народ! В народ!—вот ваше место, изгнанники науки, покажите... что из вас выйдут не подьячие, а воины народа русского“.

Вместе с этим „Колокол“ (в № 105) советует заводить тайные типографии. Одним словом, в „Колоколе“ того времени мы встречаем почти все те практические указания, которые давала учащейся молодежи народническая (революционная) печать 70-х годов.

В марте 1863 г., сообщив о возникновении в России общества „Земля и Воля“, редакция „Колокола“ прибавляет:

„Земля и Воля! родные слова для нас, с ними выступили и мы некогда, в зимнюю николаевскую ночь, и ими огласили зорю настоящего дня. Земля и Воля было в основе каждой статьи нашей; Земля и Воля на нашем заграничном знамени и в каждом листе, вышедшем из лондонского станка“.

Редакция „Колокола“ имела полное право написать это. Девиз „Земля и Воля“, в самом деле, лежал в основе каждой статьи ее. И потому, что он лежал в основе каждой статьи ее, Герцен и Огарев должны быть признаны родоначальниками русского народничества. С другой стороны, по этой же причине они непременно должны были разойтись с теми либеральными элементами русского общества, которые первоначально рукоплескали „Полярной Звезде“ и „Колоколу“. Я уже сказал, что, вопреки мнению И. С. Тургенева, Герцен был таким же народником, как и Огарев. В настоящее время нужно иметь до крайности поверхностный взгляд на Герцена, чтобы писать, например, такие строки: „Получившее в „Колоколе“, наконец, перевес руководящее значение Огарева (прокламации которого в духе общинного социализма, конечно, до народа не доходили) отдаляло от „Колокола“ часть его сторонников“ [2]). Сторонников отдаляло то весьма простое и едва ли не общеизвестное теперь обстоятельство, что они, эти сторонники, добивались только уничтожения крепостного права да некоторых „административных“ и „религиозных“ реформ (вспомните письмо Кавелина); между тем, как Герцен в самом освобождении крестьян видел лишь первый шаг на пути к социализму.

Говорят также, будто перемене „Колокола“ много содействовал М. А. Бакунин, появившийся в Лондоне в начале 1862 г. Но уже в 1861 г. в статьях „Колокола“ все чаще и чаще слышатся резкие народнические ноты. Правда, Герцен рассказывает, что, приехав в Лондон, Бакунин принялся не-

---

[1]) „Колокол“, № 190.
[2]) Ч. Ветринский. „Герцен“. Спб., 1908 г., стр. 363.

медленно „революционировать „Колокол“ [1]). Но чего хотел он от этого издания?

„Мало было пропаганды; надобно было неминуемо приложение, надобно было устроить центры, комитеты; мало было близких и дальних людей, надобны были „посвященные и полупосвященные братья“, организация в крае,—славянская организация, польская организация. Б. находил нас умеренными, не умеющими пользоваться тогдашним положением, недостаточно любящими решительные средства“ [2]).

Из этого показания Герцена явствует прежде всего, что разногласия между Бакуниным и редакцией „Колокола“ имели, как сказали бы мы теперь, тактический, а не принципиальный характер. Из него видно также, что Бакунин одинаково нападал на обоих редакторов „Колокола“. Вполне возможно, что Огарев делал Бакунину больше уступок на практике, нежели Герцен. Его уступки могли видоизменить кое-что и в поведении Герцена. Я вполне готов согласиться, что не следовало усупать Бакунину. Но каковы бы ни были ошибки, вызванные неуместною уступчивостью, они ограничивались практической областью и не могли иметь никакого влияния на теоретические взгляды Герцена. Известно, что с 15 июня 1862 г. при „Колоколе“ стал выходить листок „Общее Вече“, предназначенный для раскольников. Некоторые видят в этой „затее“ одно из проявлений вредного влияния Бакунина на редакцию „Колокола“. Г. Ветринский говорит:

„В этом была не только ошибочная мысль, будто старообрядчество может явиться само по себе революционною силою, но было ложно и положение, занятое редакцией. Умалчивая о своих в действительности безрелигиозных верованиях, редакция, как раньше Энгельсон в „Видениях Кондратия“, становилась на точку зрения людей, верующих в священное писание и в предание, и в них искала опоры своим убеждением—политическим и социальным“ [3]).

Оно, конечно, так: заговорив языком верующих людей, неверующая редакция поставила себя в ложное положение. Справедливо и то, что старообрядчество не могло явиться революционной силой. Но, ведь, энгельсоновы „Видение св. Кондратия“ появились в то время, когда только-что начиналась издательская деятельность Герцена и когда не было в Лондоне ни Бакунина ни даже Огарева. Значит, ошибка издания этих „Видений“ должна быть отнесена на счет самого Герцена. И эта ошибка очень просто об'ясняется, вопервых, тем, что ему претила роль цензора, а, во вторых,—и это, может быть, важнее,—отсутствием у него убеждения в способности народа понять серьезную политическую речь. Заканчивая восьмую главу, я просил читателя запомнить слова, стоящие в дневнике Герцена под 24 марта 1844 года: „Доселе с народом можно говорить только через священное писание“. Читатель видит теперь, что слова эти в самом деле не мешало запомнить, и что, стало быть, напрасно позабыл о них г. Ветринский.

XX.

Г. Ветринский приводит, между прочим, следующие строки из письма Герцена к Огареву от 29 апреля 1863 г.:

„Мы представляем, и в этом я глубоко убежден, деятельный фермент русского движения, и во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движе-

---

[1]) Курсив его.
[2]) Сборник посмертных статей, стр. 200.
[3]) Ч. Ветринский. „Герцен“, стр. 364.

ние одинаково. Веря в нашу силу, я не верю, что можно произвести роды в шесть месяцев беременности. А мне кажется, что Россия — в этом шестом месяце. Я увлекаюсь скорее тебя и скорее трезвею. Дай мне не готовую силу, а дай ощупать живой зародыш. Конечно, живой зародыш носится в общем состоянии, носится в гении народа, в направлении литературы, в реформах и проч. Но где он до такой степени сложился и обособился, как... ты находишь в „Земле и Воле“? Я того не вижу... Не думал ли ты о том, что после всего, что было с Крымской войны, в самом деле России нужнее всего опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная проповедь? Ты на нее способен. Проповедь может сделать агитацию, но не есть агитация. Вот почему я возражал иногда на твои агитационные статьи“ [1]).

Г. Ветринский не замечает, что эти строки опровергают его взгляд. В них нет ни слова о принципиальных разногласиях между Герценом и Огаревым. Герцен признает, что ему приходилось иногда возражать против статей Огарева. Но от него же мы узнаем, что предмет спора сводился к вопросу: что нужнее в данное время—пропаганда или агитация? О том, каково могло бы быть содержание пропаганды, речи не было по той простой причине, что здесь, в области общих социально-политических воззрений, не существовало никаких разногласий между Герценом и Огаревым. А пропаганды этих общих социально-политических воззрений, т. е., главным образом, того взгляда, что освобождение крестьян с землею должно явиться первым звеном в цепи социалистических мер, необходимых для правильного развития России, — было совершенно достаточно для отпугивания либеральных поклонников Герцена.

„Во всех внутренних вопросах нами сообщаемое движение одинаково“,— говорит Герцен. Уже эти слова ясно показывают, что принципиальных разногласий между ним и Огаревым не было. Но, если два человека хотят сообщить данному предмету „одинаковое движение“, то отсюда еще не следует, что они совершенно согласны между собою по вопросу о том, какова будет с к о р о с т ь движения, сообщаемого ими. Тут между ними вполне возможно разногласие, причиняемое тем, что обыкновенно называется темпераментом. Один больше другого склонен к увлечению; один верит безраздельно, между тем, как вера другого ослабляется подчас сомнением. Все это бывает сплошь да рядом, и все это мы видим в интересующем нас случае. Герцен говорил: Россия находится в шестом месяце беременности; Огареву же временами казалось, что беременность близится к своему естественному концу, и что скоро начнутся роды. В своем „Ответе на ответ Великоруссу“ он даже предсказывает, когда произойдет народный взрыв: по его мнению, „вероятность падает на шестой год“ [2]). Можно с полной уверенностью утверждать, что Герцену подобная „вероятность“ никогда не представлялась сколько-нибудь значительной. Однако, и здесь не надо ничего преувеличивать. При всей своей склонности к увлечениям Огарев никогда не доходил до проповеди „вспышкопускательства“, которое впоследствии, как известно, легло в основу тактики Бакунина и к которому он всегда был сильно расположен. Для характеристики тактических взглядов Огарева я сошлюсь на его статью: „Грехи и безумия“ в № 17 „Общего Веча“ (от 1 июня 1863 г.).

„Мы не хотим беспорядочного взрыва и не нужно пролитой крови,— говорит он там:—мы хотим, чтобы народ собирался, собирался и собрался бы в крепкий и разумный строй, и чтоб его восстание сплошным строем имело

---

[1]) Ч. Ветринский. „Герцен“, стр. 362—363.

[2]) После освобождения крестьян. Цитируемая статья Огарева появилась в № 108 „Колокола“, от 1-го ноября 1861 г.

целью созвать земский собор для укрепления за народом земли, для учреждения в России народного выборного суда и управления, для обнародования свободы веры и упрочения общественного порядка, уважающего совесть и волю человеческую".

При наличности таких оговорок Герцену нетрудно было столковаться с Огаревым, несмотря на разногласие между ними насчет „месяца беременности".

Гораздо важнее другая сторона дела, совершенно упущенная из виду г. Ветринским.

Герцен и Огарев увлекались некогда философией Гегеля, и каждый из них был много обязан ей в развитии своего миросозерцания. Но едва ли я ошибусь, сказав, что Герцен с большим успехом, нежели Огарев, прошел через школу великого немецкого идеалиста. Правда, он тоже усвоил в ней далеко не все то, что усвоили такие люди, как Фейербах, Маркс или Энгельс. Он недостаточно оценил диалектическую сторону гегелевой философии [1]. Но по всему видно, что он обратил на нее гораздо большее внимание, нежели Огарев. Это сказалось и на его отношении к тогдашнему социализму. Чтобы твердо поверить в будущее торжество социализма, ему недостаточно было убеждения в том, что социализм представляет собою прекрасный идеал хороших людей. Ему надо было выяснить себе тот ход общественного развития, который привел к возникновению этого прекрасного идеала и который ручался бы за его осуществление. Эта его теоретическая потребность не вполне сознавалась им самим [2]. Однако, ее наличность оставила свой глубокий след на всех его рассуждениях о социализме вообще и в частности о шансах социализма на Западе Европы. Если он еще до февральской революции толковал с Бакуниным о вероятной смерти западного „старика", то его скептицизм вызван был в этом случае, между прочим, тем, что западно-европейский социалистический идеал представлялся ему лишь привлекательной теорией, не имевшей серьезной опоры в логике общественной жизни [3]. И, если он, с другой стороны, стал смотреть на Россию как на страну, призванную к осуществлению западно-европейского социалистического идеала, то это произошло по той причине, что русская община показалась ему способной сыграть историческую роль об'ективной основы социализма, отсутствовавшей, по его мнению, на Западе.

Но само собою разумеется, что русская община могла сыграть эту роль ооновы,—или, как выражался Герцен, „зародыша",—социализма только при известных социально-политических условиях, нужных для ее дальнейшего развития (как его понимал наш автор). Отсутствие таких условий грозило „зародышу" смертью. Герцен чувствовал это, и вот почему он с особенной энергией отстаивал идею освобождения крестьян с землею. Но, когда крестьянская реформа получила такое направление, которое „Колокол" назвал уродливым, тогда нельзя было не видеть, что условия дальнейшего развития зародыша становились весьма неблагоприятными. А этим создавался совершенно достаточный логический повод для возникновения вопроса о том, суждено ли вообще выжить „зародышу". Всем известно, что вопросом этим много занималась русская литература со времени появления в ней марксизма. Но есть основание думать, что тот же самый вопрос возникал и у Герцена.

---

[1] Ему принадлежит характеристика философии Гегеля, как „алгебры революции". Это прекрасная характеристика. Но он же считал Прудона прекрасным диалектиком. Это показывает, что ему не ясна была глубочайшая сущность диалектического метода Гегеля.

[2] Если бы он вполне сознавал ее, то он поставил бы перед собою ту же теоретическую задачу, которую разрешил впоследствии Маркс.

[3] Подробнее об этом см. в моей статье: „Герцен-эмигрант".

Осенью 1863 г. наш автор говорил в „Письме из Неаполя“: „Глядя на то, как здесь при отсутствии сильной буржуазии столичная чернь остается лаццаронами, поневоле приходит в голову, что народ, по тяжелому закону selection [1]), только и поднимается через буржуазию к более развитой жизни“.

Та же самая мысль пришла в голову Белинскому еще в начале 1848 г. Но, глубоко презирая западное „мещанство“, Герцен не мог решить его в таком же отрадном смысле, в каком решил его Белинский. К выводу о том, что современным цивилизованным народам необходимо пройти через буржуазию, его приводят следующие пессимистические руссуждения:

„Может, буржуазия вообще — предел исторического развития, к ней возвращается забежавшее, к ней поднимается отставшее, в ней народы успокаиваются от метанья во все стороны, от национального роста, от героических подвигов и юношеских идеалов, в ее уютных антресолях людям привольно жить“.

Тут буржуазная фаза развития изображается не как переход к новой высшей фазе (в этом смысле понимал ее Белинский), а как остановка движения, как предел, дальше которого цивилизованному человечеству не суждено итти.

Не удивительно, что Герцену нелегко было поверить в существование такого предела. Но он не напрасно учился логике у Гегеля: он понимал, что логика общественной жизни не справляется с тем, что приятно и что не приятно идеологам. „Мало ли у нас таких скорбей,—говорит он,—разве алхимики не скорбели о прозе технологии, и мало ли по каким идеалам мы тоскуем“ [2]).

Это соображение почти буквально повторяет собою ту мысль, которая легла в основу книги: „С того берега“. Вся эта книга есть не более, как длинный ряд ярких и прочувствованных доказательств того положения, что иное дело наша тоска по идеалу, а иное дело об‘ективная необходимость его осуществления.

XXI.

Заметьте, что теоретические положения, с которыми оперирует здесь Герцен, имеют общий характер. Речь идет не о какой нибудь отдельной стране и даже не о какой-нибудь отдельной части света. Нет, вид неаполитанских лаццарони „поневоле“ заставляет Герцена предположить, что есть „тяжелый закон“ подбора (selection), в силу которого народы „только через буржуазию“ могут подняться на более высокую ступень развития. Ни о каких исключениях из этого печального общего правила у него при формулировке закона не упоминается.

Но, если это так, если такой общий закон в самом деле существует, то ему, очевидно, должна будет подчиниться и Россия. А в таком случае теряет всякий смысл сделанное Герценом не столь утешительное для него противопоставление России Западу. У нашего автора не хватает силы принять этот вывод. Он отклоняет его с помощью краткой, но весьма знаменательной оговорки. Он дает своему закону новую формулировку, признавая вероятным, что все реки истории теряются в болотах мещанства. Но тут он неожиданно прибавляет: по крайней мере, западные. Оговорка эта не имеет никакого основания в предыдущих его рассуждениях. Больше того: она противоречит им. Но

---

1) Подбора.

2) „С континента“. Письмо из Неаполя. „Колокол“, № 173.

ею спасается от разрушения не раз высказанная Герценом в других местах надежда на то, что Россия никогда не будет мещанской, и потому она кажется ему убедительной.

Вместе с указанной надеждой эта небольшая оговорка спасала также и всю программу „Колокола". Не будь ее, Герцену надо было бы выработать совершенно другую программу или окончательно стать пессимистом. Но уже то обстоятельство, что он избегал пессимизма лишь с помощью подобных оговорок, дает повод думать, что его взгляд на Россию как на счастливое исключение из общего исторического правила не всегда был свободен от известной примеси скептицизма. Огарев был счастливее в этом отношени: он вряд ли сомневался. Номер „Колокола", непосредственно предшествовавший тому, в котором Герцен напечатал свое письмо из Неаполя, содержит характерное стихотворение Огарева: „Сим победиши!" В нем выражается непоколебимая вера его автора в счастливое будущее русского социализма.

И верю, верю я в исход
И в наше светлое спасенье,
В землевладеющий народ
И в молодое поколенье.
И верю я—невдалеке
Грядет, грядет иная доля
И крепко держится в руке
Одна хоругвь—Земля и Воля! [1]).

Если бы историческое значение писателей определялось силою их веры в те или другие идеи, то надо было бы сказать, что Огарев больше, нежели Герцен, имеет право называться родоначальником русского народничества. Но народничество имеет свою теорию, и для выработки этой теории Герцен сделал гораздо больше, чем Огарев.

Повторяю, Огарев занимался преимущественно частными вопросами. Но зато, работая над такими вопросами, он нередко удивительным образом предвосхищал те решения, к которым приходили народники 70-х годов. Вот один из многих ярких примеров. Мысль о необходимости пропаганды среди раскольников, — осуществленная Огаревым с помощью „Общего Веча", — сделалась общепризнанной лет 15 спустя у русских революционеров. Огарев, доказывающий необходимость отмены поземельной собственности с помощью ссылок на пророка Даниила [2]), предвосхищает появление Александра Михайлова и других народников, пытавшихся внушить свои взгляды раскольникам Спасова или Федосеева согласия посредством ссылок на „старые книги" [3]).

Кто не знает, что между Герценом и молодыми революционерами, уезжавшими в 60-х годах за границу, происходило много неприятных столкновений? Главный упрек их против его сводился к его *отсталости*. До какой степени он был неоснователен, явствует из того простого соображения, что молодежь, восстававшая против Герцена, нередко жила его же идеями и—за-

---

[1]) „Колокол" от 1-го ноября 1863 г.

[2]) См. „Письмо к верующим всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви" в № „Общего Веча" от 15 июня 1862 г.

[3]) В своих „Частных письмах об общих вопросах" Огарев, развивая ту мысль, что средневековый Запад чужд был „понятия народного владения вещью", говорит, что только в Италии городское население доходило кое-где до „понятия народной воли" („Колокол", № 216, второе письмо). Это выражение заставляет вспомнить о знаменитой впоследствии партии—„Народной Воле". Я очень хорошо знаю, что партия эта приняла свое название вовсе не под влиянием статей Огарева. Но интересно, что она обозначила теми же самыми словами, что и Огарев, политическое понятие демократии. Партия „Народной Воли" была, как знает читатель, видоизменением русского народничества.

мечательная вещь!—усваивала их все больше и больше, по мере того, как расширялось движение, совершавшееся под знаменем „русского социализма“.

По части тактики существовали действительные разногласия, но и они сводились, главным образом, к определению „месяца беременности“. Хотя Герцен сознательно предпочитал мирный ход развития революционному, но и он не стал бы возражать против деятельности акушеров, если бы в самом деле наступало время родов.

Не нравилось молодым революционерам и то, что Герцен очень не одобрял тактики покушений, террора, как стали говорить впоследствии. Но это частность, на которой нет надобности останавливаться. Уместнее будет заметить, что, восставая против Герцена, революционная молодежь только усилила ошибку, закравшуюся в его собственную философию русской истории.

По этой философии, наше развитие в направлении к социализму будет результатом взаимодействия двух „зародышей“: крестьянской общины и кружков образованной (дворянской, позже—разночинской) молодежи. При этом кружкам образованной молодежи всецело отводилась деятельная роль. Они должны были вывести другой „зародыш“ из его дремоты и сообщить ему тот толчек, с которого началось бы его дальнейшее развитие. Но, раз было признано, что от кружков образованной молодежи зависит выведение другого „зародыша“ (общины) на путь исторического развития, то вполне естественно казалось признать, что от них же зависит и сообщение ходу этого развития большей или меньшей скорости. Герцен говорил: „Существование общины ручается за осуществимость у нас социалистического идеала. Поэтому—в народ для социалистической пропаганды“. А ссорившаяся с ним и величавшая его отсталым революционная молодежь говорила: „Тяжелое положение крестьянина-общинника вызывает в нем недовольство, которое ручается за скорую осуществимость наших революционных стремлений. Поэтому—в народ для революционной агитации“. Молодежь ошибалась, так как недовольство крестьянина общинника своим тяжелым положением еще не делало из него революционера. Но, ведь, не прав был и Герцен, так как на самом деле наша община вовсе не была зародышем социализма. В логическом отношении ошибка молодежи была совершенно подобна той, которую сделал Герцен, вырабатывая свою философию русской истории. Она являлась ее дополнением и, можно сказать, вызывалась ею.

Я сказал, что идеи Герцена все более и более укреплялись в русской революционной среде по мере того, как расширялось и упрочивалось движение, происходившее под знаменем „русского социализма“. Эпохой расцвета этого социализма были именно 70-е годы. В эпоху же издания „Колокола“ влияние Герцена и Огарева на революционную молодежь ослаблялось влиянием на нее Чернышевского. Мы уже знаем, что издатели названной газеты смотрели на этого последнего как на западника, социализм которого имел в виду исключительно города. Шумный успех пропаганды Чернышевского не мог не вызывать в них некоторых опасений. Вот как выражаются они Огаревым:

„Я боюсь встретить в наших социалистах выставление вперед исключительно городского образованного пролетариата и приведение его в центр всех социальных стремлений, в особого рода сословие, при чем можно только достигнуть до ассоциации, не имеющей вещественной опоры, и до невозможной борьбы со всеми направлениями других, сильно поставленных городских сословий. И это в то время, когда на Руси существует историческое основание сельского строя, стоящего на общественном владении почвы,—строя, к

которому должен примыкать образованный городской пролетариат, образованное меньшинство!“ [1]).

Заметьте, что Огарев здесь говорит исключительно о „городском образованном пролетариате“. Так называлась тогда (и еще долго после) интеллигенция. Огарев совершенно прав, утверждая, что „образованное меньшинство“ должно выйти из узких пределов своих кружков и слиться с народом. Но для него народ, это—исключительно крестьянство. Ему даже в голову не приходит, что „образованное меньшинство“ могло и должно было встретиться в городах с промышленным пролетариатом. Для промышленного пролетариата просто-напросто нет места в его рассуждениях. Народники 70-х годов уже не могли забывать, что в городах существуют рабочие в собственном смысле этого слова. Но для них городские рабочие были не более как крестьянами, испорченными „трактирной цивилизацией“. Тут они опять ошибались в ту самую сторону, в какую ошибались издатели „Колокола“.

Однако, пора кончать. После всего сказанного читатель, я надеюсь, не отвергнет следующих выводов:

1) Своим сочувствием народному горю Герцен был обязан влиянию на него многострадальной крепостной „передней“.

2) Герцену хотелось, чтобы освобождение крестьян явилось первым шагом на пути социалистического развития России.

3) Определяя желательный путь этого развития, он выступил родоначальником народничества.

4) Этого было совершенно достаточно для того, чтобы ему постепенно перестали сочувствовать те либеральные элементы русского общества, которые сначала горячо приветствовали появление „Полярной Звезды“ и „Колокола“.

5) Между Герценом и Огаревым отнюдь не было существенных разногласий во взгляде на крестьянскую реформу и на русский социализм.

6) Разошедшаяся с Герценом революционная молодежь в значительной степени и очень долго жила его идеями и тем больше подчинялась их влиянию, чем гуще окрашивалось в народнический цвет ее движение.

7) В своих тактических суждениях, приводивших ее к разрыву с Герценом, революционная молодежь делала логическую ошибку, совершенно подобную той, благодаря которой у него составился взгляд на Россию как на страну, могущую прийти к осуществлению социалистического идеала самобытным путем, не похожим на путь западно-европейского общественного развития.

---

[1]) 3-е „Письмо об общих вопросах“. „Колокол“, № 220.

Н. Г. Чернышевский [1]).

I.

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 июня 1828 г. в Саратове, где отец его был священником; учился он сначала в тамошней семинарии, куда поступил, благодаря хорошей домашней подготовке, прямо в класс риторики в сентябре 1844 г. Уже в бытность свою в семинарии он обнаружил блестящие способности, так что начальство начало смотреть на него, как на будущую славу духовенства. Но уже в конце декабря 1845 г. он подал прошение об увольнении его из семинарии, а в августе следующего года был зачислен в студенты петербургского университета. По окончании университетского курса в 1850 г. он вернулся в Саратов, где получил место старшего учителя в гимназии. В Саратове он познакомился с дочерью местного врача, Ольгой Сократовной Васильевой и женился на ней 29-го апреля 1853 г. Вскоре после женитьбы ему пришлось опять переехать в Петербург. Там он сначала продолжал свою преподавательскую деятельность во втором кадетском корпусе, а после всецело перешел к литературному труду. Писал он сперва (в 1853 г.) в „Отечественных Записках", потом (с 1854 г.) также в „Современнике". В 1855 г. он стал писать исключительно для этого последнего журнала. Мы знаем только два отступления от этого общего правила: в 1858 г. появилась в „Атенее" (кн. 3) его статья „Русский человек на rendez-vous", и в том же году он в течение некоторого времени редактировал „Военный Сборник". В первый год своего пребывания в Петербурге он, как видно, много работал также над своей магистерской диссертацией „Эстетические отношения искусства к действительности". Рассмотрение этой диссертации затянулось, однако, до 1855 г. и, насколько нам известно, кончилось неблагоприятно для молодого ученого. Направление его мыслей не понравилось властям, и он не получил звание магистра. Но это же направление сблизило его с редакцией „Современника", предоставившей ему широкую свободу действий, так что вскоре журнал этот перешел в полное его распоряжение. Всем известно, какое огромное значение приобрел вскоре „Современник", благодаря Чернышевскому и привлеченному им Добролюбову. Именно это значение и оказалось роковым для нашего автора. Его стали считать опасным „коноводом" революционеров, и от него решили избавиться во что бы то ни стало. Арестованный 7-го июля 1862 г., он был посажен в Петропавловскую крепость и приговорен к ссылке на 14 лет в каторжные работы. Император Александр II сократил срок каторжных работ наполовину. Дело Чернышевского очень подробно изложено г. М. Лемке в мартовской, апрельской и майской книжках журнала „Былое" за 1906 год [1]).

---

[1]) Эта статья составлена на основании время нашего исследования „Н. Г. Чернышевский". Г. П.

[2]) Перепечатано в его книге „Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского" (Спб. 1907).

К этой, во всех отношениях добросовестной, работе г. М. Лемке и мы отсылаем читателя.

В конце 1864 года наш знаменитый писатель уже прибыл в Кадаю, в Забайкальи, куда разрешено было приехать для трехдневного свидания с ним его супруге с малолетним сыном Михаилом. Через три года его перевели на Александровский завод Нерчинского округа, а по окончании срока каторги он был поселен в Вилюйске. В Россию ему позволили вернуться лишь в 1883 г., назначив местом его пребывания Астрахань. В июне 1889 г. он получил разрешение поселиться в родном Саратове, где и скончался в ночь с 16 на 17 октября того же года. Между многочисленными венками, возложенными на его могилу, особенно выделялись, говорят, два соединенных вместе венка от русских и польских студентов варшавских университета и ветеринарного института.

Привычка к труду не оставила нашего автора ни в крепости, ни в Сибири. В крепости им написан, между прочим, знаменитый роман „Что делать?“ Из того, что он написал в Сибири, уцелело не все; но то, что уцелело, составляет большой том в 757 страниц [1]).

Этот том наполнен преимущественно беллетристикой; там есть даже стихи, например, „Гимн деве неба“, появившийся первоначально в „Русской Мысли“ (1885 г., № 7). Чтобы не возвращаться к этим произведениям Чернышевского, скажем о них сейчас же вот что. Сам он в одном из своих писем к А. Н. Пыпину говорит о себе, на основании этих сочинений, что беллетристический талант у него „положительно есть. Вероятно, сильный“. Выражаясь так, он, разумеется, подшучивал над собой, по своему обычаю. Но несомненно и то, что он не стал бы тратить свое время на беллетристику, если бы не думал, что у него в самом деле есть некоторое художественное дарование. В другом месте он говорит, что он издавна готовился быть беллетристом. Это тоже было бы невозможно без некоторой уверенности в своем таланте. Однако надо признать, что, за исключением романа „Пролог“, чрезвычайно интересного уже по одному тому, что он является чем-то вроде личных воспоминаний автора, облеченных в беллетристическую форму, сибирская беллетристика Чернышевского вышла очень неудачной. Она представляет теперь интерес лишь потому, что все таки прибавляет новую черту к нашему представлению о духовной физиономии нашего автора.

Совсем не таково значение написанного в крепости романа „Что делать?“ Он имел огромный успех и такое же огромное влияние на „молодое поколение“ того времени. Художественными достоинствами он тоже не блещет, хотя и не правы критики, совершенно отрицающие в нем такие достоинства: в нем много юмора и наблюдательности; характер Марьи Алексеевны Розальской, матери героини романа Веры Павловны, очерчен довольно удачно. Но главным его достоинством надо, без сомнения, признать пламенный и совершенно неподдельный энтузиазм, захватывающий читателя и заставляющий его с неослабным вниманием следить за судьбою главных действующих лиц. Чтобы правильно судить об этом, во всяком случае замечательном, литературном произведении, надо сравнивать его, разумеется, не с художественными произведениями Тургенева, Достоевского или Толстого, а, например, с философскими романами Вольтера. При таком сравнении вопрос об его достоинствах представится в совершенно другом свете.

По возвращении из Сибири Чернышевский взялся за обработку материалов для биографии Добролюбова и перевел одиннадцать томов „Всеобщей исто-

[1]) См. изданное его сыном Михаилом Николаевичем полное собрание его сочинений, т. X, ч. 1-я.

рии“ Вебера, сделав к некоторым из них интересные и довольно об‘емистые приложения. Нам не раз придется цитировать их ниже, при изучении его исторических взглядов.

Наконец, к тому же периоду относятся две или, если угодно, три его статьи философского характера: первая была напечатана в „Русских Ведомостях“ (1885 г., №№ 63 и 64) и называется: „Характер человеческого знания“; вторая появилась в сентябрьской книжке „Русской Мысли“ за 1888 г. и озаглавлена: „Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь (Предисловие к некоторым трактатам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)“. Она подписана: Старый трансформист. Третьей статьей того же рода можно назвать предисловие к предполагавшемуся, но несостоявшемуся, по цензурным условиям, третьему изданию его „Эстетических отношений искусства к действительности“. Предисловие это, написанное в 1888 г., оставалось ненапечатанным вплоть до недавнего выхода полного собрания его сочинений.

Теоретическое достоинство этих произведений неодинаково. В предисловии и в статье о характере человеческого знания яснее выступают сильные стороны философских взглядов Н. Г. Чернышевского; в статье о теории благотворности борьбы за жизнь более обнаруживаются их слабые стороны. Предисловие содержит также драгоценные свидетельства о тех влияниях, под которыми сложились эти взгляды.

Как видно из появившихся в мартовской книжке „Русской Мысли“ за нынешний год воспоминаний г. А. Токарского, наш неутомимый автор был полон литературных планов не далее, как в 1889 году, т. е. когда смерть уже приближалась к его порогу. Он мечтал об издании энциклопедического словаря; собирался писать для детей книги по политической экономии и по истории и даже надеялся, что ему удастся создать собственный журнал. Все это показывает, как много богатейших возможностей уничтожено было преследованиями, обрушившимися на этого чрезвычайно даровитого и сильного человека.

В нашей литературе Н. Г. Чернышевский явился продолжателем дела Белинского, как оно определилось в последнюю эпоху умственной истории „неистового Виссариона“. Поэтому, чтобы притти к полной ясности на счет идей Чернышевского, необходимо внимательно сравнивать их с теми идеями, к которым пришел Белинский в последнее пятилетие своей жизни. А так как в истории умственного развития Белинского философия играла в высшей степени важную роль, то читатель не удивится, что мы начнем здесь с философии, которая к тому же всегда очень интересовала и Чернышевского.

В последнее пятилетие своей жизни Белинский все дальше и дальше уходит от идеалистической философии Гегеля, так сильно увлекавшей его когда-то. В его двух последних годичных обзорах русской литературы не трудно открыть влияние материалиста Фейербаха. Этот же переход от Гегеля к Фейербаху совершил и Чернышевский, но только в гораздо более раннюю эпоху своей жизни. В этом отношении о нем можно сказать, что он начал тем, чем Белинский закончил. Нужно только прибавить, что, раз придя к Фейербахову материализму, Чернышевский оставался верен ему до гробовой доски.

В упомянутом выше предисловии к несостоявшемуся третьему изданию своей диссертации Чернышевский следующим образом рассказывает историю

своего философского развития, говоря о себе, — страха ради цензурна, — в третьем лице.

„Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие, получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До этого времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким он являлся в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалась желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно перечитывал сочинения Фейербаха“.

Это показание Чернышевского как нельзя более важно; оно характеризует, между прочим, его отношение к Гегелю [1]). Знание этого отношения дает нам возможность сравнить характер ума Чернышевского с характером ума Белинского.

На философию Гегеля Белинский взглянул прежде всего как на теоретический критерий, с помощью которого он мог подвергнуть оценке свои практические стремления. Мы уже знаем [2]), к чему привела эта оценка. Белинский, — по собственному его выражению, употребленному им впоследствии,—не сумел развить идею отрицания. А его из ряда вон выдающаяся теоретическая требовательность делала,—по крайней мере на короткое время, пока не остыло еще первое и самое сильное впечатление от великих теоретических запросов, выдвинутых философией Гегеля,—совершенно неприемлемым для него идеал, основанный на поверхностном, отвлеченном отрицании действительности. Вследствие этого „идея отрицания“ была решительно отвергнута им, и он не менее решительно „примирился с действительностью“. Само собой понятно, что это отвержение „идеи отрицания“ и это примирение с действительностью не могли быть продолжительны. Они слишком противоречили всей нравственной природе Белинского. Вскоре он опять пришел к „отрицанию“; но необходимо помнить, что „идея отрицания“ так и не полу-

---

[1]) Эта статья была уже набрана, когда появилась статья г. Е. Ляцкого: „Н. Г. Чернышевский в университете“ (Совр. М., 1909, № 3). Г. Ляцкий вносит некоторые поправки в это показание Чернышевского о ходе своего умственного развития. Он говорит: „Имея в своем распоряжении Дневник 1848—1849 г., мы можем установить, что с Гегелем Чернышевский расстался не так скоро; некоторые томы его он дочитывал в 1849 г. Правда, Гегель не производит на него особенно сильного впечатления, но свой приговор он произносит не ранее, как сделав пометку: дочитал такой-то том. Вторая неточность касается Фейербаха: Чернышевский познакомился с ним годами двумя позже, и Фейербах, действительно, оказал решительное влияние на отношение Чернышевского к Гегелю“. Как видит читатель, эти поправки, касаясь частностей, не изменяют сущности дела.

[2]) См. нашу статью о Белинском, напечатанную в этом же издании; ср. также нашу книгу „Н. Г. Чернышевский“.

чила у него того „развития“, которое представлялось ему, и совершенно правильно, необходимым с точки зрения Гегелевой философии. Ему не удалось показать себе и другим, что его суб'ективное „отрицание действительности“ выражает собою лишь отражение в суб'екте ее собственного диалектического (т. е. об'ективного) развития. Все, на что он мог опереться в своем новом восстании против „гнусной рассэйской действительности“, сводилось к отвлеченному принципу человеческой личности. И сообразно с этим он в своем восстании апеллировал уже не к Гегелю, а к „благородному адвокату человечества“— Шиллеру. Но Шиллер очень слаб, как руководитель в деле теоретической оценки общественных отношений. Вот почему нельзя не признать, что хотя разрыв Белинского с Гегелевым „философским колпаком“ делал, при тогдашних обстоятельствах, большую честь его сердцу; но он в то же время знаменовал собою весьма значительное понижение той теоретической требовательности, о которой свидетельствовала, например, очень односторонняя и потому в общем неудачная, но все же весьма замечательная статья, посвященная Бородинской годовщине. Отрицание данной действительности во имя того или другого отвлеченного принципа остается,—как бы ни был благороден этот принцип,—отвлеченнным, т. е. поверхностным, т. е. теоретически неудовлетворительным отрицанием, как бы „гнусна“ ни была эта действительность. Такому отрицанию недостает конкретной основы, которая одна только и может быть признана удовлетворительной. Белинский, для которого продолжительное „примирение“ с нашими тогдашними общественными порядками было нравственной невозможностью, вынужден был, в конце-концов, удовлетвориться хотя бы и поверхностным их отрицанием: слишком еще не развиты были те элементы наших общественных (преимущественно производственных) отношений, на которые могло бы опереться, и действительно оперлось впоследствии, когда они развились, удовлетворяющее требованиям теории отрицание „рассейской действительности“. Но у Белинского—в его переписке, как и у Герцена в его дневнике—очень заметно мучительное сознание того, что отвлеченное отрицание не только не удовлетворительно в теории,—с этим без очень большого труда помирились бы Белинский и Герцен, как люди, более всего стремившиеся к практическому делу,—но и бессильно на практике. Казалось бы, что перед Чернышевским, который выступил как продолжатель дела Белинского, должна была с первых же шагов его литературной деятельности встать такая дилемма: или сделать то, чего не мог сделать Белинский, т. е. развить „идею отрицания“ сообразно требованиям теории, или же окончательно убедиться в практическом бессилии отвлеченного отрицания. Вышло не так.

Хотя в первое время по окончании Чернышевским университетского курса наша действительность стала, пожалуй, еще более мрачной, чем была она в тридцатых и сороковых годах, но он, как мы покажем это ниже, довольно спокойно ждал окончания реакционной непогоды, уверенный в том, что рано или поздно перед ним откроется желанная арена общественной деятельности. Эта его уверенность имела под собой лишь ряд весьма отвлеченных соображений. Но факт тот, что она была налицо, и что Чернышевского уже не терзало сознание слабости отвлеченного идеала. В этом отношении его дневник не заключает в себе ничего подобного тем стонам, которые слышатся, можно сказать, на каждой странице дневника Герцена и в каждом письме Белинского. При внимательном чтении дневника Чернышевского легко убедиться в том, что будущему продолжателю дела Белинского совсем не бросалась в глаза ни теоретическая неосновательность, ни практическая слабость отвлеченного отри-

цания, унаследованного им от того же Белинского, равно как и от других людей сороковых годов. Это происходило отчасти потому, что как ни велики были дарования Чернышевского, но по глубине теоретических запросов он все-таки уступал гениальному Белинскому. А кроме того, тут сказалось, вероятно, и различие исторического момента. Глубокая ночь реакции, ознаменовавшей собою последние годы царствования императора Николая I, все-таки позволяла, должно быть, чувствовать инстинктом практического деятеля, если не различать умом теоретика, признаки, показывавшие неизбежность более или менее скорого рассвета. Вот эти-то несомненные для практического инстинкта, хотя и неуловимые для теоретического ума, признаки и позволили нашему автору избежать столкновения с вышеуказанной дилеммой. Гегель, вызвавший в душе Белинского столько поистине трагических сомнений, первоначально явился в глазах Чернышевского мыслителем, философия которого не только не подрывала веры в отвлеченный идеал, но значительно укрепляла ее. Это произошло потому, что русские изложения системы Гегеля, с которыми Чернышевский познакомился сначала, были, во-первых, „неполны", а во-вторых, сделаны были, как это мы узнаем от него самого, „в духе левой стороны гегелевской школы". Известно, что эта сторона как в России, так и в Германии сильно грешила—вплоть до появления Маркса—отвлеченностью своих общественных теорий. Но замечательно, что когда Чернышевский познакомился с Гегелем в подлиннике, то немецкий идеалист не очень понравился ему и даже показался более похожим на схоластиков, нежели на того мыслителя, каким он являлся в изображении своих левых учеников. Отсюда видно, что величайшее достоинство Гегелевой философии,—ее диалектический метод, требовавший анализа явлений в том процессе их развития, который обусловливается присутствием в них противоречивых элементов,—отсюда видно, говорим мы, что эта сторона философии Гегеля не произвела на нашего автора никакого или почти никакого впечатления. Говорим: „почти", потому что Чернышевский не совсем пренебрегал диалектикой Гегеля. В своих „Очерках гоголевского периода русской литературы" он отзывается о ней с похвалой; но она и там изображается им в одностороннем виде. На этом полезно остановиться.

II.

Вот что читаем мы в названных „Очерках" о диалектическом методе.

„Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом, мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом вместо прежних односторонних понятий о предмете мало-по-малу являлось полное всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Об'яснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом, добросовестное, неутомимое искание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени,—и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая

обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: „отвлеченной истины нет; истина всегда конкретна“, т. е. определительно суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит“.

Эту характеристику диалектического метода Чернышевский поясняет примерами.

„Благо или зло дождь? Это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: после того, как посев хлеба окончен, в продолжение шести часов шел сильный дождь,—полезен ли был он для хлеба? Только тут ответ ясен и имеет смысл: этот дождь был очень полезен“.

Другой пример. „Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом; надо знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места... Для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 г. была спасительна для русского народа; марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества“.

Все это очень умно и очень важно, как материал для изучения взглядов самого выдающегося из наших „просветителей“. Потому-то мы и не побоялись сделать эти длинные выписки. Но читатель, знакомый с философией Гегеля, уже и сам заметил, разумеется, что в приведенной нами длинной выписке диалектический метод великого немецкого идеалиста представляется не вполне точно. По словам Чернышевского, Гегель считал об‘яснение действительности важнейшею обязанностью философского мышления. И это, конечно, так. Но это не все. Главный вопрос состоит здесь в том, каким путем должен итти мыслитель к об‘яснению действительности. По Чернышевскому, путь этот состоял во всестороннем исследовании предмета: истина должна была явиться мыслителю не иначе, как следствие борьбы всевозможных мнений. Но тут-то и находится слабая сторона изложения Чернышевского. Для Гегеля дело было не во мнениях мыслителей, изучающих данное явление, а в об‘ективном ходе развития этого явления, обусловливаемом борьбой заключающихся в нем противоположных элементов. И точно так же дело не в том, чтобы открыть в предмете другие качества и силы, помимо тех, которые открываются при первом взгляде на него, а в том, что и качества предмета, и силы, ему свойственные, изменяются внутренней логикой его собственного развития. Только тот, кто понял это, способен в самом деле отказываться от суб‘ективных пристрастий и суждений о предмете. В противном случае этим пристрастиям всегда будет принадлежать последнее слово. Возьмем пример. Иное дело убедиться в том, что система наемного труда противоречит интересам огромного большинства членов капиталистического общества, а иное дело обнаружить те свойственные этому обществу экономические элементы, которые в своем дальнейшем развитии должны привести к устранению названной системы. Человек, обнаруживший такие элементы, нашел бы для своей борьбы с этой системой незыблемую об‘ективную опору, между тем как человек, таких элементов не видящий, мог бы опираться в этой борьбе лишь на отвлеченные соображения о том, что люди когда-нибудь должны будут познать, наконец, истину. Это огромная разница. Социализм перестал быть уто-

пическим только тогда, когда он сумел перейти от абстрактных соображений к анализу об'ективного хода развития капитализма. Поэтому можно сказать, что диалектический метод Гегеля подготовлял целый переворот в социализме. Но Чернышевский не обратил надлежащего внимания на эту сторону предмета, и потому его понимание диалектики осталось односторонним. Как мы сейчас увидим, это наложило свою печать на весь его образ мыслей.

Чернышевский был прав, утверждая, вопреки разнородным и разноцветным хулителям Гегеля, что этот последний завещал своим ученикам большое внимание к действительности. Но истолковывал он этот завет скорее в духе Фейербаха и последних годовых литературных обзоров Белинского, нежели в духе самого Гегеля. Это, впрочем, и не удивительно, так как от Гегеля он перешел именно к Фейербаху. Под влиянием Фейербаха была написана, между прочим, и его магистерская диссертация. Он сам говорит в том же предисловии, что, принимаясь за нее, он „не имел ни малейшего притязания сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему“, а только желал „быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике“.

И то же самое он мог бы сказать, например, о своей знаменитой статье „Антропологический принцип в философии“.

III.

Статья эта была напечатана в 4-й и 5-й книжках „Современника“ за 1860 г. Чернышевский об'ясняет в ней, что значит „антропологический принцип“. Согласн. этому принципу „на человека надобно смотреть как на одно существо, имеющее только одну натуру“. Каждая сторона его деятельности представляет собою или деятельность всего организма его, взятого в целом, или же,—если она связана с каким-нибудь особенным органом,—отправление этого органа, в свою очередь тесно связанного с организмом. Иначе сказать: антропологический принцип есть принцип современного материалистического монизма. Чернышевский, как и его учитель Фейербах, решительный противник всех дуалистических философских систем. Он говорит, что истинная философия видит в человеке то же, что видят в нем естественные науки: „эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, а так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет“. Но известно, что в организме человека наблюдаются два ряда явлений: те явления, которые обыкновенно называются материальными, и те, за которыми Чернышевский оставляет название нравственных. На существовании этих двух родов явлений и основываются дуалистические учения в философии. Но Чернышевский утверждает, что эта двойственность явлений в организме отнюдь не свидетельствует против единства его природы: „Нѣт предмета,—говорит он,—который имел бы только одно качество, напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждений о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом предмете очень много разных качеств“. Это опять согласно с Фейербахом, учившим, что организм есть „суб'ект“, а мышление „предикат“, т. е. качество суб'екта, и что по этому мыслит не отвлеченное „я“, с которым оперировала идеалистическая философия, а существо конкретное, тело. Это положение

Фейербаха заставляет вспомнить о Спинозе и его единой субстанции с ее различными атрибутами. И такое воспоминание о Спинозе мы находим у самого Чернышевского, относящего Спинозу к числу тех очень немногих мыслителей, которые держались антропологического принципа в философии, хотя и употребляли другую терминологию. За это на нашего автора обрушились некоторые критики, упрекавшие его в незнании истории философии. Однако, своими нападками на него критики эти показали только то, что сами они привыкли, под влиянием идеализма, истолковывать монизм Спинозы в идеалистическом смысле. Такое истолкование ошибочно. Монизм Спинозы есть материалистический монизм, как это давно уже было отмечено еще Фейербахом [1]).

Но что же такое эта единая человеческая природа? Что такое человеческий организм, одним из „предикатов“ которого является мышление? Это— „очень многосложная химическая комбинация, находящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью“. Чернышевский совсем не думает, что наука уже изучила все стороны этого процесса. Очень многое в нем еще остается темным. Это правда. „Но противники научного направления в философии делают из этой правды выводы вовсе не логические, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном об‘яснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом об‘ясненных наукою частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще не вполне об‘яснены: если бы в этих необ‘ясненных частях и явлениях было что-нибудь иное, кроме того, что найдено в об‘ясненных частях, то и об‘ясненные части имели бы не такой характер, какой имеют“.

Смысл этого рассуждения тот, что наука в своем об‘яснении явлений природы постоянно наталкивается на огромные трудности. Но как бы ни были велики эти трудности, ни одна из них не может быть устранена ссылкой на вмешательство того или другого сверх‘естественного существа. Дарвин многого не мог об‘яснить в истории происхождения видов. Но смешно было бы звать на помощь Дарвину Моисея. Цензура запрещала „вредное“ учение материализма. Поэтому Чернышевский, обладавший драгоценным даром ясного и общедоступного изложения самых трудных вопросов теории, по временам вынужден был при изложении материалистической философии Фейербаха выражаться с умышленной неясностью.

Этой вынужденной неясностью изложения пользовались его противники, навязывавшие ему такие взгляды, которых он не имел. Так, Юркевич упрекал его в том, что он отождествлял психические явления организма с материальными. Но мы уже видели, что Чернышевский был весьма далек от их отождествления. Он только утверждал, что нет никаких оснований для того, чтобы относить психические явления на счет особого, не материального, фактора. Вот почему нелеп и вопрос Юркевича о том, каким образом движение переходит в ощущение. Еще Д. Пристлей говорил, что иное дело вибрации, совершающиеся в мозговых тканях, а иное дело восприятия. Вибрации не переходят в восприятия. „Но мозг, кроме своей способности к вибрациям, имеет также способность воспринимать или чувствовать“.

---

[1]) Кроме Спинозы, Чернышевский понимает в материалистическом смысле также и Аристотеля. Это, конечно, неправильно. Но известно, что попытки материалистического об‘яснения философии Аристотеля делались уже в древности и притом его же собственными учениками.

При этом мозг, способный воспринимать, становится мозгом воспринимающим на самом деле только тогда, когда его частицы находятся в состоянии движения. Совершенно так же думал Фейербах, а с ним и Чернышевский.

Человеческий организм очень сложен. Поэтому изучением его жизни занимается особая наука—физиология человека. Но сложность человеческого организма не мешает ему быть частью природы. По мнению Чернышевского, физиология человека относится к химии так же, как наша отечественная история — ко всеобщей. „Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукою. Но не следует забывать, что это внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания!“ Иначе и не мог, конечно, смотреть на этот вопрос последовательно мыслящий человек, раз признавший основные посылки философии Фейербаха.

Взгляд на человека, как на часть природы, естественно дополнялся у Чернышевского совершенно отрицательным отношением к тем философским системам, которые, так или иначе, утверждали непознаваемость внешнего мира. В упомянутой выше статье „Характер человеческого знания“ он приводит учение об этой непознаваемости к абсурду. Он справедливо говорит, что оно должно вести к отрицанию реальности человеческого тела. Он называет его иллюзионизмом и считает „новой формой средневековой схоластики“. Происхождение этого учения он—совершенно в духе Фейербаха—об'ясняет тем, что философы вместо человека, т. е. материального организма, берут отвлеченное существо, „я“, о котором нам известно только то, что оно имеет представления. А если мы знаем о нем только то, что оно имеет представления, то совершенно естественно, что мы остаемся в сомнении насчет того, обладает ли оно телом. Но защитники „иллюзионизма“ обыкновенно не решаются прямо сказать: „мы не имеем организма“. Поэтому они прибегают к двусмысленным выражениям, в которых через схоластический туман проглядывает только логическая возможность сомнения в существовании человеческого тела. Во всей теории познания, основывающейся на такого рода сомнении, нет ничего, кроме схоластической силлогистики и софизмов.

В виду этого позволительно спросить: почему же теория эта имеет успех? Почему же к ней склоняются даже многие естествоиспытатели?

Чернышевский отвечает на это так: „Масса образованных людей вообще расположена считать наиболее соответствующим научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследование этих вопросов. И натуралистам, как всем другим образованным людям, мудрено не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем“.

А почему же склоняются к „иллюзионизму“ специалисты по философии?

Наш автор говорит, что характер философии, господствующей в каждое данное время, определяется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций.

Этим характером приходится, стало быть, об'яснять и современное господство „иллюзионизма“ в среде ученых, специально занимающихся философией. К сожалению, Чернышевский не указывает тех черт этого характера, которые вызывают расположение к „иллюзионизму“. Но зная его отрицательный взгляд на иллюзионизм, легко понять, что и причины, способствующие успеху иллюзионизма, относились им на счет отри-

цательных сторон нынешней общественной жизни. Всего вернее, что причины эти сводились им к „трусости“, т. е. к опасениям, вызываемым в образованных представителях господствующих классов развитием самосознания в среде класса, угнетаемого нынешним общественным порядком. Ниже мы увидим, что иногда он хорошо умел находить причинную связь между ходом общественной жизни и течением общественной мысли.

Статья „Характер человеческого знания“ относится, как уже сказано, к половине восьмидесятых годов, между тем как статья, посвященная изложению и защите „антропологического принципа“, напечатана была в 1860 г. Но в течение четверти века, разделяющей эти две статьи, философские взгляды Чернышевского не испытали ни одного существенного изменения. Поэтому его критика „иллюзионизма“ должна быть рассматриваема как гносеологическое дополнение к статье „Антропологический принцип в философии“.

Наши знания — человеческие знания. Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Если бы эти силы были больше, то наши знания были бы обширнее нынешних. И понятно, что их расширение сопровождалось бы видоизменением прежнего их запаса. Но их существенный характер остался бы неизменным, поскольку они были бы знаниями фактов. Чернышевский берет для примера воду. Теперь мы знаем, при какой температуре она замерзает и при какой закипает. Прежде не знали этого. Запас знаний о воде расширился. Но изменился он только в том смысле, что стал определеннее. Точно так же нам известен теперь химический состав воды, о котором люди не имели прежде никакого понятия. Но вода не перестала быть водою оттого, что мы ознакомились с ее химическим составом, и все знания о ней, которые были у людей до открытия ее состава, остались верны и после него. Видоизменение запаса знаний о воде ограничилось его расширением.

The proof of the pudding is in the eating [1]), писал Ф. Энгельс, критикуя агностиков. Воздействуя на окружающий нас мир, мы проверяем правильность наших о нем представлений. Чернышевский безусловно согласился бы с этим взглядом. Да оно и неудивительно. В философском отношении он был очень близок к Энгельсу и Марксу. Они, подобно ему, были учениками Фейербаха, к которому пришли через Гегеля. Их мысль работала в том же самом направлении, в каком работала его мысль. Но они подвергли материализм Фейербаха существенной переработке,—правда, удержав его теорию познания, напр., учение об отношении суб'екта к об'екту,—между тем как Чернышевский, вообще говоря, ограничился распространением взглядов своего учителя. Это совсем не значит, что он был его „рабом“, как любят выражаться в таких случаях люди, желающие во что бы то ни стало быть „оригинальными“. Нам уже известно, что магистерская диссертация Чернышевского была попыткой,—и по своему очень удачной, применить Фейербахово учение к эстетике, которой сам Фейербах никогда не занимался. Но Чернышевский применял учение Фейербаха, не замечая его коренного недостатка и потому не задумываясь об устранении этого недостатка; а Маркс и Энгельс заметили и устранили его, что дало им возможность сделать целый переворот в общественной науке и особенно в социализме.

Недостаток этот заключается в том, что Фейербах, борясь со спекулятивной философией Гегеля, не обратил должного внимания на ее сильную

---

[1]) Пуддинг доказывается (или „испытывается“) тем, что его едят.

сторону, состоявшую в том, что она рассматривала явления с диалектической точки зрения,—с точки зрения их развития, их возникновения и уничтожения. В Фейербаховом материализме почти совсем не было отведено места диалектике, вследствие чего он он оказывался слабым всюду, где ему приходилось сталкиваться с процессами развития. Именно с этой стороны и подошли Маркс и Энгельс к критике философии Фейербаха. Но Чернышевский, как мы уже видели, сам имел односторонний взгляд на диалектический метод; он упустил из виду то, что составляло душу этого метода: обнаружение внутренней логики явлений. Поэтому главный недостаток Фейербахова материализма дает себя чувствовать и в его собственном миросозерцании. Подобно своему учителю, Чернышевский тоже плохо справлялся с вопросами развития. Вот яркий пример.

IV.

Статья „Антропологический принцип в философии“ посвящена была не только защите основных теорем философии Фейербаха, но также указанию тех важных следствий, которые получаются, благодаря применению этих теорем к „нравственным“ наукам. По словам Чернышевского, первым из этих следствий явилось устранение некоторых старых взглядов на поступки людей. Прежде поступки людей об‘яснялись их „волей“: человек поступает дурно потому, что обладает злой волей; он поступает хорошо потому, что „хочет“ поступить так. Теперь приходится взглянуть на дело иначе. Чернышевский утверждает, что дурной поступок, равно как и хороший, производится непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом, или сочетанием фактов, а „хотение“ является только суб‘ективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей, поступков или внешних фактов“. Человеческий характер складывается под влиянием общественных отношений. „Вы вините человека, — говорит Чернышевский — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества, всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его“. Против этого, высокогуманного вывода возражать трудно. В нем сказывается сильная сторона Фейербахова материализма [1]). Столь же трудно возражать и против той мысли Чернышевского, что человек не добр и не зол по своей природе, а делается добрым или злым в зависимости от обстоятельств. Если мы хотим, чтобы люди стали добрыми, то мы должны стараться поставить их в такие условия, которые способствовали бы развитию и упрочению в них добрых наклонностей. Чернышевский указывает на материальную нужду — даже прямо на недостаток в пище—как на главнейшую причину порчи человеческого характера. Здесь мы опять видим сильную сторону материалистической философии Фейербаха-Чернышевского. Но едва переходит наш автор к дальнейшему изложению своих верных мыслей, как перед нами обнаруживается слабая сторона его взгляда.

---

[1]) Взгляд Чернышевского на этот вопрос сложился тоже под сильным влиянием Р. Оуэна. Но влияние этого последнего шло здесь параллельно влиянию Фейербаха. Притом же Р. Оуэн заимствовал свой взгляд на образование человеческого характера у французских материалистов XVIII в., преимущественно у Гельвеция.

„При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми,— говорит он, — оказывается, что все дела, хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные, происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия“. В подтверждение этой своей мысли Чернышевский приводит несколько примеров. И все они доказывают—т.-е. собственно должны доказывать—что человек всегда думает о себе, всегда руководится расчетом выгоды. Человек — эгоист. И на эгоизме же основаны его суждения о добре и зле. „Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; во мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества и для большинства его членов. Наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще“. Это так. Но, говоря это, Чернышевский подрывает свою собственную теорию эгоизма.

В самом деле, тут перед нами уже два вида эгоизма: эгоизм отдельного лица и эгоизм общества. И эти два эгоизма борются один с другим. Что же выходит? Руководясь своим эгоизмом целого, общество старается ослабить эгоизм своих составных частей — эгоизм отдельных лиц. Оно стремится воспитать своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного интереса. И чем больше поступки данной личности будут удовлетворять этому требованию, тем самоотверженнее, нравственнее будет эта личность. А чем больше ее поступки будут противоречить этому требованию, тем своекорыстнее, тем безнравственнее она окажется. Вот критерий, который всегда — хотя и невсегда одинаково сознательно—применялся людьми в их суждениях о том, эгоистичен или же альтруистичен поступок данного лица. Конечно, целое, пред‘являющее индивидууму свои требования, не всегда одно и то же. Иногда его составляет все общество, иногда — отдельный класс, сословие, каста, племя и т. п. Но этим отнюдь не изменяется сущность дела. Эгоизм целого совсем не исключает альтруизма составных частей. Напротив, он обусловливает его собою.

Когда общество применяет свой критерий к оценке поступков отдельных лиц, оно хочет, чтобы действие, выгодное для интересов целого, было совершено отдельным лицом (или группой отдельных лиц) под влиянием его (или их) привязанности к целому, а не под влиянием его (или их) соображений о своей собственной пользе. Лицо, совершающее полезный для общества поступок под влиянием соображений этого последнего рода, поступает, может быть, умно, но в его действии еще нет нравственного элемента. Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что для него становятся инстинктивной потребностью поступки, полезные для общества. И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее это лицо. Героями называют таких людей, которые не могут не повиноваться такой потребности даже в тех случаях, когда ее удовлетворение идет в разрез с их самыми существенными личными интересами, — например, грозит им нищетою или смертью. Люди не делаются героями по расчету; героизм инстинктивен. Но всякий инстинкт есть плод длинного процесса развития. Нравственность, господствующая в данном обществе, создана длинным процессом общественного развития. Поэтому непременно должен держаться точки зрения общественного развития всякий, кто хочет разобраться в вопросах нравственности. Это обыкновенно забывали так называемые просветители: греческие просве-

тители эпохи Сократа, французские просветители XVIII столетия и наши просветители шестидесятых годов [1]).

В романе „Что делать?“ Лопухов утверждает, что у человека свое „я“ всегда на первом плане. И это верно; но это еще ничего не доказывает. Когда человек размышляет о своих действиях, то он, конечно, не может отвлечься от своего я; но из этого еще не следует, что его действия непременно эгоистичны. То „я“, которое видит свое удовольствие в благе людей, есть альтруистичное, а не эгоистичное „я“. Чернышевский хочет затушевать эту разницу. Но это удается ему лишь посредством паралогизма, который приводит его самого ко многим противоречиям.

В „Заметках о журналах“ („Современник“, январь 1857 года) он, определяя разницу между Печориным и Рудиным, говорит: „один—эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой—энтузиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами; один живет для своих страстей, другой—для своих идей. Это люди,... составляющие совершенный контраст один другому“. Это опять так. Но ведь не по расчету же Рудин жил для своих идей, а Печорин — для своих страстей?

Другой пример. Героиня романа „Что делать?“ возмущается людьми, „привыкшими понимать слово „интерес“ в слишком узком смысле обыденного расчета“ (Сочинения, IX, с. 169). Выходит, стало быть, что расчет расчету рознь. Чем же отличается необыденный расчет от обыденного? На этот вопрос отвечает то же место романа: люди, придерживающиеся необыденного расчета, руководятся интересами своей совести.

Итак, все люди — эгоисты; но есть эгоисты, имеющие совесть, и есть эгоисты бессовестные. Это различение, как две капли воды, похоже на обычное различение эгоистов от альтруистов.

Учение Чернышевского о нравственности грешит излишней рассудочностью. Тот же грех и по той же общей, указанной выше, причине заметен и в его исторических взглядах.

V.

В своей статье о Грановском Чернышевский указывает на отсталость исторической науки. „Антропология,— говорит он, — только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и одностороннею психологией“ (Соч. II, 410).

Далее в той же статье он утверждает, что со временем влияние естественных наук на историю „должно сделаться неизмеримо сильным“. Иначе он и не мог смотреть на этот вопрос: недаром же он говорил в статье „Антропологический принцип“, что философия видит в человеке то же самое, что видят в нем естественные науки. Известно, что естественные науки видят в человеке животное, организм которого подчинен известным физиологическим законам. Вот отсюда и исходил Чернышевский в своих исторических рассуждениях.

Физиология говорит, что для нормального хода жизни животного необходимо нормальное удовлетворение потребностей его организма: „она строго

[1]) В статье „О губернских очерках Щедрина“ Чернышевский сам говорит: „привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего: на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения“ (Соч. III, 214). В своем учении о нравственности он, к сожалению, упустил из виду это действительно необходимое правило.

различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствующем надобностям организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты—к разряду фактов, вредящих организму“ (Соч. т. X, ч. 2-ая, отд. IV, стр. 217).

Чернышевский применяет этот общий взгляд к вопросу о культурном развитии человечества. Существуют факторы, содействующие хорошему ходу функций человеческого организма. Это факторы, которыми обусловливается в последнем счете культурный прогресс. И, наоборот, есть факторы, вредно влияющие на указанные функции. Ими об‘ясняются, в последней инстанции, регрессивные явления в области культуры. Если человечество все-таки довольно далеко ушло вперед по пути прогресса, то это об‘ясняется тем, что факторы, благоприятные для правильного отправления функций организма, оказались сильнее факторов неблагоприятных.

Тут Чернышевский имеет в виду тот период в истории развития человечества, который надо назвать не только доисторическим, но пожалуй, даже докультурным, — в настоящем смысле этого выражения — потому что прогресс этого периода приводит лишь к умению делать каменные орудия труда, т.-е. те орудия, которые составляют одно из самых первых культурных завоеваний человечества. И тут рассуждения нашего автора сохраняют строго материалистический характер, хотя его материализм обнаруживает под час слишком мало диалектической гибкости. Но как только наш автор переходит к истории собственно так называемой, он покидает материалистическую точку зрения и становится идеалистом, очень нередко вызывающим, правда, глубокие материалистические мысли.

Чтобы понять, в силу чего совершается этот переход Чернышевского от материализма к идеализму, достаточно принять в соображение то обстоятельство, что факторы, обусловившие собою прогресс человеческой культуры, вызвали сильное развитие человеческого мозга. Мозг — орган мысли. Чем больше развивался мозг, тем сильнее становилась мысль. Чем сильнее становилась мысль, тем правильнее делались понятия людей. Чем правильнее становились их понятия, тем более улучшался их общественный строй.

„Собственно превосходством ума и об‘ясняется—говорит Чернышевский— весь прогресс человеческой жизни“ (там же, 182—183).

В основе свойственного Чернышевскому понимания истории лежит знаменитое положение Фейербаха: „человек есть то, что он ест (Der Mensch ist, was er isst)“. Хорошим питанием человеческого организма обеспечивается развитие мозга, которым в свою очередь обусловливается развитие правильных понятий, составляющих главную пружину исторического движения. Это уже чистейший исторический идеализм.

Таким образом, Чернышевский остается материалистом до тех пор, пока не выходит из области вопросов „общего физиологического содержания“. А как только перед ним возникают вопросы, „специально относящиеся к человеческой жизни“, он немедленно становится идеалистом. Философия Фейербаха, имевшая чисто материалистический характер там, где речь шла об отношении суб‘екта к об‘екту, еще не способна была дать материалистическое об‘яснение истории. Поэтому сам Фейербах был, подобно Чернышевскому, идеалистом в своих исторических взглядах. То же приходится сказать и о французских материалистах восемнадцатого столетия. Только Маркс сумел применить материализм к об‘яснению исторического движения человечества, и потому с Маркса начинается новая эпоха в развитии общественной науки.

При изучении исторических взглядов нашего автора легко впасть в ошибку, вследствие некоторого внешнего сходства их со взглядами, характерными для исторического материализма.

Мы уже знаем, что в своем учении о нравственности он придавал преувеличенное значение человеческой расчетливости. То же мы видим и в его исторических рассуждениях. Он слишком склонен об'яснять исторические события сознательным расчетом их участников. Такое об'яснение может иногда показаться чисто материалистическим. Но при несколько внимательном отношении к делу немедленно обнаруживается нечто прямо-противоположное. Видеть в исторической деятельности людей лишь следствие их сознательного расчета значит обеими ногами стоять на почве того исторического идеализма, согласно которому „мнение правит миром“. И чем чаще прибегал Чернышевский к об'яснению исторического движения ссылкой на человеческую расчетливость, тем решительнее обнаруживался идеалистический характер свойственного ему понимания истории.

VI.

Кто смотрит на историю с идеалистической точки зрения, тот естественно склонен придавать преувеличенное значение так называемой у нас интеллигенции, т.-е. собственно тем людям, специальность которых состоит в обращении с идеологиями. Это мы замечаем и у Чернышевского. Как велика была та роль, которую он приписывал интеллигенции, лучше всего видно из его рецензии на книгу Новицкого „Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований“ („Совр.“, 1861 года, № 6, перепечатано в полном собрании сочинений).

В этой рецензии Чернышевский сравнивает историю человечества с военными походами. При военных походах появляются обыкновенно отсталые, число которых все более и более увеличивается по мере того, как все более и более подвигается вперед армия со своим генеральным штабом. При быстрых наступлениях бывает иногда так, что большинство солдат остается позади. Эти отсталые уже не участвуют в битвах и только обременяют собою своих, находящихся в строю, товарищей, на плечи которых и падает вся тяжесть борьбы. Но когда их борьба оканчивается победой; когда враги приводятся к покорности, а победители получают возможность отдохнуть, тогда отсталые мало-по-малу нагоняют передовых, и в конце-концов вся армия опять соединяется под своими знаменами, как это было в начале похода. То же самое заметно и в умственном развитии человечества. „Дело начинается постепенным выделением людей высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая, высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения“.

Так происходит дело в истории умственного развития человечества, и тому, кто считает это развитие последней причиной исторического движения, лежащей глубже всех остальных его причин, вопрос должен представляться исчерпанным без остатка. Но исторический материалист взглянет на это дело совсем другими глазами.

Отсталая масса мало-по-малу нагоняет интеллигенцию, постепенно усваивая истины, открытые этой последней. Хорошо. Но почему же она нагоняет интеллигенцию? Почему она усваивает эти истины? Приводимый Чернышевским пример с армией совсем не отвечает на эти вопросы. Существуют вполне определенные причины, заставляющие отсталых солдат,—если они не окончательно развратились, — догонять действующую армию. Излишне было бы перечислять эти причины, так как оне более или менее известны всякому. Но какие же причины заставляют отсталую массу догонять ушедшую вперед интеллигенцию? Чернышевский говорит: то обстоятельство, что истина, завоеванная интеллигенцией, сообразна с потребностями массы. А чем определяются эти потребности? Ясно, что не вновь открытою истиною, потому что их существование предшествует ее открытию. Чем же? Потребности всякого данного класса определяются его общественным положением. Стало быть, прежде чем говорить о соответствии завоеванной истины с потребностями массы, нам нужно определить общественное положение этой последней. А ее общественное положение определяется, как известно, общественно-экономическими отношениями. Таким образом, вопрос о соответствии завоеванной истины с потребностями массы вплотную приводит нас к вопросу об экономике данного общества. Но это еще не все. Общественная экономика не стоит на одном месте. Она развивается, и ее развитие имеет свою внутреннюю логику, в силу которой оно приобретает то или иное направление и идет более или менее быстрым ходом. Чем быстрее совершается экономическое развитие общества, тем скорее пробуждается масса от своей умственной спячки и тем доступнее делается она влиянию новых понятий. Значит, если отсталая масса более или менее быстро догоняет интеллигенцию, то на это есть совершенно определенная совокупность экономических причин. Но и это не все. Почему интеллигенция данной страны и данного времени сосредоточивает внимание на теоретических вопросах одного рода, а интеллигенция другой страны и другой эпохи обращается к вопросам совершенно другого порядка? Ответа и здесь нужно искать не в отвлеченных свойствах истины, а в преобладающем характере существующих в данной стране и в данную эпоху общественных (в последней инстанции — экономических) отношений. Наконец, интеллигенция далеко не всегда занимается вопросами, имеющими наиболее близкое отношение к потребностям массы. Иногда, напротив, она принимает гораздо ближе к сердцу вопросы, наиболее важные с точки зрения интересов тех, которые эксплуатируют и угнетают массу. Почему в одном случае бывает так, а в другом иначе, это опять об'ясняется не отвлеченными свойствами истины, а конкретными общественными отношениями данной страны и данной эпохи.

Мы видим теперь, что вопрос об отношении массы к интеллигенции, точно так же, как и дополнительный вопрос об отношении этой последней к массе, принимает при свете исторического материализма вид несравненно более сложный, нежели тот, в каком он представлялся Чернышевскому. Чернышевский и этот вопрос решал ссылкою на человеческую расчетливость: расчет заставит массу усвоить открытую интеллигенцией истину. „Мнение"— и главным образом расчет „правит миром". Это — опять чисто идеалистический взгляд.

Но мы уже сказали, что в исторических рассуждениях нашего автора нередко встречаются очень глубокие материалистические мысли. Вот пример. В 1855 году в статье о „Пропилеях" Леонтьева он писал, оспаривая мнение Куторги, считавшего земледельческий быт первоначальным бытом человечества:

„Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде нежели узнали они земледелие и сделались оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводством. Чтобы ограничиться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптолеме, которого научила она земледелию—очевидно, что по воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индо-европейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках: мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелие; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала весь ход распространения земледельческого быта". (Соч., I, 389). С фактической стороны тут есть некоторые неточности (племена, недавно перешедшие к земледелию, иногда покидают это занятие и возвращаются к охоте). Но это не важно. Во всяком случае верно то, что земледелие не есть первый шаг в развитии общественных производительных сил. Прав Чернышевский и в следующих строках: „У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее членов; отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и, впоследствии, с государственными правами" (там же, 389). Тут очень хорошо указана причинная зависимость правовых учреждений общества от его экономического строя. А вот место, показывающее, что наш автор умел связать с экономикой всю внутреннюю жизнь.

В своих „Очерках политической экономии" он, дав анализ существующего в современном обществе „трехчленного распределения продуктов", писал: „Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.* Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом" (курсив наш. Соч. VII, 415).

История идей местами тоже освещается у Чернышевского ярким светом материализма. Это особенно видно на его рассуждениях об истории политической экономии. По его словам, экономисты школы А. Смита были представителями стремлений среднего класса (или, как он выражается, *сословия*). Нынешние экономические отношения выгодны для этого класса. „Потому школа, бывшая представительницею его, и находила, что формы эти самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большею резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными", (Соч. VIII, 137). Когда о вопросах политической экономии стали задумываться люди, бывшие

представителями массы, тогда явилась в науке другая экономическая школа, которую зовут,—неизвестно на каком основании, как замечает Чернышевский,—школой утопистов. С появлением этой школы экономисты, представлявшие интересы среднего класса, увидели себя в положении консерваторов. Когда они выступали против средневековых учреждений, противоречащих интересам среднего класса, они взывали к разуму. А теперь к разуму стали взывать в свою очередь представители массы, не без основания упрекавшие представителей среднего класса в непоследовательности. „Против средневековых учреждений,—говорит Чернышевский,—разум был для школы Адама Смита превосходным орудием, а на борьбу с новыми противниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно“ (там же, стр. 139). Вследствие этого ученые представители среднего класса перестали ссылаться на разум и начали ссылаться на историю. Так возникла историческая школа в политической экономии, одним из основателей которой был Вильгельм Рошер.

Чернышевский утверждает, что такое об'яснение истории экономической науки несравненно более правильно, нежели обычное ее об'яснение с помощью ссылок на больший или меньший запас знаний у той или другой школы. Он насмешливо замечает, что это второе об'яснение похоже на тот способ, каким оценивают учеников на экзаменах: такую-то науку данный ученик знает хорошо, такую-то плохо. Дело не в сведениях, а в том, каковы чувства данного мыслителя или той группы людей, которую он представляет. Фурье знал историю не лучше, нежели Сей, а между тем пришел совсем к другим, нежели он, выводам.

С этим охотно согласится всякий последователь исторического материализма. Не „сознание“ определяет собою „бытие“, а „бытие“ определяет собою „сознание“. Это положение, составляющее основу гносеологии Фейербаха, применяется Чернышевским к об'яснению внутренней жизни новейшего европейского общества, существующих в нем экономических теорий и, даже (в другом месте, нами здесь не приводимом), к его философии. Но мы уже знаем, что в об'яснении истории м а т е р и а л и з м очень скоро превращается у Чернышевского, как и у самого Фейербаха, в и д е а л и з м. И замечательно, что материализм Фейербаха-Чернышевского тем скорее уступает в исторической области место идеализму, чем более он хочет оставаться верным самому себе.

Чернышевский об'ясняет внутреннюю жизнь европейского общества и его умственную историю (по крайней мере некоторые страницы этой истории) господствующими в нем экономическими отношениями. Но эти отношения представляются ему под углом экономического „интереса“; а „интерес“ отождествляется им со знакомым уже нам „р а с ч е т о м“, который, как операция рассудка, немедленно возвращает нас к той идеалистической теории, согласно которой „мнение правит миром“. Когда Чернышевский ищет разгадки общественных явлений в экономике, он не покидает того убеждения, что мир управляется мнениями, а только точнее определяет, какой именно категории мнений принадлежит руководящая роль в истории мира; он думает, что эта категория составляется из т е х м н е н и й, которые имеются у людей насчет их собственного „и н т е р е с а“. Таким образом его философия истории сближается с его учением о нравственности: и там, и тут мы находим замечательные зародыши материалистического об'яснения; но и там, и тут зародыши эти остаются неразвитыми.

VII.

Совершенно то же самое видим мы и в эстетической теории нашего автора.

По учению Фейербаха предмет в его истином смысле дается лишь ощущением.

Фейербах говорит: „чувственность, или действительность, тождественна с истиной". Он утверждает также, что чувства говорят все, но чтобы уметь читать их показания, надо уметь связывать эти показания одно с другим. „Думать—значит уметь связно читать евангелие чувств".

Идеалистическая филисофия пренебрежительно относилась к свидетельству наших органов чувств. Она полагала, что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, не соответствуют действительной природе предметов и должны быть проверены с помощью „чистого" мышления. Фейербах решительно восстал против этого. Он находил, что если бы наши представления о предметах основывались лишь на нашем чувственном опыте, то они, наоборот, вполне соответствовали бы истине. Но беда в том, что наша фантазия часто искажает наши представления, которые поэтому приходят в противоречие с чувственным опытом. Задача философии заключается в том, чтобы изгнать фантастический элемент из наших представлений. „Сначала люди видят вещи не такими, каковы они на самом деле," а такими, какими оне кажутся,—говорит Фейербах;—люди видят не вещи, а то, что они вообразили о них, приписывают им свою собственную сущность, не различают предмета от своего представления о нем. Только в самое последнее время человечество начинает возвращаться к неискаженному фантазией об'ективному созерцанию чувственного".

И тем самым оно возвращается к самому себе. Потому что люди, занимающиеся лишь вымыслами и абстракциями, сами могут быть только фантастическими и абстрактными, а не действительными существами.

Примените это учение Фейербаха (изложенное в 43 § его „Grundsätze") к эстетике, и вы получите эстетическую теорию Чернышевского.

Если сущность человека — ,,чувственность", т.-е. действительность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью не только ошибочно, но и вредно на практике. И если задача философии заключается в реабилитации действительности, то в такой же реабилитации заключается и задача эстетики, как особой отрасли философского мышления. Этот неоспоримый вывод и составляет главную мысль диссертации Чернышевского об „Эстетических отношениях искусства к действительности".

Теория эстетики, выросшая на почве гегелевского идеализма, доказывала, что искусство имеет своим источником стремление людей освободить прекрасное, существующее в действительности, от недостатков, мешающих ему вполне удовлетворять человека.

Чернышевский, опираясь на материализм Фейербаха, держится прямопротивоположного взгляда. Он думает, что прекрасное в действительности всегда выше прекрасного в искусстве. Для доказательства этого он подробно разбирает все ,,упреки, делаемые прекрасному в действительности" Фишером, который был тогда самым видным представителем идеалистической эстетики в Германии. И он приходит к тому выводу, что прекрасное, как оно существует в живой действительности, или совсем не имеет недостатков, находимых в нем идеалистами, или же имеет их в слабой степени. К тому же от таких недостатков несвободны и произведения искусства. Напротив, все недо-

статки прекрасного, существующего в действительности, принимают в произведениях искусства гораздо большие размеры. Чернышевский доказывает, что ни один род искусства не может соперничать с действительностью по красоте своих произведений. А это значит, что искусство и не могло иметь своим источником стремление освободить прекрасное от недостатков, будто бы присущих ему в действительности и будто бы мешающих людям наслаждаться ими. Произведения искусства—суррогат прекрасного в действительности: они знакомят с прекрасным явлением тех, которые его не видали; они вызывают воспоминания о нем у тех, которые его видели.

Цель искусства состоит не в исправлении, а в воспроизведении прекрасного, существующего в действительности. К этого надо прибавить, что сфера искусства гораздо шире, нежели сфера прекрасного. Искусство воспроизводит все те явления действительной жизни, которые почему-либо интересны для людей. Чернышевский поясняет, что под действительной жизнью надо понимать не только отношение человека к предметам и существам внешнего мира, но и его внутреннюю жизнь: „иногда человек живет мечтами—тогда мечты имеют для него... значение чего то об'ективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если достигаютъ интересности, также воспроизводятся искусством".

Многие произведения искусства не только показывают нам, жизнь, но об'ясняют нам ее. Поэтому они служат для нас учебником жизни. Чернышевский находит, что „особенно следует сказать это о поэзии".

Наконец, наш автор приписывает искусству еще значение „приговора мысли о воспроизводимых явлениях". Художник, если он мыслящий человек, не может не судить о том, что он воспроизводит, и его суждение непременно отразится на его творчестве. Заметим мимоходом, что это третье значение искусства трудно отграничить от второго: художник не может произнести перед нами свой приговор над явлениями жизни, оставляя нас в неизвестности на счет того, как он их понимает, т.-е. не об'ясняя их.

В своей знаменитой статье „Разрушение эстетики" Писарев говорит, что Чернышевский взялся за свою диссертацию с коварной целью погубить эстетику, разбить ее всю на мелкие кусочки, потом все эти кусочки превратить в порошок и развеять этот порошок на все четыре стороны. Это совсем не верно. Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевский вовсе не собирался погубить эстетику. Наоборот. Цель его заключалась в том, чтобы дать ей твердое философское (или, что для него было то же самое, — научное) основание. Поэтому он совсем не лицемерил, когда в своей статье о „Пиитике" Аристотеля, напечатанной в IX кн. „Современника" за 1854 год, горячо защищал эстетику от ее недоброжелателей, утверждавших, что не следует заниматься ею, как наукой отвлеченной и потому неосновательной. И не трудно понять, почему он не мог согласиться с „недоброжелателями" эстетики. Он дорожил ею, как орудием реабилитации действительности, как средством борьбы с теми мечтами, которыми „иногда живет человек", и котовые мешают ему смотреть трезвыми глазами на действительность. Иначе сказать, он хотел воспользоваться эстетикой, — предварительно поставленной на твердое научное основание—для своих целей пропагандиста передовых идей—„просветителя".

Взгляд на эстетику, как на орудие реабилитации действительности, сближал Чернышевского с Белинским, который к концу своей жизни тоже пришел к философии Фейербаха и тоже ставил перед литературой задачу точного изображения действительной жизни (особенно в двух своих последних годовых обзорах русской литературы). Подобно Чернышевскому, Белинский в последний

период своей литературной деятельности отрицал теорию искусства и весьма сочувственно относился к тем художникам, принадлежавшим к так называвшейся тогда натуральной школе, которые не отказывались произносить свой „приговор“ над явлениями действительности, и произведения которых могли служить „учебником жизни“. Вообще Чернышевский был в нашей литературе лишь наиболее законченным представителем того типа просветителей, родоначальником которого, в значительной степени, являлся в последние годы своей деятельности Белинский. В некоторых литературных суждениях Белинского замечается та же рассудочность „просветителя“, которая особенно дает себя чувствовать в критических статьях Чернышевского и которая дала повод ко многим, очевидно ошибочным, но по-своему логичным, выводам Писарева. Если назначение искусства заключается в том, чтобы служить „учебником жизни“, то находясь в известном настроении, можно спросить себя, какие учебники скорей достигнут своей цели: те ли, которые будут написаны художниками, или же те, за составление которых возьмутся талантливые публицисты. Писарев—сам человек большого публицистического таланта—решил этот вопрос в пользу публицистов и провозгласил „разрушение эстетики“.

Взяв за точку исхода материалистическую философию Фейербаха, Чернышевский и в эстетике скоро пришел к идеалистическим выводам. Его диссертация говорит не о том, почему у людей одной эпохи и одного общественного класса существуют одни эстетические понятия, а у людей другого времени и другого общественного положения—другие. Она не занимается обнаружением причинной связи между условиями жизни людей и их эстетическими вкусами. Ее внимание сосредоточивается не на том, что есть, и не на том, что было, а на том, что должно было бы быть, и на том, что в самом деле было бы, если бы люди стали прислушиваться к голосу „разума“.

Но зато в эстетике Чернышевского—опять как и в его исторических взглядах—мы встречаем много зачатков совершенно материалистического понимания явлений. В его диссертации есть блестящие страницы, относящиеся к тому вопросу, который, вообще говоря, обходится в ней, как второстепенный или даже третьестепенный: к вопросу о причинной зависимости эстетических вкусов от условий общественной жизни. Если бы он захотел обдумать этот вопрос со всех его сторон, то он оказался бы, по крайней мере, на пути к тому, чтобы совершить величайший переворот в эстетике, т.-е. окончательно изгнать из нее идеализм и сделать ее материалистической. Но тот материалистический метод, которого он держался, был еще недостаточно разработан. А кроме того, Чернышевский, в качестве „просветителя“, интересовался не столько теорией, сколько вытекавшими из нее практическими выводами. Поэтому, бросив мимоходом несколько ярких лучей света на вопрос о зависимости „сознания“ от „бытия“ в области эстетики, он отворачивался от этого теоретического вопроса и спешил дать своим читателям побольше практических советов по части разумного отношения к действительности.

Мы не можем входить здесь в подробности изложения взглядов Чернышевского на отдельных русских писателей. Отметим только его отношение к Пушкину, которого он вслед за Белинским (см. статьи этого последнего „О Пушкине“) считал поэтом формы.

С Гоголя начался, по его мнению, новый литературный период, главная особенность которого заключается в том, что форма уже не имеет преобладающего значения, так как теперь выступает на первый план содержание. Эту смену хорошо выяснил Белинский, взгляды которого Чернышевский подробно и с величайшим сочувствием изложил в своих замечательных „Очерках гоголевского периода русской литературы“. Про-

должая деятельность Белинского, как родоначальника наших просветителей, Чернышевский особенно дорожил теми произведениями художественной литературы, которые могли служить „учебниками жизни“. И под его влиянием наша литературная критика в течение многих лет исполняла роль педагога, об'ясняющего читателю смысл таких „учебников“. Известно, что наиболее блестящим представителем „публицистической“ критики был у нас Добролюбов. Говоря о нем, Чернышевский всегда ставил его выше себя. На самом же деле Добролюбов превосходил его разве лишь силою литературного таланта, да и то не во всех отношениях: Добролюбов никогда не был таким могучим полемистом, как Черышевский. Что же касается теоретической силы ума, то в этом отношении Чернышевский стоял несомненно выше Добролюбова.

Литературная критика, в особенности дорожащая такими художественными произведениями, которые могли бы служить „учебниками жизни“, естественно должна требовать от беллетристики возможно более точного воспроизведения действительности. И Чернышевский, в самом деле, требовал от нее такого воспроизведения. В этом случае он опять шел за Белинским. Но для его настроения, как нельзя более, характерно то, что его уже не удовлетворяла та манера изображения действительности, какою отличалась „натуральная школа“. Эта манера казалась ему все-таки недостаточно правдивой. Вот почему он с таким большим сочувствием встретил вышедшее в 1861 г. отдельное издание рассказов Н. В. Успенского. По его поводу он поместил в ноябрьской книжке „Современника“ за тот же год чрезвычайно характерную для него статью „Не начало ли перемены?“. Он хвалил рассказы Н. В. Успенского за то, что в них не было того „прикрашивания народных нравов и понятий“, каким грешили посвящаемые народу произведения натуральной школы, например, очерки Тургенева и Григоровича. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя писателей, смотрящих на крестьянина такими же трезвыми глазами, как на людей всех других сословий. Чернышевский доказывает своим читателям, что так и должно быть. „Забудемте же,—говорит он—кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик; будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собой истину ради мужицкого звания“.

Критика 70-ых годов не поняла этого отношения Чернышевского к Н. В. Успенскому, да кстати не поняла и самого Н. В. Успенского; рассказы этого последнего представлялись ей каким-то бесцельным издевательством над крестьянином. На самом деле Н. В. Успенский был далек от такого издевательства. Наша „передовая“ критика 70-ых годов в своих общественных взглядах стояла на точке зрения народничества, хотя и не всегда сознавала это. А народничество искало в крестьянском быту таких условий, которые могли бы послужить об'ективной опорой для социалистических стремлений интеллигенции. Естественно поэтому, что народникам, равно как и литературной критике, находившейся всецело или отчасти под их влиянием, не нравились такие произведения, в которых народ, по выражению Чернышевского, изображался простофилей. Но то, что не нравилось народникам, очень по душе пришлось нашим „просветителям“ 60-ых годов.

Рассказы Н. В. Успенского нимало не смущали „просветителей“. Правда, крестьянин, выводимый в этих рассказах, очень бестолков. „Но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания?—спрашивает Чернышевский. Огромное большинство людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несообразительность, едва только случится ему выйти из круга своих обычных представлений. Думает своим умом разве только один человек на тысячу.

Тут перед нами уже знакомый нам взгляд на массу, как на отсталую часть „действующей армии“. И может показаться непонятным, каким образом люди, державшиеся такого взгляда могли приурочивать к самодеятельности народа хоть одно из своих революционных упований. Это недоумение раз'ясняется следующими словами Чернышевского:

„Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях; в простом народе рутина так же тупа, пошла, как во всех других сословиях... Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности наших надежд, если вы желаете улучшения судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка: минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого данного народа“.

Таковы были общие соображения, позволявшие в начале 60-х годов Чернышевскому и его единомышленникам считать вполне возможным и, даже, вероятным взрыв в среде крестьянства, ждавшего себе „настоящей“ воли и неудовлетворенного тем, что давало ему 19-е февраля. Нельзя не признать, что эти общие соображения были весьма отвлеченны.

Для характеристики образа мыслей Чернышевского полезно будет сопоставить с только что приведенными отрывками статьи—„Не начало ли перемены?“— некоторые места из второй части его написанного в Сибири романа: „Пролог“.

Там Левицкий (Добролюбов) после свидания с Волгиным (Чернышевским) заносит в свой дневник: „Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество“ (Соч. X, ч. I, отд. II, 215 –216). Если мы не ошибаемся, это значит, что, согласно воспоминаниям самого Чернышевского, его взгляд на народ показался Добролюбову полным „неверием“. И нельзя удивляться такому взгляду: он сложился у Чернышевского в эпоху, последовавшую за крушением всех надежд, вызванных революцией 1848 года. Эта эпоха характеризуется полной подавленностью западно-европейского пролетариата. Нечего и прибавлять, что русское крестьянство тоже не давало тогда никаких оснований рассчитывать на его самодеятельность. В виду этого Чернышевскому, как и всем людям его образа мыслей, оставалось уповать лишь на отдельных мыслящих людей, принадлежащих к интеллигенции. Это не помешало ему, как мы знаем, бодро смотреть в будущее: он верил в торжество разума, носительницей которого и представлялась ему интеллигенция. Но когда он делал попытку представить себе тот путь, каким разум придет к своему торжеству, то его предположения сразу становились весьма неопределенными. Его исторические ожидания не связывались с ростом какой-нибудь определенной общественной силы или нескольких общественных сил. Поэтому в них отводилось слишком большое место с л у ч а й н о с т и. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть следующее место из цитированной уже II части романа „Пролог“ („Дневник Левицкого“). Читатель должен помнить, что в этом месте, Левицкий (Добролюбов) записал слова, обращенные к нему Волгиным (Чернышевским), и рассказ ведется от лица Левицкого:

„Придет серьезное время. Когда? Я молод, потому для вопроса обо мне все равно, когда оно придет: во всяком случае оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как придет?

„Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? Не все ли равно? Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? Разочарование общества и от разочарования новое либе-

ральничание в новом вкусе, попрежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мыслей... И будет развиваться, развиваться все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе,— вероятнее всего во Франции,—не подымется буря и не пойдет по всей Европе, как было в 1848 г. В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву".

Тут Волгин гадает о тех бурях, которые предстоит пережить Левицкому. Надобно полагать, что в том же роде гадал он и о самом себе! Если он по окончании университетского курса на несколько лет удалился в Саратов, то это произошло, вероятно потому, что глухое затишье последних лет царствования Николая I справедливо казалось ему неблагоприятным для выступления на арену общественной деятельности. Он решил ждать более благоприятных „шансов", работая лично над собой и над теми, преимущественно молодыми, людьми, с которыми ему приходилось сталкиваться. Саратов он оставил в 1853 году лишь потому, что женитьба заставила его искать в столице лучшего заработка. „Передряга Крымской войны" открыла перед ним более широкие перспективы; но и после нее он в течение нескольких лет продолжал смотреть на положение дел глазами скептика, не верившего в возможность у нас широкого народного движения. Только крестьянские волнения, сопровождавшие отмену крепостного права, сделали такое движение вполне возможным, а может быть даже и неизбежным в его глазах. Но не следует думать, что он в свои молодые годы предпочитал революционный путь мирному. Из „Дневника Левицкого" видно, что, по тогдашнему мнению Чернышевского, был бы гораздо лучше, если бы все обошлось у нас „тихо, мирно".

VIII.

Таким его мнением в значительной мере и об'ясняются многие его публицистические статьи названной эпохи. Вот, например, что писал он в статье „Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X" („Современник", 1858 г., №№ 8 и 10).

„У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой— дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно, к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному—аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократии смертельную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы".

Тут необходима одна терминологическая поправка. Для демократа, стремящегося к „народоправству“, совсем не безразличен вопрос о политическом устройстве. Как человек очень образованный, Чернышевский, разумеется, знал это. Поэтому надо предположить, что, говоря о „демократах“, он имел в виду не их, а социалистов: мы уже знаем, что цензура нередко принуждала его говорить эзоповским языком. Те социалисты, учения которых были известны Чернышевскому (так называемые теперь социалисты-утописты), в самом деле были, за весьма немногими исключениями, равнодушны к политике, и им, в самом деле, было „почти все равно“, при каких политических условиях ни началось бы осуществление их реформаторских планов. Чернышевский — который сам стоял на почве утопического социализма — мог, под влиянием вышеуказанного своего настроения, нисколько не изменяя своим взглядам, отодвигать вопросы политического устройства на задний план и, даже, предпочитать Сибирь Англии. Но все, что говорится им на этот счет, имеет смысл именно только в применении к социалистам-утопистам, а не демократам.

Далее он развивает свою мысль с помощью доводов, еще лучше освещающих политическую сторону его миросозерцания. Народ не имеет возможности пользоваться политической свободой, так как во всех странах большинство его безграмотно. С какой же стати будет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество осуждают его на полное непонимание государственных дел. С какой же стати будет он интересоваться парламентскими прениями? Чернышевский категорически утверждает, что „нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма“. Вот почему либерализм везде бессилен.

Это те самые положения, с которыми на каждом шагу встречается человек, изучающий историю утопического социализма. Утопический социализм никогда не мог разрешить ту антиномию, первая половина которой гласит, что народная масса, по своей бедности и по своему невежеству, не может интересоваться политикой, а вторая констатирует, что все серьезные политические преобразования совершались лишь при серьезной поддержке со стороны народной массы. Поэтому ни один из основателей утопических систем не имел политической программы. По той же причине практические планы социалистов-утопистов никогда не обладали широким—национальным, как говорят теперь на Западе—характером: все они сводились к основанию частными средствами земледельческих колоний, производительных ассоциаций и т. п. Спустя совсем немного лет после появления статьи „Борьба партий во Франции“ европейский пролетариат, в лице наиболее сознательных своих элементов, громко заявил, что смотрит на политическую борьбу как на средство для осуществления своих экономических целей. Первый же манифест Международного товарищества рабочих гласит, что „первый долг рабочего класса заключается в завоевании политического могущества“. Скажем больше. В то время, когда началась литературная деятельность Чернышевского, даже некоторые социалисты-утописты—например, некоторые французские ученики Фурье—поставили перед собой уже довольно определенные политические задачи. Но Чернышевский, как видно, еще не дал себе отчета в этом, тогда еще мало заметном, повороте социалистической мысли. Он продолжал смотреть на политику глазами человека, совершенно не верящего в политическую самодеятельность массы. Пока он считал возможным заставить русское правительство прислушаться к голосу „демократов“, он готов был совершенно игнорировать те стороны общественного быта, которыми Англия далеко пре-

восходит „нашу Сибирь“. А когда он убедился, что правительство останется глухо к доводам „демократов“,—к большой чести его приходится заметить, что он убедился в этом раньше всех остальных выдающихся публицистов того времени, например, Герцена и Бакунина,—тогда ему оставалось одно: обратиться к „действующей армии“ человечества, т. е. к интеллигенции.

Но, обращаясь к ней, он не мог не сознавать, что ее силы слишком слабы для непосредственного политического действия. Поэтому, когда ему приходилось заводить с нею разговор о политических вопросах,—преимущественно в „Политических обозрениях“, печатавшихся в том же „Современнике“,—он старался осветить эти вопросы гораздо больше с отвлеченной точки зрения теории, нежели с точки зрения непосредственной задачи минуты. И это нередко подавало повод к большим недоразумениям. Наши тогдашние либералы искренно считали его защитником абсолютизма.

Вот пример. В апреле 1862 г. Чернышевский, говоря о столкновении правительства с палатой депутатов в Пруссии, насмехается над прусскими либералами, наивно удивлявшимися, по его словам, тому, что правительство не делает им добровольных уступок. „Мы находим,—говорит он,—что прусскому правительству так и следовало поступить“. Наивный читатель, которого наш Чернышевский окрестил в своем романе „Что делать?“ именем проницательного читателя, недоумевал: как же это „следовало поступить?“ Стало быть, Чернышевский ополчается на защиту деспотизма? Но само собой понятно, что на защиту деспотизма Чернышевский никогда не ополчался, а только хотел воспользоваться прусскими событиями для сообщения более догадливым из своих читателей правильного взгляда на то главнейшее условие, от которого зависит в конечном счете исход всех крупных политических столкновений. А это условие заключается вот в чем.

„Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приводит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело немаловажно“.

Сила есть последняя инстанция во всех крупных исторических тяжбах. Это не значит, что всякий тяжущийся должен немедленно прибегать к силе. Но это значит, что всякий тяжущийся должен стараться увеличить свою силу. Так смотрел Чернышевский. И он был прав, говоря, что прусские либералы хотели, чтобы конституционный порядок утвердился сам собою. Они не только не прибегли к решительным действиям,—за это нельзя было бы их винить, так как при тогдашнем соотношении общественных сил такие действия, наверно, привели бы их к поражению,—но в принципе осуждали всякую мысль о таких действиях. А это значит, что они препятствовали такой перемене в соотношении общественных сил, которая позволила бы им прибегнуть к решительным действиям даже и в будущем. И этим ясно обнаруживается их политическая несостоятельность.

Замечательно, что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в „Современнике“, Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что германский агитатор, иногда теми же словами, что и Чернышевский, указывал на соотношение общественных сил, как на истинную основу политического строя каждого данного государства.

Отмечая это замечательное сходство, мы считаем, однако, нужным сказать и то, что взгляд Лассаля на „Сущность конституции“ далеко

не во всем совпадает со взглядом Чернышевского. Когда Лассаль определял понятие: „общественная сила“, он не довольствовался ссылкой на взгляды людей. Он анализировал те общественные причины, которыми определяется развитие этих взглядов, и в конце концов приходил к общественной экономике. Не то у Чернышевского. На вопрос: „что такое сила?“ он отвечал, что в теории сила дается логикою, а на практике она зависит от того, на чьей стороне большинство, которое живет рутиной и мысли которого представляют совсем не логическую связь взаимно противоречивых принципов. Вот почему в конституционных государствах власть принадлежит так называемым умеренным людям, т.-е. людям непоследовательного образа мыслей. Стало быть, анализ Чернышевского останавливается на образе мыслей людей, не углубляясь в те общественные причины, которыми он определяется. Чернышевский и тут не идет далее идеалистического принципа: „мнение правит миром“, между тем как Лассаль доходит до исторического материализма.

Когда Чернышевский еще верил в то, что правительство может последовать его указаниям, его публицистические статьи имели совершенно другой характер. Тогда ему нужно было раз‘яснять не общие принципы, а известные практические возможности. И он внимательно, почти педантично, рассматривал эти возможности. Так было, например, когда он обсуждал крестьянский вопрос и когда он взвешивал возможные на практике условия выкупа наделов. Тут он сразу предлагал иногда по нескольку, до мелочей разработанных, планов выкупа. Относящиеся сюда статьи его очень важны для характеристики приемов его мысли, напоминающих в этом случае приемы мысли Р. Оуэна, который тоже любил до мелочей разрабатывать свои практические планы.

Раз заговорив об относящихся к крестьянскому вопросу статьях Чернышевского, мы находим полезным напомнить читателю о знаменитых статьях в защиту общины. Самой замечательной из этих статей является блестящая статья „Критика философских предубеждений против общинного землевладения“. Обыкновенно она принимается как безусловная защита нашей крестьянской общины. Но это ошибка. В этой статье надо различать два элемента: во-первых, теоретические принципы, говорящие, по мнению Чернышевского, в пользу общественной собственности на все средства производства (а не на одну только землю); во-вторых, соображения, относящиеся к вероятной судьбе поземельной общины в России. Что касается общих принципов, то Чернышевский с большим жаром и с непоколебимым убеждением защищает их, опираясь на Гегеля, утверждавшего, что третья и конечная фаза развития походит на первую его фазу: первой фазой развития собственности был коммунизм диких народов; поэтому надо думать, что последней его фазой будет коммунизм, опирающийся на все приобретения цивилизации. Что же касается соображений о вероятной судьбе общины в России, то Чернышевский говорит о ней совершенно другим тоном, и уже в начале его статьи мы встречаем горькие, полные разочарования строки.

Это странное на первый взгляд обстоятельство об‘ясняется не силой доводов, выставленных его противниками, а причинами совершенно другого свойства.

„Предположим,—говорит Чернышевский, обращаясь к своему любимому способу об‘яснения посредством „парабол“,—предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется вам обед. Само собой разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам, и что приготовляемый из нее обед здоров и

выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?... Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость—вот мои чувства".

В этих горьких словах сказывается ясное сознание Чернышевским того, что его надежда на благоразумие правительства в деле решения крестьянского вопроса была совершенно не основательна. Земля доставалась крестьянам на таких тяжелых для них условиях, которые делали ее не источником их благосостояния, а, наоборот, новой тяготой для них. Поэтому Чернышевский считал бесполезным спорить о том, каковы будут у нас формы крестьянского землевладения. Более того. Он даже стал находить, что лучше было бы, если бы крестьян освободили совсем без земли. Это видно также из первой части романа „Пролог" („Пролог пролога"; разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским") [1]).

Чернышевский говорил о себе, что не принадлежит к числу людей, готовых жертвовать нынешними интересами народа ради будущих его интересов. И он говорил правду. Если он защищал общинное владение землею, то это происходило оттого, что оно уже в настоящее время было, по его мнению, выгодно крестьянам при наличности известных практических предпосылок, указанных выше его собственными словами. Но это не мешало ему смотреть на общину и с другой стороны, а именно—видеть в ней такую форму экономического быта, которая облегчит распространение между крестьянами социалистических идей.

„Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности... Не легко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничной полноте частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина" (Соч. III, 183).

Взгляд на общину как на учреждение, приучающее к ассоциации, привел Чернышевского в начале его деятельности к некоторому сближению со славянофилами. Сочувственное отношение славянофилов к общине ставило их во мнении Чернышевского „выше многих и самых серьезных западников". Так было тогда, когда он еще надеялся, что община может быть поставлена в условия, благоприятные для ее развития. Когда он потерял эту надежду, тогда его взгляд на русскую поземельную общину сделался гораздо более скептическим. Тогда же изменилось и его отношение к славянофилам, против которых он стал выступать с большой резкостью, как это было, например, в статье „Народная бестолковость", напечатанной в X кн. „Современника" за

---

[1]) Мы обращаем на это обстоятельство внимание тех историков нашей публицистики, которые хотели бы сделать из Чернышевского родоначальника народников.

1861 г., или в статье „О причинах падения Рима (подражание Монтескье)“ („Современник“, 1861 г., кн. V). В этой статье,—в которой есть несомненные полемические выпады против Герцена с его полуславянофильским взглядом на будущее крестьянской России,—он говорит, что хотя община могла бы принести известную долю пользы в дальнейшем развитии нашей страны, однако, смешно гордиться ею перед Западом, потому что она все-таки есть признак нашей экономической отсталости.

Чем больше разочаровывался Чернышевский в возможности непосредственного влияния на экономические отношения современной ему России, тем более литературная деятельность его направлялась на пропаганду общих принципов социализма. Мы уже говорили, что его мысль оставалась в пределах того, что называется утопическим социализмом. Теперь пора подробнее остановиться на этом.

IX.

Эпитет утопический отнюдь не имеет под нашим пером смысла порицания. Он просто обозначает у нас ту точку зрения, с которой социализм смотрел на общественную жизнь в первой фазе своего развития. Эта его точка зрения стала неудовлетворительной с тех пор, как он перешел, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрения науки. Но в свое время утопический социализм оказал огромные услуги делу развития общественной мысли, и в числе его представителей мы встречаем поистине гениальных людей, например, Сэн-Симона, Фурье и Р. Оуэна.

Утопический социализм был идеалистичен, между тем как в основе научного социализма лежит материалистический взгляд на общественную жизнь. Социалисты-утописты были, подобно французским просветителям XVIII века, убеждены, что „мнение правит миром“; научный социализм подверг своему исследованию те общественные экономические причины, от которых зависит развитие „мнения“. Ручательство за осуществление своего идеала социалисты-утописты видели в отвлеченной правильности и красоте этого идеала; научный социализм ищет такого ручательства в экономической необходимости.

Общественно-исторические взгляды Чернышевского достаточно известны читателю для того, чтобы он без труда понял, почему мы называем социализм нашего автора утопическим. Во всех своих социалистических рассуждениях Чернышевский всегда стоял на точке зрения исторического идеализма. Если он был твердо убежден в будущем торжестве социализма, то единственно потому, что, по его мнению, отсталая масса населения должна была рано или поздно нагнать „действующую армию“ человечества, т.-е. интеллигенцию, додумавшуюся до социалистического идеала. В деле осуществления этого идеала главная роль опять принадлежала интеллигенции. Чернышевский очень мало рассчитывал на самодеятельность пролетариата, который, впрочем, сливался в его представлении о нем с общей массой „простолюдинов“.

Правда, Чернышевский относился довольно отрицательно к некоторым представителям утопического социализма, например, к сен-симонистам (см. статью „Процесс Менильмонтанского семейства“, „Современник“, 1860 г., кн. V). Но в его критике сен-симонизма яснее, чем где-либо, обнаруживается идеалистический характер его собственных социалистических взглядов. Сен-симонисты были, по его мнению, фантазерами, даже и не подозревавшими, что экономический расчет является главным двигателем в истории. Нам уже известно, как тесно связано было это представление о роли экономического расчета с историческим идеализмом нашего великого просветителя.

Чем абстрактнее была социалистическая точка зрения Чернышевскаго, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социалистической системы и защищать только то, что составляло общее содержание всех этих систем. И тем естественнее было для него с одинаковым сочувствием относиться к практическим планам различных социалистических писателей. Так, в статье „Капитал и труд“ он изложил план Луи-Блана. Главной особенностью этого плана явилось в изложении Чернышевского то обстоятельство, что его осуществление не стеснило бы ни чьей свободы: „кто чем хочет, тот тем и занимается“ (Соч. т. VI, 47); „живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и, кроме обыкновенной платы, получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда“ (там же, 49). А в другом месте он поясняет, отчего ему „вздумалось взять в пример Луи-Блана“. Он говорит: „Мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому что оригинального в них мало“ (Соч. VII, 64).

В статье „Капитал и труд“ он называет план Луи-Блана „собственным“ планом.

В другом случае он. как видим, мог бы применить то же название к плану какого-нибудь другого социалиста. Ему, как уже сказано, было важно не то, что составляло особенность того или другого из этих планов, а то, что принадлежало им всем: отрицательное отношение к существующему экономическому порядку и убеждение в том, что возможен экономический строй, основанный на товарищеском труде работников. Конечно, по характеру своего ума, в котором преобладала рассудочность, он склонен был более очувствовать тем из великих основателей социалистических школ, которые меньше поддавались увлечениям фантазии. Так, например, Р. Оуэн был, несомненно, ближе к нему, нежели Фурье; однако, у Фурье он тоже заимствовал очень много.

При своем трезвом уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности Чернышевский не мог принадлежать к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество приняло целиком их построения, и пренебрегают всеми частными реформами. Таковы анархисты. Чернышевский не походил на них. „Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение действительности, — говорит он, — значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями“. Он утверждал, что у людей, склонных к таким „потехам“, „дело кончается большею частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала они опускаются так, что уже вовсе не имеют перед собой никакого идеала“.

При всем том остается неоспоримым, что программа желательных для Чернышевского частных реформ отличалась довольно большой неопределенностью. В общем можно, однако, сказать, что так как идеалом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он всегда был готов поддерживать все, в чем видел хотя бы намек на принцип ассоциации. Известно, что устройством ассоциации занимается и Вера Павловна в романе „Что делать?“. Первый муж ее, Лопухов, горячо хвалит ее за это: „Мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом и раньше всех решилась приняться за дело“. Очевидно, что устройство ассоциации и было тем практическим делом, о котором „говорили“ и „думали“ в кружке Лопухова и его друзей.

Проповедь ассоциаций велась тогда одновременно в России и Германии. „Гласный ответ“ Лассаля — послуживший началом его агитации — появился

в 1863 г., когда Чернышевский писал свой роман „Что делать?“ Но у Лассаля план устройства ассоциаций предполагает политическую самодеятельность рабочего класса: завоевание им всеобщего избирательного права. У Чернышевского о политической самодеятельности пролетариата нет и речи. Почин дела и главное его ведение принадлежал интеллигенции — этой уже так хорошо знакомой нам „действующей армии“ человечества. Эта существенная разница об'ясняется, конечно, тем, что в социально-политическом отношении Россия была отсталой страной даже сравнительно с тогдашней Германией.

Выше было уже замечено нами, что Чернышевский отстаивал общинное землевладение, между прочим, и с точки зрения большей легкости устройства в России ассоциаций.

Насколько нам известно, сам Чернышевский никогда не приступал к устройству таких ассоциаций. Но зато тем энергичнее он вел литературную пропаганду принципов, которые должны были лечь в основу товарищеского труда производителей. Блестящий полемист, он горячо отстаивал эти принципы в спорах с „экономистами отсталой школы“. Об экономистах этой школы он говорил, что каждый из них „скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры“, нежели сказать, что в том или другом социалистическом плане нет ничего слишком дурного или неудобоисполнимого. С своей стороны, Чернышевский хотел показать, что принципы, общие всем социалистическим системам, и хороши, и удобоисполнимы. С этой целью была написана им статья „Капитал и труд“. И с этой же целью он переводил и комментировал „Основания политической экономии“ Дж. Ст. Милля.

В предисловии к своему переводу этого сочинения он писал:

„Книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом. Переводя это произведение, мы хотим дать читателю доказательство, что большая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее, сочиненным нынешними французскими, так называемыми, экономистами по внушению трусости“ (Соч. т. VII, стр. 1).

Имея в виду эту специальную цель, Чернышевский не раз утверждал в своих знаменитых примечаниях к сочинению Милля, что он только „повторяет слова“ английского экономиста и если в чем-либо расходится с ним, то лишь в выводах, вытекающих из основных положений экономической теории, а не в том, что касается самих этих положений. Это могло быть удобным в виду специальной — преимущественно публицистической — цели нашего автора; но это оказалось невыгодным для экономической теории. Чернышевский очень ошибся, приняв Дж. Ст. Милля за верного ученика Смита и Рикардо. Милль испытал на себе влияние вульгарных английских экономистов и никак не мог разобраться в основных понятиях политической экономии. Его книга была большим шагом назад в сравнении с „Основаниями политической экономии“ Рикардо. Чернышевский лучше сделал бы, если бы перевел и комментировал это последнее сочинение. А еще лучше было бы, пожалуй, перевести и снабдить примечаниями книгу Уильяма Томпсона „An inquiry into the principles of the distribution of Wealth“, присоединив к ней „Лекцию о человеческом счастьи“ („Lecture on human happines“) Джона Грэя. Эти авторы были наиболее выдающимися между теми английскими социалистами двадцатых годов, которые, стоя на почве экономической теории Рикардо, делали из этой теории „эгалитарные“, как выразился о них Маркс, выводы. Едва ли можно сомневаться в том, что знакомство с

английскими экономистами этой школы было бы полезнее для русских читателей и, даже, привело бы к устранению многих из неясностей, свойственных экономическим взглядам нашего автора.

Не имея никакой возможности вдаваться здесь в подробное изложение и критику этих взглядов [1]), мы заметим, что наш автор оставался утопистом и в своих экономических рассуждениях. Различные исторические формы экономического быта рассматривались им, как и всеми социалистами утопического периода, не с точки зрения собственной логики их развития, а с отвлеченной точки зрения их соответствия или несоответствия социалистическому идеалу. Происхождение всех этих форм — очень неудовлетворительных, разумеется, с точки зрения идеала — относилось им на счет разного рода исторических случайностей и, главным образом, на счет завоевания. Так как он считал их несогласными с „требованиями экономической науки“, то он не придавал большой цены их внимательному изучению. Исторический метод в экономической науке, знакомой ему лишь по трудам В. Рошера и других таких же окаменелостей, казался ему плодом теоретической реакции против освободительных стремлений пролетариата. Чернышевский противопоставлял ему свой собственный метод, носивший у него название гипотетического. „Гипотетический метод“ состоит в том, что при исследовании того или иного экономического явления берется такое „гипотетическое“ общество, в котором это явление выступает с наибольшей выпуклостью. Задача исследователя, бесспорно, упрощается, а следовательно и облегчается таким приемом. Но упрощение задачи необходимо вносит в нее элемент ошибки, так как явление изучается не при тех условиях, в которых оно существует на самом деле, а при тех, в которые ставит его „гипотеза“ исследователя. Этот элемент ошибки вообще дает себя чувствовать в работах Чернышевского по теоретической экономии. Но едва ли не с наибольшей силой сказался он в его знаменитом и по своему чрезвычайно остроумном разборе „Мальтусовой теоремы“.

Главная задача исследователя и здесь заключалась для Чернышевского не в изучении того, что было и что есть, а в указании того, что должно быть, при чем то, что должно быть, выводилось им не из того, что было и что есть, а из того, что подсказывалось отвлеченными требованиями идеала. В заключительных строках своих „Очерков из политической экономии“ он сожалеет о том, что в очерки эти не вошла та часть, которая кажется ему самой важной, т.-е. изложение главных отличительных черт будущего общественного устройства. Этим достаточно характеризуется его общая точка зрения в политической экономии.

Чернышевский считал главной заслугой Гегеля то, что он, следуя своему диалектическому методу, чуждался абстракций. „Все зависит от обстоятельств времени и места“ говорит по этому поводу наш автор. Надо признать, что его „гипотетический“ метод слишком часто заставлял его забывать это золотое правило и довольствоваться абстракциями.

Но при всех своих неоспоримых недостатках, экономические исследования нашего автора имели огромное значение в истории нашей общественной мысли. Они обратили на „социальный вопрос“ внимание нашей, преимущественно разночинной, интеллигенции и приучили ее рассматривать этот вопрос с точки зрения интересов народа. Уже одно это должно быть признано огромной заслугой. Но это далеко не главная заслуга Чернышевского.

---

[1]) Это сделано нами во второй части указанной выше книги нашей о Чернышевском.

Главная заслуга его заключается в том, что его теоретическая мысль работала в том самом направлении, в каком совершалась главная работа передовой общественной мысли Запада. Правда, общая отсталость России и неблагоприятно осложнившиеся условия его собственной жизни привели к тому, что его мысль отставала в своем движении от передовой западноевропейской мысли. Он явился у нас проповедником философии Фейербаха в то время, когда на Западе логическое развитие этой философии уже привело к появлению научного миросозерцания Маркса и Энгельса. Но до тех пор, пока это миросозерцание оставалось неизвестным в России, взгляды Чернышевского являлись самым важным приобретением русской философской и общественной мысли. И поскольку эта мысль отказывалась от этого своего приобретения, как она сделала это в лице П. Лаврова и его последователей, постольку она шла назад в своем развитии. В настоящее время взгляды Чернышевского должны считаться „превзойденной ступенью". Но его нельзя было „превзойти" иначе, как развивая дальше основные положения его собственного миросозерцания. Плодотворная критика Чернышевского возможна лишь с точки зрения Маркса, прошедшего ту же самую школу, в которой с огромным успехом учился автор примечаний к Миллю — школу Гегеля и Фейербаха.

„Освобождение“ крестьян.

(Справка к 50-летию).

По жизни помещичьей
Звонят!... Ой, жизнь широкая!
Прости — прощай на век!
Прощай и Русь помещичья!
Теперь не та уж Русь!
. . . .
. . . .
Порвалась цепь великая,
Порвалась, расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..
Некрасов.
(„Кому на Руси жить хорошо“).

— Не только в истории России, но и в летописях всемирной истории,—говорит покойный Джаншиев,—немного найдется дней, с которыми соединялось бы такое радостное, бодрящее и возвышающее душу настроение, как с незабвенным днем 5 марта 1861 года“ [1]).

С другой стороны, Н. Г. Чернышевский уже в своей статье: „Критика философских предубеждений против общинного землевладения“, напечатанной в декабрьской книжке „Современника“ за 1858 г., обнаружил полное разочарование в крестьянской реформе. Он говорил, что ему совестно вспоминать о той безвременной самоуверенности, с которой он поднял спор об общинном землевладении. И он следующим образом об‘яснял „как мог“ (т.-е. насколько позволяла цензура), причину своего стыда.

Общинное землевладение было ему дорого, „как высшая гарантия благосостояния“ освобождаемых крестьян. Но в этом своем качестве гарантии, общинное землевладение получило бы практический смысл только в том случае, если бы находились на лицо два условия:

„Во первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ея получения. Примеры малой выгодности ее при противном условии часто встречаются у нас по дворянским имениям, обремененным долгами. Бывают случаи, когда наследник отказывается от получения огромнаго количества десятин, достающихся ему после какого-нибудь родственника, потому что долговые обязательства, лежащие на земле, почти равняются не одной только ренте, но и вообще всей сумме доходов, доставляемых поместьем. Он рассчитывает,

---

[1]) Гр. Джаншиев. Эпоха Великих Реформ. Исторические справки. Спб. 1905 г., стр. 3.

что излишек, остающийся за уплатою долговых обязательств, не стоит хлопот и других неприятностей, приносимых владением и управлением. Потому, когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою, если он находит выгодным для себя ввод во владение. Только при соблюдении этого второго условия, люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получение ренты" [1]).

Но эти два условия отсутствовали; „ввод во владение" освобождаемых крестьян становился новым источником крестьянского разорения. Поэтому вопрос о том, будет ли применен общинный принцип к убыточному для крестьян владению землею, утрачивал всякую важность для великого публициста 60-х гг. И это отнюдь не было его минутным настроением. В романе „Пролог", написанном уже в Сибири, Волгин (т.-е. тот же Чернышевский. Г. П.), в беседе с Небельзиным, высказав ту мысль, что февральская революция во Франции совершилась слишком рано, прибавляет:

„Так вот оно и у нас. Толкуют: „освободить крестьян". Где силы на такое дело? — Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что выйдет? — Сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать. Натурально что: испортишь дело, выйдет мерзость... Эх, наши господа эмансипаторы, все эти наши Рязанцевы с компаниею! — вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то?.." [2]).

В другом месте того же романа Волгин утверждает, что крестьянам выгоднее было бы, если бы их освободили совсем без земли, именно потому, что тогда им легче было бы приобретать землю. Выходит, стало быть, что взгляд Чернышевского на „освобождение" крестьян прямо противоположен взгляду Джаншиева: один видит испорченное дело и даже прямо „мерзость" там, где другой, вместе с проф. Никитенком, видит самое отрадное событие во всей тысячелетней истории России [3]). На чьей же стороне истина? Или, если оба заблуждаются — это иногда бывает, — то все-таки кто же меньше удалился от истины, — либерал старой школы или социалист до-марксовой эпохи?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо выяснить свое собственное отношение к „освобождению" крестьян. А для этого следует прежде всего привести в ясность, от чего же именно их „освобождали".

I.

Освобождали крестьян от крепостной зависимости по отношению к помещикам. Как же она возникла?

Киевская Русь не знала крепостного права, хотя знала рабовладение. Проф. В. Ключевский говорит, что экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII в.в. держалось на рабовладении, которое достигло там громадных размеров [4]). Это свое мнение почтенный профессор основывает на том, что „русский купец того времени всюду неизменно является с главным своим товаром — с челядью" [5]). Мне кажется, что это обстоятельство еще не подтверждает мнения г. Ключевского во всей его полноте. На низших ступенях

[1]) Сочинения Н. Г. Чернышевского Спб., 1906 г., т. IV, стр. 306—307.
[2]) Соч., т. X, ч. I, разд. 2-ой, стр. 91.
[3]) Джаншиев, назв. соч., 4.
[4]) Курс Русской Истории. Часть 1, изд. 3-ье, стр. 338.
[5]) Там же, та же стр.

экономического развития, вследствие господства так наз. натурального хозяйства, торговцы „всюду неизменно являются" только с предметами роскоши. А на предметах роскоши никакая страна не может основать свое экономическое благосостояние. Роскошь есть следствие благосостояния известного класса, а не основа его. Но как бы там ни было, несомненно, что рабовладение было значительно распространено в Киевской Руси. Проф. В. Ключевский утверждает, что челядь (тогдашнее название рабов) составляла необходимую хозяйственную принадлежность частного землевладения того времени. „Отсюда можно заключить, — продолжает он, — что самая идея о праве собственности на землю, о возможности владеть землею, как всякою другою вещью, вытекла из рабовладения, была развитием мысли о праве собственности на холопа. Эта земля моя, потому что мои люди, ее обрабатывающие: таков был, кажется, диалектический процесс, которым сложилась у нас юридическая идея о праве земельной собственности" [1]). Здесь заключение тоже значительно шире, нежели факт, положенный в его основу. „Развитием мысли о праве собственности на холопа" могла явиться только идея о праве частной собственности на землю. Но такая собственность вовсе не есть единственный возможный вид поземельной собственности. Известно, что появлению частной собственности на землю предшествовало существование родового землевладения [2]). Родовой союз, по организации своей, был, вероятно, похож на сербскую задругу; члены такого союза владели землей и обрабатывали ее сообща. Мало-по-малу родовой союз разлагается, и на его развалинах возникает мелкое частное землевладение, довольно быстро ведущее к значительному неравенству в распределении земли. И. Энгельман признает несомненным, что в древней Руси „масса населения жила на своей земле". Он делает при этом такую оговорку: „Конечно, понятие о праве поземельной собственности еще не было установлено со всею юридическою определенностью, право на землю являлось в виде права владения" [3]). Но это само собою разумеется и нимало не колеблет правильности той мысли, что в древней Руси, как и везде, общинное землевладение в его первоначальном виде, — т.-е. в виде родового землевладения, а не в виде сельской общины с пределами,—предшествовало крупному землевладению.

В Киевской Руси, с разложением родового быта, возникло частное мелкое землевладение, т.-е. собственно частное владение пахотной землей, дополнявшееся общинным владением угодьями [4]). Проф. М. К. Любавский так изобра-

---

[1]) Там же, стр. 340.

[2]) „Итак, род, представляющий совокупность нескольких нераздельных семей, имеющий своего старшину и свое собрание (указание на последнее содержат в себе византийские писатели)—такова форма общественных отношений, с которой начинается засвидетельствованная памятниками история славян и их права". (Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. Проф. М. Ковалевскаго. 1905 г., стр. 80).

[3]) И. Энгельман. История крепостного права в России. Москва, 1900, стр. 5.

[4]) „Общинного землевладения в тесном смысле слова, с периодическими переделами, в нашей средневековой волости не было, как и в однородной с нею марке. Волощане владели землею, как собственностью, с правом распоряжения; об этом свидетельствует множество купчих, закладных и раздельных грамот между наследниками на различные участки волостных земель. Но с этим частным землевладением в волости, также как в марке, соединялось землевладение общинное. Значительная часть угодий состояла в общинном владении и пользовании наравне с германской альтендой. В общинном владении состояли также и всякие, покинутые собственниками, участки, так называемые пустоши. Волостная община свободно распоряжалась такими угодьями и пустошами". (Н. П. Сильванский. Феодализм в древней Руси. Спб., 1907. Стр. 52). См. в посмертном изд. его Сочинений, т. III, стр. 58 и след.

жает положение в Киевской Руси того общественного слоя, из которого развилось впоследствии так названное в Московской (но не в Литовской) Руси крестьянство.

„Первоначально, в древние времена Киевской Руси, предки крестьян— люди, или смерды — выступают не только в качестве земледельцев и промышленников, но и в качестве свободных, самостоятельных землевладельцев. Наряду с князьями, их „мужами“, или боярами, и церковными учреждениями смерды являются обладателями „сел“, т.-е. хозяйственных усадеб с пахотными землями и разными угодьями. Об этом прямо говорит нам современник летописец“ [1]).

II.

Я потому останавливаюсь на этом историческом вопросе, что он тесно связан с тем практическим вопросом, который выростал перед нашими общественными деятелями всякий раз, когда они задумывались над уничтожением крепостного права: кому принадлежит та земля, на которой сидит „крещеная собственность“ помещиков? Допуская, что крупная поземельная собственность, основанная на рабовладении, предшествовала у нас всем другим видам поземельной собственности, весьма естественно предположить, что крестьяне, которые стали впоследствии оседать в барских вотчинах, всегда были бродячими безземельными батраками; а раз приняв это предложение, необходимо признать, что те земли, которые находились в пользовании крестьян, всегда составляли собственность помещиков, и что освобождение крестьян должно свестись к простому восстановлению некогда принадлежавшего им, но впоследствии отнятого у них права перехода от одного землевладельца к другому. Известно, что так смотрели на этот вопрос, напр., даже некоторые декабристы [2]). Известно также, что сами крестьяне никогда не разделяли этого взгляда. Они упрямо повторяли помещикам: „Мы—ваши, а земля—наша“. Рассмотрением этого коренного вопр са должно начинаться всякое серьезное исследование об освобождении крестьян.

К сожалению, этот коренной вопрос до сих пор еще недостаточно разработан нашими историками. Я только что привел мнение проф. В. О. Ключевского о землевладении в Киевской Руси. О крестьянах Московской Руси тот же историк говорит:

„Крестьяне всюду жили на чужих землях, церковных, служилых либо государственных; даже сидя на черных землях, не составлявших ничьей частной собственности, крестьяне не считали этих земель своими. Про такие земли крестьянин XVI века, говорил: „та земля великого князя, а моего владенья“; „та земля Божья да государева, а роспаши и ржи наши“. Итак, черные крестьяне очень ясно отличали право собственности на землю от права пользования ею. Значит, по своему поземельному положению, т.-е. по юридическому и хозяйственному отношению к земле крестьянин XVI века был безземельным хлебопашцем, работавшим на чужой земле“ [3]).

Несколько ниже тот же самый взгляд выражается более кратко, но еще более выпукло:

---

[1]) Статья проф. М. К. Любавского: „Начало закрепощения крестьян“ в юбилейном издании „Великая Реформа“. Том I, стр. 1.

[2]) См. „Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века“. В. И. Семевского. Спб., 1888. Т. I, стр. 508 и 509.—Ср. статью того же автора: „Декабристы и крестьянский вопрос“ в сборнике „Великая Реформа“, т. II, стр. 188.

[3]) Цит. соч., часть 2, стр. 369.

„Итак, крестьяне XVI века по отношениям своим к землевладельцам были вольными и перехожими арендаторами чужой земли, государевой, церковной или служилой“ [1]).

А. И. Никитский совершенно так же характеризует положение землевладельцев в Великом Новгороде, область которого занимала, как известно, огромную площадь на севере и северо-востоке нынешней России.

„Что же касается до землевладельцев собственно, то все данные говорят в пользу того заключения, что они совсем не знали никакой поземельной собственности. Как бы разнообразно ни назывались в Новгородской земле земледельцы,—смердами ли, половниками, сиротами или крестьянами, отличительной чертой их было отсутствие поземельной собственности“ [2]).

Если это правда, если отличительной чертой земледельцев Новгородской земли было отсутствие у них поземельной собственности, и если так же обстояло дело в Московской Руси XVI века, то нельзя не признать, что и там, и здесь безземельное освобождение крестьян отнюдь не было бы нарушением исторических прав земледельческого класса. Но правда ли это?

Что касается Новгородской земли, то сам А. И. Никитский дал себе труд уверить нас в том, что отсутствие поземельной собственности вовсе не было там отличительной чертой земледельцев. Несколько ниже только что приведенного мною места он оговаривается: „Впрочем, было бы несправедливо думать, что... самостоятельное крестьянское землевладение... исчезло совершенно. Оно не только не исчезло, но продолжало образовывать все еще заметную величину [3]). И он указывает на причины, которые сокращали число крестьян-собственников в Великом Новгороде: естественные бедствия, хлебные недороды, падеж скота, обременительные общественные тягости и поборы [4]). Ясно, значит, что было время, когда в Новгородской земле существовал класс независимых мелких землевладельцев-земледельцев. Численность этого класса уменьшалась вследствие неблагоприятных условий, однако, он не исчез вплоть до московского завоевания. Когда Московский великий князь наложил свою тяжелую руку на Новгородскую землю, он, конечно, установил там московские поземельные порядки.

III.

Падение политической независимости Новгорода весьма неблагоприятно отразилось на судьбе его мелких землевладельцев.

„Так как в Москве знали только служилых людей и крестьян,—говорит Энгельман,—а на севере не было служилых людей, то мелких земельных собственников приравняли к крестьянам и обложили их крестьянскими данями и повинностями, причем, ради простоты и однообразия, их платежи были определены в том же размере, в каком их платили великокняжеские половники. То обстоятельство, что эти крестьяне сидели на собственной земле, не было принято во внимание; в Московском княжестве никто не владел землею, кроме служилых людей, а порядки, не похожие на московские, московское правительство никогда не признавало законами“ [5]).

---

[1]) Там же, стр. 372.

[2]) История экономического быта Великого Новгорода. Москва, 1893 г., стр. 41.

[3]) Там же, стр. 44.

[4]) Там же, та же стр.

[5]) И. Энгельман. Цит. соч., стр. 14. Водворение в завоеванной земле московских порядков носило тогда чрезвычайно выразительное название в ы н и м а н и я и з з е м л и д у ш и. (Энгельман, там же, стр. 13).

Вот эти то порядки, состоявшие в том, что в Московском княжестве никто не владел землей, кроме великого князя, служилых людей и духовенства, и выражаются в словах проф. Ключевского о том, что в XVI веке крестьяне Московской Руси были вольными и перехожими арендаторами чужой земли. Когда у крестьян отняли их собственную землю, то им, конечно, ничего другого не оставалось, как пристраиваться на чужой. Но совершенно неоспоримо, что указанный проф. Ключевским род крестьянской „вольности“ был простым и неизбежным следствием их экспроприации. Повидимому, нельзя сомневаться, что он довольно рано закончился на русском северо-востоке. Изображая этот процесс, проф. Любавский говорит:

„В конце концов все крестьяне из самостоятельных землевладельцев превратились в пользователей, арендаторов чужой земли: либо княжеской государственной, либо княжеской дворцовой, либо боярской, либо церковной. Такое положение в XIV веке можно считать уже установившимся, определившимся фактом, по крайней мере, для центрального ростово-суздальского района северо-восточной Руси“ [1]).

Тут можно заметить одно. Выражение: „арендаторы чужой земли“ неудобно прежде всего в том смысле, что оно вызывает в уме современного читателя представление о таких имущественных отношениях, которые свойственны нынешнему буржуазному обществу, а не „ростово-суздальской Руси“. Крестьяне того времени, конечно, смотрели на свое новое положение совсем не буржуазными глазами.

По мере того, как росли падавшие на них повинности, они покидали старые земли, бывшие некогда их собственностью,— и селились на никем не занятых диких полях. Само собою разумеется, что они переходили на эти земли совсем не для того, чтобы „арендовать“ их. Они надеялись сделать их своими именно потому, что до тех пор они оставались „порозжими“. Но вслед за крестьянами являлся княжеский или царский чиновник, об'являвший вновь занятую землю „государевой“ и принимавший необходимые меры для закрепощения ее новых держателей. Крестьянин, стремившийся завладеть никому не принадлежавшей землею, снова и снова оказывался батраком, сидевшим на чужой земле. Таким образом, то отношение, которое изображается теперь, как отношение „арендатора чужой земли“ к ее собственнику, и на новых землях было зависимостью экспроприированных по отношению к экспроприаторам. А отсюда следует, что если процесс экспроприации крестьянина очень рано закончился в некоторых местностях северо-восточной Руси, то он снова и снова возникал в других ее местностях вместе с распространением власти московских государей.

Далее. Постоянный рост лежавших на крестьянской земле повинностей вел к тому, что те из крестьян, которые, оказавшись вынужденными покинуть свои старые гнезда, не находили „порозжих“ земель, или же не имели материальной возможности завести на них самостоятельное хозяйство, устраивались на различных договорных условиях в имениях более или менее крупных землевладельцев, светских или духовных. Это явление опять может быть изображено, как развитие крестьянской „аренды на чужой земле“ [2]). Но и его нельзя рассматривать с точки зрения нынешних имущественных отношений. При том же очевидно, что это явление было производным: крестьянин явился

---

[1]) Указан. статья, стр. 7.

[2]) Замечу гг. историкам, что арендовать можно именно только чужую землю. Политической экономии совершенно неизвестна такая категория, как арендатор своей собственной земли.

в виде „свободного арендатора чужой земли“ лишь после того, как попечительное государство лишило его возможности оставаться на земле, которая была некогда его собственной.

IV.

Сошлюсь на страну, которая была по меньшей мере столь же русской, как и Московская Русь. Я имею в виду Русь Литовскую. М. Ф. Владимирский-Буданов говорит, что тяглецы, составлявшие главный земледельческий класс в литовско-русском государстве, считались коренными владельцами своей земли—отчичами. Повинности, лежавшие па тяглецах, отнюдь не означали, по словам названного историка, что люди эти или их имущество составляют частную собственность казны или панов, совершенно так же, как „отчины“ служилого класса, обложенные военной службою, еще не были, вследствие этого обложения, собственностью великого князя. „Земля, занятая крестьянами,—говорит М. Ф. Владимирский-Буданов,—не есть земля казенная или панская, лишь арендуемая крестьянами на срок; повинности, которыми они обязаны и подати, которые они уплачивают казне или пану, не составляют арендной платы, а суть повинности в обоих случаях государственно-частные. Земля составляет вечное и потомственное владение крестьян“ [1]).

Западно-русский крестьянин очень хорошо сознает свое право на землю. Он называет свое владение своею отчизною или купленною, смотря по тому, каким путем она ему досталась. По замечанию М. В. Владимирского-Буданова, теми же самыми терминами обозначалось право собственности вообще всех других лиц в государстве [2]). Крестьянин ничем не отличался от всех других лиц в праве распоряжения своей землею. „Как на государственных, так и на частных землях,—продолжает тот же исследователь,—крестьянам принадлежали все те права приобретения и распоряжения имуществами, какие вообще были тогда доступны частным лицам... А именно: им принадлежало право наследования законного и завещательного, которое, однако, подлежало контролю государства со стороны правильности отправления повинностей [3]); они приобретали земли через обработку (оккупацию, в древне-русском смысле этого понятия), через куплю, продажу и залог, как между лицами тяглого состояния, так и от лиц прочих состояний, через дарование от государства (центральной и провинциальной властей). Столь же обширны были и права распоряжения землею, принадлежавшие крестьянам; они могли продавать свои участки как лицам тяглого состояния, так и лицам других сословий; могли сдавать и менять; могли отдавать в заставу; крестьянские участки могли итти в удовлетворение по их частным обязательствам; все упомянутые права подлежат обыкновенным тогдашним ограничениям, истекающим из повинностного характера всех имуществ; все права пользования (сдача земель в наем, т. е. аренда) принадлежат крестьянам без ограничений“ [4]).

После этого трудно, кажется, оставаться в каком-нибудь сомнении насчет того, были ли некогда западно-русские крестьяне собственниками обра-

---

[1]) Очерки из истории литовско-русского права. III. „Крестьянское землевладение в западной России до половины XVI века“. Киев, 1893 года, стр. 26.

[2]) Там же, стр. 27.

[3]) Надо заметить, что подобному же контролю подлежало и право наследования служилого сословия. М. Ф. Влад.-Буданов находит даже, что государство больше ограничивало права этого последнего, нежели права крестьян. Г. П.

[4]) Там же, стр. 30—31. Ср. также М. Довнар-Запольского: „Очерки по организации западно-русского крестьянства в XVI веке“. Киев, 1905 г., стр. 136 и след.

батываемой ими земли: ясно, что—были. Проф. Владимирский-Буданов указывает и на ту эпоху, когда начался постепенный процесс экспроприации западно-русских крестьян. Этой эпохой был XVI век. В 1539 г. гродненский подстароста заявил в своем приговоре по поводу всегда практиковавшейся прежде продажи земли одним крестьянином другому, что „мужик простый не мает моцы земли господарской (т.-е. велико-княжеской. Г. П.) обель продавати“ [1]). Стало быть, уже в первой половине XVI века высшее сословие литовско-русского государства начинает смотреть на крестьянскую землю, как на „господарскую“ собственность. Но в то время взгляд этот, по словам проф. Владимирского-Буданова, был еще далек от полного практического осуществления.

V.

Сказанное вполне достаточно для утверждения того, что ограничить освобождение крестьян восстановлением когда то милостиво предоставленного им права перехода от одного помещика к другому, значило увековечить ту экспроприацию, которой они подверглись со стороны государства, находившегося в руках высшего сословия. Известно, что в России освобождение крестьян не было их обезземелением. За ними осталась часть той земли, которая находилась в их пользовании при крепостном праве (другая часть отошла к помещикам: знаменитые „отрезки“). На этом основании некоторые публицисты, не в меру склонные к оптимизму, утверждали даже, что российский способ уничтожения крепостного права представляет собою нечто невиданное в истории. В других странах,—говорили эти публицисты,—крестьяне были освобождены без земли, а у нас они получили земельные наделы. Но это новое противопоставление России Западу есть не что иное, как чувствительный вздор на славянофильской подкладке.

Начать с того, что „гнилой Запад“ тоже очень хорошо знал освобождение крестьян с землею. Если несправедлива та легенда, согласно которой Великая революция создала во Франции мелкую земельную собственность, то еще более несправедливо было бы утверждать, что революция эта, без выкупа уничтожившая все феодальные повинности, обезземелила крестьянина. В Пруссии крестьянин тоже был освобожден с землею. Правда, там, как говорит Кнапп, крестьянам пришлось уступить значительную часть принадлежавшей к их дворам земли или принять на себя большие рентные долги. „Следовательно,—заключает он,—часть имущества всех крестьян, соответствующая разнице между их прежними повинностями и правами по отношению к господину, отошла в собственность помещиков“ [2]). Но этим трудно удивить русского человека, знающего, что нашим крестьянам пришлось не только уступить часть своего имущества помещикам, но кроме того, еще заплатить выкуп за землю, которую эти последние оставили в их распоряжении. В Австрии освобождение крестьян тоже не было куплено ценою их полного обезземеления. Не знала обезземеления и Бавария. Сказание об освобождении западного крестьянина без земли вполне применимо разве только в Англии. Значит и на Западе такое освобождение является исключением, а не правилом.

Это не все. Я уже сказал, что русским крестьянам пришлось при своем освобождении уступить своим бывшим господам часть своих земель, заплатив

---

[1]) Там же, стр. 62. Курсив автора.

[2]) „Освобождение крестьян на Западе и история поземельных отношений в Германии“. Статьи из Handwörterbuch der Staatwissenschaften. Москва, 1897, стр. 211.

им выкуп за остальные. Теперь я прибавлю, что отдать крестьянам лишь часть того, что им когда то принадлежало, значило узаконить их частичную экспроприацию. А заставить их заплатить выкуп за остальные земли, значило и на эти земли распространить экспроприацию, только придав ей другой вид.

Наконец, если противопоставление России Западу имеет здесь какой-нибудь смысл, то лишь в одном отношении: нигде выкуп, заплаченный крестьянами за свои земли, не был так несоразмерно высок, как в России. Русские крестьяне заплатили за свою землю значительно больше, чем она стоила. Но заставить человека заплатить за свою же собственность значительно больше, чем она стоит, значит возвести экспроприацию в квадрат. Наше пресловутое освобождение крестьян с землею породило в экономической жизни крестьянства такое явление, перед которым в недоумении развели бы руками решительно все экономисты лукавого Запада. Это вполне самобытное явление чрезвычайно ярко выразилось в следующем удивительном документе, опубликованном статистиком Орловым: „1874 года. Ноября 13. Я, нижеподписавшийся, Московской губернии, Волоколамского уезда, деревни Курвиной, дал сию росписку своему обществу крестьян деревни Курвиной в том, что я, Григорьев, отдаю в общественное пользование землею—надел на три души, за что я, Григорьев, обязываюсь уплачивать в год 21 руб. и означенные деньги должен высылать ежегодно к первому апреля, кроме паспортов, на которые я должен высылать особо, также на посылку оных, в чем и подписуюсь".

Вы видите: человек передает в распоряжение общества свою землю (надел на целых три души), „за что" и обязуется платить ему ежегодно 21 руб. Это, так сказать, отрицательная поземельная рента, составляющая минус столько то рублей. Я говорю: „столько то", а не 21 рубль потому, что приведенный мною документ увековечивал далеко не единичное явление. По расчету Орлова, в двенадцати уездах Московской губернии платежи, лежавшие на душевом наделе, равнялись в среднем 10 руб. 45 коп., тогда как средняя арендная цена тоже не превышала 3 руб. 60 коп. Стало быть рента владельца душевого надела составляла минус 6 руб. 85 коп. Добросовестный статистик старательно избегал всяких преувеличений. Он оговаривался: „Встречаются, конечно, и такие случаи, когда надел сдается по цене, окупающей лежащие на нем платежи, но такие случаи крайне редки, а потому их можно считать исключением, общим же правилом является большая или меньшая приплата к арендной цене надела" [1]). Так было в конце 70-х гг., когда развитие народного хозяйства и повышение доходности земли значительно подняло арендные цены. Как же велика была отрицательная рента „освобожденного" крестьянства раньше?! И заметьте, так было только в Московской губернии. Сопоставляя данные, собранные в XXII т. Трудов податной комиссии, с данными, заключающимися в докладе комиссии сельско-хозяйственной, г. Николай—он пришел в своем известном труде: „Очерки нашего пореформенного хозяйства" к такому выводу:

„Государственные и удельные крестьяне в 37 губерниях (не считая, след., западных) Европейской России платят из чистого дохода, даваемого землею, 92,75%, т.-е. на всякие нужды из земельного дохода им остается 7,25%. Платежи же бывших помещичьих крестьян по отношению к чистому доходу с их земли выражаются 198,25%,—т.-е. они не только отдают весь свой доход с земли, но должны еще приплачивать столько же из сторонних заработков".

---

[1]) „Сборник статистических сведений по Московской губ.", отдел хозяйственной статистики, т. IV, вып. I. Москва. 1879, стр., 203—204.

Это средние выводы, стирающие краски с отдельных конкретных явлений. Поэтому я приведу несколько таких явлений в их чистом виде. По официальным сведениям Новгородской губернии „платежи с десятины земли для отдельных групп плательщиков, по отношению их к нормальному доходу с этих земель“, около того же времени составляли:

„С земель крестьян государственных 160%
„С земель крестьян-собственников:
бывших удельных 161%
„ помещичьих 180%
временно-обязанных 210%

„При неблагоприятных же условиях (как будто только что названные условия можно назвать благоприятными! Г. П.), т.-е. при дополнительных платежах с крестьян-собственников, при малых наделах и при высоких общих повинностях для временно-обязанных крестьян, платежи эти достигают:

„для выкупившихся крестьян до 275%
„для временно-обязанных до . . . . 565%“ [1]),

Вдумываясь в эти отдельныя цифры и в общие выводы, невольно вспоминаешь Н. Г. Чернышевского. Конечно, мы скажем теперь, как говорит у него Волгин: „Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него“. Говоря это, Волгин имел в виду либеральную интеллигенцию, которую он тут же обозвал хвастливой и глупой. Но, ведь, освобождала то крестьян вовсе не эта интеллигенция: она только „хлопотала“ вокруг освобождения.—Крепостное право отменено было людьми, имевшими весьма мало общего с либеральными интеллигентами. Мы сейчас увидим, что эти люди, с своей точки зрения, действовали довольно умно. А пока заметим, что заслуживает величайшего удивления и уважения проницательность нашего великого публициста, уже в конце 1858 г. хорошо понявшего, как неблагоприятны были те условия, при которых русский крестьянин становился „освобожденным землевладельцем“.

VI.

Теперь посмотрим, как сложились те общественные отношения, которые определили собою „ход и исход“ крестьянского освобождения. Для этого нам надо восстановить в своей памяти еще некоторые другие черты того процесса, который привел к возникновению крепостного права в России.

Я сказал, что Киевская Русь не знала крепостного права, хотя знала рабовладение. Рабовладение перешло как в Литовскую Русь (невольная челядь, невольники), так и в Московское государство (холопы). Но в течение очень долгого времени законодательство и здесь, и там резко отличало крестьянина от раба. В великой России только Петр I вполне сравнял бесправие крестьян с бесправием холопов [2]). Но уже за долго до Петра великорусский

---

[1]) „Доклад Высочайше утвержденной комиссии для исследования нынешнего положения сельского хозяйства“, отд. III стр. 6.

[2]) В Литве статут 1588 г. (III, ст. XII, 21) постановляет: „Невольники вперед не мают быти з инъших причин, одно полоненики“, всю же остальную „челядь невольную“, а также и детей полоненииков он предписывает осаживать на землях, и они должны „розумены быти за отчичов“, т.-е. они переходят в разряд крепостных (И. И. Лаппо. Великое Княжество Литовское за время от заключения люблинской унии до см. Ст. Батория (1569—1586). Т. I. Спб., 1901. стр. 443). И. И. Лаппо замечает, что „невольники“ встречаются на Литве и в XVIII в.

крестьянин попал в тяжелую зависимость от помещика. Много спорили о том, существовал ли в действительности тот указ 1592 г., к которому прежние историки приурочивали прикрепление великорусского крестьянства. Вернее, что не существовал. Но нам известен указ 1597 г., запрещающий помещикам возвращать себе крестьян, бежавших от них за пять и более лет до него. Этот указ представляет собою важное свидетельство в пользу той мысли, что в конце XVI в., по крайней мере часть великорусских крестьян была de facto „крепка“ помещикам.

Так как из борьбы Литвы с Москвою победительницей вышла, в конце концов, эта последняя, и так как великорусская победительница, прорубив „окно в Европу“ и превратившись в Российскую империю, мало-по-малу распространила свои порядки на все русские земли, за исключением восточной Галиции, то в последующем изложении я буду иметь преимущественно порядки Московского государства.

Как сказано выше, в этом государстве довольно рано совершилась экспроприация крестьян. Присвоив себе крестьянскую землю, государство и земледельцы должны были позаботиться о том, чтобы обеспечить себя рабочими руками. При тогдашних экономических условиях это возможно было только путем прикрепления крестьянина к земле. Проф. М. Любавский говорит—и у нас нет никакого основания сомневаться в правильности его слов,—что в этом отношении подали пример еще князья удельной эпохи. „В их договорных грамотах постоянно встречаем условие не перезывать и не принимать друг от друга людей, которые потягли к соцкому, тяглых или письменных. Точно также князья стали препятствовать и уходу своих тяглых людей в боярские и монастырские вотчины“ [1]. Оно и неудивительно. Развитие поместной системы в государстве естественно должно было вызывать новые и новые попытки к ограничению права перехода, обеспеченного за крестьянами даже судебником Ивана III [2]. Уже в середине XVI в.,—ровно за 40 лет до предполагаемого указа 1592 г., который будто бы сразу уничтожил свободу крестьянского перехода,—мы встречаем грамоты, вроде уставной Важской грамоты 1552 г., которая предоставляет посадским волостным людям „на пустые места дворовые на посаде и в станех и в волостех, в пустые деревни и на пустоши и на старые селища хрестьян из-за монастырей выводить назад бессрочно и беспошлинно и сажать их по старым деревням, где кто в которой деревни жил прежде того“. В жалованных грамотах Строганова 1564—1568 гг. запрещается принимать к себе „тяглых людей письменных“ и предписывается отсылать таких людей на прежние места жительства по требованию местных властей [3]. Параллельно с такими ограничительными распоряжениями действовала задолженность крестьян по отношению к помещикам. Арендуя „чужую“ землю (мы уже знаем, как сделалась она чужою), крестьянин брал у помещика известную ссуду, которую он непременно обязан был возвратить, если хотел воспользоваться своим правом перехода. Ссудная запись гласила, что если

---

[1]) „Великая реформа“, т. I, стр. 9.

[2]) По этому судебнику крестьянский переход ограничивался двумя неделями: неделей, предшествующей осеннему Юрьеву дню (26 ноября), и неделей, следующей за ним. В Псковской земле днем, к которому приурочивался крестьянский выход, было Филиппово заговенье (14 ноября).

[3]) М. Дьяконов. Очерки из ист. сельск. населения в Моск. государстве (XVI—XVII вв.), стр. 6—7, в XII вып. Летописи занятий археографической комиссии за 1895—1899 г.

И. Энгельман рассказывает, что „еще за 150 лет до общего запрещения крестьянских переходов, знаменитый Троицко-Сергиев монастырь получил привилегию не отпускать своих крестьян“ (стр. 55). Наше духовенство никогда себя не забывало.

крестьянин уйдет от помещика, не расплатившись с ним, то землевладелец может взыскать с него не только свою ссуду, но и неустойку „за убытки и за волокиту". Потом стало прибавляться новое условие: крестьянин говорил, что землевладелец может его отовсюду к себе взять. Таким образом ссуда мало-по-малу привела к обязательству „жить во крестьянстве вечно и никуды не сбежать". Ограничивая право крестьянского перехода, законодательство только давало юридическое выражение факту экономической зависимости [1]).

Не вдаваясь в подробности, которые были бы здесь неуместны отмечу лишь главнейшие этапы развития крепостного права. Уложение царя Алексея Михайловича признало крестьянскую крепость наследственной и распространило ее на всех членов семьи, между тем как прежде договор заключенный крестьянином с помещиком, был обязателен только для лица, заключившего этот договор, и для того из его сыновей, который наследовал ему в его имущественных правах. Указ 1658 года об'явил побег крестьян уголовным преступлением и, по Московскому обыкновению, назначил за такое „воровство" наказание кнутом. Петр I. об'единил крестьян с холопами в одну категорию „подданных" (указ 5 января 1720 г.). Дочь Великого Петра—кроткая Елизавета немедленно по своем восшествии на престол постановила, что крепостные крестьяне не должны приносить верноподданическую присягу, так как за них отвечают помещики, являющиеся по отношению к ним представителями верховной власти. Она же (указами от 14 декабря 1760 г. и от 15 мая 1761 г.) дала помещикам право ссылать своих крестьян в Сибирь за „дерзостные поступки". Просвещенная сторонница философских французских идей, Екатерина II, дополнила эту меру указом 17 января 1765 г., который давал помещикам право ссылать крепостных в каторжные работы, а адмиралтейству предписывал принимать их беспрекословно наравне с арестантами, осужденными правительственным судом, и возвращать назад по первому требованию помещиков. В мае 1783 г. она распространила крепостное право на малороссийские губернии. Ее сын Павел сделал то же по отношению к Новой России, „дабы однажды навсегда водворить в помянутых местах по сей части порядок и утвердить в вечность собственность каждого владельца". И. Энгельман, приведя этот указ, справедливо говорит, что он явился последним штрихом в мрачной картине крепостного права [2]).

Сенат просил Павла I разрешить малороссийским помещикам продажу крестьян отдельно от земли. Эксцентричный император не согласился на это. Он собственноручно написал: „Крепостные не должны продаваться независимо от земли, на которой живут" [3]). Но это его постановление было раз'яснено в том смысле, что им запрещалась продажа крестьян только в одной Малороссии. Таким образом, оно узаконяло продажу крестьян без земли во всех остальных частях России. Н. Тургенев говорит, что в царствование Александра I „человеческое мясо" продавалось в здании судебных учреждений Петербурга против окон Императора. „Когда продают имущество банкрота, если он владел крепостными, эти крепостные непременно продаются с публичного торга, как все, что ему принадлежало. Почти в то время, о котором мы говорим, одна старая женщина была таким образом продана за два с половиною рубля" [4]) В газетах очень часто появлялись об'явления вроде следующих: „Продается малосольная осетрина, 7 сивых меринов и муж с женою"; „Продается парик-

---

[1]) Ср. В. Ключевского—„Курс Русской Истории", ч. III стр. 219—220.
[2]) Назв. соч., стр. 179.
[3]) Библиотека Декабристов. Вып. V. Спб. 1907, стр. 61.
[4]) Там же стр. 66.

махер, да сверх того 4 кровати, перина и прочий домашний скарб"; „Продается 16 лет девка весьма доброго поведения и немного поезженная карета"; „Продается повар, кучер и попугай". Этого мало. На ярмарки крестьян привозят целыми баржами и продают их там для вывоза на Восток. Православно-дворянская Русь выступает вроде поставщицы невольничьего товара для мусульманской Средней Азии [1]). Дальше этого итти было некуда. Наша хваленая самобытность выразилась в том, что ужасы крепостного права далеко оставили за собою все то, что было известно по этой части лукавому европейскому Западу.

И чем больше развивалось денежное хозяйство, тем беспощаднее становилась эксплоатация крестьян помещиками, так как тем легче было последним продавать выбитый из своих „подданных" прибавочный продукт.

VII

Профессор и академик Никитенко, сам вышедший из крепостной среды, говорит в своем дневнике, что, повелевая рабами, наши помещики сами пребывали в рабстве. Это разумеется так. Московское государство не любило церемониться даже с теми элементами своего населения, которые составляли правящий класс. Здесь не место строить догадки о причинах, приведших к тому, что судьба служилого сословия в Московской Руси оказалась столь не похожей,—по крайней мере в ее отношении к центральной власти,—на судьбу того же сословия в западно-русских землях. Достаточно указать на факт огромного несходства. Между тем, как служилое сословие Литовско-Русского государства приобретает одно право за другим, московские служилые люди все более и более превращаются в государевых холопов". Этим „холопством" служилого сословия в Московском государстве об'ясняется между прочим и то, что западно-русская шляхта так сильно тяготела к католической Польше, так упорно отворачиваясь в то же время от православной Москвы. Тяжелые исторические условия и значительная экономическая отсталость заставили Москву закрепостить на государственной службе даже тех, которые сами жили крепостным трудом крестьянства. В о т ч и н н о е землевладение все более и более отступало перед п о м е с т н ы м. Но когда Московское государство превратилось в Российскую империю и когда дворянская гвардия стала распоряжаться в XVIII в. судьбою трона, началось раскрепощение служилого сословия, превратившегося тем временем в Российское шляхетство, затем в благородное российское дворянство. Проф. В. О. Ключевский указывает что почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II включительно были делом гвардии: с ее участием в 37 лет произошло 5 или 6 переворотов. „Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного Тайного Совета, — преемницей Московского Земского Собора" [2]). Это не могло не отразиться на положении дворянского сословия в государстве. В высшей степени замечательно, что процесс раскрепощения нашего дворянства начался в царствование той же самой императрицы, которая обязана была дворянской гвардии своими победами над конституционными вожделениями „верховников". Указом 31 декабря 1736 г. Анна Ивановна ограничила срок обязательной дворянской службы 25 годами и предоставила отцам из двух или более сыновей одного удерживать для хозяй-

---

[1]) С. П. Мельгунов. „Дворянин и раб на рубеже XIX в." в сборнике „Великая Реформа", т. I, стр. 248 и 249.

[2]) Курс Русск. Ист. ч. IV, стр. 352.

ства. Хотя действие этого указа было впоследствии несколько ограничено, но его восстановила императрица Елизавета, тоже, как известно, многим обязанная дворянской гвардии. Наконец Петр III совершенно освободил дворян от обязательной службы своим известным манифестом 18 февраля 1762 г. „Преемница Московского Земского Собора“ немедленно отблагодарила его за это новым переворотом, посадивши на престол его супругу. Если это новое “действо“ не свидетельствовало о значительном развитии чувства благодарности в доблестном российском дворянстве, то это оказалось весьма целесообразным с точки зрения развития дальнейших дворянских прав и преимуществ. Как ни охотно „грабила“ (ее собственное выражение) Екатерина II в своих писаниях Монтескье и других французских писателей XVIII в., она никогда не забывала, кому была обязана своей властью. Усилив и распространив крепостную зависимость крестьян, она дополнила раскрепощение дворянства жалованной грамотой 1785 г.

„Подтверждаем на вечные времена,—гласила грамота,—в потомственные роды российскому благородному дворянству вольность и свободу. Подтверждаем благородным, находящимся на службе, дозволение службу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам“.

Внятный язык! Жалованная грамота, возвестившая в XVIII в. окончательное раскрепощение дворянского сословия, вообще написана гораздо более внятно, нежели манифест, провозгласивший уничтожение крепостного права у крестьян в 61-м году следующего столетия. Да оно и не удивительно. Положение, которое узаконялось этой грамотой, было гораздо более ясно, нежели то положение, которое было создано освобождением крестьян. А главное—жалованная грамота XVIII в. давала освобождаемым дворянам несравненно больше, нежели дал бывшим крепостным крестьянам манифест 1861 г. Я сказал, что в Московском государстве вотчинное землевладение постепенно заменилось поместным. Когда началось раскрепощение дворянства, поместья стали приравниваться к вотчинам. Но поместье давалось за службу. У неслужащих дворян государство должно было бы, если бы оно осталось верным логике Московского государства, отобрать поместья в казну. Вместо этого они об‘явлены были их непререкаемой собственностью. И за это дворяне не заплатили казне ни одной копейки. Правительство даром отдало им в полную собственность те земли, которые в течение целых столетий (после экспроприации крестьянства) считались принадлежавшими государству. Как не похоже это на наделение „освобожденных“ в 1861 году крестьян той землей (т.-е., вернее, частью той земли), которая некогда им принадлежала и за которую они заплатили гораздо больше, чем она стоила!

VIII

Крестьянин Московской Руси не всегда терпеливо нес доставшуюся ему тяжелую долю. Это доказывается как смутным временем, так и многочисленными народными волнениями в царствование Алексея Михайловича, особенно восстанием Степана Разина. Но как ни тяжело было тогдашнему крестьянину, ему все-таки ясна была логика московского правительства. Он, „государев сирота“ попал в крепостную зависимость по отношению к помещику. Но зато помещик был закрепощен государству, превратившись в „государева холопа“. Крепостная зависимость одного сословия дополнялась крепостной зависимостью другого сословия, как бы об‘ясняясь и оправдываясь ею. Но когда дворянство было освобождено от обязательной службы государству, крестьянин стал смотреть на свою зависимость по отношению к помещику, как на одну сплош-

ную несправедливость. Известно, что манифест 18 февраля 1762 г. вызвал в крестьянах ожидание свободы. Тотчас же по своем вступлении на престол Екатерина ответила на эти ожидания указом, который гласил: „Понеже благосостояние государства, согласно божеским и всенародным узаконениям, требует, чтобы все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохраняем был, так как и напротив того, чтобы никто не выступал из пределов своего звания и должности, то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, и крестьян в должном им повиновении содержать“ [1]). Программа нового царствования была ясно намечена с самых первых его шагов [2]). Но крестьянин по-прежнему не понимал этой программы. Он отвечал на нее многочисленными волнениями, которые слились, наконец в широкий поток пугачевского бунта. Хорошо усвоивши себе логику поместного права, „государев сирота“ не только отказывался теперь признать законность своей крепостной зависимости по отношению к бывшему „государеву холопу“, но и обнаруживал весьма неприятный для господствовавшего сословия взгляд на помещичьи земли. Если помещичье землевладение прежде было необходимым условием исправного отбывания службы „государевыми холопами“, то теперь после освобождения этих „холопов“, у „государевых сирот“ не выходил из головы вопрос: почему же земля остается в руках помещиков? Для этого факта „государев сирота“, верный аграрной традиции Московского государства, не находил решительно никакого оправдания. Поэтому он не мог представить себе свое освобождение от помещичьей власти иначе, как освобождение с землею.

Интересно, что горячий поклонник общественного быта Московской Руси, славянофил К. С. Аксаков признавал, что в данном случае „государев сирота“ прав. В конце 1857 г. он писал Хомякову, что крестьянину „нужно не уничтожение названия крепостного... ему нужна земля, обеспечение земли, которую он считает своею, и которою владеет он и при помещичьей власти, как своею... Пока вопрос о собственности не решался, помещик мог считать землю своею, а крестьянин—своею и на деле жить мирно, оставаясь каждый при своем убеждении... Но как скоро подымается решительный вопрос: чья земля?—крестьянин скажет: моя—и будет прав, по крайней мере более, чем помещик“ [3]).

IX.

„Государев сирота“ тем более укреплялся в правильности своего убеждения насчет незаконности помещичьего землевладения, что правительство Российской империи продолжало весьма широко держаться аграрной политики Московского царства. Установив тот принцип, что всякий член податного сословия должен платить подушную подать, петербургское правительство прекрасно понимало, что средства на уплату этой подати будут извлекаться из той же самой земли, которая была главным предметом обложения в Московском государстве. Поэтому распределение земли по душам между крестьянами казенного ведомства сделалось сознательной целью его поземельной политики.

---

[1]) С. М. Соловьев „Ист. России с древнейших времен“. Кн. 5-я Т. XXV, стр. 1361—1362.

[2]) Указ подписан 3 июля 1762 г. Екатерина вступила на престол 22 июня того же года.

[3]) В. И. Семевский. Крест. вопр. Т. II, стр. 418.

„Постановка вопроса о поземельном наделе крестьян на широкой государственной основе,—говорит В. И. Якушкин,—приводила к тому, что за всяким крестьянином, всяким лицом, состоящим в крестьянстве, признавалось неот‘емлемое право на поземельный надел: если выдавался случай, что кто-либо, состоя в крестьянском звании, не имели „отведенных им земель“, то по этому поводу возбуждалось дело, наводились справки, делались запросы.—Поземельный надел стал таким неот‘емлемым правом казенного крестьянина, что в одном именном указе прямо высказано: „каждому поселянину на каждую душу надлежащее число десятин годной пашенной земли, лугов, лесов—полагается по государственным учреждениям“ [1]).

Я уже указывал в другом месте, что очень ошибались люди, приписывавшие наши аграрные волнения влиянию революционной пропаганды. Та крестьянская психология, которою подготовлялись эти волнения, сложилась, несомненно, раньше, чем появились на Руси революционеры. Ее создала „История Государства Российского“. Когда крестьянин так или иначе обнаруживал свое убеждение в том, что у помещиков следует отобрать землю, то он нимало не подозревал, что этим потрясаются какие бы то ни было основы. Он был как нельзя более далек от революционных мыслей. Напротив: он считал себя „охранителем“, и он, на самом деле, был им в том смысле, что отстаивал старую экономическую основу, на которой выросло и веками держалось государство Российское. Этой психологией крестьянина об‘ясняются и недавние аграрные волнения 1902/06 г.г. Ею же об‘ясняется и многое другое в этих событиях; но это мимоходом.

Система земельных переделов довершилась закрепощением крестьян государству. Она означала собою не то, что земля принадлежит крестьянской общине, а то, что и земля, и крестьянин составляют собственность государства. Земельные переделы дополнялись паспортной системой и круговой порукой. Просвещенная императрица Екатерина II и с этой стороны явилась наиболее последовательной представительницей крепостного предания. Указом 19 мая 1769 г. она повелела: „В случае неуплаты крестьянами в годовой срок подушной недоимки, забирать в города старост и выборных, держать под караулом, употреблять их в тяжкие городовые работы без платежа заработных денег, доколе вся недоимка заплачена не будет“.

А. П. Заблоцкий-Десятовский называет этот указ жестоким и так определяет его последствия для экономического быта государственных крестьян: „Он уничтожил личную ответственность плательщика за подать, ввел круговую поруку, обратил сельские свободные общины в податные единицы, и податной системе придавал значение постоянной контрибуции“ [2]).

Все это так. Тут, как уже сказано, водворилось свое, „казенное“, крепостное право. И крестьянин не раз протестовал не только против „постоянной контрибуции“, но даже и против земельных переделов. Однако, государство было сильнее его. Как водится, бунтовщиков били плетьми и батогами, ссылали на поселение и даже каторжные работы. Самой высшей степени развития система эта достигла около половины XIX в., благодаря пресловутому министру государственных имуществ гр. Киселеву. Один исследователь дает следующую, весьма выпуклую, характеристику установившегося тогда порядка. „Вообразите крупнейшего в мире помещика-рабовладельца. Этот рабовладелец не кто иной, как само государство; граф Киселев—это главный управляющий, министерство государственных имуществ—его вотчинная контора, а окружные

---

[1]) Очерки по истории русской поземельной политики в XVIII и XIX вв.

[2]) Граф П. Д. Киселев и его время. Т. II. Спб., 1882, стр. 30.

начальники—бурмистры, действующие на местах. Их действия подкреплялись зуботычинами, засадкой в холодную, драньем и сверх того взиманием „денежной молитвы“ [1]).

Все именно так и было. Только г. Благовещенский ошибочно утверждает, будто „ничего подобного никогда и нигде не было и не могло быть, кроме России. Нечто подобное существовало во всех азиатских деспотиях. Напр., в древнем Египте, в Китае, в Персии и т. д. [2]).

X.

Крестьянин И. Посошков писал в своей „Книге о скудости и богатстве“: „Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради они не весьма их и берегут, а прямой их Владелец Всероссийский Самодержец, а они владеют временно“ [3]).

„Книга о скудости и богатстве“ была написана еще в царствование Петра Великого, т.-е. в то время, когда каждое сословие русского государства несло свое крепостное тягло. Раскрепощение дворянства еще более укрепило, как мы видели, в крестьянах то убеждение, что „крестьянам помещики не вековые владельцы“, и что прямой их владелец Российский Самодержец. Как ни тяжело было положение „казенных“ крестьян, но помещичьим крестьянам и оно казалось завидным. Многие из них мечтали о том, чтобы стать „казенными“. Чем туже затягивалась петля крепостного права на шее помещичьего крестьянина, тем нетерпеливее ждал он от царя свое освобождение и тем больше верил он в то, что это освобождение не за горами. Западно-русский крестьянин, общественно-политические взгляды которого складывались при других исторических условиях, очень скоро сошелся в указанном отношении с крестьянином-великоруссом. Белорусская песня „Разговор Данилы и Сьцепана“ повествует:

Говòряць на свеце, у гóлос талкуюць—
Ат ксяндзôу, ат жидôу—усе люди чуюць,
Што вòльнасць нам, бедным, даст Царь без откладу,
Што только с панàм ня найдзе ен лàду.
Чего адны хочуць, то другим ня мила.
Царь им паутарáиць, а яны хитруюць... [4])

Если паны „хитруюць“, если их коварством только и держится крепостное право, то грешно ли отказать им в повиновении там, где для этого

---

[1]) Н. А. Благовещенский.—„Четвертное право“. М. 1899, стр. 134.

[2]) О Китае см. книгу Н. И. Кохановского: „Землевладение и земледелие в Китае“. Владивосток, 1909 г., стр. 12 и след. (Автор опирается главным образом на чрезвычайно интересную работу И. Захарова: „Поземельная собственность в Китае, напечат. во II т. Трудов членов Российской духовной миссии в Пекине. К сожалению, мне был доступен только немецкий перевод этой работы, появившийся под названием: „Ueber Grundeigenthum in China“ в Arbeiten der russischen Gesandschaft in China).

Ср. также Élisée et Onésime Reclus: L'Empir du Milieu“. Paris 1902. Pp. 499—503. О Персии см. Eteocle Lorini: „La Persia, economica contemporanea“. Roma, 1900, стр. 217 и след. Лорини говорит, что земля в Персии составляет собственность шаха, „феодальным синьорам, частным лицам, даже религиозным корпорациям доступно только пользование, физическое распоряжение (la fisica disponibilita); но их право владения всегда зависит от произвола монарха, который может упразднить его когда бы то ни было“. Это полное торжество идеалов генерала Киселева и публициста В. Воронцова.

[3]) Соч. Ивана Посошкова. Изданы М. Погодиным. Москва. 1842 г., стр. 183.

[4]) И. И. Игнатович. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. Спб 1902 г., стр, 162.

представляется подходящий по крестьянским понятиям повод? Крестьяне думали, что—нет. А раз они думали так, то крестьянские волнения возникали, можно сказать, сами собою. Они усиливались в начале каждого нового царствования. В один из первых дней по воцарении Павла I крепостные люди скопом подали ему на разводе челобитную, в которой говорили, что не хотят больше служить господам, а желают служить самому царю. Результат получился такой, какого челобитчики не ожидали единственно по своей крайней наивности. Павел приказал публично наказать их нещадным образом плетьми, чтобы никто другой не отваживался утруждать его такими не-дельбыми просьбами. Однако, это не помогло. Крестьянские волнения все более и более разгорались. Павел вынужден был издать манифест (29 января 1797 г.), в котором убеждал крестьян обратиться к должному повиновению власти, так как всякая власть поставлена от бога. „Повелеваем,—гласил манифест,—чтоб все помещикам принадлежащие крестьяне, спокойно пребывая в прежнем их звании, были послушны помещикам в оброках, работах и, словом, всякого рода крестьянских повинностях, под опасением за преслушание и своевольство неизбежного по строгости законной наказания“. Но крестьяне не могли быть послушными; волнения продолжались. При вступлении на престол императора Николая I они усилились до того, что правительство опять нашло нужным прибегнуть к манифесту. В мае 1826 г. было во всеуслышание возвещено, что все слухи об освобождении государственных крестьян от податей, а помещичьих—от крепостной зависимости, были измышлены злонамеренными людьми, и что всякое дальнейшее неповиновение власти поведет за собою строжайшее наказание ослушников [1]). По части наказания ослушников правительство Николая Павловича умело сдержать свое слово. Но это не помогало; волнения все учащались. В течение названного царствования было 556 волнений, которые следующим образом распределяются по различным периодам:

С 1826—1829	было	41	волнение
„ 1830—1834	„	47	„
„ 1835—1839	„	56	„
„ 1840—1844	„	101	„
„ 1845—1849	„	172	„
„ 1850—1864	„	137	„ [2])

Число волнений несколько уменьшилось в пятилетие 1850—1854 г. Однако, следует заметить, что во время крымской войны указы о морском ополчении (3 апреля 1854 г.) и о сухопутном ополчении (29 января 1855 г.) вызвали сильнейшее крестьянское движение в Тамбовской, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Симбирской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской и Киевской губерниях. Волнения приняли такие размеры, что в Киевской губернии собирались толпы крестьян до 5.000 человек, и для водворения порядка туда отправлено было 16 эскадронов кавалерии, 2 роты сапер, резервный батальон и 1 дивизион [3]). Все это производило очень сильное впечатление на дворянство и на правительство. „Смоленский дворянин“, воспоминания которого были напечатаны в июльской книжке „Русской Старины“ за 1895 г., сообщает, что в 1848 г. в связи с революционными движениями на Западе, в русской провинции стали распространяться среди помещиков тревожные слухи о крестьянских бунтах. Говорили, что недалеко „мужики режут помещиков, и что нет ничего невозможного в том, что и у нас скоро начнется то

[1]) В. И. Семевский. Там же, т. II, стр. 3.
[2]) И. И. Игнатович. Цит. соч., стр. 172.
[3]) Там же, стр. 174—175.

же самое". Даже дети были в том же унылом настроении, в котором были тогда все [1]). Этим настроением и подсказана была произнесенная несколько лет спустя известная фраза о том, что лучше освободить крестьян сверху, нежели дожидаться, пока они начнут освобождать себя снизу.

XI.

В. И. Семевский говорит, что призрак пугачевщины вечно стоял в глазах нашего дворянства, напоминая о необходимости покончить с крепостным правом. Мы только что видели, до какой степени это справедливо. Однако, ни сама пугачевщина, ни ее призрак не привели к отмене крепостного права в XVIII в. Почти, можно даже сказать: совсем ничего—не было сделано для этого и в первой половине XIX столетия. Но рядом с крестьянскими волнениями, дополняя их влияние и увеличивая их интенсивность и численность, действовала сила экономического развития, приводившая наиболее образованных помещиков к той мысли, что поддержание крепостной зависимости не так выгодно для их сословия, как это думают его невежественные представители. Уже в 1841 г. один из „доверенных чиновников" упомянутого выше гр. Киселева, Заблоцкий-Десятовский, представил своему патрону записку „о крепостном состоянии в России", заключавшую в себе весьма замечательный взгляд на этот вопрос. Автор записки, сделав путешествие во внутренние губернии, под предлогом „обозрения управления государственных имуществ", собрал не мало данных, на основании которых он пришел к тому выводу, „что работа барщиною не выгодна ни для помещика, ни для крестьянина; что тут теряют обе стороны, и что гораздо выгоднее для сельского хозяйства был бы вольно-наемный труд" [2]). Затем он указывал, как вредно влияет крепостное право на развитие производительных сил в обрабатывающей промышленности [3]).

„Развитие промышленности,—говорил он,—требует не только ограждения личности и собственности, но и свободы располагать своим временем, трудом и местом жительства. И потому естественно, что крепостное состояние, привязывая насильственно человека к земле, отстраняет развитие промыслов даже между оброчными крестьянами" [4]). В доказательство он ссылался, между прочим, на историю горных заводов в Оренбургской губернии. Заводы шли там очень хорошо, пока оставались в руках купцов. Но с тех пор как они перешли в дворянские руки, начались беспорядки, бунты и поджоги, и заводское дело пошло к упадку [5]). В таком же смысле говорилось и о торговле. Все это было весьма убедительно, хотя и звучало для официальных ушей, как непозволительная ересь. Записка Заблоцкого-Десятовского не только не была напечатана, но, как говорит он сам, даже в рукописи не могла быть передаваема для чтения без опасности для ее автора [6]). Однако, экономические факты не утрачивают своего значения от того, что люди боятся говорить о них. Сознание невыгодности крепостного труда все более и более просачивалось в помещичью среду, а несчастный исход крымской войны обнаружил другую сторону того же вопроса. Как заметил Энгельс в своей статье: „Ино-

---

[1]) И. И. Игнатович, стр. 177.

[2]) Забл.-Десятовский. Гр. П. Д. Киселев и его время, т. III, стр. 291 и т. IV, стр. 282—284.

[3]) Там же, т. IV, стр. 294—295.

[4]) Там же, стр. 328.

[5]) Там же, стр. 330.

[6]) Там же, т. II, стр. 292—293.

странная политика русского царства“, крымская война доказала, что России, даже с чисто-военной точки зрения, необходимы железные дороги и крупная промышленность. А это опять значило, что пора уничтожить крепостное право [1]).

XII.

19 февраля 1861 г. явилось вынужденным ответом на этот настоятельный запрос истории. Крепостное право пало; великая цепь порвалась. Но при указанных мною общественных отношениях, она, разрываясь, не могла не ударить гораздо больнее по мужику, нежели по барину.

Первым, сделанным открыто, шагом правительства на пути уничтожения крепостного права, был рескрипт Александра II, от 20 ноября 1857 г., на имя Назимова. В этом рескрипте больше всего обращает на себя внимание следующий принцип:

„Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они, в течение определенного времени, приобретают в свою собственность посредством выкупа; сверх того предоставляется в пользование крестьян надлежащее, по местным удобствам, для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей пред правительством и помещиком, количество земли, за которое они им платят оброк или отбывают работу помещику“.

Обещание сохранить за помещиками право собственности на *всю* землю резко расходилось с изложенным выше понятием крестьян о землевладении, но зато вполне соответствовало дворянскому взгляду на тот же предмет. Заблоцкий-Десятовский в своей записке,—напомню, что она была составлена еще в 1841 г.,—рассказывает, что помещик С.-В. в Рязани говорил ему: „Пускай освободят крестьян, но земли мы пяди не дадим“ [2]). Так оно и вышло: помещики „пяди“ земли „*не дали*“ крестьянам. Если, тем не менее, в руках бывших крепостных осталась большая часть тех наделов, которыми они пользовались до своего „освобождения“, то это произошло потому, что помещики *продали* им эту часть, и притом продали, как мы знаем, по несоразмерно высокой цене. Внося эту несоразмерно высокую цену, „государев сирота“ выкупал не только свою собственную землю, но и свою личность.

Многие помещики доказывали, что признать их право собственности на всю землю, значит—освободить крестьян совсем без земли. Но это шло в разрез с интересами правительства, т.-е. вернее, фиска.

Для фиска обезземеление крестьян было невыгодно потому, что оно лишило бы их материальной возможности выполнять свои обязанности перед правительством (о чем и напоминалось в приведенном отрывке из Высочайшего рескрипта). Кроме того, правительство не чуждо было при этом и политических соображений. Редакционные комиссии, отвергая безземельное освобождение крестьян, говорили, что оно повело бы к образованию в России

---

[1]) С этим замечанием Энгельса о значении железных дорог интересно сопоставить мнение, высказанное Погодиным во время крымской войны: „О пользе их толковать и спорить уже нечего, когда семьдесят тысяч французов и англичан, вместе с турками, где ни нападут на нас, имеющих полтора миллиона войска... везде берут над нами верх числом: под Калафатом и Ольтеницей, под Журжей и Силистрией, в Крыму и за Кавказом. Если-б у нас были железные дороги, то настоящая война повелась бы иначе, да едва бы началась в таком виде“ (Жизнь и труды М. П. Погодина—Н. Барсукова. Кн. XIII, стр. 158—159).

[2]) Назв. соч., т. IV, стр. 338, примечание.

класса свободных, но бездомных работников. Этого, по их мнению, необходимо было избежать. „Правительство, — разсуждали они, — имея в виду и историю, и настоящее положение вещей в других государствах, без сомнения, не может допустить подобных последствий.—Вот почему правительство, а с ним и комиссии, почитали выкуп крестьянской земли главным исходом вопроса и, не делая его обязательным, желали бы остановить его так, чтобы в большей части случаев он мог удобно совершиться для обоюдных польз“ [1]).

Когда, впоследствии, цель, поставленная себе правительством, не была достигнута с помощью необязательного выкупа, оно прибегло к обязательному. Но от цели оно не отказалось, да и не могло отказаться. Это противоречило бы всем преданиям политики правительства по отношению к крестьянству. Крупнейший в мире помещик-рабовладелец, государство,—решительно не мог помириться с тою мыслью, что освобождаемые крестьянские „души“, с которыми он уже собирался распорядиться по своему, сразу предстанут перед ним в виде многомиллионного пролетариата. С этой стороны его интересы разошлись с интересами остальных рабовладельцев, чем и об‘ясняются те трения между тогдашними помещиками и „петербургскими чиновниками“, которые некоторые добродушные люди до сих пор об‘ясняют народолюбием известных слоев тогдашней бюрократии [2]). Чрезвычайно характерно то обстоятельство, что уже в 1841 г. „доверенный чиновник“ гр. Киселева,—величайшего деятеля по устройству государственного рабовладельческого хозяйства,—Заблоцкий-Десятовский защищал в своей записке следующие положения:

„1) Должно отвергнуть всякую мысль о совершенном лишении крестьян земли. Можно права их на землю облечь в ту или другую форму; но лишить их совершенно земли, значит—итти на явную опасность, не имея решительно никаких средств бороться с нею.

„2) Таким же образом нельзя допустить в настоящее время возможности установить отношения крестьян с помещиками на взаимном, свободном согласии, по силе контрактов“ [3]).

В конце концов именно эти принципы и восторжествовали при эмансипации. Обязательный выкуп привел к тому, что в руках крестьян осталась большая часть их бывших наделов. Мы уже знаем, как дорого они заплатили за нее. Выступив в роли посредника между крепостными душами и их „господами“, „величайший в мире рабовладелец“ не мог изменить интересам этих последних. Операция выкупа крестьянской земли очень понравилась ему. Он тогда же вознамерился перевести на выкупные платежи и своих собственных—„казенных“—крестьян; хотя по отношению к ним было уже вполне ясно, что, как выразился И. С. Аксаков,—заставить их выкупать свою землю все равно, что „заставить дуб выкупать свои собственные корни“.

---

[1]) Крестьянское дело в царствование Императора Александра II. Сост. А. Скребицкий. Бонн на Рейне, 1862 г., т. I. Введение, стр. XCIV.

[2]) В XVII в., по словам проф. Ключевского, „закон и помещик“, повидимому, поддерживали друг друга в погоне за крестьянином. Но согласие было только наружное (Курс Рус. Ист. т. III, стр. 224). Нечто подобное произошло и в эпоху „освобождения“ крестьян. Только проф. Ключевский напрасно думает, что согласие между законом и помещиком было только наружное. В известных, и притом весьма широких, пределах оно было согласием по существу, и лишь за этими пределами начиналось несогласие, так как предмет эксплоатации был один и тот же: „государев сирота“.

[3]) Гр. П. Д. Киселев. Т. IV, стр. 343.

Этот замысел был, как известно, осуществлен в 80-гг. преобразованием государственной оброчной подати в выкупные платежи. Моя справка имеет в виду лишь реформу 19 февраля 1861 года.

Соображая все сказанное, приходится признать, что не весьма основательно было умиление покойного Джаншиева перед этой реформой. Нечего и говорить: крестьян освободить следовало. Но в том-то и дело, что реформа 19 февраля далеко-далеко не была их полным и всесторонним освобождением. Экономическое положение нынешнего крестьянства всем известно. А что касается их правового положения, то достаточно вспомнить, что фактически они до сих пор представляют собою сословие „секомое" по преимуществу. Есть от чего умиляться!

Нечего и говорить—полное освобождение крестьян необходимо. Но это может быть лишь делом более или менее далекого будущего...

Предисловие к русск. изд. книги А. Туна „История революционных движений в России“[1]).

Предлагая читателю русский перевод книги покойного профессора А. Туна „Geschichte der revolutionären Bewegungen in Russland“, мы считаем себя обязанными прежде всего поставить ему на вид, что она совсем не обладает какими-нибудь первостепенными достоинствами. В ней нет оригинальной мысли, которая могла бы осветить ярким светом историю русского революционного движения. Не отличается она и особенно искусной группировкой фактов: с помощью материала, находившегося в распоряжении Туна, более талантливый исследователь дал бы гораздо более яркую характеристику различных течений, сменявших одно другое или существовавших одно рядом с другим в нашей истории. Наконец, очень ошибся бы тот, кто вообразил бы, что Тун сам стоял на революционной точке зрения. На самом деле отношение Туна к русским революционерам напоминало собою отношение к ним наших умеренных либералов. Он был слишком умен и образован, чтобы не видеть дикой и постыдной нелепости нашего нынешнего политического порядка. Как человек, привыкший ценить блага политической свободы, он не мог относиться с одобрением к тем произвольным и жестоким мерам, которые принимало русское правительство в своей борьбе с „крамолой“. В то же время он питал невольное уважение к мужеству, самоотверженности, а иногда, может быть, и к конспиративному искусству русских революционеров. Это невольное уважение весьма заметно обнаруживается во многих местах его книги, несмотря на всю ту осторожность, с которой он высказывает свои собственные взгляды, твердо памятуя, что в Германии, где он собирался жить и действовать, „наука и ее учения свободны“... лишь в довольно тесных границах[2]). Но социалистические идеалы русских революционеров казались ему несбыточными, а их приемы борьбы он нередко находил преступными в полном смысле этого слова. В результате мы видим двойственность и попеременное преобладание симпатии и антипатии в его историческом повествовании. Тун был очень далек от того безусловного сочувствия к русским революционерам, которым проникнута знаменитая книга американца Кеннана. Это обстоятельство, разумеется, не осталось без влияния на характер его сочинения: от начала до конца этого сочинения видно, что автор не сжился с предметом своего исследования, что его мысль не возбуждалась, а его сердце не терзалось теми жгучими программными вопросами, над разрешением которых бились русские революционеры. Поэтому его „история“ и не могла способствовать разрешению этих вопросов. Исследователь, который отнесся бы к нашему движению с более сильным и более цельным сочувствием, вероятно, лучше понял бы „злобы дня“ и, наверное, дал бы более увлекательный, более захватывающий очерк его истории. Но такого историка до сих пор не появлялось, и нет никакой надежды на его скорое появление.

---

[1]) См. изд. „Библ. для всех“, О. Н. Рутенберг, перевод Веры Засулич, Д. Кольцова и др.

[2]) И это же уважение побудило его оказать одну немаловажную услугу нашему товарищу Дейчу, попавшему в цепкие лапы баденской полиции.

Поэтому мы решились издать книгу Туна которая при всех своих очевидных недостатках имеет, по крайней мере, одно, не менее очевидное, достоинство: достоинство добросовестности. Тун прилежно собирал материалы и беспристрастно пользовался ими, не искажая доступной ему истины ради тех или других предвзятых взглядов. Это достоинство, вообще очень важное в историческом,—да и во всяком другом,—исследовании, становится особенно важным в книге Туна потому, что литературные источники, которыми он пользовался,—обвинительные акты и отчеты о политических процессах, и брошюры, сборники и журналы, газеты и воззвания,—отчасти были редки уже и в это время, теперь почти целиком стали недоступны для публики. Читатель, желающий ознакомиться с развитием русской общественной мысли и увидевший себя в досадной невозможности добыть первые источники, искренно поблагодарит автора, который, по крайней мере, прилежно и правильно излагал находившиеся у него в распоряжении исторические документы.

Но правильно изложить тот или другой исторический документ вовсе не значит устранить неправильности или недостатки, свойственные его содержанию. Если в этом содержании есть, например, противоречия, то автор, взявшийся за его изложение, не имеет никакого права сообщать ему стройный вид. Поступая так, он совершит непростительный грех против исторической истины. Имея дело с противоречивыми документами, исследователь, конечно, поступит всего лучше, если так и скажет читателю: излагаемые мною источники несогласны между собою. Но если противоречие ускользает от взора исследователя, если он не замечает того, что один из его источников противоречит другому, то в интересах точности остается пожелать, чтобы противоречие целиком перешло в его изложение: внимательный читатель сам отметит несообразности и сам постарается об'яснить их происхождение. Правда, он рискует при этом впасть в ошибку. Если он лишен возможности сличить изложение с источниками, а источники друг с другом, то он будет склонен отнести противоречие на счет самого исследователя, которого он заподозрит в умышленном или неумышленном искажении истины, что будет несправедливо. Но читателю выгоднее совершить такую несправедливость, оставляющую широкое место для сомнения, чем доверчиво следовать за автором, сознательно или бессознательно поправляющим свои источники и вносящим последовательность туда, где она на самом деле отсутствует.

Тун, это—именно тот исследователь, который, сам того не замечая и не мудрствуя лукаво, переносит в свое повествование все противоречия, встречающиеся в его источниках; об'яснить эти противоречия во всей их совокупности мог бы только тот, кто написал бы новую историю революционной мысли в России. Само собою разумеется, что мы не задаемся такою целью в нашем предисловии. Но мы находим нужным отметить хоть те противоречия, которые относятся к важнейшим эпохам нашего движения.

Начнем с так называемых лавристов, т. е. с последователей П. Л. Лаврова. В книге Туна (см. стр. 51—52) мы узнаем о них, между прочим, вот что: „Лавристы... не видели в крестьянском общинном землевладении исходного пункта социального движения в России, во-первых, потому, что это учреждение падающее, неизбежно переходящее в частное землевладение, как показывает это западно-европейская история; во-вторых, потому, что русская община есть учреждение реакционное, основы которого покоятся на привычках и взглядах, находящихся в прямом противоречии с приобретениями современной науки. Благодаря своему полному подчинению в экономической, политической и нравственной области патриархальным обычаям, неразрывно связанным с общинными порядками, русский крестьянин не в со-

стоянии усвоить себе новое социалистическое мировоззрение, развившееся на почве капиталистического производства. Приходится, поэтому, предоставить крестьян естественному ходу истории, а революционную деятельность перенести в среду промышленных рабочих, как это делают западно-европейские социалисты. На этой почве действовали лавристы в 1875—76 г.г., не сделавши, впрочем, и здесь ничего значительного. Их теория внушала им расположение ждать, сложа руки, разложения общины. Даже когда в 1878 году среди рабочих на петербургских фабриках начались большие стачки, лавристы заявили, что это реакционное движение, и советовали отказаться от подачи царю прошения".

Этой характиристике резко противоречит изложение программы того самого журнала „Вперед!", который издавался Лавровым, по словам Туна, на деньги кружка лавристов. „В существенных вопросах,—говорит Тун,— „Вперед!" об'явил себя солидарным с решениями интернациональных конгрессов, а относительно целей и организации не делает существиных[1]) отступлений от бакунинской программы". Но Бакунин и его последователи смотрели на крестьянскую общину именно как на исходный пункт социального движения в России. Если программа „Вперед!" в самом деле не расходилась по существу с программой Бакунина, то ясно, что журнал Лаврсва тоже должен был придавать общине очень большое значение. Это соображение приобретает очень большую убедительность, когда мы прочитываем следующие строки: „Социальная основа, на которой должно строиться будущее русского народа, есть общинное землевладение; это исконное и пока патриархальное учреждение должно развиваться в социалистическом направлении и перейти в общинную обработку земли и равномерное распределение продуктов; в то же время община должна быть базисом политической организации". Эти строки уже совсем не позволяют сомневаться на счет отношения журнала „Вперед!"—органа лавристов,—к общинному землевладению; он видит в нем исходную точку развития России в направлении к социализму. Что же это значит? Неужели взгляд лавристов на общину был прямо-противоположен тому взгляду, который высказывался их собственным органом? Это совершено невероятно, так как ведь никто же не обязывал их поддерживать издание, программа которого так резко расходилась со свойственным им воззрением. Но в таком случае, как об'ясняется это очевидное и странное противоречие? Не должны ли мы предположить, что в то время, когда лавристы приглашали своего учителя редактировать „Вперед!", они смотрели на русскую общину так же, как смотрел на нее сам Лавров, а также и Бакунин со своими сторонниками, впоследствии же они убедились в несостоятельности такого взгляда на нее и стали относиться к ней отрицательно? Это предположение кажется сначала самым естественным; в его защиту можно, кроме того, сослаться на тот факт, что в конце 1876 г. Лавров сложил с себя звание редактора. Не был ли вызван этот шаг именно его расхождением с кружком „лавристов" во взгляде на общину? На этот вопрос книга Туна не дает прямого ответа; но косвенно она отвечает на него в отрицательном смысле: не забудем, что по словам нашего автора, лавристы уже в 1875—76 годах сосредоточили свои силы на деятельности в среде промышленных рабочих, будучи убеждены в том, что экономический быт нашего крестьянина совершенно не располагает его к усвоению социалистических идей. А указанные годы были как раз годами усиленной издательской деятельности Лаврова, который, кроме непериодического сборника „Вперед!" редактировал тогда еще двухнедельную

[1]) Курсив Туна.

газету того же названия. Ясно, стало быть, что если мы хотим верить Туну, то мы должны допустить, что лавристы оказывали наиболее энергичную поддержку своему учителю именно в то время, когда они уже перестали разделять его взгляд на русскую общину. А это опять приводит нас к первой гипотезе, т. е. к тому предположению, что лавристы поддерживали и признавали своим орган, коренным образом расходившийся с ними по одному из самых важных для России вопросов. А так как это предположение совершенно невероятно, то нам не остается ничего другого, как обратиться к критике тех двух источников, на основании которых возникло противоречивое сообщение Туна. Первым из этих источников является программа „Вперед!“; вторым—свидетельство П. Б. Аксельрода в цюрихском „Jahrbuch für Sozialvissenschaft“. Программа „Вперед!“ придает русской общине огромное значение. П. Б. Аксельрод утверждает, что лавристы смотрели на нее, как на устарелую форму землевладения, окончательно осужденную историей. Тун не замечает, что его источники противоречат один другому, и без всяких оговорок воспроизводит их показания, как будто одно из них подтверждает другое. Приглядимся же к этому предмету несколько ближе и внимательнее.

Что такое была программа „Вперед!“? Обладала ли она хотя бы той долей стройности, которую приписывает ей наш автор? Насколько твердо и последовательно держался П. Л. Лавров того взгляда на русскую общину, который приписывается ему Туном на основании его програмной статьи? Перечитайте передовые статьи газеты „Вперед!“, и вы увидите, что их автор противоречил сам себе, то изображая социализим, как „исторический фазис, фатально вырабатывающийся из капиталистического строя общества“, и ссылаясь на Коммунистический Манифест, который говорит, что, создавая пролетариат, буржуазия создает своего собственного могильщика[1]), то указывая,—и иногда в той же самой статье,—на „традиционные народные группы: сельские общины и артели“, как на естественную основу будущего социалистического общества[2]). Если бы мы захотели подвести итог всему тому, что говорил на этот счет П. Л. Лавров, то мы, вероятно, имели бы право сказать приблизительно так: Лавров надеялся, что социалистическая революция предупредит развитие капитализма в России, и что, вследствие этого, исходными точками социалистического развития явятся у нас артель и община; но, не будучи твердо уверен в этом, он утешал себя и своих последователей тою мыслью, что „неумелость русских социалистов-революционеров подготовить и организовать революцию, обрушившись тяжелыми страданиями на русский народ, все-таки не спасет хищнической буржуазии от фатального процесса[3]), т. е. от социалистической революции, которая явится в этом случае неизбежным результатом капиталистического развития. Если эта формулировка мысли П. Л. Лаврова справедлива,—а она представляется нам наиболее справедливой изо всех возможных,—то мы должны будем прийти к тому заключению, что изображение капитализма, как „фатальной“ предпосылки социализма, имеет у него лишь очень условный характер, и что программа „Вперед!“ несравненно ближе к бакунизму и народничеству, чем к марксизму. Мы потому обращаем на это внимание читателя, что товарищ Ю. Невзоров, в брошюре: „Отказываемся ли мы от наследства?“, придал указанному изображению слишком преувеличенное и по-

---

[1]) См., например, передовые статьи №№ 27-го и 34-го.
[2]) См. передовую статью № 34.
[3]) Мы опять цитируем передовую статью № 34-го.

тому совершенно не соответствующее истине значение, истолковав его в том смысле, что лавризм был „первоначальным русским марксизмом“ (ст. 22). Отличие русского марксизма от „русского социализма“ всевозможных оттенков состоит в том убеждении, что Россия не может перескочить через капитализм, который уже сделался в ней господствующим способом производства. Но, именно, этого то убеждения и не было у Лаврова до самого конца его литературной деятельности. А кроме того, товарищ Невзоров как будто упустил из виду, что по своим историческим взглядам Лавров был несравненно ближе к идеалистам, чем к материалистам, между тем как марксизм необходимо предполагает материалистическое об'яснение истории. Правда, в сочинениях Лаврова иногда можно встретить решительное признание исторического материализма, но это признание находится в вопиющем противоречии с его историческими идеями, и самая возможность его об'ясняется просто-на-просто тем, что в своем взгляде на историю, как и во всех прочих своих взглядах, Лавров был эклектиком до конца ногтей. Маркс и Энгельс, хорошо знавшие по-русски и читавшие „Вперед!“, очень удивились бы, если бы им пришлось услышать, что программа „Вперед!“ была программой русского марксизма. Это им никогда и в голову не приходило[1]).

Но на каком же основании П. Б. Аксельрод изображает действовавших в России лавристов, как людей, связавших все свои социалистические упования с развитием русского капитализма и пренебрегавших старинными „устоями“ нашей экономической жизни? Имеем ли мы какое-нибудь право заподозрить верность или основательность его показания? Нет, на это мы не имеем ни малейшего права уже по одному тому, что его показание точно соответствует истине: описанные им лавристы действительно существовали. Я сам хорошо знал таких лавристов и думаю, что Аксельрод встречался с ними в 1879—80 годах, во время своего вторичного „нелегального“ пребывания в России [2]). Но, во-первых, они были лавристами времен упадка, и их взгляды вовсе не характерны для лавризма, каким он был в лучшую пору своего существования, т. е. между прочим и в 1875—1876 годах. А во-вторых, даже и эти лавристы времен упадка были очень далеки от марксизма, и потому первоначальными русскими марксистами считаться никоим образом не могут. Они утверждали, что только капитализм создаст в России почву для социализма, но единственный вывод, который они делали отсюда, был тот, что социалистам надо до поры до времени совсем

---

[1]) Приведу здесь блестящую характеристику Лаврова, сделанную Энгельсом как раз в эпоху издания „Вперед!“: „Друг Петр,—лично в высшей степени почтенный русский ученый,—в своей философии является эклектиком, который изо всех различных систем и теорий старается выбрать то, что в них есть наилучшего... Он знает, что во всем есть своя дурная и своя хорошая сторона, и что хорошая сторона должна быть усвоена, а дурная удалена. А так как каждая вещь, каждая личность, каждая теория имеет эти две стороны, хорошую и дурную, то каждая вещь, каждая личность, каждая теория представляется в этом отношении приблизительно на столько же дурной и настолько же хорошей, как и всякая другая. С этой точки зрения было бы нелепо горячиться в защиту или против той или другой из них. И с этой точки зрения вся борьба и все споры революционеров и социалистов между собою должны казаться чистыми пустяками, способными только радовать врагов“ (Volksstaat, 6 октября 1874 года, № 117). Прибавлю от себя, что именно такими пустяками, и, именно, по указанной Энгельсом причине, и казались П. Л. Лаврову споры между русскими революционерами различных направлений. Он никогда не мог об'яснить себе, например, зачем русские социал-демократы спорили с народниками и с народовольцами.

[2]) Не следует забывать, что статья Аксельрода написана в начале восьмидесятых годов.

сойти с русской исторической сцены. Это была не программа действия, а самооправдание людей, решившихся бездействовать и понимавших, что подобное решение не может быть принято революционной средой, как нечто естественное и само собою разумеющееся. Необыкновенное положение требовало и необыкновенных доводов, и эти необыкновенные доводы взяты были из арсенала марксизма. Но эти доводы мирно уживались в головах тогдашних лавристов с их старыми идеалистическими предрассудками, да к тому же и сами переживали в этих идеалистических головах довольно странные и неожиданные превращения. Как плохо поняли лавристы времен упадка теоретическое значение своей новой аргументации, показывает уже тот факт, что они считали—или делали вид, что считали—себя нравственно обязанными не вмешиваться в события во время той буржуазной революции, которая предстояла России, по их тогдашнему мнению. Маркс и Энгельс рассуждали совсем иначе накануне буржуазной революции в Германии. Но в том-то и дело, что на буржуазную революцию наши тогдашние лавристы продолжали смотреть глазами Бакунина и бакунистов. Она по прежнему представлялась им великим общественным злом, социально-политическим обманом, в котором социалисты отнюдь не должны участвовать. Товарищ Невзоров не откажется признать, что подобный „марксизм“ очень своеобразен, если не вполне сомнителен. Если уже на кого-нибудь походили наши лавристы, то разве на тех немецких „истинных“ или философских социалистов сороковых годов, о которых с таким раздражением говорит „Манифест Коммунистической Партии“.

„Мы считаем необходимым подчеркнуть,—говорит товарищ Невзоров,— что лавризм во всяком случае популяризовал в среде русских революционеров марксистские термины, он давал им форму, двигаясь в которой, их мышление легче подготовлялось к восприятию уроков жизни, он, наконец, заставлял русских социалистов интересоваться деятельностью немецкой социал-демократии, от которой их решительно отталкивал бакунинский анархизм. И в этом смысле лавризм, пытавшийся обосновать народничество на учении марксовского интернационала, не остался без влияния на подготовление русской социал-демократии“ [1]).

Что лавристы гораздо более, чем бакунисты, содействовали ознакомлению русских революционеров с деятельностью немецкой социал-демократии, это не подлежит ни малейшему сомнению и это составляет их заслугу. Но происходило это не потому, что лавристы лучше бакунистов понимали теоретическую основу социалдемократической программы, а потому, что они видели в социал-демократах естественных своих союзников в борьбе против „бунтарской“ тактики бакунистов. Отрицательное отношение к этой тактике было единственной точкой, в которой лавризм безусловно сходился с социал-демократией. Но, едва сойдясь с ней в этой точке, он сейчас же опять далеко расходился с нею, даже по вопросу об отношении к тому же бакунизму. Как известно, Лавров в своем журнале высказывал сожаление о том, что марксисты вели ожесточенную борьбу с бакунистами в Международном Товариществе Рабочих. Это обстоятельство и подало Энгельсу повод об'явить его эклектиком. Кроме того, надо иметь в виду, что,—как на это указывает и Тун,—несмотря на тактические разногласия, программа Лаврова была в сущности очень близка к программе Бакунина. Что же касается „марксистских терминов“ и тех „форм“, которые лавризм,—по словам товарища Невзорова,— давал русским революционерам, и, которые будто бы подготовляли „их мышление к восприятию уроков жизни“, то насколько я понял, очень неясно вы-

[1]) Ю. Невзоров „Отказываемся ли мы от наследства?“, стр. 23.

раженную здесь мысль этого товарища, она тоже кажется мне ошибочной. В теоретическом отношении лавризм мог быть для русских революционеров только школой электизма на идеалистической подклацке, а такая школа вообще плохо подготовляет к восприятию уроков жизни и уж ни в каком случае не может служить подготовкой к пониманию марксизма. Те из наших революционеров, которые основательно прошли эту школу и сроднились с употреблявшимся в ней методом мышления, навсегда лишились способности понять учение Маркса. Как ни резко и как ни сильно расходился с автором „Капитала“ Бакунин, он все-таки был гораздо ближе к нему, чем автор „Исторических Писем“, и потому его влияние все-таки более подготовляло русских революционеров к пониманию учения Маркса, чем влияние Лаврова. Это может быть принято за парадокс, но это неоспоримая истина.

Не говоря уже о том, что жизнь давала более „уроков“ той революционной партии, которая, стремясь агитировать на почве непосредственных народных требований, вынуждена была внимательно относиться ко всем особенностям народного быта и народной психологии, чем той, которая уповала преимущественно на силу отвлеченной истины, я попрошу товарища Невзорова обратить внимание на коренное различие в исторических взглядах Бакунина, с одной стороны, и Лаврова, с другой. Всякий, кто знаком с „Историческими Письмами“, знает, что в своем об'яснении истории Лавров был идеалистом, поскольку этому не мешал эклектический характер его ума. Исторического идеализма придерживались и те последователи Лаврова, которые имели определенные исторические взгляды. Товарищ Невзоров говорит: „теория так называемого экономического материализма (правда, в своеобразном толковании) пользовалась большой популярностью среди семидесятников, не только среди лавристов... но и среди бакунистов“ [1]). Но в действительности бакунисты гораздо более склонны были признать эту теорию, чем лавристы“. Сам Бакунин не раз печатно об'являл себя решительным ее сторонником. Товарищ Невзоров цитирует то место из книги „Государственность и анархия“, где Бакунин называет материалистическое об'яснение истории „одной из главных научных заслуг г. Маркса“. Если память не изменяет мне, на ту же заслугу Маркса и еще в более сильных выражениях указывает другое русское сочинение знаменитого анархиста: брошюра „Наука и насущное революционное дело“. Наконец, в том же смысле высказывается Бакунин и в своей полемике с Мадзини: „Все религии и все системы нравственности, господствующие в обществе,—говорит он здесь,—представляют собою идеальное выражение его реального, материального положения, т. е. в особенности его экономической организации, но также и его политического строя, который, впрочем, всегда является ни чем иным, как юридическим и насильственным освещением экономики“ [2]). Правда, Бакунин и бакунисты плохо понимали эту теорию, делая из нее тот вывод, что пролетариату нет никакой надобности прибегать к „политике“ в борьбе за свое социальное освобождение. Вся теоретическая аргументация Бакунина против программы Маркса опиралась на плохо понятые и потому исковерканные положения марксова исторического материализма [3]). Но от искаженного, если хотите даже каррикатурного, марксизма Бакунина и его последователей

---

[1]) Ю. Невзоров, стр. 57, примечание.

[2]) La Theologie politique de Madzzini et l'Internationale, 1871, p. 69. О Марксе см. стр. 78.

[3]) Подробнее эта мысль развита мною в брошюре *„Anarchismus und Socialismus“*. Berlin. 1894.

все-таки было ближе до научного социализма, чем от эклектического идеализма Лаврова и лавристов. И мы видим на самом деле, что первыми последовательными русскими социал-демократами явились люди, прошедшие через школу бакунизма, а не бывшие ученики Лаврова.

Когда редакция „Черного Передела“ заявляла, что экономические отношения признаются ею „основанием всех остальных, коренною причиною не только всех явлений политической жизни, но и умственного и нравственного склада его членов“; когда она повторяла, что в „основе общества лежат главным образом отношения экономические, которыми по преимуществу и определяются остальные отношения—государственные, юридические, нравственные и пр.“ [1]), то она высказывала лишь тот взгляд, который раньше ее выражал, вслед за Марксом,—Бакунин. Но она принимала этот взгляд в том же искаженном его виде, который придал ему автор „Государственности и анархии“. Она строила на нем чисто анархическое отрицание „государственности“. Поэтому товарищ Невзоров ошибается, говоря, что чернопередельцы „определенно стояли на марксистской точке зрения“ [2]). Их марксистская точка зрения на самом деле была не более, как точкой зрения Бакунина [3]). Я потому считаю нужным указать на это, что товарищ Невзоров, преувеличивая значение нашего тогдашнего „марксизма“, тем самым выставляет в неправильном освещении то теоретическое „наследство“, которое было получено нами, русскими социал-демократами, от революционеров семидесятых годов. Это наследство было очень важно,—и даже совершенно незаменимо,—в смысле практического опыта, частью приобретенного нами самими во время нашей народнической деятельности, частью завещанного нам социалистами первой половины того десятилетия. Этот опыт лег в основу всей нашей критики старых русских программ и теорий, и вот почему безусловно нелеп тот, так часто выдвигаемый против нас, довод наших противников, который сводится к ехидному напоминанию о том, что первая программа русских социал-демократов была выработана за границей. За границей только были подведены итоги тому, что было сделано и узнано нами в России. И во всем нашем проекте программы русских социал-демократов, написанном в 1884 и напечатанном в 1885 году, нет ни одной строчки, которая не имела бы в виду того или другого „проклятого вопроса“ нашей революционной практики и которая не опиралась бы прежде всего на указания этой практики [4]). Но в теоретическом отношении семидесятые годы давали нам чрезвычайно мало, так как „наследство“, завещанное нам ими, оставляло совершенно незаполненной ту пропасть, которая отделяла „русский социализм“ бакунинского или лавровского оттенка от научного социализма западной Европы, и которую, однако, необходимо было заполнить для того, чтобы вывести нашу революционную мысль из тупого переулка. Об этом полезно напомнить теперь, когда делаются попытки реставрировать программы семидесятых годов.

Но вернемся к Туну. Длинное отступление, сделанное мною по поводу лавризма, показывает, какие важные вопросы нашей революционной истории

---

[1]) Эти ее заявления цитирует тов. Невзоров на 57 стр. своей брошюры.

[2]) Там же, стр. 63.

[3]) Я имею право с полною уверенностью говорить *о тогдашних* взглядах редакции „*Черного Передела*“, так как сам принадлежал к ней, и так как статьи, цитируемые товарищем Невзоровым, были написаны мною.

[4]) Некоторые немецкие радикалы сороковых годов самого Маркса упрекали в том, что он придумал свою программу за пределами германского фатерланда. Таким образом, мы оказываемся в очень хорошей компании.

скрываются за недомолвками и противоречиями, встречающимися в книге нашего автора. А неправильное представление товарища Невзорова о значении лавризма и об отношении исторических взглядов редакции „Черного Передела“ к историческому материализму Маркса, лишний раз свидетельствует о том, как трудно современному русскому революционеру составить себе верное представление о тех периодах нашего движения, которые не знакомы ему по личному опыту. Винить в этом, разумеется, надо только недостаток надежных источников.

Сделанная Туном характеристика народнического периода не заключает в себе важных промахов. Более того: перечитав теперь эту характеристику, мы с удивлением видим, что немецкий профессор лучше понял отличительные черты и результаты этого периода, чем, например, Е. А. Серебряков, написавший целую брошюру о самой крупной и влиятельной организации того времени,—о тайном обществе „Земля и Воля“.

На первой странице своей брошюры Е. А. Серебряков говорит: „Массовое движение русской социалистической молодежи в народ, с целью пропаганды, окончилось весною 1874 года страшным погромом. Около тысячи человек было арестовано; а немногие уцелевшие пропагандисты должны были спасаться в города, ибо и прежде трудное пребывание в деревне сделалось совершенно невозможным в эту минуту“. Эти слова могут быть поняты только в том смысле, что погром имел место главным образом „в деревне“, которая и стала вследствие этого недоступной для социалистов, увидевших себя вынужденными искать спасения „в городах“. Но это совсем не верно. На самом деле огромнейшее большинство арестов того времени произошло именно в городах и вызвано было полнейшим отсутствием всякой конспиративной сноровки у тогдашних революционеров и совершенной неорганизованностью их сил. Строгости полицейского надзора в деревне,—тогда очень слабого,—тут совсем не при чем. Если многим социалистам и приходилось бежать из деревни в город, то происходило это опять-таки вследствие беспрерывных провалов в городе, обнаруживавших перед жандармерией все планы и все действия даже тех революционеров, которые шли в деревни. И это хорошо понимали тогдашние деятели. Я хорошо помню, как на революционных сходках, происходивших в Петербурге летом 1876 года, многие ораторы,—в том числе покойный И. Ф. Фесенко,—доказывали нам, студенческой молодежи того времени, что в полицейском отношении серьезная революционная работа в деревне гораздо безопаснее, чем шумная, но мало производительная жизнь в среде революционной интеллигенции городов. Эти соображения приводились, как один из доводов в пользу „хождения в народ“. Таким образом, „спасать“ революционеров должны были не города, а, именно, деревни. Это необходимо помнить всем тем, которые хотят правильно судить об истории нашего движения.

Так же неверно описывает Е. А. Серебряков и положение дел в 1878—1879 г.г., т. е. в конце того периода, начало которого было подготовлено погромом 1874 года, и в течение которого революционеры старались заводить поселения в народе. „Устройство поселений,—говорит он,—с первых же шагов встретило массу препятствий. Начальство было настороже, и поселенцам приходилось часто бросать устроенные мастерские и оставлять занятые должности, переезжать в новые местности, под новыми фамилиями“ [1]). Все это, действительно, случалось нередко, но препятствия, на которые наталкивались селившиеся в деревне революционеры, были далеко не так велики,

[1]) Е. А. Серебряков. Общество „Земля и Воля“, стр. 17—18.

как это думает Е. А. Серебряков. У него выходит, что эти революционеры нигде не могли осесть сколько-нибудь прочно. Он так и говорит: „Преследуемые революционеры вынуждены постоянно переезжать с места на место, теряя при этом каждый раз многих товарищей, которых захватывало правительство“ [1]). А в доказательство он ссылается на неизданные воспоминания одного землевольца, который приводит примеры, повидимому, подтверждающие слова Е. А. Серебрякова. „Так,—пишет землеволец,—к концу 1877 года не осталось почти ни одного крупного поселения: они все рухнули, не просуществовав и одного года. Многие члены этих поселений были арестованы, а те, которые уцелели, разбежались во все стороны. Пропал год усиленных трудов, порваны связи“... [2]). Здесь память изменила землевольцу. В конце 1877 г. произошел провал на Камышенской улице в Саратове, заставивший бежать некоторых из землевольцев, живших в этом городе и занимавшихся там пропагандой частью в среде местных рабочих, а частью между семинаристами и гимназистами. Этот, совершившийся в городе, провал неблагоприятно отразился и на некоторых землевольских поселениях в крестьянстве, вследствие уже знакомого нам смертного греха наших революционеров: неосторожности. Но эти поселения рухнули далеко не все, и потому землеволец неправ, говоря, что целый год усиленных трудов пропал без пользы для дела.—„Но вера еще крепка, силы не надорваны,—продолжает он.—И вот, весною 1878 года образовалось в Саратовской же губернии новое поселение“ [3]). Весною 1878 года саратовская колония землевольцев действительно пополнилась новыми силами, которые заменили товарищей, выбывших из строя, благодаря осеннему провалу предыдущего года. Но так как старое саратовское поселение было очень далеко от полной гибели, то заводить новое не было надобности. „Одновременно почти с этим, землевольцы основали в Воронежской губ. другое поселение,—пишет дальше товарищ, цитируемый Е. А. Серебряковым.—Оба эти поселения по составу лиц и организации не оставляли желать ничего лучшего. Многие члены этих поселений впоследствии показали свою способность, энергию и деятельность на террористическом пути. Но здесь, на почве народа, злой рок по прежнему преследовал их. Эти новые поселения вскоре распались. Воронежское не просуществовало и полгода, а новосаратовское погибло вскоре после 2 апреля 1879 года“ [4]).—Здесь я замечу, что „распалось“ не значит—провалилось. Воронежское поселение землевольцев, действительно, просуществовало очень недолго, но и в этом виноваты были не полицейские условия, что доказывается, между прочим, тем, что ни один из его участников не был арестован. Я не могу припомнить теперь, по какой именно причине они так скоро покинули облюбованное ими место; но думаю, что причина эта была в значительной степени суб'ективного свойства: в числе основателей воронежского поселения находилось несколько членов бывшего кружка так называемых централистов, т. е. последователей П. Н. Ткачева. Люди этого направления могли быть очень способными, энергичными и деятельными на поприще террора,—и такими в самом деле оказались некоторые члены воронежского поселения, например, покойная М. П. Полонская,—но для работы в крестьянской среде они годились очень мало уже по одному тому, что она плохо вязалась с их образом мыслей. Они примкнули к воронежскому поселению за неимением более подходящей для них деятельности;

---

1) Серебряков. Общество „Земля и Воля“, стр. 21.
2) Там же, та же страница.
3) Там же, та же страница.
4) Там же, та же страница.

а когда такая деятельность явилась вместе с началом террористической борьбы, тогда они уже не могли усидеть в деревне и покинули ее при первом удобном случае. О „новосаратовском“ поселении сам землеволец, цитируемый Е. А. Серебряковым, говорит, что оно „погибло“ после 2 апреля, т.-е. после покушения А. Соловьева на жизнь Александра II. Ясно, что если бы оно и в самом деле погибло, то и тогда причину его гибели надо было искать не в строгостях деревенского полицейского надзора, а в тех затруднениях, которые создавались для деятельности революционеров новыми приемами борьбы, которые стали практиковать в городах. Но на самом деле, „новосаратовское“ поселение только отчасти пострадало от выстрела А. Соловьева, а в общем продолжало довольно благополучно существовать вплоть до воронежского с‘езда, на котором было довольно много его представителей. Вот почему Е. А. Серебряков очень ошибается, когда говорит, изображая положение дел в промежутке времени между выстрелом 2 апреля и воронежским с‘ездом: „последние остатки деревенщиков бегут в города“ [1]. Это неправда. И я удивляюсь, каким образом сам Е. А. Серебряков не усомнился в правильности своего изложения. Мне странно, как ему не пришло в голову следующее простое соображение: если деятельность в деревне встречала такие непреодолимые трудности, то ко времени воронежского с‘езда там не осталось бы никого из землевольцев; а между тем мы видим, что на этом с‘езде было много „деревенщиков“, и при том не таких деревенщиков, которые только собирались бы „итти в народ“, а таких, которые жили и действовали там именно в эпоху с‘езда. Или Е. А. Серебряков не знал этого обстоятельства? Пожалуй, что и не знал. Описывая события, последовавшие за воронежским с‘ездом, он спрашивает: „а что же делали деревенщики?“ На этот вопрос он категорически отвечает так: „в деревню итти они не могли... И пришлось им остаться в городах и здесь заниматься, подобно членам новой фракции, проповедью и вербовкой последователей... неизвестно, для чего“ [2]. Эти слова дают повод думать, что и до с‘езда большинство „деревенщиков“ оставалось в городах. Но если Е. А. Серебряков думает так, то ему полезно будет перечитать книгу немца Туна, никогда не принимавшего участия в нашем движении, но все-таки лучше осведомленного на его счет. Тун говорит: „Так как заседавшие в Липецке террористы заставили прождать себя целых четыре дня, то многие деревенщики раз‘ехались из Воронежа, боясь потерять занятые в деревнях места“. Так оно и было на самом деле. Но Е. А. Серебряков согласится, что если бы „деревенщики“ оставались в городах, то указанное Туном опасение не имело бы ни малейшего смысла и, конечно, не возникло бы ни у кого из них.

На эту ошибку Е. А. Серебрякова стоило обратить внимание читателя. У нас многие думают теперь, что „хождение в народ“ прекратилось главным образом вследствие полицейских строгостей. Распространению такого взгляда очень способствовала устная и печатная пропаганда „народовольцев“, орган которых, „Народная Воля“ уже осенью 1879 г. во всеуслышание об‘явил, что при нынешних полицейских условиях работать в народе значит биться, как рыба об лед. В своей брошюре Е. А. Серебряков повторяет это мнение, совершенно не считая нужным проверить его основательность. И это очень жаль, потому что его брошюра, благодаря его неумению критически отнестись к своим источникам, вводит читателей в глубокое заблуждение.

---

[1]) Серебряков. Общество „Земля и Воля“. стр. 52—53.
[2]) Там же стр. 63.

Если бы тогдашняя деревня была недоступна для революционеров по полицейским причинам, то в этом прежде всех других должны были бы убедиться именно „деревенщики“, последние остатки которых уже в середине 1879 г. бежали,—по словам Е. А. Серебрякова,—из деревень в города. Но деревенщики не только не убеждены в этом и не только не бежали в города, а напротив с величайшею горячностью доказывают необходимость оставаться в народе и оспаривают своих городских товарищей, всеми силами старающихся уверить их, что в народе действовать невозможно. Удивительно, каким образом Е. А. Серебряков не остановился перед этим бесспорным и всем известным фактом, ясно показывающим, как произвольно и односторонне ходячее у нас представление о причинах, заставивших большинство наших революционеров конца 70-х годов покинуть мысль о деятельности в крестьянстве, которую не далее, как за несколько лет до того, они же считали безусловно необходимой и единственно целесообразной.

В действительности дело было гораздо сложнее, чем это кажется Е. А. Серебрякову. Деятельность в крестьянстве отнюдь не была невозможной: революционеры справились бы с полицейскими препятствиями, если бы их настроение продолжало толкать их в деревню. Но в том то и дело, что во второй половине семидесятых годов их настроение очень изменилось, и „хождение в народ“ потеряло в их глазах почти всю свою привлекательность. Произошло это потому, что деятельность в народе не оправдала тех радужных, можно сказать, почти ребяческих надежд, какие возлагались на нее революционерами. Отправляясь в народ, революционеры воображали, что „социальную революцию“ сделать очень легко, и что она очень скоро совершится: иные надеялись, что года через два—три. Но известно, что подобная легкомысленная „вера“ представляет собою нечто до крайности хрупкое и разбивается при первом столкновении с жизнью. Разбилась она и у наших тогдашних революционеров. „Народ“ перестал привлекать их к себе, потому что „хождение в народ“ перестало казаться им вернейшим и скорейшим средством повалить существующий порядок. До какой степени это верно, покажет следующий пример. Летом 1878 г. волновались донские казаки по случаю введения у них земства, которое было огромным шагом назад сравнительно с их почти первобытным самоуправлением. Верные своей „бунтарской“ программе, землевольцы поспешили отправиться на Дон и завязать сношения с недовольными. Я был одним из первых, попавших туда членов „Земли и Воли“. Ознакомившись с положением дел и убедившись, что оно благоприятно для агитации, я написал об этом в Петербург, откуда немедленно двинулся ко мне на помощь Александр Михайлов. Но так как я спешил отпечатать „Воззвание к славному войску донскому“, составленное нами, „интеллигентами“, при участии „спропагандированных“ нами казаков, то я выехал в Петербург,—где у нас была тогда тайная типография,—не дождавшись приезда Михайлова в Ростов-на-Дону. Это было уже осенью и всего несколько дней спустя после большого „провала“, погубившего Ольгу Натансон, Адриана Михайлова и многих других наших надежных и опытных товарищей. Я ничего не знал об этом несчастии и сам избежал ареста лишь благодаря простой случайности, помешавшей мне пойти тотчас по приезде в Петербург на нашу бывшую „конспиративную“ квартиру, где расположилась полицейская засада. Последствия „провала“ были так тяжелы для нашей организации, что приходилось на время отказаться от всякой мысли об участии ее членов в агитации между казаками: надо было прежде всего восстановить „центр“, разрушенный опустошительным полицейским набегом. Я немедленно вызвал телеграммой Ал. Михайлова из Ростова, и, когда он, не-

сколько дней спустя, вернулся в Петербург, я в первый раз услыхал от него то мнение, что нам нельзя ставить себе задачу широкой агитации в народе, так как наши силы для этого слишком малы, а надо просто „наказывать“ правительство за его свирепые преследования: прежде он был самым убежденным сторонником „агитации на почве непосредственных народных требований“ и самым решительным противником „террора“, который назывался у нас тогда дезорганизацией правительства, и о котором начали поговаривать уже летом 1877 года. Я не согласился с Ал. Михайловым, но так как о поездке на Дон членов нашей организации тогда, действительно, нельзя было и думать, то я стал искать охотников в среде „интеллигентной“ революционной молодежи, не принадлежавшей к нашему обществу, но сочувствовавшей нашему направлению. Эта молодежь, насквозь пропитанная народничеством, с приятным удивлением слушала мои рассказы о казацких волнениях и вполне соглашалась с тем, что революционеры непременно должны воспользоваться этими волнениями. Но, несмотря на это, на Дон все-таки никто из Петербургских революционеров не поехал. Так и пришлось махнуть рукою на казаков. Правда, к ним отправилось несколько молодых товарищей из Харькова; но и эти товарищи скоро убедились в том, что ни на какую поддержку со стороны революционной интеллигенции им рассчитывать невозможно, и обескураженные этим, сами вернулись в город, хотя революционеры-казаки,—которых насчитывалось тогда уже человек до пятидесяти,—настойчиво уговаривали их оставаться. Попытка агитации на Дону—чрезвычайно важная с точки зрения нашей тогдашней программы,—окончилась ничем, и не потому, чтобы казацкая полиция помешала нам связать прочные связи в казацких станицах и хуторах,—эта полиция, по своей неопытности в таких делах, ничему помешать не могла, и связи уже начали завязываться,—а просто потому, что мысль об агитации в массах совсем перестала тогда увлекать нашу революционную интеллигенцию. И это чувствовали наши „деревенщики“, которые видели, что число лиц, желающих итти „в народ“, постоянно уменьшается, и что их „поселения“ перестают быть привлекательными для революционной молодежи. А так как необходимым условием широкого народного восстания была, в глазах бунтаря, организация народных сил, а эта организация, в свою очередь, предполагала беспрерывный и широкий приток в народную среду революционной интеллигенции, то существовавшие тогда „поселения“ имели для „деревенщиков“ цену только в той мере, в какой можно было надеяться, что в недалеком будущем таких поселений явится не два—три десятка, а очень много: два—три десятка лиц, уже поселившихся и действовавших в поволожье, могли иметь значение только как авангард, возвещавший о приближении большой армии; сами же по себе они были так слабы, что самый горячий сторонник агитации в народе переставал дорожить ими, как только убеждался, что на новый и гораздо более значительный приток в народ сил „интеллигентов“ рассчитывать уже невозможно. Вот почему „деревенщики“ так горячо восстали против террора,—которому сначала многие из них горячо сочувствовали,—когда убедились, что он отвлекает симпатии молодежи от агитации в народе и направляет их в другую сторону. И вот почему после воронежского с'езда многие „деревенщики“, до того времени благополучно жившие и более или менее удачно действовавшие в крестьянстве, переехали в города, чтобы звать оттуда молодежь на деятельность в крестьянстве и бороться там с возростающим влиянием террористов. Е. А. Серебряков обнаруживает полное непонимание дела, когда пускается в иронию, замечая, что эти, переехавшие в города, деревенщики, вербовали последователей „неизвестно для чего“; нет, последователи вербовались для цели, очень хорошо известной,

но неизлечимая слабость „бунтарей“, оставшихся верными старой программе, заключалась в том, что даже их молодые последователи, вполне признававшие необходимость нового похода „в народ“ революционной интеллигенции, ни в какой поход отнюдь не собирались, а продолжали жить да поживать в городах, т.-е. там, где им, по прямому смыслу их программы, полагалось жить только в виде исключения [1]). Революционное народничество погибало, но погибало не под ударами полиции, будто бы загородившей революционной интеллигенции все пути к народу, а в силу неблагоприятного для него настроения тогдашних революционеров, которым во что бы то ни стало хотелось „отомстить“ правительству за его преследования и вообще вступить с ним в „непосредственную борьбу“ т.-е., собственно говоря, как можно скорее добиться конституции.

Прочитав брошюру Е. А. Серебрякова, можно подумать, что отправлявшиеся в народ пропагандисты и агитаторы испытывали одни только неудачи. Немец Тун и здесь ближе к истине. Он говорит: „Справедливо то мнение, что результаты далеко не соответствовали жертвам: жертвы были многочисленны и тяжелы, результаты весьма незначительны. Но не следует думать, что пропаганда прошла без всяких следов. Во многих случаях социалистические идеи запали в головы крестьян... И мы видим, что многие крестьяне и рабочие на суде с воодушевлением исповедуют свои социалистические воззрения... В социалистических кружках было много членов из рабочих; существовали даже чисто рабочие союзы, как например, в Одессе... Наконец, пропаганда имела еще и тот результат, что было приобретено несколько точек опоры для дальнейшей деятельности в деревне. Пропагандистское движение пустило в народе более глубокие корни, чем все прежние заговоры, и заложило основы для будущей революционной партии [2])“.

В этих строках Тун подводит итоги деятельности социалистов в 1873—74 годах. Итоги эти, как я уже заметил,—ближе к истине, чем то, что сообщает нам Е. А. Серебряков. И приблизительно такие же результаты дала деятельность собственно народнического периода, т. е. 1875—78 годов. И тогда социалистические идеи продолжали западать в головы крестьян, рабочее же движение своим быстрым развитием даже превзошло ожидания „интеллигентных“ революционеров, как в этом сознавалась газета „Земля и Воля“. Но нужно помнить, что между крестьянами именно только отдельные головы—хотя бы и довольно „многие“—были и могли быть доступны социалистической пропаганде. Взятое в массе, крестьянство обнаруживало стремление, не имевшее ничего общего с социализмом. Эти стремления не ускользнули от внимания пропагандистов, но они были истолкованы ими очень неправильно. И именно это неправильное истолкование пропагандистами верно схваченных ими народных стремлений положило основание нашему революционному народничеству.

Дело в том, что крестьянин, охотно и внимательно слушавший рассказы и рассуждения пропагандиста на тему о малоземелье, о тяжести податей, о произволе администрации, о бессердечии помещиков, о жадности попов, о хищничестве кулаков и т. п., в массе оказывался глух к проповеди социализма. оциалистические идеалы не только не влекли его к себе, но прямо не укладывались в его голову, потому что в идеалах подсказываемых, ему его собственными производственными отношениями, было очень много буржуазного индивидуализма.

---

[1]) Эту черту очень хорошо подметил и верно изобразил в своих „Воспоминаниях“ В. К. Дебагорий-Мокриевич.

[2]) См. Тун, указ. изд., стр. 68—69.

„Легче восстановить крестьянина против царя, чем убедить его в том, что не надо частной собственности“,—говорил, на одной из революционных сходок осенью 1876 года, Боголюбов, который был очень опытным и умелым пропагандистом. Другой пропагандист на другой сходке рассказывал, как один крестьянин, убежденный им в необходимости поголовного народного восстания и отобрания земли у помещиков, воскликнул однажды с нескрываемым удовольствием: „Вот будет хорошо, как землю то мы поделим! Тогда я принайму двух работничков, да как заживу то!“—Подобных рассказов можно было тогда услышать от всякого бывалого пропагандиста великое множество [1]). Общий смысл их был тот, что идеалом русского крестьянина, подавленного гнетом податей и закрепощенного государству, является крестьянин, избавленный от этого гнета и освобожденный от этого закрепощения, но остающийся самостоятельным производителем и даже отчасти предпринимателем,—словом: мелкий буржуа земледелия. Этого смысла революционеры не поняли во всем его великом общественном значении. Они решили, что если крестьянин теперь, вообще говоря, не интересуется социализмом, то это происходит лишь оттого, что община пока еще не достигла надлежащей высоты развития, а впоследствии, когда она поднимется на эту высоту, стремление к социализму вырастет само собою из условий крестьянской жизни. А отсюда они сделали тот вывод, что задача революционеров сводится теперь к устранению всего того, что препятствует сохранению и дальнейшему развитию общины и всех прочих старых „устоев“ экономической жизни народа. Этот вывод и лег в основу всей народнической программы. Возникновение народничества означало, что наши социалисты отступают перед трудностями социалистической пропаганды и агитации в крестьянстве и, совершая свое отступление, утешают себя верой в будущее „самопроизвольное“ развитие общины. И чем больше давали себя чувствовать названные трудности, чем решительнее было указанное отступление социалистов, тем более подготовлялась почва для идеализации общины и веры в ее будущий переход „в высшую форму общежития“. Наивысшей своей точки эта идеализация и эта вера достигли впоследствии у некоторой части народовольцев.

Обо всем этом Е. А. Серебряков не говорит ровно ничего. Правда, и у него есть страница, очень хорошо подтверждающая то, что сказано здесь мною, но содержание этой страницы осталось для него непонятным. Он приводит следующую цитату из неизданных воспоминаний землевольца: „Положение человека физического труда признавалось попрежнему весьма желательным и целесообразным, но безусловно отрицалось [2]) положение бездомного батрака, ибо оно никоим образом не могло внушить уважения и доверия крестьянству, привыкшему почитать материальную личную самостоятельность, домовитость и хозяйственность,—а потому настоятельной необходимостью считалось занять такое положение, в котором революционеру, при полной материальной само стоятельности, открывалась бы широкая возможность прийти в наибольшее соприкосновение с жителями данной местности“ и т. д. [3]). Что означает то пренебрежительное отношение крестьянина к батраку и то его почтение к „материальной личной самостоятельности“, о которых говорит землеволец? Да именно то, что иное дело пролетарий (батрак), а иное дело крестьянин, и что идеалом крестьянина является,—как уже сказано мною,—мелкий буржуа земледелия. Но Е. А. Серебряков

[1]) В легальной литературе те же самые черты крестьянского идеала стал указывать впоследствии Г. И. Успенский.

[2]) Речь идет здесь об эпохе народничества.

[3]) Серебряков. Общество „Земля и Воля“, стр. 17.

обращает на это также мало внимания, как наши нынешние социалисты-революционеры".

Еще два небольших замечания, чтобы покончить с его неудачной брошюрой. Он утверждает, что непременным условием начала Казанской демонстрации 1876 года было поставлено присутствие на площади не менее двух тысяч человек манифестантов, но что „вопреки принятому решению, хотя и собиралось только 200—300 человек, нашелся оратор, который начал говорить речь [1]". Это неправда. На последнем своем собрании организаторы демонстрации решили, наоборот, что демонстрация должна состояться, хотя бы на нее пришло всего несколько сот человек. Это решение было принято потому, что демонстрация уже не раз назначалась и отсрочивалась, и новая отсрочка подействовала бы на всю петербургскую революционную среду самым деморализующим образом [2]. Е. А. Серебряков, очевидно, совсем не знает обстоятельств дела, о котором взялся говорить.

„Дело кончилось, конечно, так, как многие предвидели, — рассказывает дальше наш автор.—В виду малочисленности манифестантов, полиция натравила на них дворников, сидельцев соседних лавок и проч., и началось поголовное избиение". Это опять не так. Дворники, действительно, работали тогда не хуже, чем они работают в подобных случаях теперь. Но что до „поголовного избиения" было очень далеко, это доказывается тем, что ни один из выдающихся землевольцев, бывших на Казанской площади и отражавших полицейское нападение, не был арестован. Далее Е. А. Серебряков сообщает нам, что хотя Казанская демонстрация произвела удручающее впечатление, но что жестокий приговор суда над ее участниками вернул революционерам симпатии общества, доказав ему, что „демонстрация, очевидно, уже не так была смешна, если правительство вынуждено было прибегнуть к столь суровым мерам [3]). В настоящее время, когда демонстрации, подобные Казанской, вошли, можно сказать, в обычай, нет нужды доказывать, что они не совсем смешны даже и в тех случаях, когда полиции удается натравить на демонстрантов „дворников, сидельцев соседних лавок и проч."

Программа, проводимая Е. А. Серебряковым в качестве программы того общества „Земля и Воля", о котором говорится в его брошюре [4], на самом деле была написана горазда позже и выражает взгляды и намерения совсем другого общества, возникшего под тем же именем в 1880 году. Я хорошо знаю как эту программу, которую я читал в ее рукописном проекте, присланном на просмотр нашей группе весною указанного года, так и программу „Земли и Воли" семидесятых годов, которая была формулирована мною весною 1878 года [5]. И я могу доказать Е. А. Серебрякову, что он ввел своих читателей в жестокую ошибку.

Теперь довольно об его неудачной брошюре. Возвращаясь опять к Туну, я замечу, что его характеристика так называемого народовольческого направления тоже не свободна от некоторых противоречий, за которые, однако, и здесь приходится винить не его, а источники, находившиеся в его распоряжении. В народовольческую организацию входили люди, довольно сильно

---

[1]) Серебряков, стр. 16.

[2]) См. об этом в моей брошюре: „Русский рабочий в революционном движении". Чрезвычайно жаль, что Е. А. Серебряков в разбираемом мною месте не указывает своих источников.

[3]) Серебряков, та же страница.

[4]) См, стр. 9—12 этой брошюры.

[5]) Раньше этого времени она существовала лишь в словесной формулировке.

расходившиеся между собою во взглядах на важнейшие задачи нашего революционного движения. В ней были радикалы в западно-европейском смысле, но были и чистокровные народники, пришедшие к тому убеждению, что только низвержение нынешнего нашего государственного порядка продолжит свободный путь для развития старинных „устоев“ народной экономической жизни; были в ней, наконец и такие люди,—и эти составляли кажется, большинство,—которые одновременно склонялись и к западно-европейскому радикализму, и к российскому народничеству, вследствие чего их воззрения делались в высшей степени запутанными. Как на самого выдающегося представителя западно-европейского радикализма в „Партии Народной Воли“ можно указать на А. И. Желябова. В его биографии, написанной Тихомировым и одобренной к печатанию Исполнительным Комитетом партии Н. В., мы встречаем следующие строки: „Политический агитатор рано сказался в нем. Так например, он принимал деятельное участие в организации помощи славянам, расчитывая, как рассказывал впоследствии, на деле возрождения славян, помочь политическому воспитанию самого русского общества. Вообще надо сказать, что этот мужик, по своему происхождению никогда не отвертывался от „общества“, как делало большинство отправлявшихся в народ. Русская революция представлялась ему не исключительно в виде освобождения крестьянского или даже рабочего сословия, а в виде политического возрождения всего русского народа вообще. Его взгляды в этом случае значительно расходились со взглядами большинства современной ему революционной среды [1]“. Это чрезвычайно характерные строки. Здесь „русский народ вообще“ противопоставляется „крестьянскому или даже рабочему сословию“, т. е. более или менее правильно определенному классу эксплуатируемых. Желябов смотрел на задачи русской революции не с точки зрения интересов этого класса, а с точки зрения „русского народа вообще“, т. е. всей той совокупности классов, интересы которых расходятся с интересами самодержавия. Автор его биографии недурно об'ясняет нам, какие именно соображения располагали А. И. Желябова к принятию именно той точки зрения, которая,—по справедливому замечанию того же автора,—была чужда большинству тогдашних наших революционеров. Желябов рассуждал так: „Социально-революционная партия не имеет своей задачей политических реформ. Это дело должно бы всецело лежать на тех людях, которые называют себя либералами. Но эти люди у нас совершенно бессильны и, по каким бы то ни было причинам, оказываются неспособными дать России свободные учреждения и гарантии личных прав. А между тем эти учреждения настолько необходимы, что при их отсутствии никакая деятельность невозможна. Поэтому русская социально-революционная партия принуждена взять на себя обязанность сломить деспотизм и дать России те политические формы, при которых возможна станет „идейная борьба“. В виду этого мы должны остановиться, как на ближайшей цели, на чем-нибудь таком, достижение чего давало бы прочное основание политической свободе и стремление к чему могло бы об'единить все элементы, сколько-нибудь способные к политической активности“ [2]). Кто думает, что социально-революционная партия не имеет своей задачей политических реформ, тот держится взгляда старого утопического социализма, противополагавшего себя „политике“. В этом отношении А. И. Желябов сходился с большинством народников, воспитанных в преданиях бакунизма:

[1]) „Андрей Иванович Желябов“, стр. 14—15,.
[2]) Там же, стр. 36.

но именно потому, что и он, подобно другим народникам, противополагал социализм („задачи социально-революционной партии“) политике, он, убедившись в неизбежности политической борьбы, увидел себя вынужденным отодвинуть на задний план социалистическую задачу. Он стал стремиться к об‘единению всех противников самодержавия, вследствие чего классовые интересы „крестьянского или даже рабочего сословия“ потеряли в его глазах всякое самостоятельное значение. Принцип борьбы классов сделался неудобным для него принципом, потому что мог помешать указанному об‘единению И вот мы видим, что А. И. Желябов,—с последовательностью, делающею величайшую честь его логике,—об‘являет на воронежском с‘езде, что, по его мнению, революционеры должны оставить теперь всякую мысль о классовой борьбе. Это вызвало против него целую бурю; ему возражали, что в таком случае мы должны отказывать в нашей поддержке стачечникам, так как стачка несомненно представляет собою один из видов классовой борьбы [1]). И в ответ на это он произнес знаменитую фразу, которую теперь часто истолковывают так неправильно. „Стачечник ведет двоякую борьбу,—сказал А. И. Желябов,—он ведет классовую борьбу с фабрикантами и политическую борьбу с полицией; и я буду поддерживать его именно потому, что он борется с этой последней“. Сказать это мог именно только радикал в западно-европейском смысле. Социалист, отбросивший предрассудки утопического периода, понимает, что политическая борьба тоже может стать классовою и даже должна стать классовою, чтобы иметь шансы на успех.

Теперь, когда читатель уяснил себе точку зрения А. И. Желябова на основании показаний г. Л. Тихомирова, я попрошу его обратить внимание на то, как представлял себе политическую задачу „социально-революционной партии“ сам г. Л. Тихомиров.

„Идея действительной равноправности политического и экономического элементов в партийной программе нашла себе ясное и громкое признание только с появлением народовольства,—говорит он в статье: „Чего нам ждать от революции?“ [2]) — тесная связь этих обоих элементов в общественной жизни сделалась мало-по-малу очевидной с тех пор, как социалисты перешли к практической деятельности. Совершенно помимо желания, и в противность предвзятым теоретическим взглядам, они должны были убедиться при этом, как неизбежна политическая борьба, как она сама навязывается каждому общественному деятелю. После этого опыта социалисты могли уже сознательно понять тот характер исторического развития, который они до сих пор только смутно ощущали. Народовольческая программа была первым гласным проявлением этого сознания“.

У Желябова социализм противополагался политике. У г. Тихомирова „эти оба элемента“ изображались, как неразрывно связанные между собою. Желябов находил, что социально-революционная партия должна прежде всего добиться „свободных учреждений и гарантий личных прав“, т. е. политической свободы, т. е. конституции. Г. Тихомиров думал, что этого слишком мало. „В самом деле,—спрашивал он,—для чего нам нужна конституция? Ведь не для того же, чтобы дать буржуазии новые средства для

---

[1]) В высшей степени замечательно, что народники, действовавшие преимущественно в крестьянстве, вспомнили прежде всего рабочих, когда им пришлось рассуждать о борьбе классов.

[2]) „Вестник Народной Воли“, кн. 2-ая, стр. 232—233.

организации и дисциплинирования рабочего класса посредством обезземеления, штрафов и зуботычин. Таким образом бросаться прямо в омут головой может лишь человек, вполне преклонившийся перед неизбежностью и необходимостью капитализма в России“ [1]). Г. Л. Тихомиров не преклонялся перед этой необходимостью и, кроме того, он,—как видим,—был убежден, подобно всем народникам, что завоевание политической свободы, не сопровождающееся немедленной социальной революцией, принесет рабочему классу гораздо больше вреда, чем пользы, утвердив власть буржуазии. Поэтому Г. Л. Тихомиров говорил, что за „таинственной чертой“ предстоящей революции нас ждет „начало социалистической организации России“ [2]). Короче, народоволец Желябов смотрел на политический вопрос совсем другими глазами, чем народоволец Тихомиров. Тут надо заметить, правда, что приведенный мною взгляд Тихомирова окончательно сложился и был принят большинством народовольцев уже значительно позже воронежского конгресса. Его выработке и распространению в среде народовольцев очень значительно содействовал ропот „широкой публики“, т. е. революционной интеллигенции, сочувствовавшей народовольческой борьбе, но по старой (народнической) памяти опасавшейся, что „политическая революция“ отдаст народ во власть буржуазии. И все-таки несомненно то, что уже во время воронежского с‘езда политические взгляды А. И. Желябова не разделялись большинством его товарищей. Его биограф, как мы видели, прямо говорит это. Г. Л. Тихомиров и в то время совсем иначе, чем Желябов, понимал революционную задачу своей партии. Это доказывается его статьями в „Народной Воле“, которая начала выходить в Петербурге уже осенью 1879 года. В тогдашних социально-политических взглядах г. Тихомирова были чрезвычайно сильны элементы народничества. А между тем этот народник, так сильно опасавшийся того, что конституция окончательно отдаст народ во власть буржуазии, и утешавший себя только той надеждой, что революционерам удастся захватить политическую власть в свои руки и, опираясь на нее, приступить к „социалистической организации России“, этот народник якобинец,—говорю я,—проговаривался иногда такими мнениями, на основании которых его можно было бы причислить уже не к европейским радикалам, к каким принадлежал Желябов, а к довольно заурядным русским либералам. Так, например, во внутреннем обозрении третьей книжки „Вестника Нар. Воли“ г. Тихомиров,—указав на то, что правительство, запретившее „Отечественные Записки“, об‘явило направление этого журнала и вообще прессы „известного оттенка“, одинаковым с направлением „подпольной печати“,—замечает:

„Пресса известного оттенка, в переводе на русский язык, означает ничто иное, как ту прессу, которая выражает настроение, направление и желания девяти десятых всего того, что только есть в России развитого, знающего и честного... короче говоря—это направление русского общества, и с ним-то находятся в основном противоречии начала, поддерживаемые существующим правительством... Мы можем только поблагодарить правительство за откровенность, с которой оно разоблачает себя, свою программу, свой строй“ [3]). Далее, оговорившись насчет того, что необходимо разграничить миросозерцания, идеалы и стремления, с одной стороны, и способы их достижения, с другой, внутренний обозреватель „Вестника Нар. Воли“ продолжает: „Правительство вполне право, когда не видит существенной разницы в общем миро-

[1]) „Вестн. Нар. Воли“, стр. 237.
[2]) Там же, стр. 248. Ср. также стр. 260.
[3]) Стр. 99—101.

созерцании и идеалах революционеров и—наиболее развитой, культурной части русского общества. Действительно, революционеры добиваются того самого, чего хочет эта часть общества: осуществления прав человека и гражданина, разумной политической организации государства, обеспечения трудящегося, правильной организации национального производства, но в каком отношении эти стремления—стремления каждого порядочного человека не одной России, а всего цивилизованного мира,—в каком отношении эти стремления находятся к политическим убийствам и восстаниям?“[1]).

Отказываясь от совместного с г. Тихомировым рассмотрения этого последнего вопроса, об отношении убийств и восстаний к идеалам, мы скажем, что здесь программа партии Народ. Воли была выставлена им в новом и неожиданном виде Если эта партия, которая должна была в скором времени взяться за „социалистическую организацию России“, выражала стремления наиболее развитой и культурной части общества, то выходит, что эта часть общества тоже была пропитана социалистическими идеалами и стремилась положить конец эксплуатации низших классов высшими, к которым она, мимоходом сказать, сама принадлежала. Но это совершенно невероятно. Поэтому остается только усумниться в том, что программа, которую выставляли народовольцы и которая совпадала с „направлением русского общества“, была программой социалистической революции. И это сомнение становится еще более законным в виду той неопределенной формулировки, которую здесь давал г. Тихомиров этой программе. В самом деле, необходимость „разумной политической организации государства“, „обеспечения трудящихся“ и „правильной организации национального производства“ в такой же мере признается либералами, как и социалистами. Весь вопрос в том, какие конкретные требования скрываются под этими общими фразами. А этот-то неизбежный вопрос и был оставлен здесь г. Тихомировым без ответа. Г. Тихомиров ограничился констатированием того факта, что стремления его партии совпадают с „направлением русского общества“. И напрасно стали бы мы обвинять его в желании обмануть „общество“ на счет истинных целей партии Народной Воли, нет, он не обманывал, а скорее был обманут. Маркс говорит в своем сочинении о „революции и контр-революции в Германии,“ что в этой стране „в конце 1847 г. вряд ли был хоть один выдающийся политический деятель среди буржуазии, который не провозгласил бы себя „социалистом“ для обеспечения симпатии пролетарского класса“. Передовые представители мелкой буржуазии в России—„интеллигенты“ всяких названий и призваний,—тоже чуть не поголовно причисляли себя к социалистам. Делалось это у нас не затем, чтобы обманывать пролетариат, самое существование которого почти не признавалось тогда „интеллигенцией“, а просто потому, что передовая часть „общества“ привыкла отождествлять с „социализмом“ всякое стремление к общественному благу и всякое сочувствие народу. На самом деле в ее стремлении к общественному благу и в ее сочувствии народу было очень мало социалистического. Но тут опять приходится вспомнить Маркса, который говорит: „Этикетки, наклеиваемые на системы, тем отличаются от этикеток, наклеиваемых на другие товары, что они обманывают не только покупателя, но и самого продавца“[2]). Воображая себя сторонницей социализма, наша мелко-буржуазная интеллигенция обманывала не только самое себя, но также и нашу „социально-революционную партию“. Когда наши революционеры перестали возлагать свои надежды на револю-

---

[1]) „Вестн. Нар. Воли“, стр. 101.
[2]) „Das Kapital“, II Band, zweite Aufl., s. 333.

ционную самодеятельность „народа“, они стали уповать на поддержку со стороны „общества“, передовая часть которого казалась им преисполненной „социалистических идеалов“. Но такая ошибка не могла, конечно, остаться безнаказанной: признавая себя солидарной с „обществом“, которое на самом деле не имело, да и не могло иметь никакого серьезного отношения к социализму, партия Народной Воли тем самым показывала, что ее собственный социализм был, по меньшей мере, недостаточно последователен и продуман.

Вот яркий пример в подтверждение сказанного. Когда, в конце восьмидесятых годов, в русской революционной печати стали раздаваться голоса, приглашавшие наших революционеров на время отказаться от социализма и превратиться в либералов[1]), тогда один из самых верных хранителей старого народовольческого предания, Г. Кашинцев, в статье „По поводу одной программы“, напечатанной в первом и единственном номере газеты „Социалист“, писал, что „социализм занимал первое место в революционных программах собственно только в самом начале нашего движения“. „Это было,—говорил он,—но было лишь в исходные моменты юношеского увлечения, которое при первых столкновениях с жизнью и критической мыслью начало уступать и очень скоро уступило свое место иному, чисто реальному, пониманию общественных отношений, революционному миросозерцанию, оставшемуся в своих основах неизменным и по сие время. Даже в первых опытах нелегальной литературы вопросам чистого социализма, теоретического и практического, отводилось сравнительно немного места (пожалуй столько, сколько было нужно в интересах гуманитарной пропаганды для юношества...)“. Далее г. Кашинцев утверждает, что уже в период хождения в народ революционная пропаганда опиралась главным образом „на указания народных бедствий настоящего, безобразия правительства, а не на социализм... И чем дальше, тем больше, пока, наконец, Народная Воля не решила вопроса, и вполне определенно, в смысле борьбы с абсолютизмом“. Это чрезвычайно замечательно. Если верить г. Кашинцеву,—а не верить ему мы не имеем ни самомалейшего основания,—то выходит, что деятельность партии Народной Воли имела с социализмом лишь очень мало общего. А в таком случае не удивительно и то, что самый влиятельный из ее публицистов мог сказать, что ее программа вполне совпадает с „направлением“ передовой части „общества“!

А. П. Корба,—которую редакция „Былого“ справедливо называет видной деятельницей партии Народной Воли,—говорила в своей речи на суде (1883 г.):

„Г.г. сенаторы, вам хорошо известны основные законы российской империи: никто в России не имеет права высказываться за изменение государственного строя; никто не может даже помышлять об этом; в России запрещены даже коллективные петиции! Но страна растет и развивается; условия общественной жизни усложняются с каждым годом; наступает момент— страна задыхается в узких рамках, из которых нет выхода... Историческая задача партии Народной Воли заключается в том, чтобы расширить этим рамки, добыть для народа самостоятельность и свободу. А средства ее находятся в непосредственной зависимости от правительства. Партия не стоит непреоборимо упорно за террор; рука, поднятая для нанесения удара, опустится

[1]) Громче всего эта проповедь раздавалась в „Свободной России“, органе г. Вл. Бурцева, нынешнего союзника нaших „социалистов-революционеров“.

немедленно, как только правительство заявит намерение изменить политические условия жизни... но от чего она не может отказаться, не совершив предательства, измены против народа,—это от завоевания от него свободы, а вместе с тем благосостояния. В подтверждение того, что цели партии совершенно миролюбивые, я прошу прочесть письмо к императору Александру III от Исполнительного Комитета, написанное вскоре после 1-го марта. Из него вы увидите, что партия желает реформ сверху, но реформ искренних, полных жизненных“ [1]).

Эта речь, с ее требованием жизненных, полных и искренних реформ сверху, выражает взгляд очень умеренный, но все-таки гораздо более близкий к радикальным взглядам Желябова, чем к програме якобинского народничества, изложенной г. Тихомировым в его статье: „Чего нам ждать от революции?“ Не надо было быть социалистом, чтобы одобрить взгляд А. П. Корба.

Наконец, приведу еще отрывок из письма народовольца Якубовича,—осужденного „по процессу 21-го“,—следующим образом характеризующий эволюцию руководящих идей Партии Народной Воли.

„Чем мы становимся старше и более зрелыми, тем минимальнее становятся наши требования. Посмотрите на то, что требовала „Партия Народной Воли“ в самом начале своего существования, к чему она стремилась? Еще в 8 и 9 №№ своего органа она заявляла, что цель ее—захват власти. И что же? В настоящее время иного народовольца такая задача заставляет улыбаться. Наша формула стала иная: призыв народа с высоты трона поколебленного ударами революционеров. Мы не можем с полною уверенностью нарисовать последствий такого призыва и представить себе эти последствия во всех их подробностях. Мы не берем на себя пророчеств. Но я верю... что русский народ—великий народ, что момент созыва Земского Собора будет великий момент и не пройдет бесследно в русской жизни и истории; страстный энтузиазм, который охватит народ и общество, первоначально на почве чисго политической, неизбежно повлечет за собой также и всю долю необходимых и осуществимых реформ экономических. Эта наша вера“ и т. д. [2]).

Эти строки были написаны г. Якубовичем очень немного времени спустя после того, как появилась уже несколько раз цитированная мною статья г. Тихомирова „Чего нам ждать от революции?“ И в этих строках весь социализм ограничивается „верой“ в величие русского народа и момента созыва Земского Собора. Не беря на себя никаких пророчеств, я с уверенностью говорю, однако, что эту „веру“ не откажутся разделить самые умеренные русские либералы.

Теперь многие стремятся реставрировать народовольческие взгляды, и в некоторых органах нашей революционной печати не редко выражается теперь радость по поводу поворота в сторону идей Партии Народной Воли, замечаемого в некоторой части нашей интеллигенции. Очень жаль, что публицисты, радующиеся такому повороту, не определяют точнее, к каким именно народовольческим идеям поворачиваем мы теперь: к идеям Желябова, или г. Тихомирова—автора статьи: „Чего нам ждать от революции?“, или г. Тихомирова—автора цитированного мной внутреннего обозрения 3-ей книжки „В. Н. В.“, или г. Кашинцева, или г. Якубовича? Ведь всякий видит, что нельзя „поворотить“ ко всем этим идеям одновременно, так как слишком уже велико различие между ними.

---

[1]) См. „Былое“, № 3, стр. 172—173.

[2]) См. брошюру „Процесс 21-го“, Женева, 1888 г., стр. 21—23.

Товарищ Невзоров говорит, заканчивая свою брошюру: „Народовольцы выставили положение, что политическая свобода (помимо того, что она есть благо сама по себе) необходима именно для развития социалистической деятельности, что широкая пропаганда социалистических идей невозможна при абсолютном режиме, и что поэтому борьба с самодержавием и низвержение его составляют главную, первую задачу русских социалистов революционеров“[1]). Это и так, и не так. Некоторые народовольцы,—скажу: народовольцы желябовского толка,—действительно выставляли это положение. Но зато другие,—назовем их народовольцами тихомировского согласия,—выставляли то положение, что если падение самодержавия не послужит сигналом для „социалистической организации России“, то от него выиграет одна только буржуазия. И при этом и те, и другие одинаково плохо понимали отношение социализма к политике [2]). Вот почему наследство, доставшееся от них нам, социал-демократам, было в теоретическом отношении и с этой стороны крайне бедно. Вот почему первой русской социал-демократической группе,—группе „Освобождение Труда“—пришлось в первом же своем издании рассматривать именно неразрешенный предшествовавшими направлениями вопрос об отношении социализма к политике[3]), В брошюре товарища Невзорова дело изображается так, как будто социально-политическое миросозерцание социал-демократов было сшито из искусно подобранных клочков разных других миросозерцаний, существовавших в предшествовавшие периоды. Пусть извинит меня товарищ Невзоров, но когда я прочитал его брошюру, русская социал-демократия на минуту явилась мне в образе гоголевской невесты, мысленно приставлявшей усы одного из своих многочисленных женихов к носу другого. Но в действительности она такой невестой никогда решительно никогда не была. Мы не сшивали своих взглядов из кусочков чужих теорий, а последовательно вывели их из своего революционного опыта, освещенного ярким светом учения Маркса. Не понимаю, как не заметил товарищ Невзоров, что решение политического вопроса, предложенное группой „Освобождение Труда“, существенно отличалось от всех многоразличных решений, дававшихся народовольцами разных оттенков. При том же надо помнить, что решение этого вопроса, принимавшееся большинством народовольцев,—т. е. решение народническо-якобинское,—было предложено гораздо раньше П. Н. Ткачевым и вообще группой „Набата“. Следовательно, если уже признавать, что это решение носило в себе зародыш решения социал-демократического,—чего на самом деле не могло быть,—то с благодарностью за это мы должны обращаться именно к группе „Набата“, а не к народовольцам.

Автор брошюры „Эволюция русской социалистической мысли“ обнаруживает полное непонимание истории этой мысли, утверждая,

---

[1]) „Отказываемся ли мы от наследства?“, стр. 73—74.

[2]) Дж. Кеннан, описав свой разговор с одним из политических ссыльных в Сибири, замечает: „Заклеймить такого человека кличкой „нигилист“ было глупо, а сослать его, как опасного члена общества, в Сибирь низко и бесчестно. На всем земном шаре человек таких убеждений слыл бы за умеренного либерала“ („Сибирь“, Берлин, 1891 г., стр. 124). А ведь этот ссыльный уж наверное принадлежал к той части нашего „общества“, направление которого совпадало, по словам г. Тихомирова, с направлением Партии Народной Воли! Пока наши революционеры не умели совершить теоретическое примирение социализма с политикой, до тех пор они по необходимости выступали попеременно, то как социалисты-утописты, то как „либералы“.

[3]) См. мою брошюру: „Социализм и политическая борьба“, Женева, 1883 г.

что „полемика между марксистами и хотя бы народовольцами была основана в значительной степени на недоразумении“ [1]). Вовсе нет! С самого своего возникновения и включительно до наших дней эта полемика основана была не на недоразумении, а на серьезнейших принципиальных разногласиях. Эти разногласия были так велики, что между народовольцами и последовательными социал-демократами могло быть соглашение или, если хотите, сближение по некоторым отдельным практическим вопросам, но об‘единение было немыслимо, вследствие коренной разницы во взглядах. А полемика обусловливалась именно этой разницей. Возьмем хоть тот вопрос, на примере которого поясняет свою мысль автор названной мною брошюры.

„Вспомним,—говорит этот автор,—как наиболее выдающийся выразитель русского марксизма формулировал разницу социал-демократической и народовольческой точек зрения на отношение интеллигенции к пролетариату: по мнению, мол, народовольца рабочий существует для революции, а не революция для рабочего; по мнению социал-демократа, наоборот, революция существует для рабочего, а не рабочий для революции. Отсюда делается тот вывод, что в то время, как Народная Воля смотрит-де на пролетариат лишь сверху вниз и извне, как на силу, могущую содействовать желательному для интеллигенции перевороту, социал-демократия видит, наоборот, в пролетариате, единственно самодовлеющий социальный класс, который может и должен совершить переворот исключительно в своих интересах, совпадающих, впрочем, и с интересами всего человечества. Спрашивается теперь, насколько современная социал-демократия в состоянии удовлетвориться без оговорок лапидарной фразой „не рабочий для революции, а революция для рабочих“ [2]).

Прежде, чем ответить на то, что „спрашивается“ нашим автором, я замечу, что приводимая им „лапидарная фраза“, при всей своей „лапидарности“, никогда не выдавалась русскими социал-демократами за формулу, выражавшую их разногласие с народовольцами по вопросу об отношении интеллигенции к рабочим. Это было бы просто-на-просто смешно. Эта мнимая „формула“ явилась так. Споря с г. Тихомировым, я коснулся замечания его о том, что вот, мол, и народовольцы тоже признавали, что рабочие важны для революции. На это замечание я возразил, что по нашему, наоборот, революция важна для рабочих. Этим я хотел сказать,—и подробно сказал в сочинении, посвященном этому самому спору,—что мы стоим на точке зрения пролетариата, которая остается чуждой и непонятной народовольцам. Но я не ограничился этим возражением,—которого я не думал выдавать ни за какую „формулу“—и развил свой взгляд очень подробно. Мне жаль, что разбираемый мною автор обратил внимание лишь на „формулу“, которая,—повторяю,—в действительности совсем даже и не формула, хотя она не только „фраза“.

Какова была точка зрения Народной Воли? Мне скажут—социалистическая. Я допускаю это, хотя выписки, приведенные мною выше из речей и статей народовольцев, показывают, что допускать это у меня нет достаточного основания. Но дело не в „этикетке“! Во-первых, известно, что социализм бывает разный: пролетарский, мелкобуржуазный, буржуазный феодальный и т. д. [3]). Во-вторых, при суждении о всякой данной партии необходимо принимать в соображение не только те программные „фразы“, которые она признает своими, но также и тот общественный слой, на который она главным

[1]) „Эволюция русской социалистической мысли“, стр. 4.
[2]) Там же, стр. 4—5.
[3]) Об этом см. „Манифест Коммун. Партии“.

образом опирается. Самая безупречная „фраза“ получает неподходящее содержание, когда ее осуществление навязывается такому общественному классу или слою, который осуществить ее не может по об'ективным условиям своей жизни. „Спрашивается“ поэтому, на какой же общественный слой или класс опиралась партия Народной Воли?

Мы уже знаем, как народоволец Е. А. Серебряков описывает в своей брошюре условия социалистической деятельности в России накануне возникновения партии Народной Воли; условия эти были, по его словам, так неблагоприятны, что „деревенщики“ оказались вынужденными бежать в города. Это описание, не соответствующее действительности, вполне соответствует, однако, тому, что думали и говорили в кружках „политиков“, впоследствии—народовольцев. Эти кружки об'явили деятельность в крестьянстве совершенно невозможной при нынешних политических условиях. И это мнение стало оффициальным мнением партии Народной Воли. Его защищал орган этой партии, и его же мы находим, довольно долгое время спустя, в „Календаре Народной Воли“. Ясно, стало быть, что народовольцы не рассчитывали на крестьян, как на такой класс, который выступит носителем их революционной идеи[1]). А рабочие? О рабочих вот что говорит главный публицист партии: „Рабочий, способный к классовой диктатуре, почти не существует. Стало быть, политической власти ему не доставишь“[2]). Очень хорошо. Но в таком случае, кому же могли, по мнению народовольческого публициста, доставить политическую власть наши революционеры? Очевидно, той передовой части общества, направление которой совпадало, как мы слышали от того же публициста, с направлением партии Народной Воли. „Спрашивается“, могла-ли бы эта часть общества сколько-нибудь серьезно взяться за „социалистическую организацию России“? Теперь уже всякий смышленый школьник скажет, что,—нет, и точно также всякий смышленый школьник понимает теперь, что эта часть общества ни за что не пошла бы дальше некоторых мелко-буржуазных „социальных“ реформ. А если это так, то ясно, что смертный грех партии Народной Воли заключался не в том, что она ошибалась в построении той или другой „лапидарной фразы“, а в том, что вся совокупность ее теоретических взглядов и ее практических задач делала из нее невольную,—говорю: невольную и прошу заметить это—служительницу передового слоя нашей мелкой буржуазии. А совокупность взглядов и задач социал-демократов делала их сознательными служителями рабочего класса. Вот где—глубочайшая разница. Она много важнее всех возможных различий в „формулах“ и „фразах“—лапидарных и других.

Но партия Народной Воли рассчитывала, что, когда она повалит царизм, ей удастся возбудить самодеятельность крестьянства, которое и примется тогда,—думала она,—осуществлять свои старые общинные идеалы. Положим, что ей удалось бы добиться обеих этих целей. К чему привело бы осуществление указанных „идеалов“? Тот, кто понимает, что такое социализм, без колебаний ответит, что оно привело бы не к социализму, а лишь к ускорению темпа того экономического движения, которое уже надломило старые „устои“ нашей народной жизни и вызвало очень значительное неравенство в самой крестьянской

---

[1]) Это недавно подтвердила и редакция „Вестника Русской Революции“ в своей программной статье.

[2]) Л. Тихомиров, „Чего нам ждать от революции? „В. Н. В.“, кв. 2, стр. 237.

среде. И с этим давно уже соглашались те из теоретиков „передовой части нашего общества", которые не наобум толковали о народе и об его „идеалах". „Не подлежит никакому сомнению,—говорил А. Н. Энгельгардт—что, будь крестьяне наделены землей в достаточном количестве, производительность громадно увеличится, государство станет очень богато. Но скажу все-таки, что если крестьяне не перейдут к артельному хозяйству и будут хозяйничать каждый двор в одиночку, то и при обилии земли между земледельцами-крестьянами будут и безземельные и батраки. Скажу более, полагаю, что разница в состояниях крестьян будет еще значительнее, чем теперь. Несмотря на общинное владение землей, рядом с „богачами" будет много обезземельных фактически батраков[1]). Я прибавлю, что само „артельное производство было бы переходом не к социализму, а к капитализму. Но распространяться об этом здесь нет надобности, так как на развитие этого производства тогда нельзя было рассчитывать за полнейшим отсутствием необходимых для него предпосылок. Таким образом, низвержение абсолютизма и осуществление „общинных идеалов" крестьянства,—т. е. полное торжество народовольства тихомировского согласия,—дали бы лишь новый толчек развитию того самого капитализма, с которым народовольцы названного согласия собирались бороться. На деле борьба их с капитализмом была бы не пролетарской, а мелко-буржуазной борьбою, и их партия ни в каком случае не вышла бы из пределов мелко-буржуазного социализма, к которому ее предрасполагало, как мы уже видели, еще и то обстоятельство, что она состояла главным образом из представителей образованного слоя мелкой буржуазии[2]).

С своей стороны, социал-демократы говорили, что социалистическая революция может быть совершена только силами пролетариата, и что об'ективной опорой нового порядка должны быть не обветшавшие и расшатанные экономические „устои" народной жизни, а те новые экономические отношения, которые создаются развитием капитализма. Взгляды социал-демократов были прямо-противоположны взглядам народовольцев, и их противоположности не охватит никакая лапидарная формула, кроме формулы: одни представляли пролетариат, другие—мелкую буржуазию. Но раз признана неоспоримая правильность этой „лапидарной формулы", то основанным на недоразумении оказывается не спор социал-демократов с народовольцами, а рассуждение автора брошюры о споре товарища Ленина с товарищами так называемого у нас экономического направления. Этот автор ровно ничего не понял в том, о чем они спорили.

Предмет их спора не касался вопроса о том, может или не может интеллигенция совершить переворот собственными силами: обе стороны безусловно соглашались между собою в том, что—не может. Обе спорящие стороны одинаково хорошо понимали, что своими собственными силами интеллигенция

[1]) А. Н. Энгельгардт. „Письма из деревни", стр. 423.

[2]) Не могу не остановиться здесь на следующем курьезе. Библиограф № 3-го „Былого" делает (стр. 206) несколько выписок из брошюры-циркуляра „Об издании русской социально-революционной библиотеки", так как эти выписки показывают, по его мнению, „как широко и тогда смотрели народовольцы (sic!) на пропаганду среди народа (крестьян и рабочих) и на роль народных масс и предстоящей борьбе за социализм". Но дело в том, что эта брошюра-циркуляр написана мною, а не кем-нибудь из народовольцев. Таким образом, и комплименты библиографа на счет широты относятся ко мне. Я очень благодарен г. библиографу.

никакой общественной задачи решить не в состоянии, и что ее возможное историческое значение всецело определяется тем, в какой мере она будет содействовать развитию классового самосознания рабочих. Разногласие начиналось лишь там, где заходила речь о путях и способах такого содействия. „Экономисты“ плохо выяснили себе роль „революционной бациллы“ в процессе массового движения пролетариата [1]). Их противникам эта роль представлялась с гораздо большей ясностью. Полемика между этими двумя направлениями социал-демократической мысли была неизбежна и плодотворна. Но даже в самый сильный разгар этой полемики ни одна из сторон не помышляла о возврате на старую точку зрения Партии Нар. Воли, так решительно осужденную предыдущей историей нашего движения. Товарищ Ленин, во всяком случае, стоит дальше от этой точки зрения, чем кто бы то ни было. Ведь автор брошюры находит, что Ленин преувеличивает значение сознания в революционном процессе. Какой же смысл может иметь этот упрек в применении к Ленину, как к социал-демократу? О чьем сознании, о сознании какого класса может говорить здесь Ленин, в качестве члена социал-демократической партии? О сознании пролетариата и только об этом сознании. Чем большее значение придает этот товарищ сознательности, тем более усиленного воздействия на умы рабочих требует он от нашей партии и тем резче расходится он с народовольцами, которые,—как нам уже известно,—говорили устами г. Тихомирова, что рабочий, способный к классовой диктатуре, у нас почти не существует, и что, стало быть, политической власти ему не доставишь [2]). Автор брошюры и сам чувствует, что тов. Ленин ушел от народовольцев гораздо дальше, чем даже „экономисты“. Потому-то он и находит, что „общая точка зрения“ экономистов более правильна, чем точка зрения тов. Ленина. А когда он прибавляет далее, что экономисты делают из своих, более правильных „основных посылок половинчатые, а потому и неверные практические выводы“, то это лишь значит, что, по его мнению, взгляд экономистов все-таки может при известных условиях быть соглашен с „народовольством“, а взгляд тов. Ленина— никогда. С какой же стати он вздумал приводить брошюру этого послед-

---

[1]) Говоря это, я имею в виду собственно теоретиков „экономизма“, которые договаривались до выводов, совершенно несогласимых ни с основными положениями марксовой исторической теории, ни с общепризнанными задачами международной социал-демократии. Но „экономисты“, занимавшиеся практическим делом, не редко играли ту самую роль „революционной бациллы“, которая осуждалась теоретиками, и потому имели благотворное влияние на рост нашего рабочего движения. Я думаю, что уже пора отдать им эту справедливость.

[2]) Приведу здесь выписку из брошюры одного народовольца очень не двусмысленно отвечающую на вопрос о роли масс в революции. Споря с Драгомановым, который высказал ту мысль, что открытое нападение на правительство было бы желательнее „террористических“ действий, этот народоволец говорит: „Что вы хотите сказать своим „открытым нападением“? Если здесь нужно видеть массовую революцию, то считаете ли вы возможным и резонным (sic!) поднять русских простолюдинов на борьбу из-за политической свободы—при их исторической оторванности от интеллигенции, при их жизни впроголодь и тяжелой борьбе из-за куска хлеба? Очень они проникнутся необходимостью такой штуки, как политическая свобода!—Но тогда неужели трудно понять, что все ваши „гражданские и военные люди“, все „народы“ сводятся в сущности к интеллигенции? Она, эта интеллигенция, обязана—да, „обязана“—вынести на своих плечах политическую свободу в России, пользуясь террором, как средством“ (Тарновский, „Терроризм и Рутина“).

него в доказательство той странной мысли, что споры марксистов с народовольцами основывались на „недоразумении?“ Хорошо недоразумение!

Вообще в высшей степени странно рассматривать спор сторонников „Зари“ и „Искры“ с „экономистами“, как признак, указывающий на приближение части русских социал-демократов к народовольческому взгляду на политическую борьбу. Мы уже знаем, что в самой народовольческой среде существовало много очень различных, — и прямо-таки несогласимых между собою, взглядов на отношение „политики“ к социализму. Знаем также, что при всем разнообразии этих взглядов им свойственна была одна общая отрицательная черта: ни один из них не устранял бакунинского противоположения социализма политике, унаследованнного от западно-европейских утопистов. Но именно в виду этой общей им всем отрицательной черты и немыслимо надеяться на то, что социал-демократы могут, — оставаясь социал-демократами, — усвоить себе одну из разновидностей народовольческого решения политического вопроса. Совершенно наоборот! Чем лучше будет сознавать наша социал-демократия свою историческую роль и свою ближайшую практическую задачу, тем дальше будет уходить она от политических взглядов как народовольцев, так и всех вообще наших революционеров семидесятых годов. И смешно было бы высказывать какие-нибудь сантиментальные сожаления на этот счет. Социальная революция девятнадцатого столетия должна смотреть не назад, а вперед, сказал Маркс в своей книге: „Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта“. Неужели мы, теперь, в двадцатом веке станем думать иначе?

Очень грешат против исторической истины те летописцы нашего движения, — к их числу принадлежит и автор разбираемой брошюры, — которые, отмечая полемику „Зари“ и „Искры“ с „экономистами“, восклицают: наконец-то русские социал-демократы заговорили о политической борьбе. В действительности, наша социал-демократическая литература говорит об этой борьбе с самого своего возникновения: в доказательство опять сошлюсь на первую русскую социал-демократическую брошюру „Социализм и политическая борьба“. Правда, теперь вошло в моду говорить, что брошюры, подобные только что названной, писались эмигрантами, и что, поэтому, высказанные в них взгляды нельзя признавать взглядами действовавших в России социал-демократов. Поэтому я сошлюсь еще на издание, выходящее в России. Во втором № „Рабочего“, — „газеты партии русских социал-демократов“, выходившей в Петербурге в 1885 г. — один из сотрудников говорил, обращаясь к русским рабочим: „Вы должны бороться: во-первых, ради своего освобождения от гнета хозяев, от экономической эксплуатации, а, во-вторых, ради приобретения тех прав, которые положат конец полицейскому произволу и сделают из вас, — пока еще бесправных обывателей, — свободных граждан свободной страны. Другими словами, вы должны бороться во имя политической свободы (курсив в подлиннике). И не думайте, что эти две задачи могут быть отделены одна от другой; что они могут быть решены порознь и независимо друг от друга. — Каждый из вас одновременно является и эксплуатируемым рабочим, и бесправным обывателем. Поэтому, и все вы в совокупности, весь русский рабочий класс должен одновременно преследовать как политическую, так и экономическую цель. Он должен одновременно стремиться низвергнуть как тех, которые являются его господами на фабрике, так и тех, которые полновластно распоряжаются теперь в русском государстве“.

Эта последняя фраза, будучи взята отдельно, может, пожалуй, навести на ту мысль, что цитируемый мною сотрудник советовал рабочим стремиться к

тому, чтобы момент падения абсолютизма совпал у нас с моментом социалистической революции. Но это было бы совершенно не основательное предположение. Далее в статье прямо говорится, что политическая борьба поведет к завоеванию политической свободы, которая, в свою очередь, облегчит рабочему классу дело организации его сил для социальной революции. Словом, и с этой стороны взгляд, высказываемый в статье, вполне совпадает как со взглядом, изложенным в брошюре: „Социализм и политическая борьба", так и с нынешним взглядом „Зари" и „Искры". Если читатель вспомнит, что эта статья была напечатана в социал-демократическом органе, выходившем не за границей, а именно в России, то он согласится, что мысль о политической борьбе не так нова действующим на родине русским социал-демократам, как это кажется некоторым пристрастным летописцам нашего движения. Цитируемая мною статья—„Современная задача русских рабочих", письмо к петербургским рабочим кружкам, подписана, правда: Г. Плеханов, т. е. принадлежит человеку, бывшему тогда уже эмигрантом. Но если этот эмигрант писал в газету, выходившую в России, и если эта газета печатала его статьи, то, значит, его действовавшие на родине товарищи были согласны с его политическими взглядами и, следовательно, были чужды „экономизма", а это и требовалось доказать.

„Экономизм" явился лишь впоследствии. Он был вызван стремлением поскорее приобрести широкое влияние на массу. Это стремление не сопровождалось, к сожалению, верным пониманием роли революционного меньшинства в деле выработки классового самосознания пролетариата. Но безусловная необходимость выработки этого самосознания,—т. е. именно классового самосознания рабочих,—вполне признавалась экономистами. И это ставит их бесконечно выше всех тех, будто бы социалистических, героев революционной фразы, которым хотелось бы теперь перевести наше движение на внеклассовую точку.

Чтобы говорить об „эволюции социалистической мысли в России", надо знать факты, относящиеся к ее истории лучше, чем знает их наш автор, а, кроме того, надо перестать смотреть на новейший, социал-демократический период этой эволюции сквозь очки народовольства: народовольство отжило свое время.

Да, время народовольства прошло! Но еще Герцен справедливо заметил, что „идеи, пережившие свое время, могут долго ходить с клюкой" и даже могут, „как Христос, еще раз, два показаться своим адептам"; идея народовольства показывается теперь и ходит с клюкой на столбцах „Революционной России". Она принимает там пока вид народовольства тихомировского согласия [1]). Кто пожелает узнать, откуда черпает свою мудрость автор,—единоличный или коллективный—печатающихся в этом органе статей о программных вопросах, тому я рекомендую прочитать статью Тихомирова „Чего нам ждать от революции? [2]) Эта статья убедит его в том, что г.г. „социалисты-революционеры", восставая против марксистской „догмы", умеют лишь рабски повторять „догму" народовольцев. В статье г. Тихомирова читатель найдет и рассуждения о нашем „крестьянско-рабочем классе" [3]), которые разогреваются теперь „Рево-

[1]) Говорю пока, потому что не хочу поручиться за будущее.

[2]) Напоминаю, что она напечатана во второй книжке „Вестника Народной Воли", вышедшей в Женеве в 1884 году. Ответом на эту статью явилась моя книга „Наши разногласия".

[3]) „Вестник Нар. Воли", кн. 2, стр. 247

люционной Россией" под видом той мысли, что крестьянство принадлежит к одному классу с пролетариатом: он встретит там и чрезвычайно поучительные размышления о том, какие задачи предстоит взять на себя нашему будущему „правительству социалистов-революционеров" [1]). Он увидит там те же ссылки на сознание „народом" своего права на землю [2]) и те же утопические надежды на „ассоциации" [3]). Наконец, его поразит там то же самое отсутствие всякой попытки серьезно анализировать экономические отношения России, которое мы привыкли встречать в программных статьях органа „соц.-революционеров". И тогда он убедится, что единственный вывод, делаемый „соц.-революционерами" из истории нашей социалистической мысли, состоит в том, что эта мысль должна вернуться назад, к тому, что уже было и быльем поросло, т.-е., другими словами, что в идейном отношении люди этого направления являются настоящими реакционерами, вследствие чего кличка социалистов-реакционеров подходит к ним гораздо больше, чем та, которую они себе почему-то присвоили.

В одном из приложений к книге Туна печатается русский оригинал моей статьи „О социальной демократии в России", написанной в 1893 г. для польского издания книги Туна. В этой статье я высказывал твердую уверенность в том, что возврат нашей революционной мысли на ее старые теоретические позиции стал уже совсем невозможен. Наши социалисты-реакционеры, повидимому, показывают своим примером, что я ошибся: их орган именно старается воскресить наши старые революционные теории, подпирая их клюкой фальшивых ссылок на разные западно-европейские авторитеты. Признаюсь откровенно, я не ожидал, что часть нашей революционной читающей публики согласится когда-нибудь довольствоваться этими разогретыми духовными яствами. Но моя ошибка на самом деле не так велика, как может показаться с первого взгляда. Разогретые блюда „Рев. России" охотно потребляются только тою частью нашей читающей публики, которая, по той или другой причине, не умеет или не хочет стать на классовую точку зрения. А это — часть отсталая. И именно это обстоятельство наглядно показывает, что действительно революционные и действительно социалистические элементы нашего движения навсегда переросли детский костюмчик нашего „социализма" времен Партии Народной Воли.

Кстати о моей статье, печатаемой в приложении и написанной еще в 1893 году. Там мне пришлось высказать несколько таких мыслей: напр., мысль о том, что пропаганда должна быть неразрывно связана с агитацией, о том, что мы, социал-демократы, не имеем никакого права забывать о крестьянах, о необходимости строгой организации революционных сил и т. п.,—которые впоследствии подносились мне и моим ближайшим товарищам,—и не только социалистами-реакционерами, но, к сожалению, также и некоторыми социал-демократами, как нечто для нас совершенно новое и нам неизвестное. Так пишут историю.

Два слова об остальных приложениях к нашему изданию. Рассказ Я. Стефановича о Чигиринском деле, перепечатываемый из „Черного Передела", представляет собою важный документ, относящийся к попытке, которая, во всяком случае, заключает в себе очень много интересного и поучительного для революционера. Лично я никогда не допускал, что револю-

---

[1]) „Вестн. Нар. Воли", кн. 2, стр. 255.
[2]) Там же, стр. 251.
[3]) Там же, стр. 258.

ционер может действовать от имени царя. Но справедливость заставляет меня сказать здесь, что в „бунтарском“ обществе „Земля и Воля“, к которому я принадлежал в эпоху Чигиринской попытки Стефановича и Дейча, мое отрицательное отношение к приему, ими употребляемому, разделялось далеко не всеми. Я думаю даже, что значительное большинство землевольцев относилось к нему вполне одобрительно.

О статье товарища Д. Кольцова „Восьмидесятые годы“ распространяться нечего. Она кажется нам полезным вкладом в характеристику той эпохи восьмидесятых годов, с идейным „наследством“ которой русская „интеллигенция“ еще не совсем разделалась даже и в настоящее время.

Наконец, мы перевели некоторые примечания П. Л. Лаврова к польскому изданию книги Туна. Мы нашли нужным сделать это потому, что иные из них содержат в себе заслуживающие внимания фактические поправки, а остальные,—именно те, в которых говорится об истории программы „Вперед“,—служат ответом Туну, изложившему эту историю не без значительной примеси иронии. Нас не удовлетворяет этот ответ П. Л. Лаврова. Но мы все-таки сочли себя обязанными довести его до сведения наших читателей. Audietur et altera pars!

Мое предисловие уже приняло очень большие размеры, а между тем я не сказал еще очень многого из того, что следовало бы сказать по поводу истории нашего движения. Это показывает между прочим, что книга немецкого профессора оставляет неразрешенными не мало спорных вопросов этого движения. Русский товарищ, о котором Тун говорит в своем предисловии, помог ему, по его собственным словам, понять внутреннюю связь событий. Но этот товарищ не мог написать за него же предпринятую им историю. Да и сам он переживал тогда переходный момент своего революционного развития, мешавший ему с полной ясностью определять значение революционных событий в нашем отечестве.

Март, 1903 года.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Петроград: Смольный, комн. 74; Просп. 25 Октября 52, магазин „Книжные Новинки“.

Москва: Московское отделение, издательство **„ПРИБОЙ“**, Петровские линии, под‘езд № 3. **Телеф. 2-24-09.**

Издательство „Московский Рабочий“, Б. Дмитровка 15.